Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ



9

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений
выходит под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Анна-Вероника

ГЛАВА ПЕРВАЯ

АННА-ВЕРОНИКА ОБЪЯСНЯЕТСЯ С ОТЦОМ

1

Однажды, в конце сентября, в среду, под вечер, Анна-Вероника Стэнли возвращалась домой из Лондона в торжественном и приподнятом настроении, так как твердо решила сегодня же непременно объясниться с отцом. До сих пор она пугалась такого шага, но сейчас решилась на него бесповоротно. Наступил перелом, и она рада, что он наступил. В поезде она говорила себе, что он должен быть окончательным. И роман о ней начинается именно с этого момента, не раньше и не позже, так как в нем будет рассказана история этого перелома и его последствий.

В купе поезда, идущего из Лондона в Морнингсайд-парк, Анна-Вероника была одна и потому сидела на скамейке с ногами: поза эта, вероятно, привела бы в отчаяние ее мать и повергла бы в полный ужас бабушку; подняв колени до самого подбородка и обхватив их руками, Анна-Вероника так глубоко задумалась, что, лишь увидев фонарь с надписью, вдруг поняла, что доехала до Морнингсайд-парка, и, хотя поезд только еще подходил к станции, ей показалось, что он уже отходит.

— Господи! — воскликнула она, вскочив, схватила кожаную папку с тетрадями, пухлым учебником и брошюрой в шоколадно-желтой обложке и ловко спрыгнула со ступенек вагона, но тут же заметила, что поезд еще толь-

ко замедляет ход и что ей из-за ее торопливости придется пройти всю платформу.

— Вот дура! — пробормотала она.— Идиотка!

В душе у нее все кипело, хотя она и шагала с тем независимым и безмятежно-спокойным видом, какой надлежит иметь на глазах у людей молодой особе двадцати двух лет.

Она миновала железнодорожный переезд, затем опрятные и скромные домики, где помещались конторы торговца углем и агента по продаже домов, и дошла до турникета возле мясной, за которым начиналась тропинка, ведшая к дому ее отца. Перед почтой стоял белокурый молодой человек без шляпы, в серых фланелевых брюках; он старательно налеплял марку на письмо. Когда он увидел Анну-Веронику, в его лице появилась какая-то суровость и вместе с тем оно почему-то порозовело. Анна-Вероника спокойно сделала вид, что не замечает его, хотя, быть может, именно его присутствие и заставило ее идти полем, в обход, а не прямо по дорожке вдоль Авеню.

— Уф! — сказал он и неуверенно посмотрел на письмо, прежде чем опустить его в почтовый ящик.— Ну, пошло!

Потом несколько мгновений помедлил в нерешительности, засунув руки в карманы и собрав губы в кружочек, словно намеревался засвистать, затем повернулся и по главной улице отправился домой.

Едва Анна-Вероника миновала изгородь, как тут же забыла об этой встрече, и на лице ее вновь появилось выражение суровой озабоченности. «Теперь или никогда»,— сказала она себе.

Морнингсайд-парк был, как говорится, дыра дырой. Подобно доримской Галлии, он состоял из трех частей: главной улицы — Морнингсайд-парк авеню, которая, делая обдуманно элегантный изгиб, бежала от станции в земледельческую глушь, где по обе ее стороны желтели большие кирпичные виллы; столпившихся вокруг почты лавок и, наконец, теснившихся под железнодорожным мостом домишек рабочих. Под этим мостом проходила дорога из Сарбайтона и Эпсома. И там, словно молодая поросль в канаве, недавно появилась, подобно четвертому сословию, стайка наскоро оштукатуренных

красно-белых вилл с аляповатыми фронтонами и металлическими шторами на окнах. Позади улицы высился небольшой холм, а по его гребню вдоль железной ограды тянулась тропинка; она доходила до лесенки, осененной вязом, там разветвлялась, и одно из ее ответвлений снова вело к Авеню.

— Теперь или никогда,— повторила Анна-Вероника, поднимаясь по лесенке,— терпеть не могу скандалов. Либо мне придется оказать сопротивление, либо уступить навсегда.

Она уселась в свободной и небрежной позе и стала созерцать задние фасады домов, стоявших вдоль Авеню; затем устремила взгляд туда, где из-за деревьев выглядывали новенькие красно-белые виллы. Она словно составляла опись всего, что открывалось перед нею.

— О господи!—проговорила она наконец.—Ну и дыра! Тут задохнуться можно! Интересно, за кого он меня принимает?

Когда она наконец спустилась со ступенек, на ее лице, окрашенном теплым румянцем, уже не осталось и следа колебаний или внутренней борьбы. Сейчас в нем было то спокойствие и та ясность, какие бывают у людей, принявших твердое решение. Она вся выпрямилась, взгляд карих глаз был тверд и устремлен вперед.

Когда Анна-Вероника приблизилась к повороту, показался белокурый молодой человек без шляпы и в фланелевых брюках. Он сделал вид, будто они встретились случайно, и неловко поклонился.

— Привет, Ви! — сказал он.

— Привет, Тедди! — ответила она.

В то время, как она проходила мимо него, он чуть замедлил шаг.

Но было ясно, что девушка сейчас не в настроении беседовать с ним. Он понял, что обречен один идти полями и в такую чудесную погоду совершить неинтересную прогулку.

«Тьфу, черт!» — заметил он про себя по этому случаю.

2

Анне-Веронике Стэнли исполнилось двадцать один год и шесть месяцев. У нее были черные волосы, тонко очерченные брови, свежий цвет лица; казалось, силы, ва-

явшие ее черты, работали любовно и неторопливо и придали им изящество и утонченность. Она была стройна и порой казалась высокого роста, двигалась легко и весело, как тот, кто обычно здоров, а иногда, задумавшись, слегка опускала голову. В ее чуть сжатых губах чувствовалось не то легкое презрение, не то тень усмешки; она выглядела спокойной и сдержанной, но это была маска, прикрывавшая бурное недовольство и жажду жизни и свободы.

Ей хотелось жить. Ее охватывало страстное и нетерпеливое желание чего-то, чего, она и сама хорошенько не знала: желание делать, быть, познавать на опыте. А опыт к ней не спешил. Весь мир вокруг, казалось, был — как бы это выразить — словно в чехлах, точно дом летом, когда люди из него выехали. Жалюзи опущены, солнечный свет не проникает в комнаты, и ни за что не определишь, какие краски скрываются под этими серыми оболочками. А ей хотелось знать. Но не было никакого намека на то, что жалюзи будут подняты, что окна или двери откроются или что с люстр, сулящих потоки яркого света, будут сняты пыльные чехлы и их приведут в порядок и зажгут. Вокруг нее реяли какие-то смутные существа; они не только говорили, но даже думали вполголоса!..

Пока Анна-Вероника училась в школе, особенно в начальных классах, жизнь от нее как будто не таилась, подсказывала, что надо делать и чего не надо, какие уроки учить и в какие игры играть, окружала ее самыми подходящими разнообразными интересами. Но теперь она словно проснулась и поняла, что существует значительная группа интересов, которая называется «быть влюбленной» и «выйти замуж», и что есть ряд определенных предварительных этапов, заманчивых и увлекательных, как, например, флирт и заинтересованность представителями другого пола. Она подошла к этой области с присущей ей живостью и сообразительностью. Но здесь она натолкнулась на препятствие. Окружающая ее среда в лице школьных учительниц, старших подруг, тетки и других ответственных и авторитетных лиц поспешила заверить ее, что она ни в коем случае не должна даже помышлять о таких вещах. Мисс Моффат, преподавательница истории и этики, высказывалась на этот счет

особенно определенно, и все они единодушно выражали свое презрение и жалость к девушкам, чьи мысли заняты этой стороной жизни, утверждая, что такие девушки выдают себя в разговоре, одежде, манере держаться. Казалось, это действительно группа интересов совершенно отличная от всего прочего, странная, особая, и ее следует ужасно стыдиться. И все-таки Анна-Вероника находила, что крайне трудно не думать о ней, но, обладая немалой долей гордости, решила, что будет отстранять от себя столь опасные темы и держаться от них как можно дальше; в результате к концу школы ее чувства остались словно под чехлом, и, как я уже говорил, она оказалась в тупике.

Анна-Вероника обнаружила, что в жизни, в которой на эти вещи наложен запрет, у нее нет своего особого места, ей нечего делать; остается вести бесцельное существование, а ее единственными занятиями будут хождение в гости, игра в теннис, чтение добродетельных романов, прогулки да вытирание пыли в доме отца. Тогда она решила, что уж лучше продолжать учиться. Она была девушка умная, лучшая ученица выпуска, и вот, окончив среднюю школу, она повела смелую борьбу за Соммервил или Ньюхем; но оказалось, что отец как-то за обедом у друзей встретился с девушкой из Соммервила, поспорил с ней и пришел к выводу, что высшее образование лишает женщину присущей ей женственности.

«Пусть дочь живет дома»,— категорически заявил он.

Споры тянулись довольно долго, а тем временем Анна-Вероника продолжала учиться. В конце концов пришли к компромиссу и согласились на том, что она прослушает курс естественных наук в женском Тредголдском колледже. Поэтому сразу после школы она поступила в Лондонский университет и, достигнув совершеннолетия, долго пререкалась с теткой из-за ключа от входной двери и постоянного железнодорожного билета.

Затаенное любопытство к некоторым явлениям жизни начало возвращаться к ней, едва прикрытое интересом к литературе и искусству. Она всегда много читала, но теперь из-за теткиной цензуры протаскивала как контрабанду все те книги, которые, по ее мнению, ей могли запретить, вместо того чтобы приносить их домой открыто, и ходила в театр всякий раз, когда могла раздо-

быть приемлемого спутника. Она сдала экзамены по общеобразовательным предметам с отличием и специализировалась по естественным наукам.

У нее было врожденное чувство формы и необычайная ясность ума; она заинтересовалась биологией и особенно сравнительной анатомией, хотя непосредственного отношения к ее личной жизни это не имело. Она научилась хорошо анатомировать, и через год ее уже раздражала своей ограниченностью преподавательница, бакалавр наук, выкладывавшая студентам в Тредголдской лаборатории кучу устаревших сведений. Анна-Вероника видела, что эта дама безнадежно ошибается и путается, особенно когда объясняет строение черепа, а ведь тут-то и сказывается настоящее знание сравнительной анатомии. И тогда ей захотелось поступить в Имперский колледж в Вестминстере, где читал Рассел, и продолжить свою работу над первоисточниками.

Она уже заговаривала об этом с отцом, но он уклончиво отвечал: «Посмотрим, малютка Ви, посмотрим». На этой стадии «смотрения» все так и оставалось до тех пор, пока не началась очередная сессия в Тредголдском колледже, а тем временем возник другой, менее серьезный конфликт, но он помог решить и вопрос об отдельном ключе и вопрос о положении Анны-Вероники вообще.

Помимо различных бизнесменов, адвокатов, государственных служащих и вдов, проживающих на Морнингсайд-парк авеню, там имелось явно не похожее на других своими художественными склонностями семейство Уиджетов, с которыми Анна-Вероника очень подружилась. Мистер Уиджет был журналист и художественный критик; он носил костюм из зеленовато-серого твида и «артистический» коричневый галстук; воскресным утром он выкуривал на авеню трубку, ездил в Лондон третьим классом и теми поездами, какими было не принято ездить, и открыто презирал гольф. Он жил в одном из небольших домиков возле станции.

У журналиста был один сын, окончивший школу для лиц обоего пола, и три дочки с какими-то особенно весело вьющимися рыжими кудрями, которые Анна-Вероника находила восхитительными. Две сестры очень дру-

жили с ней в школе и сделали немало, чтобы заинтересовать ее литературой, выходившей за пределы дозволенной в доме ее отца. Это была бодрая, легкомысленная, откровенно нуждающаяся семья, одевавшаяся в блеклозеленые и матово-красные цвета. Девушки после средней школы перешли в Фэдденскую художественную школу и стали вести яркую, увлекательную жизнь: бывали на студенческих балах, на социалистических митингах, ходили на галерку, спорили о работе, а иногда и по-настоящему работали. Время от времени они пытались увести Анну-Веронику в сторону от ее трезвых упорных занятий и вовлечь в круг своих интересов. В октябре они пригласили ее на первый из двух больших ежегодных балов, которые устраивала их школа, и Анна-Вероника радостно приняла приглашение. И вот теперь отец заявил, что она не пойдет.

Категорически заявил, что не пойдет.

Присутствие на этом балу было связано с двумя обстоятельствами, которые Анна-Вероника при всем своем такте никак не смогла скрыть от тетки и отца. Ее обычная сдержанность и чувство собственного достоинства в данном случае оказались ни к чему. Первое обстоятельство заключалось в том, что она должна была появиться в маскарадном костюме невесты Корсара, и второе — провести остаток ночи после окончания танцев в Лондоне вместе с барышнями Уиджет и избранной компанией в «совершенно приличном маленьком отеле» возле Трафальгар-сквер.

— Но подумай, дорогая! — всполошилась тетка Анны-Вероники.

— Понимаешь, тетя,— ответила Анна-Вероника с видом человека, который сам не знает, что ему делать,— я ведь обещала прийти. Я не подумала... и не знаю, как теперь быть.

А потом отец поставил свой ультиматум. Он сообщил его дочери не устно, а в письме, что показалось ей особенно отвратительной формой запрета.

— Он не мог сказать это, глядя мне в глаза! — возмутилась Анна-Вероника.— Но, конечно, это тетя состряпала.

Поэтому, когда Анна-Вероника приблизилась к воротам своего дома, она подумала: «Нет, я с ним непре-

менно поговорю. Я с ним поговорю. А если он не захочет...»

Но она даже мысленно не договорила, что сделает в этом случае.

3

Отец Анны-Вероники был поверенным и вел дела одной фирмы. Этот человек лет пятидесяти трех — худощавый, страдающий невралгией, с жестким ртом, острым носом, бритый, седой, сероглазый, в золотых очках, и с круглой лысинкой на макушке — казался изнуренным трудом и внушающим доверие. Его звали Питер. У него было пятеро детей, рождавшихся весьма нерегулярно, причем Анна-Вероника появилась на свет последней. Все это было ему уже не в новинку, и он как отец оказался несколько утомленным и невнимательным; он звал ее «малютка Ви», неожиданно и рассеянно гладил по головке и относился так, словно не помнил, сколько ей лет: одиннадцать или двадцать восемь. Дела в Сити отнимали у него много энергии, а оставшиеся силы он тратил на гольф — игру, которой придавал очень серьезное значение,— и на занятия микроскопической петрографией.

Микроскопия была его коньком, и он увлекался ею по-викториански, особенно не раздумывая. Подаренный ему в день рождения микроскоп толкнул его на путь технической микроскопии, когда ему было восемнадцать, а случайная дружба с торговцем микроскопами из Холборна укрепила эту склонность. У него были необычайно искусные пальцы, а любовь к обработке мельчайших деталей сделала его одним из самых ловких мастеров среза для микроскопа. Сидя в маленькой комнатке на чердаке, он тратил гораздо больше денег и времени, чем мог себе позволить, изготовляя новые гранильные аппараты и новую арматуру для микроскопов, шлифуя пластинки каменных пород до почти прозрачной тонкости и придавая препарату для исследования особую красоту и благородство. По его словам, он занимался этим, чтобы «отвлечься». Наиболее удачные препараты он выставлял в Лаундинском обществе микроскопии, и их высокое техническое совершенство неизменно вызывало восхищение. Научная ценность их была не столь велика, ибо он выбирал породы исключительно с точки зрения трудности их

обработки или интереса для вечеров, устраиваемых научным обществом. К производившимся «теоретиками» срезам он относился с глубоким презрением. Может быть, с их помощью и можно было решать целый ряд вопросов, но они были толсты и неровны, просто убогие поделки. И все-таки в этом мире, неразборчивом и упорствующем в своих заблуждениях, эти господа получали всякие отличия...

Читал он мало, главным образом бодрящие, легкие романы с названиями, где фигурировал цвет, например, «Красный меч», «Черный шлем», «Пурпурная мантия», тоже чтобы «отвлечься». Читал он их обычно зимними вечерами, после обеда, при чтении присутствовала Анна-Вероника; ее всегда сердило, что он старается пододвинуть лампу как можно ближе к себе и занять ногами в потертых пестрых туфлях из оленьей кожи всю каминную решетку.

Иногда она удивлялась, зачем ему нужно так много «отвлекаться». Его любимой газетой была «Таймс»; он начинал ее читать за утренним завтраком, нередко сердясь вслух, и уносил с собой, чтобы закончить в поезде, поэтому дома не оставалось никакой газеты.

Иногда Анне-Веронике приходила мысль о том, что ведь она знавала его и тогда, когда он был гораздо моложе, но день следовал за днем, и каждый следующий сглаживал впечатления от предыдущего. Все же она, конечно, помнила, что, будучи еще девочкой, видела его не раз в теннисных брюках, и он очень ловко въезжал на велосипеде в ворота и подкатывал к подъезду. В те времена он помогал жене, когда она возилась в саду, и околачивался поблизости, когда она, взобравшись на лестницу, забивала в стену буфетной гвозди для ползучих растений.

Анна-Вероника была в семье самой младшей, и ей пришлось жить в доме, который, по мере того, как девочка росла, становился все малолюднее и тише. Мать ее умерла, когда ей было тринадцать, сестры — обе намного старше ее — повыходили замуж, одна — подчинившись воле родителей, другая — вопреки этой воле; оба брата давно не жили дома, поэтому она очень ценила отца и старалась как можно больше получить от него. Но он был не из тех отцов, от которых можно многое получить

Его взгляды на девушек и женщин были сентиментальны и не слишком содержательны: он считал, что либо это создания, в отношении которых современный словарь чересчур бледен, и поэтому они чаще всего весьма нежелательно желанны, либо слишком хороши и чисты для жизни. Так он делил разнообразных представительниц женского пола на две упрощенные категории, не считаясь со всеми промежуточными разновидностями. Он находил, что эти две категории нельзя смешивать даже в мыслях, их следует держать как можно дальше друг от друга. Женщины — сосуд скудельный, они созданы либо для почитания, либо для бесчестья, и притом это хрупкие сосуды. Он никогда не желал иметь дочерей. Каждый раз, когда у него рождалась дочь, он прятал свое огорчение от жены, прикрываясь особенной нежностью и экспансивностью. Но в ванной комнате отводил душу и ругался со страстной искренностью. Это был настоящий мужчина, не способный на горячие отцовские чувства, и он любил свою темноглазую, изящную, румяную и деятельную маленькую жену с подлинной страстностью. Однако ему всегда казалось (хотя он никогда не позволял себе высказать эту мысль вслух), что столь поспешное увеличение семейства является как бы некоторой неделикатностью с ее стороны. Он решил, что его два сына должны сделать блестящую карьеру, и при всех обычных человеческих отклонениях и задержках дело к тому и шло. Один служил гражданским чиновником в Индии, другой работал в быстро развивающейся машиностроительной промышленности. А о дочерях, как он надеялся, позаботится мать.

Относительно дочерей у него не было никаких планов. Они выйдут замуж, вот и все.

Конечно, когда в доме есть маленькая дочурка, это чудесно. Она весело бегает по комнатам, устраивает возню, она хорошенькая и радостная, у нее пушистые, мягкие волосы и способность гораздо теплее выражать свою привязанность, чем у мальчиков. Это — прелестное маленькое добавление к матери, которая улыбается, глядя на нее, а девчурка жестикулирует, в точности копируя материнские жесты. Она изрекает восхитительные суждения, их можно повторять в Сити, и они годились бы для «Панча». У нее есть пропасть ласкательных имен:

Бэбс и Байб, Виддлс и Ви; вы шутя шлепаете ее, и она вас тоже. Она любит сидеть на вашем колене. Все это восхитительно, как и должно быть.

Но маленькая дочурка — это одно, а дочь — совсем другое. Тут возникают отношения, которые мистер Стэнли никогда не продумывал до конца. А когда он начинал размышлять о них, этот процесс оказывался столь волнительным, что он тут же старался отвлечься. Разноцветные романы, которыми он тешил себя, весьма вскользь касались этой стороны жизни, никогда не помогали в ней разобраться. У героев таких романов никогда не бывало собственных дочерей, они брали их у других. Единственную ошибку романов этого направления он видел в слишком легком отношении к правам родителей. А он инстинктивно стремился смотреть на дочерей как на свою полную собственность: они обязаны были его слушаться, он имел право отдать их замуж или оставить дома, чтобы они служили ему опорой в надвигающейся старости,— все это зависело от его воли. Но он желал, чтобы этот его взгляд на дочерей как на собственность был окутан некоей сентиментальной и чарующей дымкой, чтобы все это было облечено в достойную форму, хотя, по сути, и оставалось чувством собственника. Это право представлялось ему лишь разумным вознаграждением за уход и заботы при воспитании дочерей. Ведь дочери — совсем другое, чем сыновья, хотя и в романах, которые он читал, и в мире, в котором он жил, его взгляды не подтверждались. Однако вместо них не выдвигалось ничего иного, и пока они существовали в нем sotto voce [1], он отвергал и старое и новое; его дочери стали как бы независимы и зависимы, что совсем нелепо. Одна вышла замуж по его желанию, другая — против его желания, а теперь вот Анна-Вероника, его маленькая Ви, была неудовлетворена своим родным домом—таким красивым, служившим ей надежной защитой. Она бегает со своими друзьями, которые не носят шляп, по митингам социалистов и балам будущих художников и намерена довести свое научное честолюбие до неженских размеров. Она как будто видит в нем только кассира, оплачивающего ее свободу. А теперь она настаивает на том, что должна расстаться с це-

---

[1] Вполголоса *(итал.)*.

ломудренной безопасностью женского Тредголдского колледжа и перейти на безнравственные курсы Рассела, желает пойти на костюмированный бал, одетая пираткой, и провести остаток ночи с распущенными девчонками Уиджет в каком-то не поддающемся описанию отеле в Сохо!

Он изо всех сил старался совсем не думать о ней, но и положение требовало его вмешательства, и сестра неотступно на этом настаивала. В конце концов он отложил «Лиловую шляпку», отправился в свой кабинет, зажег газовый камин и написал письмо, которое обострило их и без того неудовлетворительные родственные отношения.

4

«Дорогая Ви!» — писал он.

Ах, эти дочери! — Он погрыз кончик ручки, подумал, разорвал листок бумаги и начал снова:

«Дорогая Вероника, тетя сообщила мне о том, что ты условилась с Уиджетами пойти на маскарад в Лондоне. Мне известно, что ты намерена отправиться туда в каком-то маскарадном костюме, накинув поверх него твое манто для выездов, а по окончании праздника предполагаешь с твоими друзьями и компанией молодежи, без старших, закончить вечер в отеле. Право же, мне очень неприятно препятствовать твоему желанию, но, к сожалению, должен тебе сообщить...»

— Гм,— пробормотал он и зачеркнул слова «к сожалению, должен тебе сообщить...»

«...Но это невозможно».

— Нет, не годится,— сказал он и сделал новую попытку выразить свою мысль:

«Но я вынужден сообщить тебе, что считаю своим долгом категорически запретить подобную выходку».

— Черт! — буркнул он, взглянув на перемаранное письмо, и, снова взяв чистый лист, еще раз переписал начало. В его движениях уже чувствовалось некоторое раздражение.

«Я очень сожалею о том, что ты все это придумала»,— продолжал он писать.

Потом сделал паузу и начал с красной строки:

«Суть заключается в следующем: твое нелепое намерение свидетельствует, что ты начала придерживаться

весьма странных взглядов на то, что в твоем положении может себе позволить молодая девушка, а что—нет. Мне кажется, тебе не вполне понятны те идеалы, которые я хотел бы видеть воплощенными в отношениях между отцом и дочерью, или хотя бы то, что приличествует им. Твое отношение ко мне...»

Он опять глубоко задумался. Так трудно было найти совершенно точные слова!

«...и к твоей тете...»

Некоторое время он поискал mot juste[1], затем продолжал:

«...а также к большей части общепринятых взглядов на жизнь, я, говоря откровенно, считаю неудовлетворительными. Ты беспокойна, настойчива, все критикуешь с присущей молодости необдуманной прямолинейностью. Ты не постигаешь основных фактов жизни (и я молю бога, чтобы ты их никогда не постигла) и вследствие своей торопливости и неведения можешь попасть в такое положение, что потом будешь раскаиваться до конца своих дней. Молодую девушку повсюду подстерегают ловушки».

На миг его остановила представшая перед ним смутная картина: Вероника, читающая последнюю сентенцию. Но сейчас он был слишком взволнован, чтобы ощутить некоторую неубедительность своей аргументации, вызванную смешением метафор.

— Что ж,— пробормотал он упрямо,— так оно и есть. И все. Пора ей знать.

«Молодую девушку повсюду подстерегают ловушки, от которых ее нужно спасти любой ценой».

Он сжал губы и насупил брови, полный торжественной решимости.

«Пока я твой отец, пока твоя жизнь доверена моей заботе, я чувствую себя во всех отношениях обязанным употребить всю свою власть на то, чтобы обуздать твою нелепую склонность к экстравагантным затеям. Придет день, когда ты поблагодаришь меня за это. Я не хочу сказать, дорогая моя Вероника, будто в тебе есть что-то нехорошее — этого нет. Однако девушку марает не только совершённое зло, но и близость зла, и репутация

[1] Верное выражение *(франц.)*.

существа неосторожного может принести не менее серьезный вред, чем действительно предосудительное поведение. Поэтому прошу тебя верить, что в данном вопросе я действую ради твоего же блага».

Он поставил свою подпись и задумался. Затем, открыв дверь кабинета и крикнув «Молли!», вернулся в комнату и, став на коврик перед камином, принял на фоне голубовато-оранжевого газового пламени властную позу.

Появилась его сестра.

На ней был сложный туалет из кружев, шитья и непонятных черных, красных и кремовых узоров, и она казалась более молодым, но все же очень похожим повторением его собственной особы, только женского пола. У нее был тот же острый нос — из всей семьи лишь Анну-Веронику природа им не наградила,— хорошая осанка, хотя брат сутулился, а в ее манерах сквозил известный аристократизм и чувство собственного достоинства, приобретенные во время продолжительной помолвки с приходским священником, потомком Уилтширских Эдмонд-Шоу. Священник умер до свадьбы, а когда брат овдовел, она переехала к нему и взяла на себя значительную часть забот о его младшей дочери. Но с первой же минуты ее довольно старомодные взгляды на жизнь оказались в дисгармонии с атмосферой лондонского пригорода, настроениями в школе и светлыми воспоминаниями о маленькой миссис Стэнли, происходившей, выражаясь деликатно, из отнюдь не знатной семьи. Мисс Стэнли твердо решила с самого начала, что будет питать самую теплую привязанность к своей младшей племяннице и станет ей второй матерью — второй и лучшей, чем родная; однако ей пришлось со многим бороться в характере Анны-Вероники; и многое в ней самой племянница никак не могла понять. Итак, тетка вошла с выражением сдержанной озабоченности на лице.

Мистер Стэнли концом трубки, которую извлек из кармана, указал на лежавшее перед ним письмо.

— Что ты скажешь по поводу этого? — спросил он.

Она взяла письмо в унизанные кольцами руки и внимательно прочла его. В это время брат медленно набивал трубку.

— Что ж,— наконец отозвалась она,— написано твердо и с любовью.

— Я мог бы сказать и больше.

— По-моему, ты сказал все, что следовало. Мне кажется, именно это и нужно. Ей действительно незачем идти туда.

Она смолкла, и он ждал, что она скажет еще.

— Едва ли она понимает до конца тот вред, который могут ей причинить эти люди или та жизнь, в которую они хотят ее втянуть,— сказала мисс Стэнли.— Они могут погубить все ее шансы.

— А у нее есть шансы? — спросил он, желая помочь сестре выразить свою мысль.

— Она девушка чрезвычайно привлекательная,— пояснила тетка и добавила: — что некоторым людям очень нравится. Конечно, никто не будет говорить о том, о чем пока нечего сказать.

— Тем более не нужно давать повода для всяких сплетен на ее счет.

— Я совершенно с тобой согласна.

Мистер Стэнли взял у сестры письмо и некоторое время постоял задумавшись, держа его в руке.

— Я бы все отдал, чтобы наша малютка Ви вышла замуж и была спокойна и счастлива.

На следующее утро, уходя из дому и торопясь на лондонский поезд, он как бы мимоходом отдал письмо горничной. Когда Анна-Вероника получила его, ей вдруг пришла в голову дикая и нелепая мысль, что в конверте таится какое-то предостережение.

5

Решение Анны-Вероники объясниться с отцом не так легко было осуществить.

Он возвращался из Сити обычно не раньше шести, и поэтому до обеда она поиграла в бадминтон с барышнями Уиджет. Атмосфера за столом не подходила для объяснений. Тетка была любезна и ласкова, хотя в ней чувствовалось затаенное беспокойство, и, словно за столом сидел гость, усердно рассказывала о том, как ужасно разрослись этим летом бархатцы в конце сада, они заглушили все мелкие, морозостойкие однолетние растения; отец же читал за столом газеты, делал вид, что чрезвычайно заинтересован ими.

— Видимо, придется на будущий год бархатцы заменить чем-нибудь другим.— Тетя Молли трижды повторила эту фразу.— А заодно покончить и с маргаритками: они разрастаются в невозможном количестве.

Когда Веронике казалось, что настала подходящая минута попросить о разговоре, входила горничная Элизабет то с овощами, то еще с чем-нибудь. Обед кончился, и мистер Стэнли сначала притворился, что хочет еще покурить, а потом внезапно сорвался с места и ринулся наверх, к своей петрографии, и, когда Вероника постучала в запертую дверь, ответил:

— Уходи, Ви! Я занят.— И запустил гранильное колесо, которое громко зажужжало.

Утром, во время завтрака, тоже не представилось случая поговорить. Отец читал «Таймс» с необычным увлечением, а потом вдруг сообщил, что уезжает первым из двух поездов, которыми обычно отправлялся в город.

— Я пойду с тобой на станцию,— сказала Анна-Вероника,— и тоже поеду этим поездом, мне все равно.

— Но я побегу,— ответил отец, взглянув на часы.

— Я тоже побегу,— заявила она.

Но они не побежали, а пошли очень быстрым шагом.

— Так вот, папа...— начала было она, но у нее вдруг перехватило дыхание.

— Если ты насчет бала,— сказал он,—то говорить не о чем, Вероника: я решил твердо.

— Все мои друзья назовут меня дурой.

— Тебе не следовало обещать, не посоветовавшись с тетей.

— Я считала себя достаточно взрослой,— выпалила она, не то смеясь, не то плача.

Отец перешел на рысь.

— Я не желаю ни ссор, ни слез на улице,— заявил он.— Сейчас же прекрати! Если хочешь что-нибудь возразить, обратись к тете...

— Но послушай, папа!

Он решительно отмахнулся от нее «Таймсом».

— Вопрос решен. Ты не пойдешь. Не пойдешь!

— Да я насчет другого...

— Все равно. Здесь не место.

— Тогда можно будет прийти к тебе в кабинет сегодня вечером, после обеда?

— Я буду занят!

— Но это очень важно. Если нельзя поговорить в другом месте. Я же хочу, чтобы ты понял меня.

Впереди них шел какой-то господин, которого они, шагая с такой быстротой, неизбежно должны были очень скоро обогнать. Это был Рэмедж, снимавший большой дом в конце улицы. Он недавно познакомился в поезде с мистером Стэнли и раза два-три оказал ему мелкие услуги. Он был маклером-аутсайдером[1] и владельцем финансовой газеты. За последние годы он быстро пошел в гору, и мистер Стэнли в равной мере восхищался им и терпеть его не мог. Нельзя было допустить, чтобы Рэмедж услышал хотя бы отдельные слова или фразы. Поэтому мистер Стэнли замедлил шаг.

— Ты не имеешь права так изводить меня, Вероника,— сказал он.— Какой смысл обсуждать то, что уже решено? Если тебе нужен совет, обратись к тете. Впрочем, если ты желаешь проверить свои взгляды...

— Так до вечера, папа!

Он сердито буркнул что-то, означавшее согласие, а в это время Рэмедж оглянулся, остановился и, учтиво поклонившись, стал ждать, пока они подойдут. Это был человек лет пятидесяти, широколицый, седоватый, бритый, с нервным ртом и выпуклыми черными глазами, которые сейчас внимательно разглядывали Анну-Веронику. Одет он был скорее так, как было принято одеваться в Вест-Энде, а не в Сити, и держался с подчеркнутой, изысканной вежливостью, которая почему-то смущала отца Анны-Вероники и неизменно вызывала в нем раздражение. В гольф он не играл, но ездил верхом, чему мистер Стэнли тоже не сочувствовал.

— Какая духота на авеню из-за деревьев,— сказал, когда они зашагали дальше, мистер Стэнли, желая хоть чем-то объяснить свой недовольный и разгоряченный вид.— Следовало бы весною обрубать сучья.

— Мы можем не спешить,— заметил Рэмедж.— А мисс Стэнли едет с нами?

— Я поеду вторым и пересяду в Уимблдоне.

— Да мы все поедем вторым,— заметил Рэмедж,— если вы, конечно, не возражаете.

---

[1] Аутсайдер — не являющийся членом биржи.

Мистеру Стэнли хотелось решительно запротестовать, но так как он сразу не мог придумать причины для отказа, он только пробурчал что-то, и они двинулись дальше.

— Как здоровье миссис Рэмедж? — осведомился он.

— В общем, как обычно,— ответил Рэмедж.— Много лежать ведь тоже очень утомительно. Но, понимаете, ей нужно лежать.

Разговор на тему о больной жене раздражал его, и он тут же обратился к Анне-Веронике.

— А вы куда едете? — спросил он.— Собираетесь и эту зиму заниматься вашей научной работой? Вероятно, наследственная склонность? — На какое-то мгновение мистер Стэнли даже почувствовал симпатию к Рэмеджу.— Вы ведь биолог? Верно? — продолжал тот.

И он принялся разглагольствовать, излагая собственные мнения о биологии, повторяя общие места, как это делает обычно читатель популярных журналов, который пользуется материалами ежемесячных обзоров и бывает рад получить любую информацию от людей, стоящих ближе к науке. Через некоторое время он и Анна-Вероника уже вели приятную и совершенно непринужденную беседу. Продолжали они оживленно разговаривать и в поезде. Мистеру Стэнли почудилось в этом как бы легкое неуважение к нему, он прислушивался и делал вид, что читает «Таймс». Его неприятно поразило то галантное почтение, с каким Рэмедж относился к его дочери, и спокойное самообладание, с каким та отвечала ему. Все это не вязалось с его представлением об ожидавшем его вечером (и неизбежном) объяснении с дочерью. В конце концов до его сознания, как внезапное открытие, вдруг дошла мысль, что она в известном смысле уже взрослый человек. Он был из тех людей, которые классифицируют все на свете упрощенно, без каких-либо оттенков, и с точки зрения возраста признавал только две категории: девчонки и женщины. Разница заключалась лишь в праве гладить их по голове. Но вот перед ним девчонка,— она была ею, поскольку она его дочь, и ее можно гладить по голове,— и эта девчонка весьма удачно и умно имитирует женщину. Он подвел итог тому, что услышал. Она и их спутник обсуждали одну из современных передовых пьес, и Анна-Вероника выска-

вывала свои взгляды с удивительной, неожиданной для него самоуверенностью.

— Его манера любить показалась мне очень неубедительной,— заметила она.— Он делает это слишком шумно.

Отец не сразу понял весь смысл сказанного ею. Потом до него дошло. Боже мой! Она обсуждает вопрос о манере любить! На некоторое время он словно оглох и, оцепенев, смотрел на списки книг, заполнявшие в этот день полколонки в «Таймсе». Понимает ли она, о чем говорит? К счастью, они сидели в вагоне второго класса, и их обычных спутников не было. Но ему казалось, что все пассажиры, закрывшись газетами, непременно должны прислушиваться.

Конечно, молодые девушки повторяют слова и мнения, смысл которых им, вероятно, непонятен. Но такому вот Рэмеджу, мужчине средних лет, следовало бы понимать, что нельзя вызывать на подобный разговор дочь приятеля, соседа...

Ну в конце концов он, кажется, переменил тему.

— Броддик уж очень неуклюж, а самое интересное в пьесе — это растрата.

«Слава богу!»—Мистер Стэнли дал газете слегка соскользнуть вниз и внимательно посмотрел на шляпы и лбы их трех спутников.

Когда поезд остановился в Уимблдоне, Рэмедж буквально вылетел на платформу, чтобы подать руку мисс Стэнли, словно она какая-нибудь герцогиня, а она вышла из вагона с таким видом, словно подобное внимание со стороны коммерсанта, хоть и средних лет, но еще галантного,— дело вполне естественное. Снова усевшись в уголок купе, Рэмедж заметил:

— Как быстро растет эта молодежь, Стэнли. Кажется, еще вчера она в упоении носилась по авеню, только ноги мелькали да волосы развевались.

Мистер Стэнли посмотрел на него сквозь очки: в нем зарождалась неприязнь к соседу.

— А теперь вот носится только с идеями,— ответил он с напускной шутливостью.

— Она как будто исключительно умная девушка,— сказал Рэмедж.

Мистер Стэнли взглянул на бритое лицо соседа уже почти воинственно.

— Мне кажется, мы иногда переоцениваем так называемое высшее образование,— заметил он, словно это было его глубочайшим убеждением.

6

По мере того как день близился к вечеру и все неотвязнее становились мысли, крепла и его уверенность в том, что он прав. Целое утро ему вспоминалась младшая дочь, а во вторую половину дня она просто не выходила у него из головы. Он видел, как она, молодая и прелестная, выходит из вагона, ни разу не взглянув на него, представил себе ее лицо, ясное и безмятежное, когда его поезд отходил от Уимблдона. Вспоминал с мучительным недоумением тот решительный и деловой тон, с каким она рассуждала о манере любить, которая казалась ей не очень убедительной. Мистер Стэнли чрезвычайно гордился дочерью, и вместе с тем его злила и возмущала ее простодушная самоуверенность, подчеркнутая самостоятельность душевной жизни, и полная, спокойная независимость от отца. Ведь в конце концов она только кажется женщиной. Она порывиста и не знает жизни, она абсолютно неопытна. Абсолютно. И он стал представлять себе, как будет читать ей нравоучения, очень категорические, очень обстоятельные.

Он позавтракал в Лигал-клаб на Чэнсери-лейн и встретился там с Огилви. В этот день решительно всюду обсуждался вопрос о дочерях. Огилви был крайне озабочен историей, случившейся в семье его клиента,— оказалось, очень серьезная, даже трагическая история. Он поделился с мистером Стэнли некоторыми подробностями.

— Любопытный случай,— начал Огилви, намазывая хлеб маслом и разрезая его по обыкновению на кусочки.— Любопытный случай и заставляет призадуматься.

Разжевав кусок, он продолжал:

— Девушка лет шестнадцати-семнадцати, точнее, семнадцати с половиной, так сказать, бегает без присмотра по Лондону. Школьница. Семья — солидные люди из Вест-Энда. Из Кенсингтона. Отец умирает. По утрам

она уходит из дома, вечером возвращается. Затем поступает в Оксфорд. И вот ей уже двадцать один, двадцать два. Почему она не выходит замуж? Денег от отца осталось вполне достаточно. Прелестная девушка.

На несколько мгновений его отвлекла тушеная баранина с картофелем и луком.

— Оказалось — уже замужем,— сообщил он, прожевывая баранину.— За продавцом из магазина.

— Господи! — воскликнул мистер Стэнли.

— Смазливый парень. Она познакомилась с ним у Уортинга. Все страшно романтично, и так далее. Он быстро поймал ее на удочку.

— Но...

— Потом бросил. Просто романтический вздор с ее стороны. С его — голый расчет. Прежде чем жениться, отправился в Соммерсет-Хаус ознакомиться с завещанием. Вот положеньице.

— А она его уже не любит?

— Ни капли. Ведь что пленяет девушку в шестнадцать лет? Красивые волосы, цвет лица, лунная ночь да приятный тенор. Вероятно, в этом возрасте у многих из нас дочки повыходили бы замуж за шарманщиков, если бы им представился случай. Мой сын вздумал было жениться на продавщице лет тридцати из табачного магазина. Конечно, сыновья — это другое дело. Мы быстро все уладили. Так вот какая штука. Семья просто не знает, что делать. Нельзя же идти на скандал. И мы же не можем потребовать от этого молодца, чтобы он уехал за границу и стал двоеженцем. Он скрыл ее возраст, дал ложный адрес, но нельзя за это подавать на него в суд... Вот какие дела! Девушке испортили всю жизнь! Иногда думаешь: уж не лучше ли вернуться к восточным взглядам на женщину?

Мистер Стэнли налил себе вина.

— Ну и мерзавец! А разве там нет брата, чтобы дать ему пинка в зад?

— Удовлетворение инстинктов, вот и все,— продолжал рассуждать Огилви,— чувственность. Впрочем, судя по тону некоторых писем, они уже дали ему пинка. Это, конечно, хорошо. Но дела не меняет.

— Все эти теперешние мерзавцы...— начал мистер Стэнли и смолк.

— Они всегда были,— ответил Огилви.— А мы должны позаботиться о том, чтобы не подпускать их.

— Но раньше у девушек не было таких экстравагантных идей.

— Как сказать? А Лидия Лэнгуиш? Разумеется, тогда они столько не бегали.

— Верно. С этого все и начинается. А эти дурацкие романы? Этот поток сбивающей с толку фальшивой чепухи, которую выпускает наша печать? Эти поддельные идеалы, передовые взгляды, деловые женщины и вся эта белиберда...

Огилви задумался.

— Та девушка — она действительно прелестное и искреннее создание — говорила мне, что ее фантазия загорелась под влиянием «Ромео и Джульетты», пьесу ставили у них в школе.

Но мистер Стэнли решил, что это частность.

— Следовало бы установить цензуру на книги. В наше время она просто необходима. Даже при наличии цензуры на пьесы трудно найти такую, чтобы можно было повести жену и дочерей: везде хотя бы в самой скрытой форме затаен соблазн, а что было бы при отсутствии цензуры?

Огилви продолжал рассуждать на занимавшую его тему:

— Я, Стэнли, склонен считать, что вся беда именно в том, что «Ромео и Джульетта» ставилась с сокращениями. А если бы сцена с кормилицей не была вычеркнута? Упомянутая мной молодая особа знала бы больше и натворила бы меньше. Меня это очень заинтересовало. Они оставили только луну и звезды. А потом балкон и «мой Ромео!».

— Ну, Шекспир — это совсем другое, чем современная чепуха. Я с Шекспиром спорить не намерен. И не собираюсь резать Шекспира. Я не такой. Пусть остается, как есть. Но современные миазмы...

Мистер Стэнли яростно стал мазать мясо горчицей.

— Хорошо, оставим Шекспира,— сказал Огилви.— Интересно то, что наши молодые женщины разгуливают теперь свободно, как ветер, и везде к их услугам отдел актов гражданского состояния и всевозможные удобства такого же сорта. Ничто не удерживает их от всяких

затей, они лишь отвыкают говорить правду и обуздывать свою фантазию. В этом отношении они только подзадоривают друг друга. Это, конечно, не мое дело, но мне кажется, они должны знать больше, или мы должны решительнее сдерживать их. *Или* то, *или* другое. Они слишком свободны при таком неведении, или их неведение слишком велико при такой свободе. Вот как я смотрю. Будете есть яблочный пирог, Стэнли? Яблочный пирог у них сегодня очень хорош, очень!

7

Вечером, когда обед подходил к концу, Анна-Вероника начала:

— Отец!

Мистер Стэнли взглянул на нее поверх очков и заговорил торжественным тоном, тщательно подбирая слова:

— Если ты хочешь что-нибудь сообщить мне, для этого есть кабинет. Я сейчас покурю и потом пойду туда. Не представляю, что ты можешь мне сказать. Я полагал, что мое письмо внесло полную ясность. Кроме того, мне нужно просмотреть сегодня вечером кое-какие бумаги, очень важные бумаги.

— Я долго тебя не задержу, папа,— сказала Анна-Вероника.

— Не понимаю, Молли,— заметил он, вынимая сигару из сигарного ящика, в то время как сестра и дочь встали из-за стола,— почему ты и Ви не можете вдвоем обсудить какой-то пустяк — что бы там ни было — и не беспокоить меня?

В эту ссору в семье Стэнли впервые был вовлечен и третий член, ибо все трое привыкли к замкнутости.

Мистер Стэнли умолк на полуслове, а Анна-Вероника распахнула дверь, пропуская тетку. Атмосфера была как бы насыщена грозой. Тетка, шелестя платьем, с достоинством выплыла из столовой и, поднявшись наверх, поспешила укрыться в цитадели своей комнаты. Она была вполне согласна с братом. Ее смущало и приводило в отчаяние, что племянница не обращается к ней.

Тетка видела в этом доказательство недостаточной привязанности, какого-то незаслуженного, пренебрежительного неуважения, и ей становилось еще обиднее.

Когда Анна-Вероника вошла в кабинет, она заметила, что отец явно ждал ее и подготовился к этой встрече. Оба кресла, стоявшие по обеим сторонам газового камина, были слегка повернуты друг к другу, и в круге света, падавшего от зеленой лампы, лежала на виду толстая пачка синих и белых бумаг, перевязанных розовой тесемкой. Отец держал в руке какой-то печатный документ и как будто даже не заметил ее появления.

— Садись,— сказал он и продолжал некоторое время изучать — именно «изучать» — документ. Затем он отложил его в сторону.— Ну так в чем же все-таки дело, Вероника? — спросил он с подчеркнутой иронией, насмешливо глядя на нее поверх очков.

Анна-Вероника была в бодром, приподнятом настроении, она не последовала приглашению отца и не села. Она продолжала стоять на коврике перед камином и смотрела на отца.

— Послушай, папа,— начала она очень рассудительно,— понимаешь, я должна пойти на этот бал.

Тон отца стал еще более насмешливым.

— А почему? — вкрадчиво спросил он.

Она ответила не сразу.

— Ну... Не вижу причин, почему бы мне не пойти.

— А я, представь себе, вижу.

— Так почему же мне не пойти?

— Это неподходящее место, и люди собираются там неподходящие.

— Но, папа, ты же не знаешь ни этого места, ни людей.

— И вообще это непорядок; нехорошо, неприлично, недопустимо, чтобы ты провела ночь в каком-то лондонском отеле. Какая нелепая идея! Не могу понять, что тебе втемяшилось, Вероника!

Уголки его рта недовольно опустились, он склонил голову набок и посмотрел на нее поверх очков.

— Но почему же недопустимо? — спросила Анна-Вероника, взяв с камина трубку и вертя ее в руках.

— Это же ясно! — отозвался он укоризненно и раздраженно.

— Видишь ли, папа, я не считаю это недопустимым. И тут мне хочется с тобой поспорить. Вопрос, в конце концов, сводится вот к чему: можешь ли ты

мне предоставить самой заботиться о своем благе или нет?

— Судя по этой твоей просьбе — нет.

— А я думаю — да.

— Пока ты живешь в моем доме...— начал он и вдруг замолчал.

— Ты намерен обращаться со мной так, как будто я уже не оправдала твоего доверия... По-моему, это нехорошо.

— Ну, знаешь, твои представления о том, что хорошо...— Он не договорил.— Слушай, моя дорогая,— принялся он терпеливо ее урезонивать,— ты еще ребенок, ты совсем не знаешь жизни, не знаешь ее опасностей, ее неожиданностей. Ты воображаешь, будто все в мире ужасно безобидно и просто и так далее. А в действительности это не так. И вот в чем твоя ошибка. В некоторых вещах, во многих вещах ты должна полагаться на старших, ибо они лучше знают жизнь, чем ты. Мы с твоей тетей все обсудили. Вот как обстоит дело. А теперь можешь идти.

На мгновение разговор прервался, Анна-Вероника старалась, несмотря на возникшие сложности, сохранить твердость и не растеряться. Она повернулась к отцу боком и лицом к огню.

— Понимаешь, отец,— заговорила она снова,— тут не только вопрос об этом бале. Я хочу пойти туда потому, что это расширит мой кругозор, потому что, мне кажется, там будет интересно, и я увижу что-то новое. Ты говоришь — я совершенно не знаю жизни. Должно быть, ты прав. Но как же я узнаю ее?

— Надеюсь, что некоторых вещей ты никогда не узнаешь,— сказал он.

— Не уверена. Я хочу узнать, и как можно больше.

Он издал какое-то сердитое восклицание, задымил своей трубкой и потянулся к бумагам, перевязанным розовой тесемкой.

— Так и будет. Именно это я и собиралась тебе сказать. Я хочу быть человеком; я хочу увидеть жизнь и узнать ее, и не нужно меня оберегать, словно какое-то создание, слишком хрупкое для жизни, которое держат, точно в клетке, в каком-то тесном уголке.

— В клетке! — воскликнул он.— Разве я возражал, когда ты захотела учиться в колледже? Разве не позволял уходить и приходить в приличное для девушки время? Наконец, ты же завела себе велосипед!

— Гм...— пробормотала Анна-Вероника.— Но я хочу, чтобы ко мне относились серьезно. В моем возрасте девушка — вполне взрослый человек. Я хочу продолжать свои университетские занятия в соответствующих условиях, ведь я уже окончила среднюю школу. И притом неплохо. Пока я еще ни на одном экзамене не засыпалась. А Родди засыпался на двух...

— Послушай, Вероника,— перебил ее мистер Стэнли,—давай будем говорить в открытую. Ты не поступишь на эти богопротивные курсы Рассела. Ты будешь учиться только в Тредголдском колледже. Я все продумал, и тебе придется смириться. Тут есть целый ряд соображений. Пока ты живешь у меня, ты должна подчиняться моим взглядам. Ты заблуждаешься даже относительно места этого человека в ученом мире и характера его работы. В Лаундине есть люди, которые смеются над ним, просто смеются. И я сам видел работы его учеников — они поразили меня. Ну... они граничат с непристойностью. Ходят также всякие слухи насчет его ассистента Кейпса. Так или иначе. Это человек, который не довольствуется своей наукой, он пишет еще статьи для ежемесячных обозрений. Словом, решено: ты туда не поступишь.

Молодая девушка выслушала это заявление молча, она смотрела, опустив голову, на пламя газового камина, но на ее лице, обращенном к камину, появилось упрямое выражение, вдруг подчеркнувшее скрытое сходство между дочерью и отцом. Затем она снова обратилась к мистеру Стэнли, и губы ее задрожали:

— Значит, когда я окончу колледж, мне предстоит вернуться домой?

— По-моему, это вполне естественно.

— И бездельничать?

— Молодая девушка найдет себе дома немало дел.

— Пока кто-нибудь не сжалится и не женится на мне?

Он поднял брови, будто кротко укоряя ее; затем нетерпеливо топнул ногой и взялся за бумаги.

— Послушай, отец,— сказала она изменившимся голосом,— а если я не подчинюсь?

Он взглянул на нее, словно она высказала совершенно новую мысль.

— А если, например, я все-таки пойду на этот бал?

— Не пойдешь.

— Так...— У нее на миг перехватило дыхание.— А разве ты можешь помешать мне пойти?

— Но я же запретил тебе! — сказал он резко.

— Да, знаю. А если я все-таки пойду?

— Послушай, Вероника! Нет, нет. Так нельзя. Пойми же меня! Я тебе запрещаю. Я не хочу даже слышать, что ты мне не подчинишься, я не желаю этого.— Он говорил теперь очень громко.— Я запрещаю!

— Я готова отказаться от любого намерения, если ты мне докажешь, что оно дурное.

— Ты откажешься от всего, от чего, по-моему, тебе следует отказаться!

Наступила пауза, они пристально смотрели друг на друга, лица у них были красные и полные упрямства.

Девушка пыталась с помощью каких-то удивительных, скрытых и незаметных для него усилий сдержать подступавшие слезы. Но, когда она заговорила, ее губы дрогнули и слезы полились из глаз.

— Я решила пойти на этот бал,— пролепетала она.— Я решила пойти на этот бал. Я хотела спокойно все обсудить с тобой, но ты не желаешь ничего обсуждать. Ты не терпишь никаких возражений.

Когда он увидел ее слезы, его лицо выразило торжество и вместе с тем растерянность. Он встал, видимо, желая обнять ее, но Анна-Вероника быстро отступила, вынула носовой платок, торопливо провела им по лицу, судорожно глотнула и перестала плакать.

— Послушай, Вероника,— сказал он уже без всякой иронии, и в его голосе зазвучала просьба,— Вероника, это же просто неразумно. Мы же хотим тебе добра! Мы с тетей заботимся только о твоем благе!

— Но вы мне жить не даете! Дышать не даете!

Мистер Стэнли потерял терпение. Он явно решил запугать ее:

— Это еще что за вздор? Бред какой-то! Но ты ведь живешь, дорогая моя, ты дышишь! У тебя есть дом Есть

знакомые, друзья, положение в обществе, братья и сестры, все преимущества. Но всему этому ты предпочитаешь сомнительные курсы или еще там не знаю что, где препарируют кроликов, или танцевать ночи напролет в диких костюмах с какими-то случайными знакомыми — художниками и бог знает с кем! Нет... Так жить нельзя! Ты просто с ума сошла! Не понимаешь, о чем ты просишь и чего ты хочешь. У тебя нет ни здравого смысла, ни логики. Очень жалею, что как будто обидел тебя, но все это я говорю, желая тебе добра. Ты не посмеешь туда идти и не пойдешь! Мое решение твердо. И это мое решение несокрушимо, как... как алмаз. Придет время, Вероника, помяни мое слово, придет время, когда ты будешь благословлять меня за мою сегодняшнюю твердость. Мне очень тяжело огорчать тебя, но того, чего ты желаешь, не будет.

Он хотел подойти к ней, но она отпрянула, и он остался один на коврике перед камином.

— Что ж,— сказала Анна-Вероника, — спокойной ночи, отец.

— Как,— удивился он,— ты меня не поцелуешь?

Она сделала вид, что не слышит.

Дверь беззвучно закрылась за ней. А он еще долго стоял перед камином, обдумывая происшедшее. Потом сел и начал задумчиво и не спеша набивать трубку...

— Нет, ничего другого я ей сказать не мог,— пробормотал он.

ГЛАВА ВТОРАЯ

АННА-ВЕРОНИКА РАСШИРЯЕТ СВОЙ КРУГОЗОР

1

— Анна-Вероника, ты пойдешь на Фэдденский бал? — спросила Констэнс Уиджет.

Анна-Вероника сделала паузу, обдумывая ответ.

— Собираюсь,— сказала она.

— Шьешь себе платье?

— Пойду в том, какое есть.

Они находились в комнате сестер Уиджет; Хетти лежала. У нее было, по ее словам, растяжение лодыжки, а пестрая компания гостей старалась развлечь ее. Комната

была просторная; в ней царил невероятный беспорядок; на стенах висели сделанные углем рисунки без рамок — подарки начинающих художников; распахнутый книжный шкаф, на котором стояли гипсовые слепки и половинка человеческого черепа, выставлял напоказ набор самых разнообразных книг: Шоу и Суинберн, «Том Джонс» и «Опыты» Фабиана, Поп и Дюма — все вперемежку. Констэнс Уиджет сидела, склонив голову, увенчанную пышными медными волосами, над скудно оплачиваемой работой: она наносила узор по трафарету на шершавую белую материю, разложив ее на кухонном столе, который для этой цели притащили наверх; а на ее кровати сидела стройная особа лет тридцати, в поношенном зеленом платье, причем Констэнс, указав на нее рукой, представила ее как мисс Минивер. Мисс Минивер взирала на мир большими чувствительными голубыми глазами, которые казались еще больше благодаря очкам; нос у нее был красный и защемлен на переносице, губы капризные и дерзкие. Она быстро переводила взгляд с одного на другого, и так же быстро двигались ее очки. Казалось, она готова лопнуть от желания что-то сказать и только ждет подходящего случая. На отвороте ее платья была пришита пуговица из слоновой кости с надписью: «Избирательное право для женщин». Анна-Вероника сидела в ногах у страдалицы, а Тедди Уиджет, юноша атлетического сложения, занимал единственное в комнате кресло — нечто декадентское и условное, вроде треножника, курил сигареты и старался скрыть от всех, что смотрит, не отрываясь, на брови Анны-Вероники. Тедди и был тем самым молодым человеком без шляпы, из-за которого она два дня назад пошла не по главной улице, а тропинкой через поле. Он был моложе обеих сестер, воспитывался вместе с ними и привык проводить время в женском обществе. Ваза с розами, только что принесенными Анной-Вероникой, украшала общий туалетный столик, а сама она была изящно одета, так как собиралась пойти под вечер с теткой в гости.

Анна-Вероника решила дать кое-какие пояснения.

— Мне запретили идти на этот бал,— сказала она.

— Здравствуйте! — отозвалась Хетти, повертывая голову, лежавшую на подушке, а Тедди произнес с глубоким возмущением:

— Боже мой!

— Да,— продолжала Анна-Вероника,— и это все осложняет.

— Тетечка? — спросила Констэнс, которая была в курсе всех дел Анны-Вероники.

— Нет! Отец. Это... это — серьезное препятствие.

— Почему же он запретил? — осведомилась Хетти.

— Вот в том-то и загвоздка. Я спросила его, почему, и он не привел никакой причины.

— Вы спросили отца о причине? — произнесла мисс Минивер с подчеркнутым изумлением.

— Да. Я попыталась объясниться с ним, но он не пожелал.— Анна-Вероника задумалась.— Именно поэтому, мне кажется, я и должна пойти,— закончила она.

— Вы спросили отца о причине? — повторила мисс Минивер.

— А мы, бедняжечка моя, обычно все выясняем с нашим отцом,— сказала Хетти.— Он привык, и ему даже нравится.

— Мужчины,— заявила мисс Минивер,— всегда все делают без причин! Всегда! И сами этого не ведают. Понятия не имеют! Это одна из их худших черт, одна из самых худших.

— Но я боюсь, Ви,— заметила Констэнс,— что, если тебе запретили, а ты все-таки пойдешь, произойдет ужасный скандал.

Анна-Вероника решила быть откровенной до конца. Положение, в которое она попала, очень тревожило ее, а у Уиджетов ее окружала атмосфера нетребовательности и сочувствия и вызывала желание многое обсудить.

— Дело не только в танцах,— сказала она.

— Тут еще и курсы,— добавила Констэнс, как более опытная.

— Тут вся ситуация. Видимо, я еще не имею права жить. Не имею права учиться, расти. Я должна сидеть дома и находиться как бы в подвешенном состоянии.

— О, какая тоска! — изрекла мисс Минивер гробовым голосом.

— Надо выйти замуж, Ви,— заявила Хетти.

— У меня нет желания.

— Тысячи женщин выходили замуж только ради свободы,— снова изрекла мисс Минивер,— тысячи! Тьфу! И оказалось, что брак — это еще большее рабство!

— Должно быть,— заметила Констэнс, продолжая рисовать ярко-розовые лепестки,— такова наша судьба. Но это ужасно.

— В чем же ты видишь нашу судьбу? — спросила ее сестра.

— В рабстве, угнетении. Когда я об этом думаю, я всякий раз вижу перед собой мужской сапог. Мы храбро это скрываем, но так оно и есть. Ах, черт! Брызнула!

Мисс Минивер придала себе внушительный вид. Она обратилась к Анне-Веронике, словно решила поведать великие открытые ею тайны.

— В том смысле, в каком дело обстоит сейчас,— это верно. Мы живем, подчиняясь созданным мужчинами законам, и в этом их сила. Фактически каждая девушка, за исключением очень немногих, которые преподают или печатают на машинке, да и то им платят гроши и выжимают все соки,— страшно подумать, как выжимают соки...— Она потеряла нить и не вывела никакого заключения. После паузы она закончила: — Так будет до тех пор, пока мы не получим избирательных прав.

— Я всей душой за избирательное право,— сказал Тедди.

— Вероятно, девушкам и впредь будут платить гроши и выжимать из них все соки,— заметила Анна-Вероника.— Вероятно, нет возможности получить приличный заработок и стать независимой.

— Женщины фактически лишены экономической свободы потому,— сказала мисс Минивер,—что у них нет свободы политической. Уж об этом мужчины позаботились. Единственная профессия, которая считается для женщины подходящей,— разумеется, кроме сцены,— это преподавание, и тут мы буквально топчем друг друга. Все остальное — юриспруденция, медицина, биржа,— к ним предрассудки закрывают нам доступ.

— Существует еще живопись,— заметила Анна-Вероника,— и литература.

— Талант есть далеко не у всех. Да и тут перед женщинами не открыта широкая дорога. Мужчины против

нас. Что бы мы ни сделали, все сводится на нет. Самые лучшие романы написаны женщинами, а посмотрите, как до сих пор мужчины иронизируют над женщинами-романистками. Если женщина хочет выдвинуться — у нее только один путь: понравиться мужчинам. Они воображают, что мы только для этого и существуем!

— Мы скоты,—заявил Тедди,— скоты!

Однако мисс Минивер не обратила внимания на его признание.

— Конечно,— продолжала мисс Минивер вибрирующим от волнения голосом,— конечно, мы нравимся мужчинам. Мы обладаем этим даром. Мы видим их со всех сторон и все, что в них скрыто, видим их насквозь, и многие из нас молча пользуются этим для наших целей. Не все, но многие из нас. Пожалуй, слишком многие. Интересно, что сказали бы мужчины, если бы мы сбросили маски, если бы мы объяснили им, какого мы в действительности мнения о них!

На ее щеках вспыхнул лихорадочный румянец.

— Материнство — вот в чем наша гибель,— добавила она.

Затем она пустилась в длинные, путаные и патетические разглагольствования относительно положения женщины, пересыпая их неожиданными выводами. Констэнс продолжала рисовать, Анна-Вероника и Хетти слушали, а Тедди издавал сочувственные восклицания и курил одну за другой дешевые сигареты. Свои слова она сопровождала короткими жестами и, сжав плечи, как бы выставляла вперед голову; ее взгляд порой устремлялся на Анну-Веронику, порой на стену, где висел снимок с Аксенштрассе, возле Флюэлена. Анна-Вероника следила за выражением лица мисс Минивер: та и смутно привлекала ее и смутно отталкивала какой-то своей физической неполноценностью и судорожными движениями; девушка недоумевала, и ее тонкие брови были слегка нахмурены. В сущности, вся речь мисс Минивер состояла из обрывков чужих суждений, прочитанных книг и доказательств, на которые она просто ссылалась, не пытаясь в них проникнуть, и все это подавалось под соусом какого-то необоснованного энтузиазма, неглубокого, но пылкого. Анна-Вероника до известной степени научилась в Тредголдском колледже распутывать нити

сбивчивых утверждений и почему-то была уверена, что во всей этой неразберихе звонких фраз все же кроется что-то подлинное, значительное. Но уловить его было очень трудно. Она не понимала звучавшей во всем этом враждебности к мужчинам, озлобленной мстительности, от которой горели щеки и глаза мисс Минивер, и негодования против какой-то накапливавшейся годами несправедливости, которая становилась под конец невыносимой. Она лично и не подозревала об этой невыносимой несправедливости.

— Мы явление родовое,— продолжала мисс Минивер,— а мужчины — эпизодическое. Они ужасно горды, но это так. В каждом виде животных самки важнее, чем самцы, и самцы должны им понравиться. Взгляните на петухов, на соревнование между самцами, оно происходит повсюду, только не у людей. Олени, быки — все бессловесные животные должны бороться за самку, так везде в природе. И лишь у человека самец играет главную роль; и виной этому — наше материнство; великая важность нашей роли низводит нас на низшую ступень. Пока мы были заняты детьми, они похитили у нас наши права и свободы. Дети сделали нас рабынями, а мужчины воспользовались этим обстоятельством. Как говорит миссис Шэлфорд, это победа случайного над основным. Как ни странно, у первых живых существ не было самцов, совсем не было. Это уже доказано. Они появились только у низших организмов,— она попыталась рядом мелких жестов изобразить шкалу постепенного развития жизни, казалось, она подносит к глазам экземпляры этих существ и смотрит на них сквозь очки,— среди ракообразных, где самцы стояли неизмеримо ниже самок — просто этакие прихлебатели. Смешно было глядеть на них. И среди человеческих существ женщины были в самом начале правительницами и вождями; они владели всей собственностью, они изобрели искусства. Первобытное общество было матриархатом. Да, матриархатом! А «венец творения»—мужчина был на побегушках и делал, что ему прикажут.

— И это действительно было так? — спросила Анна-Вероника.

— Это доказано,— ответила мисс Минивер и добавила: — Американскими профессорами.

— Но как же они доказали?

— С помощью науки,— пояснила мисс Минивер и торопливо продолжала говорить, причем, когда она риторическим жестом вытянула руку, в порванной перчатке мелькнула узкая полоска пальцев.— А взгляните на нас сейчас! Посмотрите, чем мы стали! Игрушками! Хрупкими безделушками! Инвалидами! Мы превратились в паразитов и в игрушки!

Анна-Вероника почувствовала, что все это нелепо, но, как ни странно, правда. Хетти, на лице которой время от времени появлялось выражение сочувствия, тоже решила высказаться. Она отважно воспользовалась риторической паузой, сделанной мисс Минивер, и, не поднимая головы, заявила:

— Игрушки — это не совсем то. Никто мной не играет. И никто не смотрит на Констэнс или на Ви как на хрупкую безделушку.

Тедди пробормотал что-то нечленораздельное, словно в горле у него происходил уличный скандал; казалось, какое-то замечание тут же задушено противником, и Тедди заторопился похоронить его, усиленно кашляя.

— Пусть лучше и не пытаются,— продолжала Хетти.— Дело не в том, что мы игрушки; мы мусор, мы горсть горючего, и это горючее нельзя оставлять без присмотра. Мы представительницы рода, и наше дело— материнство. Все это хорошо, но никто не желает этого признавать из страха, чтобы все мы не воспламенились и не начали выполнять свое назначение, не дожидаясь дальнейших разъяснительных бесед. А разве мы ничего не знали? Вся беда была раньше в нашем возрасте. Мужчины обычно женились, когда нам было семнадцать, сразу начиналась брачная жизнь, и мы не успевали протестовать. А зачем это делалось — они сами не понимали. Одному богу известно, зачем. А теперь они женятся на большинстве из нас, когда нам уже все двадцать, и мы выходим замуж все позднее и позднее. А до замужества мы слоняемся без дела. И вот тут открывается какая-то пропасть, и никто не знает, что с нами делать. Мир запружен бесполезными и ожидающими женихов дочерьми. Слоняться без дела! И вот мы задумываемся и начинаем задавать вопросы, и вот мы уже ни то, ни другое. С одной стороны, мы человече-

ские существа, а с другой — самки, пребывающие в ожидании.

Мисс Минивер с недоумением следила за разговором, ее губы шевелились, казалось, она вот-вот разразится бесполезными сентенциями. Тот метод мышления, который был в ходу у Уиджетов, представлял большую трудность для ее теоретически не развитого ума.

— Единственное средство — избирательное право,— начала она нетерпеливо.— Дайте нам это...

Анна-Вероника довольно бесцеремонно перебила мисс Минивер.

— В том-то и дело,— сказала она,— никто не знает, что с нами делать. Им нечего нам предложить.

— Они умеют одно,— подхватила Констэнс, наклонив голову и разглядывая свой рисунок,— держать спички подальше от горючего.

— И не дают нам самим распоряжаться своей жизнью.

— А мы будем настаивать на своем,— продолжала мисс Минивер,— даже если кого-нибудь из нас убьют за это.— Она сжала губы с отчаянной решимостью; в ней совершенно явно чувствовалась та жажда борьбы и самопожертвования, которая спокон веку давала миру мучеников.— Мне бы хотелось, чтобы каждая женщина, каждая девушка поняла так же отчетливо, как понимаю я, что значит для нас право голоса. Что оно значит...

2

Когда Анна-Вероника возвращалась домой по главной улице, она заметила позади себя легконогого преследователя. Тедди догнал ее, слегка запыхавшись, его простодушное лицо разрумянилось, светлые волосы были растрепаны. Он заговорил отрывисто, с трудом переводя дыхание:

— Послушайте, Ви, полминуты, Ви. Вот в чем дело: вы хотите стать свободной. Так слушайте. Все дело в том, что вы хотите быть свободной. И мне пришла в голову одна идея. Вы знаете, что делают русские студенты? В России? Заключают фиктивный брак. Это только формальность. И девушка освобождается от родительского контроля. Понимаете? Выходите за меня. Вот и все. Ни-

каких дальнейших обязательств. И без всяких препятствий сейчас же займетесь делом. Почему бы и нет? Я согласен. Получите брачное свидетельство. Это я придумал. А мне же нетрудно. Я готов сделать все, чтобы доставить вам удовольствие, Ви. Все. Я не достоин быть пылью, по которой вы ступаете. И все-таки вы здесь!

Он умолк.

Анне-Веронике неудержимо хотелось расхохотаться, но это желание прошло, когда она увидела выражение глубочайшей серьезности на лице юноши.

— Вы ужасно хороший, Тедди,— сказала она.

Он молча кивнул, слишком взволнованный, чтобы говорить.

— Но все-таки мне непонятно,— продолжала Анна-Вероника,— какое это имеет отношение к моему теперешнему положению.

— Да нет, я просто предложил. Забудьте об этом. Но если... когда-нибудь... вы увидите в этом смысл... измените ваше мнение... Я всегда к вашим услугам. Надеюсь, вы не обиделись. Ну, все в порядке! Я пошел. Обещал играть у Джексонов. Отчаянные игроки. До свидания, Ви! Я только предложил. Понимаете? Просто так. Забудьте.

— Тедди,— отозвалась Анна-Вероника,— вы прелесть.

— Ну еще бы! — нервно ответил Тедди и, приподняв воображаемую шляпу, пошел прочь.

3

Визит, который Анна-Вероника нанесла под вечер вместе со своей теткой, вначале имел такое же отношение к разговору у Уиджетов, какое имела бы гипсовая статуя Гладстона к небрежно разбросанным внутренностям человека на анатомическом столе. Уиджеты обсуждали интересовавшие их вопросы, срывая с них все покровы, а Пэлсуорси находили объяснение смысла жизни прямо на поверхности. Анне-Веронике же казалось, что в окружавшем ее мире, где все было под чехлами, Пэлсуорси — самые непонятные люди. Умственный багаж Уиджетов мог быть скуден и потерт, но он был весь перед вами, неприкрашенный, выцветающий на глазах при безжа-

лостном солнечном свете. Леди Пэлсуорси была вдовою рыцаря, получившего свои шпоры благодаря оптовой продаже угля; она происходила из хорошей провинциальной семьи юристов, известной с семнадцатого века, и состояла в дальнем родстве с приходским священником — покойным женихом тети Молли. Эта дама являлась общественным лидером в Морнингсайд-парке и, несмотря на легковесность и выспренность суждений, была милой и добрейшей женщиной. Вместе с ней жила некая миссис Прэмлей, сестра местного врача, очень активный и полезный член Комитета общества вспомоществования обедневшим леди. Обе дамы были близко знакомы и на дружеской ноге со всей аристократией Морнингсайд-парка; раз в месяц они принимали у себя днем, и к ним охотно ходили, иногда устраивали музыкальные вечера, бывали на званых обедах и сами давали ответные обеды, у них имелась большая крокетная площадка и площадка для тенниса, и они владели искусством собирать вокруг себя людей. Они никогда ничего не обсуждали, никогда не спорили, даже не поддерживали сплетен. Они просто были премилые.

Анна-Вероника очнулась уже на главной улице, которая была свидетельницей первого сделанного ей предложения; она шагала рядом с теткой и в первый раз в жизни старалась понять ее взгляды на жизнь. Обычно тетка держалась с глубокой и спокойной уверенностью, словно знала решительно все на свете, и не говорила того, что ей известно лишь из прирожденной деликатности. Но сдержанность, развившаяся в ней благодаря этой деликатности, была очень велика — кроме вульгарных тем и вопросов пола, ее молчаливость распространялась на религию и политику, на любые разговоры о деньгах и преступлениях, и Анна-Вероника недоумевала, не является ли это исключение стольких тем в конце концов просто их замалчиванием. Таилось ли какое-нибудь содержание в этих запертых комнатах тетушкиной мысли? Имелась ли там полная обстановка, лишь слегка покрывшаяся пылью и паутиной, и ее следовало только проветрить, или там царила полная пустота, разве что мелькнет таракан и начнет грызть под полом крыса? Что является умственным эквивалентом крысиного грызения? Этот образ отвлек ее. А как тетка отнеслась бы к импро-

визированному предложению Тедди выйти за него замуж? Какого мнения она была бы о разговоре у Уиджетов? Допустим, Анна-Вероника сообщит тетке спокойно, но твердо относительно паразитизма самцов у вырождающихся ракообразных. Девушка едва сдержала смешок, который показался бы необъяснимым.

Затем в ее сознание потоком хлынули антропологические теории, вызвав искреннее чувство юмора. Девушку втайне тревожила эта особенность ее ума, вследствие которой ее мысли вдруг искривлялись, принимая гротескные формы, словно они поднимали бунт и мятеж. В конце концов, говорила она себе, за благодушным лицом тетки кроется такое страшное прошлое — не лично ее, тетки, там был только этот священник и почти невероятная скука,— но прошлое предков со всякими скандальными событиями: пожарами и убийствами, экзогамией, женитьбами на похищенных женщинах, наркотиками, каннибализмом! Прапрабабушки с, быть может, смутно и предварительно намечающимися чертами сходства с теткой, уж, конечно, менее аккуратно причесанные, с еще не дисциплинированными манерами и жестами, но все же ее прапрабабки по прямой линии, одетые в покрашенные вайдой кожи, вероятно, прошли, танцуя, через короткую и волнующую жизнь. Неужели в умиротворенном мозгу мисс Стэнли не осталось никаких отзвуков? Эти пустые комнаты, если они были пусты, являлись как бы эквивалентами своих роскошно убранных предшественниц. Может быть, очень хорошо, что мы не наследуем воспоминаний.

Анна-Вероника была прямо-таки потрясена возникшими у нее мыслями, однако продолжала свои причудливые построения. Распахивались дали истории, и вот уже она вместе с тетей почти вернулась к прежнему состоянию примитивных, страстных и совершенно неприличных существ, которые жили на деревьях, повисая на руках, перебрасывались с ветки на ветку и вытворяли всякие отчаянные штуки... Но, к счастью, они с тетей в это время дошли до Пэлсуорси, игра воображения Анны-Вероники была прервана, и ей пришлось вернуться к жизни, прикрытой чехлами.

Анна-Вероника нравилась леди Пэлсуорси оттого, что всегда была ловка, одета с неизменной тщательностью,

держалась с достоинством и взгляд у нее был спокойный. В ней есть именно та строгость и скромность, которые девушке необходимы, думала леди Пэлсуорси; она сообразительная, не болтушка, в ней почти нет ни напористости, не беспорядочности, ни самоуверенности, столь типичных для современных барышень. Но леди Пэлсуорси не довелось видеть, как Анна-Вероника мчится, словно ветер, во время игры в хоккей. Она никогда не видела, как та сидит на столе, не слышала, как спорит о теологии, и не удосужилась заметить, что фигура у нее изящная от природы, а не благодаря удачному корсету. Эта дама считала само собой разумеющимся, что Анна-Вероника носит корсет, может быть, эластичный, но корсет, сомневаться не приходилось. На самом деле она видела ее только за чайным столом, в высшей степени подтянутую, как и все Стэнли. В наши дни существует так много девушек, которые за чайным столом совершенно неприличны с их неумеренным хохотом, ужасной манерой закидывать ногу на ногу, вульгарной склонностью к жаргону; правда, они больше не курят, как курили в восьмидесятых и девяностых годах, но для утонченного интеллекта — от них все равно, что пахнет табаком. В них нет никакой любезности, они словно нарочно царапают гладкую и приятную поверхность вещей. А леди Пэлсуорси и миссис Прэмлей жили на свете ради любезностей и приятной поверхности вещей. Анна-Вероника принадлежала к числу тех немногих представительниц молодежи — а их нужно иметь подле себя так же, как цветы,— которых можно приглашать на небольшие сборища, не рискуя внести режущий ухо диссонанс. Кроме того, ввиду дальнего родства с мисс Стэнли они испытывали легкое, но приятное чувство собственности по отношению к этой девушке. И лелеяли на ее счет кое-какие планы.

Миссис Прэмлей приняла их в изящной, обитой ситцем гостиной, французские окна которой были распахнуты в сад с его крокетной площадкой, теннисной сеткой на корте и уходящей вдаль аллеей роз, окаймленных стройными георгинами и яркими подсолнечниками. Ее понимающий взгляд встретился со взглядом мисс Стэнли, и она поздоровалась с Анной-Вероникой чуть-чуть ласковее обычного. Затем Анне-Веронике пришлось отправиться в сад, где был накрыт чай и собрались предста-

вители элиты Морнингсайд-парка; там ею завладела леди Пэлсуорси, напоила ее чаем и повела по дорожкам. По ту сторону лужайки Анна-Вероника увидела и сейчас же притворилась, что не видит, нерешительно топтавшегося мистера Мэннинга, племянника леди Пэлсуорси, рослого тридцатисемилетнего молодого человека с красивым, умным, бесстрастным лицом, густыми черными усами и несколько излишней размашистостью жестов. Пребывание в гостях свелось для Анны-Вероники к какой-то игре, в которой она непрерывно и в конце концов безуспешно старалась избежать разговора наедине с этим господином.

Пользуясь случаем, мистер Мэннинг не раз давал понять Анне-Веронике, что находит ее интересной, и желал бы, чтобы она заинтересовалась им. Он был гражданским чиновником с известным положением, и после нескольких дружеских бесед об эстетике, чувствительных и гуманных, он послал ей маленький томик, который назвал плодом своих досугов и в котором оказались действительно тщательно отделанные стихи. Речь шла в них о чувствах мистера Мэннинга в их самых утонченных аспектах, но, так как мысли Анны-Вероники были в значительной мере заняты основными вопросами бытия и она не находила особого удовольствия в метрических формах, книжка до сих пор оставалась неразрезанной. Поэтому, увидев его, она чуть слышно, но энергично заметила про себя: «О боже!» — и решила сделать все, чтобы уклониться от встречи.

Однако мистер Мэннинг нарушил ее тактику, устремившись к ней в ту минуту, когда она разговаривала с теткой священника насчет новых церковных ламп, которые якобы издают сильный запах. Он не то чтобы вмешался в разговор, но как-то навис над ним, ибо был высокого роста и сильно сутулился.

Лицо его, смотревшее сверху вниз на Анну-Веронику, выражало готовность ко всяким любезностям.

— Вы сегодня чудесно выглядите, мисс Стэнли,— сказал он.— Как вам, наверное, хорошо и весело!

При этих словах он просиял и с чрезвычайной экспансивностью пожал ей руку, и тут в качестве его союзницы неожиданно появилась леди Пэлсуорси и вывела тетку священника из затруднительного положения.

— Я так люблю теплый конец лета, что просто слов не нахожу! — продолжал он.— Я пытался это выразить в словах, но тщетно. Этакая кротость, знаете ли, и щедрость. Тут нужна музыка.

Анна-Вероника кивнула и попыталась согласием скрыть свою неосведомленность относительно его стихов о лете.

— Как чудесно быть композитором! Восхитительно! Возьмите хотя бы «Пасторальную» Бетховена; он лучше всех. Вам не кажется? Та-там, та-там.

Анне-Веронике тоже казалось.

— Что вы поделывали после нашей последней беседы? Продолжали анатомировать кроликов и исследовать суть вещей? Я часто вспоминал тот наш разговор, очень часто.

Он, видимо, не ждал никакого ответа на свой вопрос.

— Часто,— повторил он со вздохом.

— Как красивы эти осенние цветы! — сказала Анна-Вероника, желая прервать затянувшееся молчание.

— Пойдемте посмотрим астры в конце сада,— предложил мистер Мэннинг.

И Анна-Вероника почувствовала, что ее уводят еще дальше, и это уединение вдвоем еще *подозрительнее*, чем было на краю лужайки, причем вся компания, поглядывая на них издали, как бы помогала и подталкивала их. «Черт побери»,— сказала про себя Анна-Вероника и приготовилась к ссоре.

Мистер Мэннинг сообщил ей о том, что он любит красоту, и заклинал ее, чтобы она тоже в этом призналась; затем он стал пространно объяснять, как именно он любит красоту. Для него, заявил он, красота — оправдание жизни, он не может представить себе ни доброго поступка, который бы не был прекрасным, ни прекрасного явления, которое могло бы быть вместе с тем дурным. Тут Анна-Вероника решилась прервать его и напомнить, что ведь в истории известно немало случаев, когда очень красивые люди были довольно плохими, но мистер Мэннинг возразил, что если они были плохие, то едва ли отличались красотой, а если были действительно красивы, то едва ли были плохи. Анна-Вероника слушала его несколько рассеянно, когда он сообщил, что не считает зазорным рабское преклонение перед действительно пре-

красными человеческими существами, и тут они как раз дошли до астр. Цветы в самом деле разрослись очень густо и были прелестны на фоне шпалеры из многолетних подсолнухов.

— Глядя на них, мне просто хочется кричать от восторга,— сказал мистер Мэннинг, взмахнув рукой.

— Они в этом году очень удачны,— отозвалась Анна-Вероника, стараясь не противоречить ему.

— Мне или хочется кричать от радости,— повторил мистер Мэннинг,— или плакать.— Он сделал паузу, посмотрел на нее и вдруг конфиденциально понизил голос: — А порой мне хочется молиться.

— Когда у нас Михайлов день? — спросила Анна-Вероника вдруг довольно неожиданно.

— Бог знает когда,— ответил мистер Мэннинг и тут же добавил: — Двадцать девятого.

— А я думала, он бывает раньше,— заметила Анна-Вероника.— Кажется, в этот день опять соберется парламент?

Вытянув руку, он оперся ею о дерево и скрестил ноги.

— Полагаю, вы не интересуетесь политикой? — спросил он чуть укоризненно.

— Да нет, до некоторой степени,— отозвалась Анна-Вероника.— Кажется... это интересно.

— Вы думаете? А я лично интересуюсь такими вещами все меньше и меньше.

— Мне любопытно. Может быть, оттого, что я ничего не знаю. По-моему, человек интеллигентный должен интересоваться политикой. Ведь она касается нас всех.

— Сомневаюсь,— заметил мистер Мэннинг с загадочной улыбкой.

— Думаю, что касается. Во всяком случае, это история в ее становлении.

— Некое подобие истории,— ответил мистер Мэннинг и повторил: — Подобие истории. Но вы посмотрите, как великолепны эти астры!

— Разве вы не считаете, что вопросы политики — очень важные вопросы?

— Важные сегодня, но для вас — не считаю.

Анна-Вероника повернулась спиной к астрам и лицом к дому с таким видом, словно считала свой долг выполненным.

— Раз уж вы здесь, мисс Стэнли, давайте сядем вон на ту скамейку и посмотрим вдоль другой дорожки: вид, который нам откроется, один из самых обычных. Но он даже лучше, чем здесь.

Анна-Вероника пошла в указанном направлении.

— Знаете, я ведь держусь старомодных взглядов, мисс Стэнли. Я считаю, что женщинам незачем волноваться из-за политических вопросов.

— Я хочу получить избирательные права,— сказала Анна-Вероника.

— Да что вы! — озабоченно отозвался мистер Мэннинг и указал рукой на аллею, тонувшую в сиреневых и пунцовых тонах.— Лучше уж не надо.

— Почему? — повернулась она к своему спутнику.

— Оттого, что это дисгармонирует со всеми моими представлениями. Образ женщины для меня — нечто безмятежное, изящное, женственное, а политика — дело такое грязное, низменное, скучное, склочное... Мне кажется, обязанность женщины — быть красивой, оставаться красивой и вести себя красиво, а политика в сущности своей уродлива. Видите ли, я... я поклонник женщин. Я начал поклоняться им задолго до того, как встретил определенную женщину, которой мог бы поклоняться, очень задолго. А тут вдруг какие-то комитеты, избирательные кампании, повестки дня!

— Не понимаю, почему ответственность за красоту должна быть возложена только на женщин,— заметила Анна-Вероника, вспомнив некоторые рассуждения мисс Минивер.

— Это лежит в самой природе вещей. Для чего вам, королева, сходить со своего престола? Если вы это позволяете себе, то мы не можем позволить. Мы не можем позволить, чтобы наши мадонны, наши святые, наши Монны Лизы, наши богини, ангелы и сказочные принцессы превратились в какое-то подобие мужчин. Женственность для меня священна, и, будь я политическим деятелем, я бы не дал женщинам избирательных прав. Хотя я социалист, мисс Стэнли.

— Что? — переспросила изумленная Анна-Вероника.

— Я социалист в духе Джона Рёскина. В самом деле! Я сделал бы эту страну коллективной монархией, и все девушки и женщины в ней были бы коллективной ко-

ролевой. Они никогда не соприкасались бы с политикой, экономикой и с подобными вещами. А мы, мужчины, трудились бы для них и служили бы им с верностью вассалов.

— Это, пожалуй, целая теория,— сказала Анна-Вероника,— но, увы, как много мужчин пренебрегают своими обязанностями.

— Да,— согласился мистер Мэннинг, словно наконец закончив систему сложных доказательств,— и поэтому каждый из нас должен при существующих условиях быть настоящим рыцарем по отношению ко всем женщинам и избрать себе одну королеву, достойную обожания.

— Насколько можно судить по теперешнему положению вещей,— заговорила Анна-Вероника громким, трезвым и непринужденным тоном, медленно, однако решительно направляясь в сторону лужайки,— из этого ничего не выйдет.

— Каждый должен попытаться,— ответил мистер Мэннинг, торопливо оглядываясь по сторонам в поисках еще каких-либо красот природы в укромных закоулках сада. Однако попытки его оказались тщетными, и пришлось вернуться на лужайку.

— Все это звучит очень убедительно, если сам не являешься материалом для экспериментов,— заметила Анна-Вероника.

— А женщины должны были бы пойти на это: они обладают гораздо большей силой, чем думают,— они способны влиять, вдохновлять...

Анна-Вероника ничего не ответила.

— Вы говорите, что желали бы получить избирательное право,— неожиданно сказал мистер Мэннинг.

— Мне кажется, я должна иметь его.

— Так вот, я располагаю двумя голосами, одним — по Оксфордскому университету, другим — по Кенсингтону.— Он смолк, потом смущенно продолжал: — Разрешите мне подарить вам оба моих голоса, вы будете избирать вместо меня.

Последовала короткая пауза, затем Анна-Вероника решила сделать вид, что не поняла его.

— Мне нужен голос для самой себя,— сказала она.— Не понимаю, почему я должна получать его из вторых рук. Хотя это с вашей стороны очень любезно. И доволь-

но беспринципно. Вы когда-нибудь голосовали, мистер Мэннинг? Я полагаю, что существуют такие места, которые называются избирательными участками. И избирательные урны...— На ее лице отразились какие-то внутренние противоречия.— Что такое точно избирательная урна? — осведомилась она, сделав вид, что это для нее очень важно.

Мистер Мэннинг некоторое время задумчиво смотрел на нее, поглаживая усы.

— Избирательная урна,— ответил он,— это, знаете ли, просто большой ящик.— Потом надолго умолк и, лишь вздохнув, продолжал: — Вам дают избирательный бюллетень...

Но тут они подошли к лужайке, где толпились гости.

— Да,— только и сказала Анна-Вероника в ответ на его объяснение,— да,— и увидела на той стороне лужайки леди Пэлсуорси, которая беседовала с ее теткой, причем обе, не таясь, смотрели в упор на нее и на мистера Мэннинга.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

УТРО РЕШАЮЩЕГО ДНЯ

1

Через два дня наступил решающий день, день костюмированного бала. Перелом произошел бы так или иначе, но в сознании Анны-Вероники он осложнился тем, что на обеденном столе оказалось письмо от мистера Мэннинга, а также тем, что тетка проявила удивительный такт, делая вид, что не замечает его в течение всего завтрака. Анна-Вероника спустилась в столовую, думая только о своем бесповоротном решении пойти на бал, чего бы это ей ни стоило. Она не знала почерк мистера Мэннинга, вскрыла письмо и поняла его смысл, лишь прочитав несколько строк. На время история с маскарадом вылетела у нее из головы. Слегка покраснев, но успешно притворяясь равнодушной, она досидела за столом сколько полагалось.

Она не посещала Тредголдский колледж, так как еще не начался учебный год. Ей полагалось заниматься дома, и после завтрака она проскользнула в огород, где, примостившись на раме заброшенного парника — вдвой-

не удобное место, ибо его не было видно из окон дома и сюда вряд ли кто-нибудь мог неожиданно нагрянуть,— дочитала письмо мистера Мэннинга до конца.

Его почерк казался ясным, но разборчивым не был; буквы были крупные и закругленные, но к заглавным мистер Мэннинг относился так, как либерально настроенные люди относятся в наши дни к различиям во мнениях, полагая, что, в сущности, все они сводятся к одному и тому же — это писала скорей натренированная рука мальчишки, чем рука взрослого. Письмо занимало семь страниц почтовой бумаги, исписанных только на одной стороне.

«Дорогая моя мисс Стэнли,— начиналось оно,— надеюсь, Вы простите меня за то, что я беспокою Вас своим посланием, но я много думал о нашей беседе у леди Пэлсуорси, и я испытываю столь сильное желание Вам кое-что сказать, что не могу ждать нашей следующей встречи. Как ужасно вести разговор в светской обстановке — едва он завязался, и его уже приходится прерывать. В тот день я вернулся к себе, понимая, что не высказал ничего — ровно ничего — обо всем том, что намеревался сообщить Вам и чем были полны мои мысли. Я так жаждал поговорить с Вами об этом, что ушел домой раздосадованный и подавленный, и только когда я написал несколько стихотворений, мне стало немного легче. Хотел бы я знать, будете ли Вы очень возражать, если я признаюсь, что они навеяны Вами. Простите за поэтическую вольность, которую я позволил себе. Вот одно из них. Метрические отклонения сделаны намеренно, ибо я хотел как бы выделить Вас, говорить о Вас в совершенно другой тональности и в другом ритме.

Песнь о дамах и о даме моего сердца *

Мэри подобна лилии чистой.
Маргарет юной фиалки нежней.
Нелли — фея, бутон росистый.
Гвендолен — волшебство незабудок-очей.
Аннабел светит звездою во мраке.
Розамунда царицею-розой цветет.
А моя любимая — солнце в апреле,
Сверкнет, пригреет и вновь уйдет.

---

* Здесь и далее перевод стихов В. Микушевича.

Признаю, оно незрелое. Но пусть это стихотворение откроет Вам мою тайну. Все плохие стихи — этот афоризм, кажется, принадлежит Лангу[1] — написаны в минуту глубокого душевного волнения.

Дорогая моя мисс Стэнли, когда мы беседовали с Вами в то утро о работе, политике и тому подобных вещах, весь мой внутренний мир бурно восставал против них. Мы коснулись тогда вопроса, следует ли Вам иметь избирательные права, и мне вспомнился наш разговор в предыдущую встречу о Ваших планах пойти по стезе медицинской профессии или поступить на государственную службу, как это делают сейчас некоторые женщины, а внутри меня все кричало: «Вот она, королева твоих грез!» И мне так захотелось, сильней, чем когда-либо, взять Вас на руки, назвать своей, унести и оградить Вас от всех трудностей жизни и передряг. Ибо я твердо убежден, что назначение мужчины—оберегать женщину, защищать ее, руководить ею, трудиться для нее в поте лица, стоять на страже и сражаться за нее с целым миром. Я хочу быть Вашим рыцарем, Вашим слугой, Вашим защитником, Вашим — я едва дерзаю написать это слово,— Вашим супругом. Итак, отдаю себя на Вашу милость. Мне тридцать пять лет, я немало колесил по свету и познал цену жизни. Мне пришлось выдержать жестокую борьбу, чтобы подняться по служебной лестнице — я был третьим в списке из сорока семи,— и с той поры я почти каждый год продвигаюсь вперед на широком поприще общественного служения. До встречи с Вами мне не пришлось встретить ни одной женщины, которую я смог бы полюбить, но Вы открыли мне такие глубины моего существа, о которых я даже не подозревал. Если не считать нескольких вспышек страсти в ранней молодости, естественных для человека пылкого и романтического и не оставивших пагубных последствий,— вспышек, за которые, если судить по законам справедливости, никто не смеет бросить в меня камень и которых я, со своей стороны, нисколько не стыжусь,— я предстаю перед Вами человеком чистым, не обремененным никакими обязательствами. Я люблю Вас. Кроме жа-

---

[1] Ланг, Эндрю (1844—1912)—английский поэт и критик; известен как исследователь фольклора и мифологии.

лованья, я получаю доход от надежной собственности и имею виды на увеличение моего состояния благодаря тетушке, поэтому у меня есть возможность предложить вам жизнь многообразную и утонченную — путешествия, книги, увлекательные беседы и общение с кругом даровитых, выдающихся, мыслящих людей, с которыми меня свела моя литературная работа и о которых Вы, встречаясь со мной только в Морнингсайд-парке, вряд ли имеете представление. Я занимаю неплохое положение не только как поэт, но и как критик и состою членом одного из самых блестящих наших клубов, где я обедаю и где встречаются для самых непринужденных и приятных бесед государственные деятели, художники, скульпторы, преуспевающие представители богемы и вообще аристократическая интеллигенция. Это моя истинная среда, и я не сомневаюсь, что не только Вы стали бы ее украшением, но и она Вам бы очень понравилась.

Мне крайне трудно писать это письмо. Я хочу сказать Вам так много и о вещах столь различных, что невольно теряюсь, письмо получается сумбурным, и я не уверен, что мне удалось передать чувство, которое жило бы в нем как основной мотив. Я сознаю, что оно похоже на свидетельство, или прошение, или что-нибудь в этом роде, но поверьте, я пишу его со страхом, с дрожью, с замиранием сердца. В мозгу моем теснятся образы и мысли, которые я втайне лелеял,— мечты о совместных путешествиях, безмятежных завтраках в каком-нибудь уютном ресторанчике, о лунном сиянии и музыке, обо всей романтике жизни, о том, чтоб видеть Вас одетой, как королева,— Вы сверкаете в блистательном обществе, и Вы моя, Вы ухаживаете за цветами в старом саду, в нашем саду — в Сэррее сдаются внаем прелестные коттеджи, а небольшая моторная лодка мне вполне по средствам. Говорят — я уже приводил эти слова,— что все плохие стихи написаны в минуты сильного душевного волнения, но я уверен, что слова эти в равной мере относятся к неловко сделанному предложению руки и сердца. Мне не раз приходило на ум, что легко пишет стихи только тот, кому нечего сказать. Пример тому Броунинг. И как могу я высказать в одном коротеньком письме все то обилие желаний, накопившихся почти за шестнадцать месяцев — это я узнал, обратившись к сво-

ему дневнику,— с того дня, когда Вы завладели моими мыслями, с того веселого пикника в Сарбитоне, когда мы мчались с Вами в лодке и обогнали другую. Вы правили, я греб. Фразы спотыкаются и подводят меня. Но меня не огорчает, если даже я смешон. Я человек решительный и до сих пор всегда добивался того, чего хотел, но я никогда еще ничего так горячо не желал, как желаю Вас. Это совсем другое. Мне страшно оттого, что я люблю Вас, и одна мысль о возможном отказе причиняет мне боль. Если бы я любил Вас не так пламенно, я, может быть, завоевал бы вас одной только силой своего характера — мне говорили, что по своей природе я принадлежу к типу людей властных. Я почти всегда достигал успеха благодаря какой-то неудержимой энергии.

Что ж, то, что я хотел, я высказал, хоть и нескладно, коряво, сухо. Но мне надоело рвать письма, и я не надеюсь изложить свои мысли лучше. Мне не доставило бы особого труда написать красноречивое письмо, если бы речь шла о чем-нибудь другом. Но ни о чем другом я писать не хочу. Позвольте же задать Вам главный вопрос, вопрос, который мне не удалось задать в то утро. Согласны ли Вы стать моей женой, Анна-Вероника?

Искренне преданный Вам
Хьюберт Мэннинг».

Анна-Вероника прочла письмо, ее взгляд был серьезен, внимателен. По мере чтения интерес возрастал, исчезало чувство какой-то гадливости. Она дважды улыбнулась и совсем не зло. Потом вернулась к началу, перелистала страницы и некоторые фразы прочитала вторично. Наконец она погрузилась в раздумье.

«Странно! Видимо, придется написать ответ. Как это не похоже на то, что тебе рисует воображение»,— подумала она.

Сквозь стекла теплицы она заметила тетку, которая с самым невинным видом появилась из-за кустов малины.

— Нет уж! — воскликнула Анна-Вероника и, поднявшись, быстрым, решительным шагом направилась к дому.

— Я погуляю и вернусь не скоро, тетя,— сказала она.

— Одна, дорогая?

— Да, тетя, мне надо многое обдумать.

Глядя вслед Анне-Веронике, задумалась и мисс Стэнли. Ее племянница слишком требовательна, слишком уверена в себе и хладнокровна. В эту пору жизни ей бы следовало быть мягче, ласковее и не такой скрытной. Она как будто не испытывает тех чувств и волнений, какие должна испытывать девушка ее возраста и в ее положении. Мисс Стэнли, размышляя, шла по дорожкам, как вдруг по дому и саду разнесся громкий стук захлопнутой Анной-Вероникой парадной двери.

— Хотела бы я знать...— произнесла мисс Стэнли.

Она долго разглядывала шпалеру высоких штокроз, словно в них искала ответа. Затем вошла в дом, поднялась наверх, помедлила на лестничной площадке и, слегка запыхавшись, но с большим достоинством, отворила дверь и переступила порог комнаты Анны-Вероники. Это была аккуратная комната, производившая впечатление деловитости, с письменным столом, удобно поставленным около окна, и этажеркой, увенчанной черепом свиньи, колбой с заспиртованной лягушкой и стопкой тетрадей в глянцевитых черных обложках. В углу стояли две хоккейные клюшки и теннисная ракетка, а развешанные на стенах автотипии свидетельствовали о склонности Анны-Вероники к искусству. Но не эти предметы привлекли внимание мисс Стэнли. Она направилась прямо к гардеробу и открыла дверцу. Там, среди обычных туалетов Анны-Вероники висело узкое платье из красного холста, отделанное дешевой серебряной тесьмой — совсем короткое,— оно, наверное, не прикрывало даже колен. На этот же крючок был накинут явно относящийся к костюму черный бархатный корсаж. И еще один предмет, который, несомненно, служил дополнением к юбке.

Мисс Стэнли постояла в нерешительности, потом сняла с вешалки одну из частей этого туалета, за ней вторую и принялась их рассматривать.

Третий предмет она взяла дрожащей рукой за поясок. Когда она подняла его кверху, нижняя часть повисла двумя алыми шелковыми мешками.

— Шаровары! — прошептала мисс Стэнли.

Она обвела глазами комнату, словно взывая даже к стульям.

Взгляд ее задержался на паре турецких, бутафорских оранжево-золотых башмачков, засунутых под письмен-

ный стол. Все еще держа в руках шаровары, она подошла ближе, чтобы получше разглядеть башмачки. Они были искусно сделаны из позолоченной бумаги и варварски наклеены, по-видимому, на самые лучшие бальные туфли Анны-Вероники.

Мысли ее вернулись к шароварам.

— Как я скажу ему? — прошептала мисс Стэнли.

2

Анна-Вероника прихватила легкую, но практичную трость. Непринужденной, быстрой походкой она прошла по главной улице, пересекла пролетарский район Морнингсайд-парка и оказалась на прелестной, затененной листвой тропинке, которая вела к Кэддингтону и меловым холмам. Здесь она замедлила шаг. Она сунула трость под мышку и перечла письмо мистера Мэннинга.

— Надо подумать,— сказала Анна-Вероника.— И зачем оно пришло именно сегодня!

Собраться с мыслями оказалось не так просто. Да она хорошенько и не знала, о чем именно надо подумать. В сущности, во время этой прогулки она намеревалась решить самые жизненные вопросы и прежде всего вопрос, как будто касавшийся ее лично,— что ей ответить на письмо мистера Мэннинга. Но чтобы в этом разобраться, ей, с ее трезвым и последовательным умом, необходимо было понять отношения мужчин к женщинам вообще, условия и задачи брака, как он влияет на благополучие нации, на цель нации, цель всего, если только она есть...

— Ужасно много неразрешимых вопросов!—прошептала Анна-Вероника.

К тому же, у нее, совсем уже некстати, не выходила из головы история с костюмированным балом, из-за которой все на свете вызывало невольный протест. Ей казалось, что она думает о предложении мистера Мэннинга, и вдруг замечала, что думает о бале.

А когда она шла по сельской улице Кэддингтона, пытаясь сосредоточиться, ее отвлекли сначала пучеглазый автомобиль, в который набилось несколько человек, а потом молодой конюх, который восседал на одной лошади,

сдерживая ее, так как она вставала на дыбы, и вел на поводу другую. Шагая по унылому, поднимавшемуся в гору шоссе, она вернулась к своим сомнениям, и теперь все остальное заслонил образ мистера Мэннинга. Вот он перед ней, загорелый, рослый, представительный, из-под пышных усов льются заведомо приятные, отточенные, скучные фразы, которые он произносит звучным голосом. Он сделал ей предложение, он хочет, чтобы она принадлежала ему! Он любит ее.

Анна-Вероника не испытывала отвращения при мысли о браке. Любовь мистера Мэннинга казалась ей бескровной, лишенной пыла и кипения страсти, она не волновала воображение и не отталкивала. Брачный союз с ним представлялся таким же бесплотным и бескровным, как, например, закладная. Это было что-то вроде родства, влекущего за собой взаимные обязательства, и совсем не принадлежало к тому миру, в котором мужчина готов умереть за поцелуй, а прикосновение руки зажигает огонь, в котором сгорает жизнь, к миру романтики, миру сильных, прекрасных страстей.

Но тот мир, хотя она решительно его изгоняла, вечно был где-то тут рядом, смотрел на нее сквозь щели и скважины, просачивался и вторгался в установленный ею для себя порядок жизни, светился в картинах, отдавался эхом в лирических стихах и музыке; он проникал в ее сновидения, писал отрывистые, загадочные фразы на ткани ее мозга. Она ощущала его и сейчас, словно крик за окнами дома, словно голос, страстно взывающий к правде в пламенном сиянии солнца, голос, который не смолкает, когда люди ведут лицемерный разговор в затемненной комнате, притворяясь, будто не слышат его. Голос этот каким-то таинственным образом внушал ей, что мистер Мэннинг ей совсем не подходит, хоть он загорелый и представительный, красивый и добрый, ему лет тридцать пять и он со средствами, у него есть все, что требуется от мужа. Но, настаивал голос, нет в его лице выразительности, живости, нет в нем ничего, что согревает. Если бы Анна-Вероника могла передать словами этот голос, вот как он звучал бы: «Или брак по страстной любви, или никакого!» Но она была так неопытна, что эти слова не пришли ей в голову.

«Я не люблю его,— вдруг словно осенило ее.— То, что он славный малый, как видно, не имеет значения. Следовательно, этот вопрос ясен... Но теперь не оберешься неприятностей».

Она не спешила уходить с дороги на луг и несколько минут посидела на ограде.

— Хотела бы я знать, что же мне все-таки надо,— сказала она.

Запел жаворонок, и, слушая его, Анна-Вероника постаралась привести в порядок свои мысли.

— Может быть, брак, и материнство, и все остальное — это как песня,— произнесла она, снова пытаясь прийти к какому-то выводу, когда жаворонок опустился в свое гнездо в траве.

3

Она вернулась к мыслям о маскараде.

Она пойдет, она пойдет, она пойдет. Ничто ее не остановит, и она готова отвечать за все последствия. Допустим, отец выгонит ее! Ну что ж, она все равно пойдет. Просто-напросто выйдет из дому и пойдет...

Анна-Вероника с удовольствием вспомнила некоторые детали своего костюма и прежде всего прелестный бутафорский кинжал с крупными стекляшками на рукоятке вместо бриллиантов, который хранился в комоде у нее в комнате. Она будет изображать невесту корсара. «Подумать только, заколоть человека из ревности! — сказала она про себя.— Надо еще знать, как всадить кинжал между ребер».

Она вспомнила об отце, но решила не думать о нем.

Анна-Вероника попыталась представить себе костюмированный бал; она никогда не была на маскараде. Перед ней снова возник мистер Мэннинг, высокий, загорелый, самодовольный, оказавшийся неожиданно на балу. Он вполне мог там быть, среди его знакомых так много умных людей, и почему бы кому-нибудь из них не принадлежать к кругу лиц, посещающих такие балы! Кем бы он нарядился?

Вдруг она, смутившись, уличила себя в том, что в своем воображении примеряет на мистера Мэннинга, словно он кукла, разные маскарадные костюмы. Она оде-

ла его крестоносцем, и это подходило ему, но он был слишком массивен, наверное, из-за усов, потом гусаром, и в этом обличье он казался нелепым; доспехи Черного герцога больше шли ему; потом в костюм арабского шейха. Она превратила его в драгомана, затем в жандарма, и этот костюм больше всего соответствовал его застывшему, сурово красивому профилю. Уж он бы, наверное, регулировал движение, запрещал входить в правительственные здания, объяснял людям, как пройти на ту или другую улицу, очень точно, самым предупредительным тоном. Каждый костюм она отвергала в подобающих для супруги выражениях.

— Боже мой! — воскликнула Анна-Вероника, поняв, чем она занимается, и, легко соскочив с ограды на траву, направилась к гребню холма.

— Никогда я не выйду замуж,— сказала она твердо.— Я не создана для семейной жизни. Вот почему мне так необходимо быть независимой.

4

Представления Анны-Вероники о браке были ограниченными и случайными. Учителя и гувернантки настойчиво вбивали ей в голову, что замужество — это шаг первостепенной важности, но думать о нем не полагается. Она впервые близко столкнулась с фактом исключительного значения брака в жизни женщины, когда выходила замуж ее сестра Алиса, и бежала из дома, чтобы тайно обвенчаться, вторая сестра, Гвен.

Эти волнующие события произошли, когда Анне-Веронике шел двенадцатый год. Между ней и младшей из двух сестер была пропасть в восемь лет — за этот промежуток времени как-то очень неожиданно на свет появились два брата-сорванца. Сестры скоро приобщились к недоступному для нее миру взрослых, но это не вызвало в ней ни сочувствия, ни любопытства. Она получала нагоняи, если примеряла туфли сестер или брала их теннисные ракетки, и тщательно скрывала свой восторг, если перед сном ей разрешали взглянуть на них, одетых в ослепительные белые, розовые или янтарного цвета платья и готовых отправиться с матерью на бал. Она считала Алису ябедой — это мнение разделяли и братья,—а

Гвен — обжорой. Ей не пришлось наблюдать, как ухаживали за сестрами, и когда она вернулась из школы-интерната домой, то скрывала приличия ради свой интерес к свадьбе Алисы.

Брачная церемония произвела на нее сильное, но смутное впечатление, осложненное мимолетным увлечением, не вызвавшим ответного пыла: ей понравился упитанный, курчавый кузен в черной вельветовой курточке с белым кружевным воротником, сопровождавший невесту в качестве пажа. Анна-Вероника неотступно следовала за ним повсюду, и после стремительной и далеко не рыцарской схватки, во время которой кузен ущипнул ее и сказал «отстань», ей все-таки удалось поцеловать его среди кустов малины, росшей позади оранжереи. А потом ее брат Родди, тоже казавшийся совсем другим в курточке из вельвета, скорей догадавшись, чем узнав о происшествии, стукнул этого Адониса по голове.

Свадьба оказалась событием захватывающим, но вносящим удивительный беспорядок в домашнюю жизнь. Все, как нарочно, делалось так, чтобы выбить людей из колеи и свести с ума. Вся мебель была переставлена, завтракали и обедали когда придется, и все домашние, включая Анну-Веронику, вырядились в новые светлые туалеты. Анне-Веронике пришлось надеть кремовое короткое платье с коричневым кушаком, волосы ей распустили, а Гвен была в кремовой с коричневым кушаком, но длинной юбке и волосы ее были подобраны кверху. Мать, необычно взволнованная и встревоженная, тоже надела что-то кремовое с коричневым, только более замысловатого фасона.

На Анну-Веронику произвели огромное впечатление бесконечные примерки, переделки и суета вокруг «вещей» Алисы. Не считаясь с затратами, Алису с головы до ног нарядили во все новое: уличный костюм и высокие ботинки, сделанные на заказ, восхитительное подвенечное платье, чулки и все, о чем можно только мечтать. В дом то и дело приносили самые неожиданные и удивительные предметы, например:

покрывало из настоящих кружев;
золоченые дорожные часы;
декоративная металлическая тарелка;
салатница (в серебряной оправе) с тарелочками;

«Английские поэты» Мэджета (двенадцать томов) в ярко-красных сафьяновых переплетах и еще, и еще.

Со всеми этими волнениями и новшествами был связан то появлявшийся, то вдруг исчезавший, озабоченный, растерянный, почти подавленный жених. Это был доктор Ральф, у которого еще недавно был кабинет на главной улице вместе с доктором Стикелом, а теперь он обзавелся самостоятельной выгодной практикой в Уомблсмите. Правда, он сбрил бакенбарды и ходил в фланелевых брюках, но все же это был тот самый врач, который лечил Анну-Веронику от кори и вытащил из горла проглоченную ею рыбную кость. Изменилась только его роль — в этой удивительной драме он играл жениха. Алисе предстояло сделаться миссис Ральф. Держался он как-то заискивающе, от былого его тона: «Ну, как мы себя чувствуем?»—ничего не осталось; а однажды он, чуть не украдкой, спросил Анну-Веронику: «Как поживает Алиса, Ви?» Но в день свадьбы он явился, как прежде уверенный в себе, в великолепнейших светло-серых брюках —таких Анна-Вероника еще не видела — и в новом блестящем шелковом цилиндре соответствующего фасона...

В доме все было перевернуто вверх дном, все стали одеваться как-то особенно, разладился и исчез весь привычный распорядок жизни, казалось, каким-то странным образом изменились и взбудоражились чувства и характеры людей. Отец раздражался из-за каждого пустяка и чаще, чем когда-либо, рвался уйти к своим минералам — в его кабинете царил полный беспорядок. За столом он резал мясо угрюмо, но с решительным видом. Почему-то в тот день бурные порывы радушия сменялись у него настороженностью и озабоченностью. Гвен и Алиса невероятно подружились, что, видимо, действовало ему на нервы, а миссис Стэнли загадочно молчала, не сводя тревожных глаз с Алисы и своего мужа.

В памяти остались сумбурные впечатления о каретах с ливрейными лакеями, о бичах с белыми бантами, о гостях, суетливо уступавших друг другу дорогу, и, наконец, о брачной церемонии в церкви. Люди сидели на сдвинутых вместе скамьях с высокими спинками, а на всем остальном пространстве не было ни одной подушечки, на которые обычно опускались на колени молящиеся.

У Анны-Вероники сохранились отрывочные воспоминания об Алисе, казавшейся совсем другой в своем подвенечном платье. Она была как будто ужасно подавлена. Подружки и шаферы беспорядочной кучкой заполняли придел, а Анну-Веронику потрясли белая спина, поникшие плечи и голова Алисы под фатой. Глядя на спину сестры, приближавшейся к священнику, Анна-Вероника испытывала к ней безотчетную жалость. Очень живо запомнился ей запах флердоранжа, лицо Алисы, обращенное к доктору Ральфу, ее потупленный взор и робкие, едва слышные ответы. Потом священник Эдвард Брибл стоял между ними с раскрытой книгой в руках. Доктор Ральф казался внушительным и симпатичным, он слушал ответы Алисы, словно выслушивал жалобы на боли, и при этом полагал, что, в общем, дело идет на поправку.

Затем мать и Алиса долго целовались, сжимая друг друга в объятиях. А доктор Ральф деликатно стоял рядом. Он и отец по-мужски обменялись крепким рукопожатием.

Особенно заинтересовала Анну-Веронику церковная служба, ибо голос у мистера Брибла звучал убедительно, и она все еще была полна мыслей о проповеди, как вдруг могучие звуки органа доказали, что заглушить этот великолепный духовой инструмент не в силах никакая болтовня в алтаре, и он ликовал во всю мочь, исполняя мендельсоновский марш: «Пум-пум, пер-ум-пум, пум, пум, пумп, перум...».

Свадебный завтрак был для Анны-Вероники зрелищем того, как нечто сказочное поглощает реальное; он ей очень нравился, пока по недосмотру ей не подали майонез, хотя она и возражала. Дядя, чьим мнением она дорожила, поймал ее на том, что она строит гримасы Родди, который был от этого в восторге.

В ту пору Анна-Вероника еще не способна была сделать какие-либо выводы из этого множества разрозненных впечатлений, они существовали—и только! Она хранила их в своей памяти — а природа наградила ее хорошей памятью,— подобно тому, как белка хранит про запас орехи. В ее сознании с непостижимой ясностью сразу всплыло только одно — замужества надо во что бы то ни стало избегать, брак неотвратим только в том случае, ес-

ли тебя, тонущую, спасает холостой мужчина или если у тебя нет даже белья, а при такой бедности — не ходить же голой,— разумеется, «великолепно» обзавестись приданым.

По пути домой Анна-Вероника спросила мать, почему она, Гвен и Алиса плакали.

— Шш! — остановила ее мать и добавила:— Это — вполне естественное проявление чувств, милочка.

— Но разве Алиса не хотела выходить замуж за доктора Ральфа?

— Шш, Ви! Я уверена, что она будет очень счастлива с доктором Ральфом,—ответила мать фразой стереотипной, как объявление.

Но Анна-Вероника отнюдь не была в этом уверена, пока не навестила сестру в Уомблсмите и не увидала ее в роли хозяйки дома доктора Ральфа, в халатике, который был ей к лицу, очень чужую, хлопотливую и самодовольную. Доктор Ральф пришел домой выпить чаю, он обнял Алису и поцеловал ее, она назвала его «Скуиглс» и с минуту постояла, прижавшись к нему; лицо ее выражало удовлетворенность собственницы. Все же она не раз плакала, Анна-Вероника знала это. Бывали ссоры и сцены, приглушенно доносившиеся из соседней комнаты через неплотно закрытые двери. Алиса плакала и одновременно что-то говорила,— тягостные звуки. Может быть, замужество причиняет боль? Но все это уже позади, и Алисе живется неплохо. Анне-Веронике жизнь сестры напоминала запломбированный зуб.

Потом Алиса отдалилась еще больше. А через некоторое время заболела. Она родила ребенка и стала старой, как все взрослые, и очень скучной, а еще через некоторое время она с мужем переехала в Йоркшир, где он получил практику, у них родилось еще четверо детей, все они выходили на фотографиях плохо, и теперь Анну-Веронику уже ничто с ней не связывало.

5

Любовная драма Гвен произошла, когда Анна-Вероника училась в Мэртикоумб-он-си за год до ее поступления в среднюю школу, и так и осталась не совсем для нее понятной.

Мать не писала целую неделю, а потом пришло письмо в несколько необычном для нее тоне. «Моя дорогая, должна сообщить тебе, что сестра твоя Гвен глубоко оскорбила отца. Надеюсь, ты всегда будешь любить ее по-прежнему, но ты не должна забывать, что она оскорбила вашего отца и вышла замуж против его воли. Отец очень рассержен и не желает, чтобы при нем упоминали ее имя. Она вышла замуж за человека, брак с которым он не мог одобрить, и сразу же уехала...»

В ближайшие каникулы мать Анны-Вероники заболела, и когда Анна-Вероника приехала домой, в комнате больной она застала Гвен. Сестра была в стареньком платье для улицы, как-то по-новому причесанная, на пальце у нее было обручальное кольцо, и, казалось, она только что плакала.

— Здравствуй, Гвен! — сказала Анна-Вероника, стараясь сразу внести в разговор непринужденность.— Выскочила замуж? Как зовут этого счастливца?

— Фортескью,— ответила Гвен.

— У тебя есть его фотография или портрет? — поцеловав мать, спросила Анна-Вероника.

Гвен вопросительно взглянула на миссис Стэнли, и та указала ей на ящичек для драгоценностей возле зеркала, в котором был спрятан портрет. С него смотрело бритое лицо с длинным греческим носом, густыми волнистыми волосами, вздымавшимися надо лбом, и жирным для мужчины подбородком и шеей.

Наклоняя голову то на один бок, то на другой, Анна-Вероника разглядывала портрет.

— Недурен,— сказала она, желая угодить сестре.— Какие же возражения?

— По-моему, надо ей сказать,— обратилась Гвен к матери, стремясь изменить тон разговора.

— Понимаешь, Ви,— пояснила миссис Стэнли,— мистер Фортескью — актер, а твой отец не одобряет этой профессии.

— А я-то думала, что актеров удостаивают посвящения в рыцари,— отозвалась Анна-Вероника.

— Может быть, Хала когда-нибудь и удостоят,— сказала Гвен,— но когда это будет...

— Теперь, наверное, и ты станешь актрисой?

— Не знаю, имеет ли смысл.— В тоне, каким Гвен сказала это, прозвучала незнакомая томная нотка профессионалки.— Другим актрисам не очень нравится, когда мужья и жены выступают вместе, а Хал вряд ли захочет, чтобы я уезжала одна на гастроли.

Анна-Вероника почувствовала к сестре какое-то новое уважение, однако традиции семейной жизни взяли верх.

— Ты, наверное, и сама не захотела бы ездить,— сказала она.

История с Гвен так тяжело сказалась на больной миссис Стэнли, что муж наконец согласился принять мистера Фортескью в гостиной; с совершенно убитым видом он пожал зятю руку и выразил надежду, что в конце концов все утрясется.

Прощение и примирение было холодным и чисто формальным. Отец сразу же угрюмо удалился в свой кабинет, а мистер Фортескью умиротворенно стал прогуливаться по саду, задрав кверху свой греческий нос, заложив руки за спину, и подолгу и неодобрительно разглядывал фруктовые деревья у забора.

Анна-Вероника наблюдала за ним из окна столовой; поборов девичью робость, она выскользнула в сад, пошла в обратном направлении и столкнулась с мистером Фортескью словно невзначай.

— Здравствуйте,— упершись руками в бока, беспечным тоном, непринужденно сказала Анна-Вероника.— Вы мистер Фортескью?

— К вашим услугам. Вы Анна-Вероника?

— Конечно. Это вы... Вы женились на Гвен?

— Да.

— А почему?

Мистер Фортескью поднял брови, и лицо его приняло шутливое выражение, словно он играл в комедии.

— Очевидно, я влюбился в нее, Анна-Вероника.

— Удивительно. И вам теперь придется ее содержать?

— В меру моих возможностей,— ответил мистер Фортескью с поклоном.

— А у вас большие возможности? — спросила Анна-Вероника.

Чтобы скрыть истинное положение вещей, мистер Фортескью сделал вид, что смущен, а Анна-Вероника за-

давала вопрос за вопросом об игре на сцене, и годится ли ее сестра в актрисы, и достаточно ли она для этого красива, и у кого она будет заказывать себе костюмы, и еще, и еще.

В действительности у мистера Фортескью были более чем скромные возможности содержать жену, и вскоре после смерти матери Анна-Вероника неожиданно встретила Гвен, когда та спускалась по лестнице из кабинета отца, заплаканная, обиженная, ужасно невзрачная в своем поношенном траурном платье. С тех пор Гвен была вычеркнута из жизни обитателей Морнингсайд-парка, и Анна-Вероника уже не слышала ни о письмах с просьбами, ни о горестных вестях, которые получали отец и тетка; лишь изредка до нее случайно доходили какие-то пересуды и смутные вспышки отцовского негодования по адресу «этого мерзавца».

6

Вот два случая, главным образом и определившие отношение Анны-Вероники к вопросу о браке,— единственные случаи, когда она столкнулась с этим вопросом очень близко. В остальном ее представления о брачном союзе складывались из наблюдений над замужними женщинами Морнингсайд-парка, которые казались ей какими-то неловкими, скованными и ограниченными в сравнении с молодыми девушками и с тем, что она вычитала в самых разных книгах. В конце концов все люди, связанные брачными узами, уподоблялись в ее воображении насекомым, лишенным крыльев, а сестры—только что вылупившимся созданиям, у которых и вовсе не было крыльев. Перед ней мелькнул образ ее самой, запертой в доме под благосклонной сенью мистера Мэннинга. Кто знает, может быть, по аналогии со «Скуиглс» она называла бы его «Мэнглс»!

«Я, наверное, никогда не выйду замуж»,—сказала она про себя, и вдруг новые соображения поставили ее в тупик. Следует ли полностью исключить из жизни любовную романтику?..

С романтикой нелегко было расстаться, но она никогда еще так не жаждала продолжать свои университетские занятия, как в тот день. Никогда не испытыва-

ла столь сильного желания распоряжаться собой, жить без оков, налагаемых другими! Любой ценой! Ее братья обладали этой свободой — во всяком случае, у них было больше возможностей, чем представится ей, если только она не будет бороться изо всех сил. Между ней и прекрасной далекой перспективой свободы и саморазвития стояли мистер Мэннинг, ее отец и тетка, соседи, ей мешали обычаи, традиции, власть семьи и среды. В то утро ей казалось, что все они вооружились сетями и готовы накинуть их на нее в тот самый миг, когда она впервые будет действовать по своему желанию.

У Анны-Вероники возникло такое ощущение, будто с глаз ее упала пелена и она впервые очнулась, подобно лунатику, среди опасностей, препятствий, трудностей.

Ей представилось, что жизнь девушки, как будто беспечную, бездумную и счастливую, на самом деле направляют, контролируют, отгораживают от действительности стенами и запретами, о которых она и не подозревает. Все это как будто бы не так уж плохо... Но вот врывается действительность, приходит зрелость, возникает неотложная, насущная потребность задуматься, очень серьезно задуматься. Ральфы, Мэннинги и Фортескью настигают девушку совсем неопытную, не имеющую никакого понятия о том, что они собой представляют; и не успеет она осознать случившееся, как новый круг наставников и надзирателей, новый круг обязанностей и ограничений сменит первый.

— Я хочу быть Человеком,—сказала Анна-Вероника, обращаясь к холмам и ясному небу,— я не хочу, чтобы это случилось со мной. Что угодно, только не это.

Вскоре после полудня, усевшись на ограду между верхней тропой и лугом, раскинувшимся на всем пространстве от Чокинга до Уолдершема, Анна-Вероника твердо решила для себя три вопроса. Во-первых, она не намерена выходить замуж, и, уж конечно, не выйдет за мистера Мэннинга; во-вторых, она хочет продолжать свои занятия, чего бы это ей ни стоило, и не в Тредголдском, а в Имперском колледже; и, наконец, в доказательство своей решительности — пусть это будет символом, декларацией свободы и независимости — она отправится сегодня же вечером в маскарад.

Но ей не избежать столкновения с отцом, а как он поступит? Самым трудным оказалось ответить на этот жизненно важный вопрос. Для нее так и осталось неясным, к чему все это приведет. Что произойдет утром, когда она вернется в Морнингсайд-парк?

Не выгонит же он ее из дому... Но что он способен сделать и что он сделает, она себе не могла представить. Ее не пугала грубая сила, она боялась какой-нибудь низости, косвенного давления. Вдруг он перестанет давать ей деньги, поставит перед необходимостью или сидеть дома, предаваясь бессильной злобе, или начать зарабатывать себе на жизнь немедленно?.. Ей казалось вполне вероятным, что он лишит ее денег.

Чем может заняться девушка?

Но тут размышления Анны-Вероники были прерваны появлением всадника. Это был мистер Рэмедж, многоопытный седеющий господин, он сидел на вороной лошади. Он был в костюме строгого серого цвета и в котелке. Увидев ее, он остановил коня, поздоровался и пристально посмотрел на нее своими несколько выпуклыми глазами. Взгляд его встретился с внимательным, пытливым взглядом девушки.

— Вы заняли мое место,— сказал он после короткого раздумья.— Я всегда здесь спешиваюсь и стою, облокотившись на ограду. Можно мне и сейчас постоять?

— Это ваша ограда,— ответила она дружелюбно.— Вы первый ее открыли. Я должна вас спросить, можно ли мне на ней сидеть.

Он соскользнул с лошади.

— Позвольте мне представить вас Цезарю,— сказал он.

Анна-Вероника похлопала Цезаря по шее, восхитилась его нежным носом, пожалев про себя, что у лошади некрасивые зубы. Рэмедж привязал лошадь к крайнему столбу загородки, и Цезарь, тяжело засопев, уткнулся мордой в зелень изгороди.

Рэмедж облокотился на ограду рядом с Анной-Вероникой, и некоторое время оба молчали.

Он сделал несколько общих замечаний насчет панорамы, согретой сиянием осени, озарявшим холм и долину, лес и деревню внизу.

— Эта даль широка, как жизнь,— сказал мистер Рэмедж, обозревая панораму, и поставил отлично обутую ногу на нижнюю перекладину.

7

— А как вы забрались сюда, так далеко от дома, барышня? — спросил он, заглядывая Анне-Веронике в лицо.

— Я люблю далекие прогулки,—глядя на него сверху вниз, ответила она.

— Одинокие прогулки?

— В том-то и прелесть. Я обдумываю всякие вещи.

— Какие-нибудь проблемы?

— Да, и порой довольно сложные.

— Вам повезло, что вы живете в такой век, когда это возможно. У вашей матушки, например, такой возможности не было. Ей приходилось размышлять дома, под взглядами других.

Она задумчиво посмотрела на него, и он постарался, чтобы его лицо выразило восхищение ее юной, непринужденной осанкой.

— Значит, произошли перемены? — спросила Анна-Вероника.

— Такой переходной эпохи еще не было никогда.

Ее интересовало — переходной к чему. Но мистер Рэмедж не знал.

— С меня довольно этой перемены,— сказал он.

— Должен признаться,— продолжал мистер Рэмедж,— новая Женщина и новая Девушка занимают меня необычайно. Я из тех людей, которых интересуют женщины. Ничто на свете не интересует меня так сильно, и я этого не скрываю. А до чего изменилось их отношение к жизни! Поразительно, как они отбросили привычку цепляться за кого-нибудь. И свою прежнюю уловку свертываться от прикосновения, как улитка. Если бы вы жили двадцать лет назад, вас называли бы «Молодая особа», и первейшим вашим долгом было бы ничего не знать, ни о чем не слышать и ничего не понимать.

— И сейчас есть еще немало такого, чего не понимаешь,— с улыбкой заметила Анна-Вероника.

— Может быть, и немало. Но ваша роль заключалась бы в том, чтобы укоризненно заявлять «нет уж, извините» относительно таких вещей, которые вы в глубине души отлично понимали бы и не усматривали бы в них ничего постыдного. И вот ужасная Молодая особа исчезла. Молодая особа потерялась, украдена или заблудилась... Надеюсь, мы никогда ее больше не увидим.

Он явно был рад такой эмансипации.

— Стоило человеку энергичному приблизиться к такой овечке, и его уже считали кровожадным волком. Мы носили невидимые цепи и невидимые оковы. А теперь мы можем сколько угодно болтать у ограды и Honni soit qui mal y pense[1]. Эта перемена принесла мужчине одно преимущество, которого у него никогда не было,—продолжал он,— он обрел новых друзей—девушек. Я прихожу к убеждению, что самые верные, а также самые прекрасные друзья, о каких мужчина может только мечтать,— это девушки.

Он смолк, потом, проницательно взглянув на нее, заговорил снова:

— Я предпочитаю болтовню с действительно умной девушкой беседе с любым мужчиной.

— Значит, у нас теперь больше свободы, чем было раньше?—спросила Анна-Вероника, которой не хотелось переходить на частности.

— Еще бы, несомненно! С тех пор как девушки восьмидесятых годов сбросили свои цепи и укатили на велосипедах — в юности я был свидетелем того, как начался этот процесс,— мы наблюдали удивительное ослабление всяких тисков.

— Ослабление, может быть. Но так ли уж мы свободны?

— А разве нет?

— Мы ходим на длинной веревочке, да, но все равно привязаны. А на самом деле женщина вовсе не обрела свободу.

Мистер Рэмедж промолчал.

— Правда, ходишь повсюду,— продолжала Анна-Вероника.

---

[1] «Пусть устыдится тот, кто подумает дурное» *(франц.)*. Надпись на французском «Ордене подвязки».

— Разумеется.

— Но при условии, что ты ничего не делаешь.

— Чего не делаешь?

— Ну, просто ничего!

Он посмотрел на нее вопросительно и чуть заметно улыбнулся.

— Мне кажется, что все сводится в конце концов к вопросу о собственном заработке,— слегка покраснев, сказала Анна-Вероника.— Пока девушка не может уйти из дому, как уходит юноша, и зарабатывать себе на жизнь, она по-прежнему на привязи. Может быть, веревка и длинная, достаточно длинная, чтобы опутать ею самых разных людей, но она существует! Стоит хозяину дернуть за веревку, и девушка вынуждена вернуться домой. Вот что я имела в виду.

Мистер Рэмедж признал ее доводы разумными. Образ веревки, которую Анна-Вероника на самом деле позаимствовала у Хетти Уиджет, произвел на него впечатление.

— А разве вам хотелось бы стать независимой? — спросил он вдруг.— Независимой в полном смысле слова. Всецело предоставленной самой себе. Не так уж это весело, как может казаться.

— Все хотят независимости. Все. И мужчины и женщины.

— А вы?

— Конечно!

— Интересно, почему?

— Без всякого почему. Просто надо чувствовать, что ты целиком принадлежишь себе.

— Никто этого не может,— сказал мистер Рэмедж и замолчал.

— Но юноша... юноша вступает в жизнь, и через некоторое время он уже вполне самостоятелен. Он покупает одежду по своему вкусу, выбирает друзей, живет так, как ему нравится.

— И вам тоже хотелось бы этого?

— Вот именно.

— И вы хотели бы быть мужчиной?

— Не знаю. Все равно это же невозможно.

— Что же вам мешает? — спросил Рэмедж после паузы.

— Ну, был бы, наверное, скандал.

— Вы правы,— сочувственно отозвался Рэмедж.

— Да и потом,— заговорила Анна-Вероника, словно решив, что об этом и мечтать не следует,— какое занятие я могла бы себе найти? Для юношей открыт путь в коммерцию, или у них есть профессия. Но... об этом я как раз и размышляла. Что если бы... если бы девушка захотела начать новую жизнь, самостоятельную жизнь?..— Она открыто посмотрела ему в глаза.— Куда ей податься?

— Если бы вы...

— Да, если бы я...

Он понял, что у него спрашивают совета.

— Чем бы вы могли заняться? — сказал он более сердечно и доверительно.— Вы? Да чем угодно... куда бы вам податься?

И он стал выкладывать перед нею свое знание жизни отрывисто, намеками, в которых чувствовался большой жизненный опыт; он оптимистически рисовал открывавшиеся перед ней возможности. Анна-Вероника слушала вдумчиво, опустив глаза, иногда задавала вопрос или, взглянув на Рэмеджа, возражала ему. Пока он говорил, он изучал ее лицо, окидывал взглядом ее непринужденную, грациозную позу, пытаясь разгадать, что она представляет собой. Про себя он определил ее как замечательную девушку. Она, конечно, хочет уйти из дому, ей не терпится уйти. Но почему? Мистер Рэмедж предостерегал Анну-Веронику от должности гувернантки, низко оплачиваемой, безнадежно унылой, развивал свои идеи о том, что в мире перед женщиной с инициативой, так же как и перед мужчиной, открываются широкие возможности, и попутно искал ответа на это «почему». Как человек, знающий жизнь, он прежде всего предположил, что причина смятения Анны-Вероники — любовная связь, какой-нибудь тайный, запретный или недопустимый роман. Но от этой мысли он отказался: ведь в таком случае она обратилась бы с вопросами к своему возлюбленному, а не к нему. Неугомонность — вот в чем беда, просто неугомонность: ей надоело в доме отца. Он отлично понимал, что дочь мистера Стэнли должна тяготиться жизнью дома и чувствовать себя скованной. Но единственная ли это причина? В его сознание за-

крались смутные, неоформившиеся подозрения, что за этим таится нечто более серьезное. Может быть, этой молодой особе не терпится познать жизнь? Может быть, она искательница приключений? Как человек многоопытный, он полагал, что ему не пристало видеть в девичьей сдержанности что-либо иное, кроме маски. Горячий темперамент — вот что обычно кроется за ней, даже если этот темперамент еще не пробудился. Пусть нет реального возлюбленного, он еще не пришел, о нем, быть может, и не подозревают...

Мистер Рэмедж почти не погрешил против истины, когда сказал, что его главный интерес в жизни — женщины. Ум его занимали не столько женщины, сколько Женщина вообще. У него был романический склад характера; впервые он влюбился в тринадцать, не потерял этой способности и сейчас, чем весьма гордился. Его больная жена и ее деньги были лишь тонкой ниточкой, сдерживающей его; с этой постоянной связью переплетались всякие иные встречи с женщинами, волнующие, поглощавшие его целиком, интересные и памятные любовные связи. Каждая отличалась от остальных. У каждой было что-то присущее только ей, неповторимая новизна, неповторимая прелесть. Он не понимал мужчин, которые пренебрегают этим первостепеннейшим интересом в жизни, этой восхитительной возможностью изучения характеров, возможностью нравиться, этими трудными, но пленительными вылазками, которые начинаются с простого внимания и приводят к сокровеннейшей пылкой близости. В погоне за такими встречами заключался главный смысл его существования; для этого он жил, для этого работал, для этого держал себя в форме.

И пока он беседовал с девушкой о работе и свободе, его несколько выпуклые глаза отмечали, как легко удерживают равновесие на ограде ее стройное тело и ноги, как нежны очертания шеи и подбородка. Ее серьезное красивое лицо, теплый цвет кожи привлекли его внимание еще во время их прежних встреч в Морнингсайд-парке, и вот теперь она неожиданно оказалась рядом, непринужденно и доверчиво разговаривает с ним. Он чувствовал, что она расположена к откровенности, и пускал в ход приобретенную года-

ми ловкость, чтобы использовать ее настроение в своих целях.

Ей нравилось и даже немного льстило его внимание и сочувствие, ей хотелось быть откровенной, показать себя в выгодном свете. Он изощрялся, чтобы поразить ее своим умом, она же старалась не обмануть его ожидания.

Она изображала себя, пожалуй, сознательно, славной девушкой, которую без всяких оснований стесняют. Она даже намекнула на неразумие своего отца.

— Меня удивляет, что так мало девушек мыслят, как вы, и лишь немногие хотят уйти и жить независимо,— сказал Рэмедж и задумчиво добавил: — А вам хотелось бы?

Разрешите вам сказать одну вещь,— продолжал он,— если когда-нибудь вам понадобится помощь и я смогу ее оказать, дать совет, рекомендацию, навести справку... Я не принадлежу к тем, кто не верит в способности женщин, но я уверен, что женщины еще неопытны. Женский пол недостаточно подготовлен к практической деятельности. Я воспринял бы это — простите, если кажусь вам навязчивым,— просто как доказательство дружелюбия. Не знаю, что доставило бы мне большее удовольствие, чем быть вам полезным, ибо я уверен, что вам стоит оказать помощь. В вас есть что-то, я сказал бы, в вас чувствуется характер, поэтому невольно хочется пожелать вам удачи и счастья...

Он говорил и наблюдал за ней, а она слушала, отвечала и в то же время приглядывалась к нему, думала о нем. Ей нравились его живость и заинтересованность.

Его мысли казались удивительно глубокими; ему были известны как раз те стороны жизни, о которых она знала меньше всего. Во всем, о чем бы он ни говорил, проскальзывала та черта, которая и привлекала в нем: мистер Рэмедж понимал, что можно многого добиться самой и незачем ждать, пока тебя к этому принудят обстоятельства. В сравнении с отцом, с мистером Мэннингом и знакомыми ей мужчинами, имевшими прочное положение, у Рэмеджа были возвышенные представления о свободе, инициативе, о готовности идти навстречу приключениям...

Больше всего ее восхитила его теория дружбы. Разве не замечательно беседовать с таким человеком, который видит в тебе женщину и не обращается с тобой, как с ребенком! Она склонна была признать, что как раз такого рода общение и нужно девушке; наверное, и ей не встретить более интересного друга, чем этот пожилой мужчина, который уже не позволит себе «всякие глупости». Однако, сделав эту оговорку, Анна-Вероника не подозревала, что она не совсем правильно поняла, как мистер Рэмедж представляет себе дружбу...

Они остались весьма довольны друг другом. Беседовали они чуть ли не целый час, потом вместе дошли до пересечения дороги с верхней тропой; здесь после весьма пылких заверений в дружбе и готовности помочь мистер Рэмедж несколько неуклюже взобрался в седло и отъехал шагом, выставляя напоказ свои ноги в крагах, улыбаясь, раскланиваясь и рисуясь. А Анна-Вероника повернула на север и вышла к Майкл-чезилу. В маленькой кондитерской она рассеянно и не спеша проглотила скромный завтрак, как и следовало ожидать от особы ее пола при подобных обстоятельствах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРЕЛОМ

1

Мы расстались с мисс Стэнли, когда она держала в руках маскарадный костюм Анны-Вероники и рассматривала ее «турецкие» туфли.

Мистер Стэнли приехал поездом в пять сорок пять, *на пятнадцать минут раньше, чем его ожидали дома*; в холле его встретила сестра. Лицо у нее было смущенное.

— Как я рада, Питер, что ты здесь! — сказала мисс Стэнли.— Она решила идти.

— Идти? — повторил он.— Куда?

— На этот бал.

— На какой бал?

Вопрос был чисто риторический. Он помнил.

— Думаю, она сейчас наверху, переодевается.

— Тогда вели ей раздеться, черт побери!

В Сити весь день прошел в неприятностях, и он уже был зол.

Мисс Стэнли несколько секунд обдумывала его предложение.

— Едва ли она послушается.

— Должна,— отрезал мистер Стэнли и прошел к себе в кабинет. Сестра последовала за ним.— Уйти сейчас она не может. Ей же придется дождаться обеда,— добавил он неуверенно.

— Она собирается перекусить с Уиджетами на Авеню и затем поехать вместе с ними.

— Это она сказала тебе?

— Сказала.

— Когда?

— За чаем.

— Почему же ты не запретила ей всю эту блажь раз и навсегда? Как она осмелилась сказать тебе об этом?

— Ничего вызывающего в ней не было. Она преспокойно сообщила мне за столом, что они так условились. Я еще никогда не видела ее такой уверенной в себе.

— И что же ты ей ответила?

— Я сказала: «Вероника, дорогая! Как ты можешь даже думать о таких вещах?»

— А потом?

— Она выпила еще две чашки чая, съела пирога и рассказала мне о своей прогулке.

— Если она будет так прогуливаться, то в один из ближайших дней с кем-нибудь да встретится.

— Я от нее не слышала, чтобы она кого-то встретила.

— И ты ей больше ничего не говорила насчет бала?

— Как только я поняла, что она избегает этой темы, я выложила ей все, что думала. Я сказала: «Нечего распространяться по поводу твоей прогулки и делать вид, будто ты меня предупредила о бале, ты ведь мне ничего не говорила о нем. А твой отец запретил тебе идти туда».

— И что же?

— Она ответила: «Я не хочу причинять неприятностей ни тебе, ни отцу, но считаю, что обязана пойти на этот бал».

— Считает, что обязана?

— «Очень хорошо,— ответила я,— в таком случае я умываю руки. И пусть непослушание падет на твою собственную голову».

— Но это же открытый бунт! — воскликнул мистер Стэнли, стоя на коврике спиной к незажженному газовому камину.— Ты должна была сразу... сразу сказать ей об этом! Разве у девушки нет прежде всего обязанностей перед своим отцом? Повиновение отцу — вот первая заповедь! Разве есть что-нибудь важнее? — Он все больше и больше повышал голос.— Можно подумать, будто я ничего не говорил! Можно подумать, будто я разрешил ей пойти туда! Очевидно, вот чему она учится в этих своих проклятых лондонских колледжах. Очевидно, этот чертов вздор...

— Шш, Питер!— воскликнула мисс Стэнли.

Он сразу замолчал. В наступившей тишине они услышали, как наверху, на лестничной площадке, открылась и закрылась дверь. Затем донесся звук легких шагов, осторожно спускавшихся по лестнице, и слабый шелест юбок.

— Скажи ей,— произнес мистер Стэнли, делая повелительный жест,— чтобы она пришла сюда.

2

Мисс Стэнли появилась в дверях кабинета и стала смотреть на Анну-Веронику, спускающуюся по лестнице.

Девушка раскраснелась от волнения, глаза ее блестели, она готовилась к бою; тетка никогда не видела ее такой изящной и красивой. Манто с капюшоном из черного шелка целиком закрывало ее маскарадный костюм, виднелись только зеленовато-серые чулки, «турецкие» туфли и шелковые шаровары, неизбежные для невесты Корсара. Под капюшоном была красная шелковая косынка, которой она повязала свои непокорные волосы, и длинные филигранные серьги из желтой меди, как-то прикрепленные к ушам (если только она их не проколола! Страшно было даже подумать об этом!).

— Я ухожу, тетя,— сказала Анна-Вероника.

— Отец в кабинете и хочет поговорить с тобой.

Анна-Вероника заколебалась, потом остановилась перед открытой дверью кабинета и взглянула на суровое лицо отца. Она заговорила совершенно фальшивым тоном напускного веселья:

— Я очень тороплюсь, до свидания, папа. Еду с Уиджетами в Лондон на этот бал.

— Послушай меня, Анна-Вероника! — произнес мистер Стэнли.— Ты на этот бал не поедешь!

Анна-Вероника ответила уже менее веселым тоном, в нем было больше собственного достоинства:

— По-моему, мы этот вопрос с тобой обсудили, отец.

— Ты на этот бал не поедешь. Ты в таком виде из дому не выйдешь.

Анна-Вероника сделала еще более серьезную попытку обойтись с ним так, как она обошлась бы со всяким мужчиной, подчеркивая свое право на мужское уважение.

— Видишь ли,— начала она очень мягко,— я все-таки ухожу. Очень сожалею, если это тебе покажется непослушанием, и все же я пойду. Мне бы хотелось,— она почувствовала, что вступила на скользкий путь,— мне очень бы хотелось, чтобы нам не из-за чего было ссориться.

Она сразу умолкла, повернулась и направилась к парадной двери. Он тут же настиг ее.

— Очевидно, ты не слышала меня, Ви,— выговорил он, с трудом сдерживая ярость.— Я же сказал тебе,— вдруг заорал он,— ты не поедешь!

Сделав невероятное усилие, чтобы сохранить вид принцессы, она переиграла. Высоко подняв голову, не зная, что сказать, Анна-Вероника направилась к двери. Отец преградил ей путь, и несколько секунд они боролись, перехватывая руками запор американского замка. Их лица дышали одинаковым бешенством.

— Пусти!— произнесла она, задыхаясь от гнева.

— Вероника!— испуганно воскликнула мисс Стэнли.— Питер!

Мгновение казалось, что оба они, доведенные до отчаяния, вот-вот сцепятся. В их отношениях никогда не было насилия с тех пор, как однажды, очень давно, он,

несмотря на протесты матери, унес ее, визжащую и брыкающуюся, в наказание за какую-то провинность в детскую. Теперь, столкнувшись таким образом, они испытали чувство, близкое к ужасу.

Дверь запиралась на задвижку и американский замок с внутренним ключом; на ночь накидывали цепочку и задвигали два засова. Изо всех сил стараясь не толкать друг друга, Анна-Вероника и ее отец затеяли нелепую и отчаянную борьбу: она силилась отпереть дверь, он — удержать дверь на запоре. Девушка ухватилась за ключ, пытаясь повернуть его, мистер Стэнли грубо и больно стиснул ей руку, зажав в ней стержень ключа. Он стал выкручивать ей кисть. Она закричала от боли.

Неистовый стыд и отвращение к самой себе охватили ее. В ней проснулось сознание разбитой привязанности, огромного, унизительного несчастья, свалившегося на них.

Она вдруг прекратила борьбу, отступила, повернулась и бросилась вверх по лестнице.

Послышался не то плач, не то смех. Добравшись до своей комнаты, она захлопнула дверь и заперла ее на ключ, как будто все еще опасаясь насилия и преследования.

— Боже мой! Боже мой! — Она расплакалась. Сбросив манто, «невеста Корсара» стала ходить по комнате в мучительном душевном волнении.— Почему он не может спокойно объясниться со мной,— бормотала она,— вместо того, чтобы действовать вот так?

3

А затем наступила минута, когда Анна-Вероника сказала себе:

— Нет, я этого не потерплю. Я пойду на бал.

Сначала она подошла к двери, затем повернулась к окну, открыла его и выбралась — чего не делала уже целых пять лет, ибо стала взрослой,— на плоскую оцинкованную крышу пристройки, где на втором этаже находилась ванная комната. Однажды она и Родди спустились отсюда по водосточной трубе.

Но то, что может позволить себе шестнадцатилетняя девочка в короткой юбке, не к лицу девушке двадцати одного года в маскарадном костюме и манто. И как только ей удалось самой, пока без посторонней помощи, это понять, она вдруг увидела мистера Прэгмара, владельца оптового аптекарского склада, живущего за три дома от них, который прохаживался по своему саду, чтобы нагулять аппетит перед обедом; он вдруг остановился, как зачарованный, и, забыв о своем моционе, внимательно наблюдал за ней.

Очень трудно сохранить корректный вид, возвращаясь в комнату через окно; оказавшись благополучно у себя, она со злостью стала потрясать кулаками и бесшумно метаться по комнате, как бы исполняя танец ярости.

Потом, сообразив, что мистер Прэгмар, вероятно, знаком с мистером Рэмеджем и может описать ему эту историю, Анна-Вероника почувствовала новый прилив гнева и, вскрикнув «Ой!», повторила некоторые па из своей пляски в новом, более исступленном темпе.

4

В восемь часов вечера мисс Стэнли тихонько постучала в дверь спальни Анны-Вероники.

— Я принесла тебе обед, Ви,— сказала она.

Анна-Вероника лежала в темнеющей комнате на кровати и пристально глядела в потолок. Она ответила не сразу. Ее ужасно мучил голод. За чаем она почти ничего не ела, в полдень у нее тоже совершенно не было аппетита.

Девушка встала и отперла дверь.

Тетка не была против смертной казни и войны, индустриальной системы и ночлежек, телесных наказаний преступников и государственной независимости Конго, потому что все это было вне сферы ее интересов; но она была против, она терпеть не могла, она не выносила мысли, что есть люди, которые не едят и не испытывают удовольствия от еды. Это было ее критерием душевного состояния людей, его влияния на хорошее, нормальное пищеварение. Человек, очень дурно настроенный,

с трудом проглатывает несколько кусков пищи, а когда человек вообще не может прикоснуться к еде,— это признак глубочайшего отчаяния. Поэтому вечером, во время обеда, когда оба безмолвствовали, ей не давала покоя мысль об Анне-Веронике, которая сидит там у себя наверху голодная. Сразу же после обеда она пошла на кухню и стала собирать поднос с едой; это были не полуостывшие кушанья, оставшиеся от обеда, а специально приготовленный «вкусный» поднос, который мог соблазнить любого. С ним она теперь и вошла в комнату.

И Анна-Вероника столкнулась здесь с одной из самых странных черт в человеческих отношениях — с добротой человека, которого считаешь глубоко неправым. Она взяла поднос обеими руками, всхлипнула и расплакалась.

К несчастью, тетка поспешила воспользоваться этим, чтобы добиться от племянницы раскаяния.

— Моя дорогая,— начала она, ласково положив ей руку на плечо.— Я очень хочу, чтобы ты поняла, насколько это огорчает отца.

Анна-Вероника дернулась в сторону, уклоняясь от ее руки, перечница, стоявшая на подносе, опрокинулась, и высыпавшийся из нее струей перец разлетелся в воздухе, тотчас же вызвав у обеих неудержимое желание чихнуть.

— Мне кажется, ты не понимаешь,— ответила Анна-Вероника, вся в слезах и нахмурив брови,— как он меня опозорил и унизил... Апчхи!

Она резким движением поставила поднос на свой туалетный столик.

— Но дорогая! Подумай! Ведь он же тебе отец! Апчхи!

Племянница и тетка одно мгновение смотрели друг на друга поверх носовых платков глазами, мокрыми от слез, но полными вражды, причем каждая из них была слишком глубоко взволнована, чтобы оценить весь комизм положения.

— Это не причина,— проговорила Анна-Вероника сквозь носовой платок и сразу смолкла.

— Надеюсь,— с достоинством произнесла мисс Стэнли и направилась к выходу, приняв воинственную осан-

ку,— что твое умонастроение...— Она снова раскрыла рот, чтобы чихнуть...

Сжимая в руке носовой платок, Анна-Вероника стояла в полутьме и смотрела на дверь, захлопнувшуюся за теткой. Душа ее была переполнена сознанием беды. Она впервые, как взрослый и независимый человек, отстаивала свое достоинство и свою свободу, и вот как мир обошелся с ней. Он не подчинился ей, но и не сокрушил ее своей злобой. Он оттолкнул ее недостойным насилием, пошлой комедией и нестерпимой гримасой презрения.

— Даю слово,— впервые в жизни произнесла Анна-Вероника,— я своего добьюсь! Добьюсь!

ГЛАВА ПЯТАЯ

БЕГСТВО В ЛОНДОН

1

Анне-Веронике казалось, что в эту ночь она совсем не сомкнула глаз; во всяком случае, она очень многое лихорадочно перечувствовала и передумала.

Как же ей поступить?

Одна мысль целиком овладела ею: она должна уйти из дому, она должна немедленно отстоять свои права или погибнуть. «Хорошо,— говорила она себе,— следовательно, я должна уйти». Остаться — значит сдать все позиции. Уйти завтра. Ясно, что это надо сделать завтра. Если отложить на день, то можно отложить и на два дня, если она отложит на два, то отложит и на неделю, а когда пройдет неделя, окажется, что придется подчиниться навсегда. «Я уйду,— клялась Анна-Вероника ночному мраку,— или умру». Девушка строила планы, проверяла свои возможности и средства. Пожалуй, средства не совсем соответствовали ее планам. У нее имелись золотые часы, очень хорошие золотые часы, когда-то принадлежавшие матери, жемчужное ожерелье, также довольно ценное, скромные кольца, серебряные браслеты и другие дешевые безделушки,

три фунта и тринадцать шиллингов, оставшиеся от денег, которые она получала на одежду и книги, и несколько хороших, годных для продажи книг. Вот и все, с чем Анна-Вероника собиралась начать самостоятельную жизнь.

А потом она найдет работу.

В эту долгую ночь, полную мучительных размышлений, ей верилось, что она найдет работу; она знала, что не менее энергична, умна и способна, чем большинство знакомых девушек. Только не совсем ясно, как найти работу, но Вероника чувствовала, что найдет ее. Тогда она напишет отцу, расскажет, чего ей удалось добиться, и построит свои отношения с ним на другой основе.

Таков был ее план, и в общих чертах он представлялся правдоподобным и возможным. Но на смену этому довольно продолжительному состоянию относительной уверенности в успехе приходили минуты обескураживающих сомнений, когда вселенная, казалось, строила ей зловещие и угрожающие гримасы, вызывая ее на бой и готовя ей унизительное и постыдное поражение. «Я не боюсь,— говорила Анна-Вероника, обращаясь к ночному мраку,— я доведу борьбу до конца!»

Она попыталась подробно разработать план действий. Единственные трудности, которые она ясно видела, были трудности, связанные с уходом из Морнингсайд-парка, а не те, которые ожидали ее на том конце путешествия. Те были настолько далеки от ее опыта, что ей удалось почти совсем устранить их из своего поля зрения, успокаивая себя тем, что «все уладится». Однако Анна-Вероника понимала, что далеко не все уладится, и временами предчувствие этих трудностей преследовало ее, как страшное наваждение, словно они подстерегали ее за углом. Она старалась представить себе, что «нашла» место, и видела себя пишущей за конторкой или возвратившейся домой с работы, свободной и независимой, в приятно обставленную квартиру. Тогда она некоторое время мысленно меблировала эту воображаемую квартиру. Но, несмотря на мебель, все оставалось крайне туманным и неопределенным, так же, как и возможное счастье или несчастье. Возможное несчастье! «Нет, я уйду,— в сотый раз повторяла Анна-Вероника.— Уйду. Все равно, что бы ни случилось».

Она задремала и проснулась с ощущением, будто совсем не спала. Пора было вставать.

Вероника села на край кровати, окинула взглядом свою комнату, ряды книг в темных переплетах и череп свиньи. «Я должна их взять с собой,— сказала она, стараясь преодолеть свою неуверенность.— Как же мне вынести вещи из дому?..»

Вид тетки, сидящей за кофейным прибором, чуть сдержанной, но, пожалуй, миролюбивой, наполнил ее ужасом перед тем, что она намеревалась совершить. Может быть, она больше не вернется в эту столовую. Никогда! Может быть, в будущем, очень скоро, она пожалеет об этой комнате, где они обычно завтракали. Анна-Вероника положила себе на тарелку остатки слегка застывшего бекона и снова стала думать о том, как ей вынести вещи из дому. Она решила обратиться за помощью к Тедди Уиджету, а если его не будет, то к одной из его сестер.

2

Когда Анна-Вероника пришла к Уиджетам, молодое поколение лениво предавалось воспоминаниям; все, как они сами определили, «несколько раскисли». Молодежь необычайно оживилась, узнав, что Анна-Вероника потому не выполнила своего обещания, что, как она выразилась, «ее заперли».

— Боже мой! — возмущенно воскликнул Тедди.

— Что же ты намерена делать? — спросила Хетти.

— А что можно сделать? — спросила Анна-Вероника.— Вы бы стали это терпеть? Я собираюсь удрать.

— Удрать? — воскликнула Хетти.

— Уехать в Лондон,— пояснила Анна-Вероника.

Она ожидала сочувствия и восхищения, но вместо этого все семейство Уиджетов, за исключением Тедди, пришло в ужас.

— Но как ты можешь решиться на это? — спросила Констэнс.— У кого ты остановишься?

— Буду жить самостоятельно. Сниму комнату!

— Ну и ну! — воскликнула Констэнс.— А кто будет платить за комнату?

— У меня есть деньги,— ответила Анна-Вероника.— Предпочитаю все что угодно, только не эту жизнь здесь, в которой задыхаешься.— Заметив, что Хетти и Констэнс готовятся возразить ей, она тут же решительно обратилась к ним за помощью: — У меня ничего нет, кроме маленького саквояжа, и мне не во что уложить вещи. Можете вы одолжить мне что-нибудь?

— Вот настоящий сорванец! — воскликнула Констэнс, видимо, уже отказавшаяся от намерения удержать ее и воодушевленная желанием помочь.

Они сделали все, что могли, решив одолжить ей портплед и большой бесформенный мешок, который они называли коллективным сундуком. А Тедди выразил готовность ради нее отправиться на край света и тащить ее багаж всю дорогу.

Хетти, глядя в окно — она всегда после завтрака курила у окна в назидание менее передовой части общества Морнингсайд-парка — и стараясь не высказывать своих возражений, увидела в эту минуту мисс Стэнли, которая отправилась за покупками.

— Если ты действительно решила уходить,— сказала Хетти,— теперь самое удобное время.

И Анна-Вероника сейчас же вернулась домой укладывать вещи; она несла портплед в руке, стараясь не допускать неприличной поспешности и идти быстрым и ровным шагом, сохраняя достойный вид обиженной особы, которая действует так, как нужно. Тедди пошел в обход, позади садов, и перебросил мешок через забор. Все это было волнующим и занятным. Тетка возвратилась домой раньше, чем вещи были уложены, и Анна-Вероника сошла ко второму завтраку, с тревогой вспоминая о вещевом мешке и портпледе, едва прикрытых пологом кровати на случай, если бы кто-нибудь вошел. После завтрака, веселая и раскрасневшаяся, она отправилась к Уиджетам, чтобы окончательно с ними договориться, а потом, как только тетка удалилась к себе и прилегла, как обычно, на часок для пищеварения, девушка, рискуя тем, что слуги доложат о ее действиях, отнесла вещевой мешок и портплед к садовой калитке, откуда Тедди в порыве восторженной услужливости отправился с ними на станцию. Затем она снова поднялась к себе, тщательно оделась для поездки в город, выбрала шляпу самого де-

лового фасона и с волнением, которое ей трудно было сдержать, тоже зашагала на станцию, к лондонскому поезду, отходившему в 3.17.

Тедди проводил ее в купе второго класса, согласно ее сезонному билету, и заявил, что она «просто великолепна».

— Если вам что-нибудь понадобится,— сказал он,— или у вас будут трудности, телеграфируйте мне. Я прикачу с другого конца света. Для вас, Ви, я на все готов! О вас даже думать страшно!

— Вы ужасный молодчина, Тедди!

— Кто не станет им ради вас?

Поезд двинулся.

— Вы великолепны! — еще раз повторил Тедди. Его волосы буйно развевались по ветру.— Желаю удачи! Желаю удачи!

Она махала ему из окна, пока он не исчез из виду.

Оставшись одна, Анна-Вероника спросила себя, что ей теперь делать, и старалась не думать о том, что она отрезана от дома и лишена крова в этом мире, которому решила бросить вызов. Она чувствовала себя маленькой девочкой, а свое предприятие — более сомнительным, чем оно представлялось ей раньше. «Так как же,— спросила она себя, ощущая некоторое замирание сердца и силясь подавить страх,— снять меблированную комнату, потому что это дешевле... или, может быть, лучше сегодня вечером остановиться в гостинице и сначала осмотреться?..»

«Все уладится»,— успокаивала она себя.

Но сердце ее продолжало сжиматься. В какую гостиницу обратиться? Если она прикажет кэбмену ехать в гостиницу, в любую гостиницу, что он сделает или скажет? Он может отвезти ее в какое-нибудь очень дорогое место, а совсем не в то скромное пристанище, которое ей нужно. Наконец Вероника решила, что даже гостиницу надо поискать, а пока «зарегистрировать» багаж на вокзале Ватерлоо. Распорядившись, чтобы носильщик отнес ее вещи в билетную кассу, она после некоторого замешательства поняла, что ей следовало отдать их в камеру хранения. Вскоре все устроилось, и молодая девушка вышла на улицы Лондона в странно приподнятом

настроении: в нем были и испуг и вызов, но преобладало чувство огромного, еще никогда не испытанного облегчения.

Она глубоко вдохнула воздух — воздух Лондона.

3

Сама не зная почему, скорее всего просто побоявшись даже войти, Анна-Вероника миновала первые гостиницы, которые попались ей, и размеренным шагом прошла мост Ватерлоо. День близился к закату, пешеходов было не очень много, и не один из ехавших в омнибусах и шагавших по тротуарам с удовольствием задерживал свой взгляд на свежей и нарядной молодой девушке, которая шла, высоко подняв голову, причем лицо ее выражало и спокойное самообладание и решимость. Она была одета так, как одеваются, выходя на улицу, английские девушки,— без излишнего кокетства или строгости; ее блузка с небольшим вырезом приоткрывала красивую шею, серьезные глаза блестели, а темные волосы небрежно и изящно лежали волнистыми прядями над ее ушами...

Вначале этот погожий день показался ей лучшим из всех; быть может, трепет волнения обострил и довел до высшей точки силу ее восприятия. Река, высокие здания на северном берегу, Вестминстер, собор св. Павла были великолепны, изумительны, освещенные нежными лучами лондонского солнца, нежнейшего, тончайших оттенков, всепроникающего и наименее яркого солнца на всей земле. Даже тележки, фургоны, кэбы, которые текли непрерывным потоком с Веллингтон-стрит на мост, казались ей превосходными и нужными. Длинный караван барж сонно покачивался на поверхности реки; баржи как бы застыли или дремали в кильватере суетливых буксиров, а над ними кружили прожорливые лондонские чайки. Анна-Вероника никогда не бывала здесь в эти часы, при таком освещении, и ей казалось, будто она все это видит впервые. И этот прекрасный, полный гармонии город, этот новый Лондон теперь принадлежал ей, чтобы ходить, куда ей вздумается, бороться с ним, побеждать и жить в нем. «Я рада,— сказала она себе,— что я здесь».

В узкой боковой улице, выходящей на набережную, она приметила гостиницу, которая показалась ей и не роскошной и не жалкой; преодолев нерешительность, Вероника возвратилась через мост Хандкерфорд на вокзал Ватерлоо и, наняв кэб, отправилась со своим небольшим багажом в избранное ею убежище. После минутного замешательства ей обещали предоставить комнату. Молодая женщина в бюро сказала, что она сейчас узнает. Пока Анна-Вероника делала вид, что читает висевший над конторкой призыв к кружечному сбору в пользу больницы, у нее появилось неприятное ощущение, будто за ней наблюдает сзади маленький человечек в сюртуке, с бакенбардами, который вышел из внутренней конторы в вестибюль и стоял среди нескольких, столь же наблюдательных швейцаров в зеленых ливреях, смотревших на нее и на ее багаж. Однако результат осмотра был, видимо, благоприятен, и Анна-Вероника очутилась в комнате № 47, где в ожидании своих вещей принялась поправлять шляпу.

«Пока все идет хорошо»,— сказала она про себя.

4

Но как только она села в единственное кресло, обитое красным шелком, с салфеточкой на спинке, и оглянулась на портплед и вещевой мешок, лежавшие в этой чистой, довольно просторной и какой-то нежилой комнате с пустым шкафом, оголенным туалетным столом, без единой картины на стенах и с шаблонной мебелью, ее вдруг охватило чувство одиночества, как будто она потеряла всякое значение и не по своей воле заброшена в этот безликий угол, она и ее вещи.

Анна-Вероника решила еще раз выйти в этот предвечерний час на улицы Лондона, поесть пористого хлеба в кондитерской или еще где-нибудь и, может быть, снять недорогую комнату. Разумеется, именно это следует сделать; надо снять недорогую комнату и работать. Комната № 47 — всего лишь железнодорожное купе на ее пути.

Как люди находят работу?

Она пошла вдоль Стрэнда, пересекла Трафальгарсквер, через Хеймаркет вышла на Пикадилли и дальше

через величавые площади и живописные переулки дошла до Оксфорд-стрит. Она размышляла о том, где бы найти работу, но от этих мыслей ее отвлекал прилив любви к Лондону, ласкавший ее, как налетевший легкий ветерок. Ее радовало, что впервые в жизни она идет по лондонским улицам без определенной цели; ей казалось, что она впервые по-настоящему чувствует Лондон.

Она старалась представить себе, как люди находят работу. Следует ли ей зайти куда-то и рассказать о том, что она умеет делать? Анна-Вероника остановилась в нерешительности у окна погрузочной конторы торгового флота на Кокспер-стрит и возле складов армии и флота, но решила, что у них должны быть определенные часы приема и лучше узнать это, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. Кроме того, ей не хотелось этого делать сейчас.

Она размечталась о работе и возможных должностях. За каждым из бесчисленных фасадов тех домов, мимо которых она проходила, таились различные возможности работы. Ее представление о женских профессиях и о положении современной женщины в обществе основывалось главным образом на образе Виви Уоррен в «Профессии миссис Уоррен». Однажды в понедельник она вместе с Хетти Уиджет украдкой смотрела с галерки этот дневной спектакль, поставленный одним театральным обществом. Многого она не поняла или поняла так, что это не вызвало в ней желания узнать больше, но образ Вивиан — строгой, способной, удачливой, такой задиры, командующей Фрэнком Гарднером, будто списанным с Тедди, очень привлек ее. Она видела себя в положении Виви — чем-то заведующей.

На Пикадилли от мыслей о Виви Уоррен ее отвлекло странное поведение какого-то джентльмена средних лет. Он неожиданно словно вынырнул из толпы около Берлингтонского пассажа и шел по тротуару ей навстречу, не спуская с нее глаз. Анне-Веронике показалось, насколько она была в состоянии судить, что он примерно одних лет с ее отцом. На нем был цилиндр, надетый чуть набок, и визитка, обтягивающая его плотную фигуру; белый кантик, выступавший из-под жилета, подчеркивал спокойную изысканность галстука и придавал закончен-

ность всему костюму. Его лицо несколько раскраснелось, а маленькие карие глазки блестели. Он остановился у края тротуара, не поворачиваясь, будто намеревался перейти улицу, и неожиданно заговорил с ней через плечо.

— Куда это вы направляетесь? — произнес он совершенно отчетливо каким-то странным, вкрадчивым голосом.

Анна-Вероника изумленно взглянула на его глупую, льстивую улыбку, заметила его жадный, пристальный взгляд, невольно отступила и пошла своей дорогой, ускорив шаг. Но что-то в ней потускнело, и нелегко было вернуть душе зеркальную ясность и спокойствие.

Старый чудак!

Умение не замечать — одно из обязательных качеств всякой хорошо воспитанной девушки, его прививают так тщательно и исподволь, что в конце концов она способна игнорировать даже собственные мысли и наблюдения. Анна-Вероника могла в одно и то же время задавать себе вопрос о том, что имел в виду этот старый чудак, обратившись к ней, и знать — знать, хотя бы в общих чертах,— что означает такое обращение. Когда она изо дня в день ездила в Тредголдский колледж и возвращалась оттуда, то видела, хоть и не замечала, немало странных эпизодов, связанных с теми сторонами жизни, о которых девушкам полагается ничего не знать, но эти стороны жизни поразительно напоминали ее собственное положение и ее перспективы, хотя из-за условностей оставались бесконечно далекими от нее. Пусть она была наделена очень большой интеллектуальной смелостью, но никогда еще она не разглядывала такие вещи прямо, не опуская глаз. Она относилась к ним с подозрением и ни с кем в мире не поделилась бы своими мыслями.

Анна-Вероника продолжала свой путь, но, смущенная, она уже больше не мечтала и не размышляла, а придав себе безмятежно спокойный вид, она невольно наблюдала за тем, что происходит вокруг.

Пленительное ощущение свободной, ничем не стесненной прогулки исчезло.

Когда девушка приблизилась к самой людной части Пикадилли, то заметила женщину, которая шла ей на-

встречу; женщина была высокого роста и на первый взгляд показалась ей красивой и изящной. Она шла слегка покачиваясь и уверенно, подобно большому кораблю. Однако на более близком расстоянии стали заметны румяна на ее лице и сквозь спокойное, открытое выражение проглядывало нечто грубое и умышленное; от всего ее блеска веяло чем-то поддельным. Анна-Вероника не смогла подыскать нужного слова — слова, не совсем понятного, которое ускользало и пряталось от нее, слова «распутная». Позади и несколько в стороне от этой женщины шел щеголевато одетый мужчина, он как бы оценивал ее взглядом, горевшим желанием. Возникало настойчивое ощущение, что они таинственно связаны между собой и женщина знает о его присутствии.

Это явилось как бы вторым напоминанием о том, что, несмотря на ее решимость быть свободной и независимой, ей придется считаться с тем, что все же девушка не может жить одна в этом мире и рассчитывать на уважение, и никогда не сможет быть вполне свободной, ибо зло, опасности и мелкие оскорбления, изводящие даже больше, чем опасности, подстерегают ее повсюду.

На тихих улицах и площадях вблизи Оксфорд-стрит ей впервые пришла в голову мысль, что и за ней наблюдают. Она заметила мужчину, который шел по другой стороне улицы и смотрел на нее.

— Черт возьми!— выругалась она.— Вот досада! — Но, допустив, что ошиблась, решила не смотреть больше по сторонам.

На Сэркис-сквер Анна-Вероника зашла выпить чаю в кафе Британской компании дешевых ресторанов. В ожидании чашки чая она опять увидела того человека. Это могло быть или случайным совпадением, или он следовал за ней от самого Мейфейра. Теперь уже не приходилось сомневаться в его намерениях. Зайдя в кафе, он явно поискал ее глазами и уселся у другой стены против зеркала, в котором мог пристально разглядывать ее.

Лицо Анны-Вероники выражало безмятежное спокойствие, но в душе у нее все кипело. Она была в бешенстве. Бесстрастно и непринужденно созерцая в окно движение на Оксфорд-стрит, она мысленно избивала этого типа до полусмерти. Он ведь шел за ней следом. С

какой целью он шел за ней? Он, наверное, шел за ней всю дорогу, начиная от Гровенор-сквер.

Он был высокого роста, белокурый, с голубоватыми глазами слегка навыкате и длинными белыми руками, которые он все время выставлял напоказ. Мужчина, сняв цилиндр и сидя перед чашкой чая, к которой не притронулся, смотрел теперь на Анну-Веронику не отрываясь; он буквально пожирал ее глазами, стараясь поймать ее взгляд. Один раз ему показалось, что это удалось, и он заискивающе улыбнулся ей. Он то сидел спокойно, то делал какое-то быстрое легкое движение, временами поглаживая усики и многозначительно покашливая.

«Как он смеет жить в одно время со мной на земле!» — сказала про себя Анна-Вероника, вынужденная просматривать прейскурант блюд, составленный Британской компанией дешевых ресторанов для своих клиентов.

Кто знает, какие туманные пошлые представления о страсти и желаниях, какие мечты об интригах и приключениях, навеянные романами, таились под этой белокурой шевелюрой! Но их было достаточно, ибо, как только Анна-Вероника вышла на темнеющую улицу, он принялся бесшумно, упорно, нелепо, неприлично и отвратительно преследовать ее.

Девушка не знала, как ей быть. Если обратиться к полицейскому, неизвестно, чем это может кончиться. Вероятно, ей все-таки придется передать его в руки полиции, а если его заберут, — на следующий день, вероятно, явиться в суд.

Она рассердилась на себя. Нет, это упорное, подлое, вызывающее преследование не выведет ее из себя. Не надо обращать внимания. И она в силах не обращать на него внимания. Вероника внезапно остановилась и посмотрела в витрину цветочного магазина. Он прошел мимо, затем медленно вернулся, остановился рядом с ней, молча глядя ей в лицо.

Наступили сумерки. Магазины засветились, подобно гигантским цветным фонарям, на улицах зажглись яркие огни, но оказалось, что Анна-Вероника заблудилась. Она не могла определить направления и очутилась на незнакомых улицах. Она переходила из одной в другую,

и все великолепие Лондона исчезло для нее. В зловещей, угрожающей, чудовищной бесчеловечности гигантского города не оставалось уже ничего, кроме этого отталкивающего преследования, преследования ненавистного, упорствующего самца.

Анне-Веронике еще раз захотелось выбранить весь мир.

Бывали минуты, когда она уже намеревалась повернуться и заговорить с ним. Но нечто тупое и вместе с тем непреодолимое в его лице говорило ей, что в таком случае его навязчивость только усилится, ибо он сочтет разговор с ней своей победой. В сумерках он перестал казаться человеком, которого можно убеждать и стыдить; он превратился в нечто более общее, нечто крадущееся и ползущее за ней и не желающее оставить ее в покое...

И вот когда напряжение дошло до предела и она была готова обратиться за помощью к первому встречному, ее преследователь исчез. Сначала Анна-Вероника никак не могла поверить этому. Но он исчез. Ночь поглотила его, однако впечатление, оставленное им, не прошло даром. Девушка потеряла самообладание, и в этот вечер в Лондоне она уже не чувствовала себя свободной. Она с радостью влилась в поток трудящихся, которые выходили из сотен фабрик и учреждений, и зашагала торопливо и озабоченно, как они. Она следовала за мелькавшей впереди нее белой шляпой и серым жакетом, пока не дошла до угла Юстон-роуд и Тоттенхем Корт-роуд, где надпись на автобусе и возгласы кондуктора помогли ей сориентироваться. Она не только воображала, что ее преследуют, она ощущала это преследование. Она боялась, что люди будут идти за ней, боялась темноты раскрытых дверей, мимо которых проходила, боялась яркого света, боялась одиночества, боялась, сама не зная чего.

Анна-Вероника вернулась в гостиницу в начале восьмого.

Она думала, что навсегда избавилась от человека с голубыми глазами навыкате, однако ночью, во сне, он продолжал преследовать ее. Таращил на нее глаза, умолял, умильно и неуклонно подкрадывался к ней, пока наконец она не пробудилась от душившего ее кошмара: он неотвратимо приближался к ней. Прос-

нувшись в ужасе и страхе, она лежала и прислушивалась к непривычным звукам в гостинице.

В эту ночь Вероника была близка к тому, чтобы вернуться утром домой. Но утро вновь придало ей мужества, и впервые испытанное отвращение совершенно исчезло из ее памяти.

5

Из почтового отделения на Ист-Стрэнде Анна-Вероника послала отцу следующую телеграмму:

ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО ЦЕЛА И НЕВРЕДИМА ВЕРОНИКА

Пообедав дежурной отбивной, она села писать мистеру Мэннингу ответ на его предложение. Это оказалось делом нелегким.

«Дорогой мистер Мэннинг»,— начала она. До сих пор все шло гладко, и казалось естественным продолжать в таком роде: «Мне очень трудно ответить на ваше письмо...»

Но у нее больше не возникало ни мыслей, ни слов, и Вероника принялась думать о событиях этого дня. Она решила на следующее утро обратиться по объявлениям, напечатанным в газетах,— в гостиной лежала целая куча газет. После получасового просмотра старых номеров «Скетча» она легла спать.

Наутро, взявшись писать по объявлениям, Анна-Вероника поняла, что это гораздо труднее, чем она предполагала. Подходящих объявлений было немного. Она села у полки с газетами, ощущая сходство с Виви Уоррен, и стала просматривать «Морнинг пост», «Стандарт», «Телеграф», а затем и другие газеты, стоившие полпенса. «Морнинг пост» жаждала гувернанток и бонн, но ничего другого не предлагала; «Дейли телеграф» в это утро страстно искала только портних-юбочниц. Девушка подошла к письменному столу и на листке почтовой бумаги составила список подходящих объявлений, но затем сообразила, что она еще не может указать обратного адреса.

Решив отложить это дело до завтра и посвятить утро выяснению своих отношений с мистером Мэннингом, она изорвала немало черновиков и наконец сочинила следующее письмо:

«Дорогой мистер Мэннинг, мне очень трудно отвечать на Ваше письмо. Надеюсь, Вы не будете возражать, если я прежде всего скажу о том, какую Вы оказали мне честь, удостоив меня столь возвышенного и серьезного отношения; и еще я хотела бы, чтобы Ваше письмо не было написано».

Прежде чем продолжать, Анна-Вероника перечла написанное.

— Интересно знать,—сказала она,— зачем писать все это? Ну, сойдет,— решила она,— я и так уже слишком расписалась.

И она продолжала, безнадежно пытаясь выражаться просто и ясно:

«Видите ли, мы с Вами были добрыми друзьями, а теперь. нам, пожалуй, будет трудно сохранить эту дружбу на прежних основаниях. Но если это возможно, я буду рада. Дело в том, что я считаю себя слишком молодой и несведущей для замужества. Я недавно думала об этих вещах, и, мне кажется, для девушки замужество самое значительное событие в ее жизни. Оно не является просто одним из важных событий, это самое важное событие, и пока она не познает жизнь гораздо лучше, чем я, как ей на это решиться? Поэтому прошу Вас забыть о том, что Вы мне написали, и простить меня за мой ответ. Я хочу, чтобы Вы относились ко мне просто как к человеку и вне всякого вопроса о замужестве.

Надеюсь, Вы в состоянии это сделать, потому что я очень ценю друзей-мужчин. Мне будет весьма жаль, если Вы перестанете быть моим другом. Нет для девушки, по-моему, лучше друга, чем мужчина, если он на несколько лет старше ее.

Вероятно, до Вас уже дошли слухи о том шаге, который я совершила, уйдя из дому. Весьма возможно, Вы будете сильно осуждать меня за это. Не так ли? Может быть, Вы объясняете мое поведение приступом детской обидчивости из-за того, что отец запер меня, когда я хотела пойти на бал, а он этого не одобрял. На самом деле все гораздо глубже. В Морнингсайд-парке у меня было такое чувство, будто я больше не буду расти, будто мне заслонили свет жизни и, как говорят в ботанике, этиолировали. Я была, точно марионетка, которая делает то, что ей велят, и говорит, когда ее дергают за веревочку. А я

хочу быть самостоятельным человеком и сама дергать веревочку. Предпочитаю испытывать заботы и трудности, лишь бы меня не опекали. Я хочу быть самой собой. Интересно, может ли мужчина до конца понять это страстное желание? У меня это очень страстное желание. Итак, я уже не та девочка, которую Вы знавали в Морнингсайд-парке. Теперь я молодая девушка, которая жаждет работы, свободы и саморазвития. Именно так, как я Вам и говорила, когда мы с Вами беседовали в первый раз.

Надеюсь, Вы все это поймете правильно, не будете на меня обижены или ужасно шокированы и в отчаянии от моих поступков.

Искренне Ваша
Анна-Вероника Стэнли».

6

Днем она продолжала поиски комнаты. Пьянящее ощущение новизны сменилось более деловым настроением. Анна-Вероника направилась к северу от Стрэнда и очутилась на каких-то странных и подозрительных улицах.

Девушка никогда не думала, что жизнь может выглядеть такой мрачной, какой она предстала перед ней в начале ее поисков. Анна-Вероника вновь столкнулась с одной из тех сторон жизни, о которых ее приучили не думать, о которых, может быть, инстинктивно, она и не склонна была думать; о чем-то, упорно лезущем в глаза, несмотря на все ее душевное сопротивление и на предубежденность чистой и мужественной девушки, вышедшей из Морнингсайд-парка так, как выходят из погреба в свободный и просторный мир. Одна-две квартирные хозяйки отказали ей с непонятным для нее притворно-добродетельным видом.

— Мы не сдаем дамам,— заявили они.

Анна-Вероника пошла окольным путем via[1] Теобальд-роуд, в район Титчфилд-стрит. Комнаты, которые она там осмотрела, были грязны до неприличия, или невероятно дороги, или то и другое вместе. А некоторые

---

[1] Через *(лат.)*.

были украшены гравюрами, поразившими ее своей пошлостью и неуместностью,—она до сих пор ничего подобного не видела. Девушка любила красоту, любила также красоту обнаженную, но на этих картинах были изображены только округлости женского тела, притом вульгарно подчеркнутые. Окна в комнатах были затемнены портьерами, на полу лежали пестрые ковры; фарфоровые статуэтки на камине также были особого рода. Несколько квартирных хозяек сразу же заявили, что она им не подходит, и просто выпроводили ее. Это тоже поразило Веронику.

На многих домах лежал таинственный отпечаток худосочного, пошлого и застарелого порока; сквозь внешнюю любезность женщин, которые вели переговоры о комнатах, проглядывали жестокость и пренебрежение. Одна старая карга, близорукая, с трясущимися руками, назвала Анну-Веронику милочкой и сделала какие-то замечания, туманные и вульгарные, смысл которых, минуя слова, все же дошел до сознания молодой девушки.

На время она прекратила поиски жилья и просто шагала по мрачным, грязным улицам, ошеломленная, встревоженная, видя жалкую изнанку жизни и стыдясь своей глупой опрометчивости. Ее чувства напоминали переживания индийца, прикоснувшегося к чему-то или попавшего в какое-то окружение, оскорбительное для его касты. Она шла по улице мимо людей и глядела на них со все растущим пониманием; ей повстречались девушки, одетые неряшливо и с претензией, они вышли из этих кварталов и направлялись к Риджент-стрит. Ей не пришло в голову, что они по крайней мере нашли способ зарабатывать деньги на жизнь и имеют материальное превосходство над ней. Ей не пришло в голову, что, за исключением случайностей воспитания и характера, у них такая же душа, как и у нее.

Некоторое время Анна-Вероника продолжала идти своей дорогой, разглядывая грязные, убогие улицы. Недалеко от северной части Юстон-роуд низко нависшие, так сказать, моральные тучи стали рассеиваться, моральная атмосфера изменилась; на окнах появились чистые шторы, у парадных дверей—чистые ступеньки, в чистых, светлых окнах — опрятные объявления:

«Сдаются комнаты»

Наконец на одной улице вблизи Хемпстед-роуд Анна-Вероника нашла необычно просторную и хорошо обставленную комнату, которую ей показала высокая женщина с добрым лицом.

— Вы, вероятно, студентка? — спросила высокая женщина.

— Да, я учусь в Тредголдском женском колледже,— ответила девушка.

Она почувствовала, что таким образом сможет избежать объяснений относительно своего ухода из дому и поисков работы. Комната была оклеена зелеными обоями, быть может, слегка выцветшими, с крупным рисунком, а кресло и стулья обиты ситцем с ярким и веселым узором, из него же были сделаны и занавески на окнах. Круглый стол был покрыт не обычной «гобеленовой», а гладкой зеленой скатертью, которая более или менее подходила к цвету обоев. В уголке около камина она увидела незастекленные полки для книг. Ковер из драгета был не слишком потерт, а стоявшая в углу кровать застелена белым покрывалом. На стенах не висело ни непуховых картинок, ни библейских изречений, а лишь удачная репродукция Валтасарова пира да гравюра на стали, исполненная в ранневикторианской манере с приятной чернью. И женщина, показывавшая комнату, была высокого роста, с понимающим взглядом и спокойными манерами вышколенной служанки.

Анна-Вероника перевезла из гостиницы багаж, дала швейцару шесть пенсов на чай, а кучеру переплатила восемнадцать пенсов; распаковав книги и вещи и придав комнате более обжитой вид, она удобно уселась в кресло у камина. Она договорилась о чае, вареном яйце и консервированных персиках на ужин и обсудила с квартирной хозяйкой, которая охотно пошла ей навстречу, вопрос о своем питании.

— А теперь,— сказала себе Анна-Вероника, оглядывая свое жилище с незнакомым ей до сих пор чувством собственника,— каким должен быть следующий шаг?

Вечером она написала письмо отцу — это было трудно — и Уиджетам, что было легче. Письма ее очень подбодрили. Необходимость постоять за себя и принять уверенный и спокойный тон во многом способствовала тому, что у нее рассеялось чувство беззащитности в этом огром-

ном и непонятном мире, который был полон зловещих неожиданностей. Анна-Вероника надписала адреса на конвертах, посидела над ними в задумчивости, затем вышла и опустила их в почтовый ящик. Потом ей захотелось вернуть обратно свое письмо к отцу, перечесть его и, если подтвердится ее впечатление, переписать.

Завтра он узнает ее адрес. Она подумала об этом с дрожью ужаса и вместе с тем почему-то со смутным, затаенным чувством радости.

— Милый мой папочка,— сказала она,— он поднимет страшный шум! Ну что ж, когда-нибудь это должно было случиться. Авось обойдется. Интересно знать, что он скажет?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

УГОВОРЫ

1

Следующее утро началось спокойно. Анна-Вероника сидела в своей комнате, в своей собственной комнате, ела на завтрак яйцо и повидло и просматривала объявления в «Дейли телеграф». Затем пришла телеграмма, а потом начались уговоры и увещания, в которые пустилась тетка. Телеграмма напомнила Анне-Веронике о том, что у нее для приема есть всего-навсего спальня; отыскав квартирную хозяйку, она поспешно добилась ее разрешения воспользоваться гостиной, находившейся на нижнем этаже и, к счастью, пустовавшей. Девушка просила, чтобы ее гостью сразу проводили туда, так как ей предстоит важная беседа. Тетка приехала в половине одиннадцатого, одетая во все черное и в необычайно густой вуали с мушками. Она подняла вуаль с видом заговорщика, снимающего маску, и открыла лицо, распухшее от слез. Воцарилось молчание.

— Моя дорогая,— сказала она наконец, отдышавшись,— ты должна немедленно вернуться домой.

Анна-Вероника бесшумно прикрыла дверь и остановилась.

— Эта история едва не убила твоего отца... Особенно после истории с Гвен!

— Я же дала телеграмму.

— Он так тебя любит! Он так тебя любил!

— Я дала телеграмму о том, что все благополучно.

— Все благополучно! Мне никогда в голову не могло прийти ничего подобного. Я и понятия не имела! — Она упала на стул, а ее руки безвольно опустились на стол.— Ах, Вероника,— сказала она,— уйти из дому!

Тетка любила поплакать, заплакала она и на сей раз. Столь бурные чувства ошеломили Анну-Веронику.

— Зачем ты это сделала? — твердила тетка.— Разве ты не могла открыться нам?

— Что я сделала? — спросила Анна-Вероника.

— То, что ты сделала.

— Но что я сделала?

— Бежала. Ушла — и как ушла! У нас и в мыслях этого не было. Мы так тобой гордились, возлагали на тебя такие надежды! Я считала, что ты самая счастливая девушка на свете. У меня и мысли не было о том, что я ошибаюсь. Я делала все, что могла! Твой отец не спал всю ночь. Наконец мне удалось уговорить его лечь в постель. Он все собирался надеть пальто и ехать в Лондон разыскивать тебя. Мы были убеждены, что повторилась история с Гвен. Гвен хоть оставила письмо на подушечке для булавок. А ты, Ви, даже этого не сделала, даже этого!

— Я же послала телеграмму, тетя,— ответила Анна-Вероника.

— Это был настоящий удар. Ты не дала себе труда написать поподробнее.

— Я сообщила, что все благополучно.

— Гвен тоже сообщила, что она счастлива. До получения телеграммы твой отец даже не знал о твоем уходе. Он как раз начал сердиться, что ты опаздываешь к обеду — ты ведь знаешь его,— и в это время принесли телеграмму. Ничего не подозревая, он вскрыл ее, а прочитав, стукнул по столу, отшвырнул столовую ложку и расплескал суп на скатерть. «Боже мой! — сказал он.— Я разыщу их и убью его. Я разыщу их и убью его!» В первую минуту я подумала, не от Гвен ли эта телеграмма.

— Но что же отец вообразил?

— Разумеется, он вообразил! Каждый бы это сделал на его месте. «Что случилось, Питер?» — спросила я. А

он стоял, держа в руке скомканную телеграмму, и произнес ужасное слово! Затем сказал: «Анна-Вероника ушла и последовала примеру своей сестры!» «Ушла?» — переспросила я. «Ушла! — повторил он.— Прочти» — и он так швырнул мне телеграмму, что она угодила в суповую миску. Когда я пыталась достать ее разливной ложкой, он выругался и сообщил мне ее содержание. Потом отец сел и заявил, что людей, которые пишут романы, следует вешать. Все, что мне удалось сделать,— это помешать ему выбежать из дому и помчаться искать тебя. Со дней моей юности я не видела твоего отца в таком волнении... «Ах, малютка Ви!—воскликнул он.— Малютка Ви!» Потом закрыл лицо руками и долго сидел неподвижно, пока опять не вскипел.

Анна-Вероника слушала тетку стоя.

— Вы хотите сказать, тетя,— сказала она,— что отец решил, будто я сбежала с каким-то мужчиной?

— Что же *другое* он мог подумать? Кому могла прийти мысль о том, что ты окажешься настолько сумасшедшей и уйдешь одна?

— И это после того, что произошло накануне вечером?

— Ну к чему вспоминать старые обиды? Если бы ты видела отца в это утро, его жалкое лицо, белое, как полотно, и все изрезанное бритвой! Он хотел первым поездом ехать искать тебя, но я сказала ему: «Подожди почты!» И действительно, пришло твое письмо. Его руки так дрожали, что он с трудом вскрыл его. Затем бросил письмо мне и сказал: «Поезжай и привези ее домой; это не то, что мы думали. Это просто шутка с ее стороны». И отправился в Сити, мрачный и молчаливый, оставив на тарелке недоеденную свиную грудинку, большой кусок, почти не тронутый. Он не завтракал, не обедал — проглотил одну ложку супа — и это со вчерашнего чая.

Она умолкла. Тетка и племянница смотрели друг на друга.

— Ты должна немедленно вернуться домой,— сказала мисс Стэнли.

Анна-Вероника опустила глаза на ее пальцы, лежавшие на бордовой скатерти. Тетка вызвала в ней слишком живой образ отца, человека деспотичного, власт-

ного, сентиментального, шумного и нецелеустремленного. С какой стати он мешает ей развиваться и идти собственной дорогой? При одной мысли о возвращении в ней снова проснулась гордость.

— Едва ли я смогу это сделать,— сказала Анна-Вероника. Она подняла глаза и почти беззвучно произнесла: —Извините меня, тетя, но этого я сделать не могу.

2

Тогда, собственно, и начались уговоры.

На этот раз тетка убеждала ее в общей сложности в течение двух часов.

— Дорогая моя,— начала она,— это немыслимо! Об этом и речи быть не может! Ты просто не имеешь права так поступить.— И, вдаваясь в бесконечные рассуждения, упорно возвращалась все к тому же. Лишь постепенно до ее сознания стало доходить, что Анна-Вероника настаивает на своем решении.— Как же ты будешь жить?— взывала она.— Подумай, что скажут люди.— Она повторяла это, как припев.— Подумай, что скажет леди Пэлсуорси! Что скажет?.. Что мы скажем людям? Что я скажу твоему отцу?!

Вначале Анне-Веронике еще не было ясно, откажется она вернуться домой или нет; она даже мечтала о капитуляции, которая принесет ей определенную свободу, но когда тетка стала описывать ее побег с разных сторон, когда она, путаясь в мыслях, непоследовательно и противоречиво хваталась то за одно, то за другое соображение, смешивая обещания, убеждения и чувства, девушке начало становиться все яснее, что очень мало или даже ничто не изменится в ее жизни, если она вернется домой.

— А что скажет мистер Мэннинг? — спросила тетка.

— Мне все равно, кто и что подумает,— ответила Анна-Вероника.

— Не понимаю, что на тебя нашло! — воскликнула тетка.— Не могу взять в толк, чего ты хочешь. Ты просто глупая девчонка!

Анна-Вероника промолчала. Где-то в глубине сознания еще смутно шевелилась и смущала мысль о том,

что ведь она сама не знает, чего хочет. Но все же называть ее глупой девчонкой было несправедливо.

— Разве тебе не нравится мистер Мэннинг? — спросила тетка.

— Не понимаю, какое он имеет отношение к моему переезду в Лондон?

— Он? Да он благословляет землю, по которой ты ступаешь. Ты этого не заслуживаешь, но это так. По крайней мере так было еще позавчера. Вот тебе! — Тетка красноречивым жестом раскрыла ладонь и выпрямила пальцы, затянутые перчаткой.— А я считаю, что все это сумасшествие, одно сумасшествие! И все только изза того, что отец не позволил тебе ослушаться его!

3

Под вечер труд по увещеванию взял на себя сам мистер Стэнли. По мнению отца Анны-Вероники, увещевать следовало достаточно резко и убедительно. Сидя под газовой люстрой у стола, покрытого бордовой скатертью, на которой лежали его шляпа и зонтик, разделявшие их, как жезл в парламенте, отец и дочь жестоко поссорились. Она решила держаться величественно и спокойно; но в нем с самого начала кипел гнев, и он тут же заявил, что бунт подавлен,— а уж одно это было нестерпимо для нее,— и она должна покорно вернуться домой. Его желание быть настойчивым и отомстить за страдания, испытанные накануне вечером, быстро перешло в грубость; таким грубым она видела его впервые.

— Я здорово переволновался из-за вас, сударыня,— сказал он, входя в комнату.— Надеюсь, вы теперь удовлетворены?

Она испугалась: его гнев всегда пугал ее — и хотя скрыла страх под видом величественного спокойствия, это притворство было противно ей самой. Она ответила, что не хотела доставить ему боль своими поступками, которые вынуждена была совершить, а он ответил, что хватит валять дурака. Она попыталась защищаться и заявила, что была поставлена им в невозможное положение. Тогда он закричал:

— Вздор! Вздор! Любой отец на моем месте поступил бы так же!

Затем добавил:

— Ну, ты пережила небольшое приключение, надеюсь, с тебя хватит. Поднимись наверх и собери вещи, пока я пойду за кэбом.

На это только и можно было ответить:

— Я домой не вернусь.

— Не вернешься?

Несмотря на намерение сохранить твердость, Анна-Вероника, ужаснувшись самой себе, расплакалась. Разговоры с отцом обычно кончались слезами, потому что он всегда вызывал ее на неожиданно решительные слова и действия. Она испугалась, как бы он не принял ее слезы за слабость, и поспешила сказать:

— Я домой не вернусь. Я лучше умру.

После этого заявления разговор на минуту прервался. Затем мистер Стэнли сложил руки на столе в позе скорее подходящей для адвоката, чем для просителя, грозно глянул на дочь сквозь очки и произнес с нескрываемой злобой:

— В таком случае осмеливаюсь спросить, что ты собираешься делать? Как ты намереваешься жить?

— Как-нибудь проживу,— всхлипывая, ответила Анна-Вероника.— Можешь не беспокоиться! Я устроюсь!

— А я *не могу* не беспокоиться,—сказал мистер Стэнли.—Я беспокоюсь. Ты думаешь, мне все равно, если моя дочь будет бегать по Лондону, искать случайной работы и унижать себя?

— Я не возьму случайной работы,— ответила Анна-Вероника, вытирая слезы.

И с этой минуты они начали пререкаться с нарастающим озлоблением. Мистер Стэнли со всей своей властностью приказал Анне-Веронике ехать домой, на что она, разумеется, ответила отказом; тогда он предупредил ее, предупредил весьма торжественно не оказывать ему открытого неповиновения и снова повторил свое приказание. Потом добавил, что если она не повинуется ему, то «никогда не переступит его порога», и вообще держался крайне оскорбительно. Эта угроза привела Анну-Веронику в ужас, и, продолжая всхлипывать, она страстно заявила, что никогда больше не вернется домой, и тогда в

исступлении они заговорили одновременно, перебивая друг друга. Он спросил ее, отдает ли она себе отчет в своих словах, и разъяснил ей, что она не получит ни одного пенса до тех пор, пока не вернется домой,— ни единого пенса... Анна-Вероника ответила, что ей и не нужны его пенсы.

Тогда мистер Стэнли вдруг переменил тон.

— Бедная девочка! — сказал он.— Неужели ты не понимаешь всего безрассудства твоих поступков? Подумай! Подумай, от какой любви и привязанности ты отказываешься! Подумай о тете, заменившей тебе мать. Подумай, что сказала бы твоя мать, будь она жива?

Мистер Стэнли, глубоко взволнованный, умолк.

— Если бы моя мама была жива,— всхлипнула Анна-Вероника,— она бы поняла меня.

Разговор становился все бесполезнее и мучительнее. Девушка почувствовала себя неопытной, не умеющей держаться с достоинством, отвратительной и, в отчаянии, все более ожесточенно и враждебно спорила с отцом, придумывая язвительные ответы, будто он ей не отец, а брат. Это было ужасно, но что можно было сделать? Она стремилась жить по-своему, а он с оскорбительным презрением стремился помешать ей в этом. Все, что теперь говорилось, Анна-Вероника воспринимала или только так, или как обходный маневр.

Позднее, размышляя обо всем случившемся, она была поражена тем, как быстро все разлетелось вдребезги в то время, когда она уже в душе согласилась вернуться домой, но только на определенных условиях. Ожидая его прихода, Анна-Вероника представляла себе, как ей казалось, со всей полнотой и ясностью свои настоящие и будущие отношения с отцом. Она надеялась на свое объяснение с ним. Вместо этого разразились буря, крики, рыдания, пошли угрозы вперемежку с неуместными просьбами. Беда была не только в том, что ее отец наговорил много нелепого и вздорного, но что она, непонятно почему, заразившись его тоном, отвечала ему тем же. Он утверждал, что основным предметом спора был ее уход из дому — все вертелось только вокруг этого — и что другого выхода, кроме ее покорности, быть не может. А она отчаянно боролась, и сопротивление казалось ей уже вопросом чести. Кроме того, он позволил себе не-

сколько раз самым чудовищным и недопустимым образом намекнуть на то, что во всем замешан какой-то мужчина... Мужчина!

А в заключение всей этой сцены — фигура отца в дверях, дававшего ей последнюю возможность одуматься: он держал шляпу в одной руке, зонтик—в другой, потрясая им, чтобы придать еще большую силу своим словам, и говорил:

— Значит, ты понимаешь? Ты понимаешь?

— Понимаю,— ответила Анна-Вероника. Лицо ее было мокро от слез и горело от волнения, но ей, к ее собственному удивлению, удалось выстоять в этой схватке как равной.— Понимаю.— Она подавила всхлипывания.— Ни пенса, ни одного пенса, и я никогда не переступлю твоего порога!

4

На следующий день тетка вновь приехала и стала ее уговаривать. Но как только она произнесла:—Это же неслыханная вещь, чтобы девушка ушла из дому, как это сделала Анна-Вероника! — появился отец, которого ввела приветливая хозяйка.

Отец принял новое решение. Положив на стол шляпу и зонтик, он подбоченился и решительно посмотрел на Анну-Веронику.

— Пора,— сказал он спокойно,— прекратить эти глупости.

Анна-Вероника хотела ответить ему, но он продолжал с неумолимым спокойствием:

— Я здесь не для того, чтобы ссориться с тобой. Хватит этого вздора. Ты поедешь домой.

— По-моему, я объяснила...

— Ты, кажется, не расслышала меня,— сказал он.— Я же велел тебе ехать домой.

— По-моему, я объяснила...

— Поехали домой!

Анна-Вероника пожала плечами.

— Что ж, хорошо,— сказал отец.— Полагаю, что вопрос исчерпан.— И он повернулся к сестре: — Не будем же мы умолять ее. Пусть сама наберется ума, если так господу богу угодно.

— Но, дорогой Питер! — сказала тетка.

— Нет,— отрезал мистер Стэнли,— не дело родителя уговаривать свое дитя.

Мисс Стэнли встала и пристально посмотрела на Анну-Веронику. Девушка стояла перед ними, заложив руки за спину, мрачная, решительная, задумчивая, прядка темных волос упала ей на глаз, черты лица казались нежнее обычного, и она более, чем когда-либо, напоминала упрямого ребенка.

— Она же не знает.

— Знает.

— Не могу понять, почему ты так рассердилась на все и на всех,— сказала мисс Стэнли своей племяннице.

— Какой толк от этих разговоров? — прервал ее брат.— Пусть идет своей дорогой. В наше время дети больше не принадлежат отцу. Это факт. Они восстают против него... Пагубное влияние дрянных романов и всяких негодяев. Мы не в состоянии защитить наших детей даже от них самих.

Казалось, после этих слов огромная пропасть открылась между отцом и дочерью.

— Я не понимаю,— проговорила Анна-Вероника, задыхаясь,— почему родители и дети... не могут быть друзьями.

— Друзьями?!—воскликнул отец.—Когда мы видим, что непослушание заводит вас черт знает куда! Пошли, Молли, пусть делает что хочет. Я пытался воздействовать на нее своей отцовской властью. Она же бросает мне вызов. Что еще можно сказать? Она мне бросает вызов!

Это было невероятно. И вдруг Анну-Веронику охватило чувство огромного сострадания; она отдала бы все на свете, чтобы выразить в словах свои чувства, воззвать к сердцу отца, высказаться и преодолеть пропасть, разделившую их, но этих искренних и трогательных слов она не находила.

— Отец,— крикнула она,— мне ведь жить надо!

Он неправильно понял ее.

— Это,— неумолимо сказал он, уже взявшись за ручку двери,— твое личное дело, если ты не хочешь жить в Морнингсайд-парке.

Мисс Стэнли обернулась к ней.

— Ви, вернись домой, пока не поздно.

— Идем, Молли,— сказал мистер Стэнли уже в дверях.

— Ви,— произнесла мисс Стэнли,— ты слышала, что сказал отец?

Мисс Стэнли боролась с охватившим ее волнением. Она сделала какое-то странное движение в сторону племянницы, затем вдруг судорожно бросила что-то на стол и повернулась, чтобы последовать за братом. Анна-Вероника посмотрела с удивлением на темно-зеленый предмет, звякнувший при падении. Это был кошелек. Она сделала шаг вперед.

— Тетя! — крикнула она.— Я не могу...

Но тут же, заметив испуг и мольбу в голубых глазах тетки, остановилась, и дверь за ними захлопнулась.

Через минуту раздался стук парадной двери.

Анна-Вероника почувствовала, что она одна на свете. Теперь они ушли окончательно, и это было ужасно. Она боролась со страхом, побуждавшим ее бежать за ними и сдаться.

— Господи,— сказала она наконец,— с этим покончено! Ладно! — Она взяла изящный сафьяновый кошелек, открыла его и проверила содержимое.

В нем лежали три фунта, монеты в шесть и в четыре пенса, две почтовые марки, маленький ключик и теткин обратный билет до Морнингсайд-парка.

5

После этого свидания Анна-Вероника решила, что формально путь домой ей отрезан. История с кошельком подтвердила это. Однако увещания продолжались. Брат Родди, занятый в машиностроительной промышленности, пришел уговаривать ее; написала сестра Алиса. И мистер Мэннинг нанес ей визит.

Очевидно, сестра Алиса, жившая в Йоркшире, стала очень набожной, и ее мольбы не произвели впечатления на Анну-Веронику. Алиса заклинала ее не превращаться «в одно из тех бесполых мыслящих существ —не то мужчину, не то женщину».

Анна-Вероника задумалась над этой фразой.

— Это *он*,— сказала она.— Бедная моя Алиса!

Родди пришел к ней, потребовал чаю и попросил рассказать о положении дел.

— Ну, старик, пожалуй, перехватил, а?—сказал Родди, который у себя в автомобильном цехе усвоил особую грубовато-добродушную манеру говорить.

— Не возражаешь, если я закурю? Мне не совсем ясно, куда ты гнешь, Ви, но я полагаю, что загвоздка где-то есть.

— Чудаки мы,— продолжал Родди.— Алиса... Алиса рехнулась и наплодила ребят. Гвен — я видел ее на днях — красится еще больше прежнего. Джим по уши ушел в учение Махатмы и в теософию, Высшее Мышление и во всякую труху и пишет письма почище Алисы. А теперь ты развоевалась. Должно быть, я единственный здравомыслящий член семьи. Старик — такой же помешанный, как и вы, несмотря на всю респектабельность: в нем нет ни капли правдивости, ни капли.

— Правдивости?

— Ни капли! И он с самого начала гнался за восемью процентами. Пойми: за восемью процентами! По-моему, он когда-нибудь потерпит крах. Он уже раз или два был к нему близок. И это измотало ему нервы. Все мы люди, но какова же ценность священного института семьи? Хороша родня! А?.. Право, Ви, я почти целиком согласен с тобой; только не представляю, как ты справишься с трудностями, в этом все дело. Дом может стать чем-то вроде клетки, но все-таки это дом. Он дает тебе право сидеть на шее у старика, пока тот не обанкротится. Девушке здорово трудно раздобывать средства к жизни. Но это не мое дело.

Он стал задавать ей вопросы и слушал рассказы о ее планах.

— Я бы на твоем месте, Ви, бросил эту затею. А я на пять лет старше тебя и, как мужчина, несравненно опытнее. То, что ты задумала, слишком рискованно, осуществить это чертовски трудно. Стать на собственные ноги дьявольски трудно, хотя и выглядит красиво. Таково мое мнение, если оно тебя интересует. Все, что девушка может делать, достается ей пóтом и кровью. Помирись со стариком и возвращайся домой теперь, а не тогда, когда ты будешь вынуждена это сделать. Вот все, что я могу тебе посоветовать. Если ты теперь не смиришься, то

потом тебе может быть намного хуже. Я не в силах помочь тебе ни одним центом. Жизнь в наше время достаточно тяжела и для необеспеченного мужчины. Что же говорить о девушке? Мир надо брать таким, какой он есть, и единственная возможность для женщины, помимо черной работы,— это завладеть мужчиной и заставить его работать на себя. И нечего бунтовать против этого, Ви, не я это устроил, а Провидение. Таковы факты, таков порядок вещей. Это как аппендицит. Некрасиво, но так мы созданы. Нелепость, вне всякого сомнения, но изменить ее мы не в силах. Возвращайся-ка ты домой, живи за спиной старика и найди поскорее другого мужчину, чтобы жить на его средства. Это не сантименты, а здравый смысл. Все эти колебания и сомнения женщин — бред собачий. В конце концов старина П.— я имею в виду Провидение — устроило так, что мужчина вас более или менее обеспечивает. Так оно создало мир. Надо брать то, что можно.

Таков был Родди.

Он варьировал эту тему около часа.

— Вернись домой,— сказал он, уходя,— вернись домой. Свобода и все прочее — все это очень мило, Ви, но из этого ничего не выйдет. Мир еще не подготовлен к тому, чтобы девушки могли жить самостоятельно. Такова действительность. Младенцы и особы женского пола должны держаться за кого-нибудь или погибнуть, по крайней мере ближайшие поколения. Возвращайся домой, Ви, пережди столетие и попытайся снова. Тогда у тебя могут быть какие-то шансы. А сейчас, если ты будешь вести игру честно, у тебя нет и тени надежды.

6

Анну-Веронику удивило то, что мистер Мэннинг, хоть и говорил он совершенно другим языком, полностью поддержал точку зрения Родди. Он пришел, по его словам, только для того, чтобы навестить ее, и стал громко и напыщенно извиняться, излучая доброту и любезность. Как выяснилось, адрес Анны-Вероники дала ему мисс Стэнли. Приветливая хозяйка Анны-Вероники не расслышала его фамилии и сказала, что пришел высокий красивый мужчина с большими черными усами. Вздохнув по

поводу расходов, которых требовало гостеприимство, Анна-Вероника поспешно договорилась о том, чтобы подали добавочный чай, затопили гостиную на нижнем этаже, и тщательно оделась для предстоящей встречи. В небольшой комнате, под газовой люстрой, его рост и фигура, конечно, производили внушительное впечатление. При тусклом освещении мистер Мэннинг казался и по-военному подтянутым, и сентиментальным, и поглощенным наукой, он напоминал гвардейца из романов Уида, обработанных мистером Холдейном и Лондонской школой экономики, и получившего последний лоск в Кельтской школе.

— Мой приход к вам, мисс Стэнли, просто непростителен,— сказал он, по-особому пожимая ей руку,— но вы ведь писали, что мы друзья.

— Как это ужасно, что вы здесь,— сказал он, указывая в окно на первый в году желтый туман, — но ваша тетя мне рассказала кое-что о случившемся. Все произошло из-за вашего великолепного чувства собственного достоинства. Вот именно!

Он сел в кресло, принялся пить чай и съел несколько кусков кекса, за которым она специально посылала, говорил с ней, и высказывал свои мнения, глядя на нее очень серьезно своими глубоко посаженными глазами, и тщательно смахивал каждую крошку с усов. Анна-Вероника сидела, освещенная пламенем камина, перед ней стоял чайный поднос, и она бессознательно держалась, как опытная хозяйка дома.

— Но чем же это все кончится? — спросил мистер Мэннинг.— Ваш отец, разумеется, должен будет понять, как вы великолепны. Он этого пока не сознает. Я виделся с ним, он этого совершенно не понимает. И я не понимал, пока не получил ваше письмо. А теперь я хочу быть для вас всем, чем только *смогу*. Вы в этой ужасной темной квартире, точно прекрасная принцесса в изгнании!

— Боюсь, что, когда речь заходит о заработке, я все что угодно, но уж никак не принцесса,— сказала Анна-Вероника.— Но, говоря откровенно, я хочу изо всех сил бороться и, если удастся, победить.

— Боже мой! — бросил Мэннинг в сторону, словно играя на сцене.— Зарабатывать на жизнь! Вы принцес-

са в изгнании! — повторил он, игнорируя ее слова.— Вы вступаете в это жалкое окружение,— не возражайте, пожалуйста, против того, что я называю его жалким,— и начинает казаться, будто оно не имеет никакого значения... Я не думаю, чтобы оно имело значение. Никакая среда не в силах бросить на вас тень.

Анна-Вероника слегка смутилась.

— Не хотите ли еще чаю, мистер Мэннинг? — спросила она.

— Знаете,— продолжал мистер Мэннинг, не отвечая на ее вопрос, и протянул чашку,— когда вы сказали, что будете зарабатывать на жизнь, это все равно, как если бы архангел отправился на биржу или Христос стал торговать голубями... Простите за дерзость. Я невольно подумал так.

— Образ прекрасен,— сказала Анна-Вероника.

— Я знал, что вы не будете возражать.

— Но разве в данном случае это соответствует фактам? Знаете, мистер Мэннинг, все это хорошо в области чувства, но разве оно соответствует действительности? Разве женщины — уж такие ангельские создания, а мужчины так рыцарственны? Вы, мужчины, я знаю, хотели бы превратить нас в королев и богинь, ну а в жизни... взгляните хотя бы на поток девушек, идущих утром на работу. Они сутулы, бедно одеты, плохо питаются. Вот уж не королевы, да и никто с ними не обращается, как с королевами. Или посмотрите на женщин, сдающих квартиры... На прошлой неделе я искала комнату. Женщины, которых мне пришлось видеть, произвели на меня самое тяжелое впечатление. Хуже любого мужчины. Всюду, в чью бы дверь я ни постучалась, я сталкивалась с еще одной ужасающей в своем убожестве женщиной, с еще одной павшей королевой, более жалкой, чем предшествующая, грязной от рождения. А их жалкие руки!

— Знаю,— сказал мистер Мэннинг с приличествующим случаю волнением.

— А обыкновенные жены и матери, с их тревогами, скудными средствами, с кучей детей! Подумайте о них!

Мистер Мэннинг изобразил на своем лице отчаяние и принялся за четвертый кусок кекса.

— Я знаю, наш социальный строй достаточно плох,—

сказал он,— и ему приносится в жертву все, что есть лучшего и самого прекрасного в жизни. Я его не защищаю.

— А кроме того, если говорить о королевах,—продолжала Анна-Вероника,— в Англии двадцать один с половиной миллион женщин, а мужчин — двадцать миллионов. Предположим, что каждая из нас — святыня. Значит, даже не считая вдов, выходящих вторично замуж, не хватит более миллиона алтарей, чтобы служить нам. Кроме того, девочек умирает меньше, чем мальчиков, так что несоответствие между количеством взрослых мужчин и женщин в действительности еще больше.

— Вся эта ужасная статистика,— отвечал мистер Мэннинг,— мне известна. Я понимаю, замедленность прогресса дает вам право на нетерпение. Но скажите мне только одно — я не могу этого постичь,— скажите только одно: чем вы в силах помочь, если втянетесь в эту борьбу и окажетесь в этой трясине? Вот что меня беспокоит.

— Я не стараюсь прийти на помощь,— ответила Анна-Вероника.— Я только возражаю против ваших взглядов на то, чем должна быть женщина, и стараюсь уяснить это самой себе. Я очутилась в этой квартире и ищу работы потому... Ну разве я могу поступить иначе, если отец фактически запирает меня на замок?

— Я знаю,— сказал мистер Мэннинг,— я знаю. Не думайте, что я вам не сочувствую или не понимаю. И все-таки мы находимся здесь, в этом городе, с его копотью и туманами. Боже мой! Как это ужасно! Каждый старается извлечь все, что может, из другого, никто ни с кем не считается — все толкают друг друга, густая угольная копоть валит из труб, пропитывая воздух и омрачая сознание, омнибусы гудят и испускают вонь, лошадь пала на Тоттенхем Корт-роуд, старуха надрывно кашляет на углу — все это печальные картины большого города, и вы приехали сюда, чтобы попытать счастья. Это чрезмерная доблесть, мисс Стэнли, чрезмерная!

Анна-Вероника размышляла. Она уже в течение двух дней искала работу.

— Я хочу узнать, так ли это на самом деле!

— Я не против женской отваги,— продолжал мистер Мэннинг.— Я люблю и восхищаюсь отвагой. Что может

быть прекраснее красивой девушки, смотрящей без страха на громадного великолепного тигра? Новая Уна и лев и прочее. Но здесь ведь нечто совершенно другое: это громадные, безобразные, бесконечные джунгли эгоистичной, потогонной, вульгарной конкуренции.

— И вы хотите, чтобы я осталась в стороне от них?

— Совершенно верно! — сказал мистер Мэннинг.

— В прекрасном саду, за решеткой, одевалась в очаровательные платья и собирала прелестные цветы?

— Ах! Если бы это было возможно!

— В то время, когда другие девушки тащатся на работу, а женщины сдают комнаты? А в действительности волшебный сад за решеткой находится в Морнингсайд-парке, и это дом моего отца, который становится все более раздражительным и деспотичным, когда мы встречаемся за обедом, и всех охватывает ощущение неуверенности и пустоты.

Мистер Мэннинг отодвинул чашку и многозначительно посмотрел на Анну-Веронику.

— Вы плохо ко мне относитесь, мисс Стэнли,—сказал он.— Мой сад за решеткой был бы лучше всего этого.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

1

И вот Анне-Веронике в течение нескольких недель пришлось выяснять, каков рыночный спрос на нее в этом мире. Она ходила по равнодушному ноябрьскому Лондону, очень темному, туманному, грязному, страшному, стараясь найти ту скромную, но сулящую ей независимость работу, к которой так опрометчиво стремилась. Она ходила с места на место, внимательная, собранная, нарядная и изящная, скрывая свои переживания, хотя реальное положение вещей постепенно становилось ей все яснее и яснее. Ее маленькая комната казалась ей берлогой, откуда она выходила, как зверь на охоту, в огромный сумрачный мир, с его закопченными серыми домами,

вереницами ослепительно сверкающих магазинов, бесконечными улицами с темными зданиями и окнами, залитыми оранжевым светом под тускло-медным, грязно-серым или черным небом. Затем девушка возвращалась домой, принималась за письма, тщательно обдуманные и старательно написанные, или читала книги, взятые в библиотеке у Мадди,— она решилась истратить на это полгинеи,— или сидела у камина и размышляла.

Анна-Вероника стала постепенно и против воли осознавать, что Виви Уоррен — это лишь «идеал». Таких девушек и таких должностей не существует. Работа, которую ей предлагали, не имела ничего общего с ее смутными желаниями. Ее квалификация открывала перед ней всего две возможности, но ни одна из них не привлекала и не освобождала полностью от той зависимости, против которой она восставала, борясь со своим отцом. Один путь, основной,— это за плату заменять жену или мать, то есть стать гувернанткой, или помощницей учительницы, или высококвалифицированной бонной. Другой путь — поступить на службу, например, в фотоателье, в магазин театральных и маскарадных костюмов или головных уборов. Первый род работы представлялся ей чересчур домашним и ограниченным; для второго главной помехой являлось отсутствие опыта, и, кроме того, он ей не нравился. Девушка не любила магазинов, не любила видеть лица других женщин, а самодовольные мужчины в сюртуках, возглавлявшие эти предприятия, были самыми невыносимыми существами на свете. Один из них отчетливо назвал ее «милочкой».

В двух местах требовался секретарь, и казалось, должность сама плывет в руки, поскольку в предложении не было обычной оговорки о том, что женщин просят не беспокоиться. Одно место было у члена парламента, радикала, другое — у известного врача с Харли-стрит. Но оба крайне любезно, с восхищением и страхом отклонили ее предложение. Произошла и курьезная встреча в большом отеле с женщиной средних лет, сильно напудренной, увешанной драгоценностями и насквозь пропахшей духами, которой нужна была компаньонка. Она не сочла Анну-Веронику подходящей для себя компаньонкой.

Почти вся эта работа ужасно низко оплачивалась. Жалованья едва могло бы хватить на пропитание, а труд

требовал затраты всех ее сил и времени. Она слышала о женщинах-журналистках, писательницах и так далее, но ее даже не допускали к редакторам, с которыми она хотела поговорить, и, кроме того, если бы ей это и удалось, не было никакой уверенности в том, что она справится с порученным ей делом. Однажды Анна-Вероника не пошла искать работу и неожиданно для себя очутилась в Тредголдском колледже. Ее место оказалось свободным; ее просто отмечали как отсутствующую, и она спокойно провела день, с упоением занимаясь анатомированием черепахи. Это было так интересно и дало такое облегчение после утомительных и тревожных поисков заработка, что она целую неделю посещала колледж, как будто все еще жила дома. А затем в третий раз представилась возможность получить место секретаря, и ее надежды снова ожили: это была должность личного секретаря, сочетавшаяся с самыми легкими обязанностями сиделки у состоятельного больного джентльмена, живущего в Туикснеме и занятого грандиозным литературным исследованием, которым он хотел доказать, что сказка о «волшебной королеве» в действительности представляет собой трактат по молекулярной химии, написанный оригинальным и образным шифром.

2

Теперь, когда Анна-Вероника собиралась исследовать глубины трудовой жизни и помериться силами с реальным миром, она одновременно изучала идеи и взгляды целого ряда людей, как будто весьма заинтересованных в том, каким этот мир должен быть. Вначале мисс Минивер, а затем собственный естественный интерес привел ее в среду занятных людей, мечтавших о мировом прогрессе, великих коренных переменах, о новой эре, которая должна прийти на смену угнетению и всем непорядкам современной жизни.

Мисс Минивер узнала о побеге Анны-Вероники и получила ее адрес у Уиджетов. Она пришла на следующий день около девяти часов вечера, трепеща от восторга. Поднявшись вслед за хозяйкой до середины лестницы, мисс Минивер окликнула Анну-Веронику:

— Можно к вам? Это я, Нетти Минивер! — И она

появилась перед ней раньше, чем Анна-Вероника успела сообразить, кто такая Нетти Минивер.

Ее глаза сверкали, прямые волосы были растрепаны, наглядно демонстрируя ее одобрение независимым взглядам. Пальцы торчали из рваных перчаток, словно желая как можно скорее прикоснуться к Анне-Веронике.

— Вы великолепны! — восторженно произнесла мисс Минивер, держа руки Анны-Вероники в своих и заглядывая ей в лицо.— Великолепны! Вы так спокойны, дорогая, так тверды, так безмятежны!

— Девушки, подобные вам, покажут, каковы мы,— продолжала мисс Минивер.— Девушки, дух которых не сломлен!

Этот восторг несколько ободрил Анну-Веронику.

— Я наблюдала за вами в Морнингсайд-парке, дорогая,— сказала мисс Минивер.— Я наблюдаю за всеми женщинами. Тогда мне казалось, что вам, пожалуй, все равно, такая вы или не такая, как все. А теперь вы как будто сразу стали взрослой.

Помолчав, она добавила:

— Интересно знать... Мне хотелось бы... Может быть, на вас повлияли мои слова?

Не дожидаясь ответа Анны-Вероники, она стала уверять, что, конечно, повлияло что-то сказанное ею.

— Теперь все подхватывается и распространяется со сверхъестественной быстротой. Ведь сейчас такое великое время! Замечательное время! Еще никогда не было такой эпохи. Близится осуществление надежд, все движется, все увлекает! Восстание женщин! Эти идеи возникают повсюду. Расскажите мне, как сестре, все, что с вами случилось.

Своей последней фразой она немного расхолодила Анну-Веронику, но все же воздействие ее товарищеских чувств и энтузиазма было еще очень сильным; и было приятно чувствовать себя героиней после стольких уговоров и тайных сомнений.

Но долго мисс Минивер слушать не могла, она сама хотела говорить. Сидя, согнувшись, на краю коврика перед камином, возле этажерки с книгами, на которой стоял череп свиньи, глядя то на пламя, то вверх, на лицо Анны-Вероники, она дала волю своим чувствам.

— Погасим лампу,— предложила мисс Минивер,— при свете камина беседовать гораздо лучше! — Анна-Вероника согласилась.— Итак, вы бросили вызов жизни, смело глядя ей в лицо.

Вероника сидела, опершись подбородком на руку, освещенная пламенем, и почти все время молчала. Зато мисс Минивер усердно разглагольствовала. По мере того как она говорила, смысл и значение сказанного постепенно доходили до сознания Анны-Вероники, принимая определенный образ. Это было представление о громадном, сером, тоскливом, грубом и беспорядочном мире с бесчисленными предрассудками, о мире, упорствующем в своих заблуждениях, который причинял людям боль и всячески сковывал их. В прошлые времена и в прежних государствах зло воплощалось в тирании, резне, войнах, а в нынешней Англии оно представлено торгашеством, конкуренцией, снобами, мещанской добродетелью, потогонной системой и угнетением женщин. В рассуждениях мисс Минивер до сих пор все казалось убедительным. Однако, когда она в качестве борцов против этого мира выдвинула небольшое, но активное меньшинство — «Детей Света», которых описала как людей, «находящихся в авангарде или всецело передовых», Анна-Вероника отнеслась к ее словам довольно скептически.

Все, о чем говорила мисс Минивер, находилось «в действии», «близилось». Возвышенные мысли, Простая жизнь, Социализм, Гуманность — все было как будто одним и тем же. Она любила принимать во всем этом участие, дышать и жить этим. До сих пор предвестники прогресса появлялись в мировой истории с большими промежутками, голоса звучали и умолкали. Но теперь все будут действовать сообща, в едином порыве. С фамильярным уважением она упоминала Христа и Будду, Шелли, Ницше, Платона. Все они прокладывали путь. Их имена сверкали во тьме, как звезды в ночном небе, а между ними зияли черные провалы; но теперь, теперь совсем другое; теперь наступает рассвет, настоящий рассвет.

— Женщины поднимаются,— заявила мисс Минивер,— женщины и простой народ, все спешат, все пробуждаются.

Анна-Вероника слушала, глядя на пламя камина.

— Все за это берутся,— продолжала мисс Минивер.— И вы должны были принять в этом участие. Вы не могли поступить иначе. Что-то вас влекло. Каждого что-то влечет. В пригородах, в провинции — повсюду. Я вижу Движение в целом. Поскольку это в моих силах, я, безусловно, в его рядах. Я держу руку на пульсе событий.

Анна-Вероника молчала.

— Это заря! — сказала мисс Минивер, и в стеклах ее очков отразились язычки кроваво-красного пламени.

— Да я приехала в Лондон скорее из-за личных затруднений,— сказала Анна-Вероника.— И, пожалуй, не все, что вы говорите, мне понятно.

— Разумеется, нет,— ответила мисс Минивер, победоносно жестикулируя тонкой рукой и еще более тонким запястьем и похлопывая Анну-Веронику по колену.— Разумеется, нет. Вот это-то и удивительно. Но вы поймете, вы непременно поймете. Позвольте мне повести вас туда — на митинги, на конференции, беседы и так далее. Тогда вы начнете понимать. Все перед вами раскроется. Я по уши погрузилась в это, отдаю каждую свободную минуту, бросаю работу, все решительно! Я преподаю в школе, в одной хорошей школе, три раза в неделю. Все остальное отдаю движению. Теперь я научилась жить на четыре пенса в день. Представляете себе, сколько у меня благодаря этому остается свободного времени! Нет, я буду вас повсюду брать с собой. Я поведу вас к суфражисткам, к толстовцам, к фабианцам.

— Я слышала о фабианцах,— сказала Анна-Вероника.

— Вот это общество!— воскликнула мисс Минивер.— Это центр интеллигенции. Иногда их собрания бывают просто замечательными. Там такие серьезные, прекрасные женщины! Такие глубокомысленные мужчины! И подумать только, они там творят историю! Они составляют планы нового мира. И делают это весело. Среди них Шоу, Уэбб, писатель Уилкинс, Тумер и доктор Тампани — самые замечательные люди! Там вы услышите, как они спорят, решают, создают планы! Подумайте только: они *строят новый мир!*

— Но разве эти люди действительно способны все изменить? — спросила Анна-Вероника.

— А как же иначе?—ответила мисс Минивер, слегка подвинувшись к огню.— Что же, кроме этого, может произойти при нынешнем положении вещей?

3

Мисс Минивер с такой восторженной щедростью приобщила Анну-Веронику к своему представлению о мире, что оставаться критически настроенной было бы просто неблагодарностью. И действительно, Вероника почти незаметно для себя привыкла к своеобразной внешности и своеобразным манерам «людей из авангарда». Прошла ошеломленность, вызванная особой направленностью их ума, а потом по привычке стерлось и первоначальное впечатление какой-то нарочитой неразумности. Во многих отношениях они были совершенно правы; она уцепилась за это и все чаще закрывала глаза на тот парадоксальный вывод, что именно в силу их правоты их взгляды почему-то казались абсурдными.

В мире мисс Минивер одно из центральных мест занимали Гупсы. Более странную пару трудно было представить себе; они питались одними фруктами и жили под самой крышей в доме на Теобальдс-роуд. У них не было ни детей, ни слуг, и умение жить простой жизнью они довели до высочайшего мастерства. Мистер Гупс, как поняла Анна-Вероника, был преподавателем математики в школе, а его жена еженедельно писала статьи для «Нью Айдиэс» о вегетарианском столе, вивисекции, вырождении, о секреции молочной железы, аппендиците, о Высшем мышлении и помогала вести дела в фруктовой лавке на Тоттенхем Корт-роуд. Даже мебель в их квартире была непостижимо далека от жизни, а мистер Гупс ходил дома в скроенной наподобие костюма пижаме из мешковины, которая завязывалась коричневыми лентами, а его жена носила пурпурную «жибба» [1] с густо расшитой кокеткой. Он был маленького роста, смуглый, сдержанный, с широким, казавшимся непреклонным выпуклым лбом, а его жена — очень румяная, пылкая, с под-

[1] Жибба — платье восточного покроя, которое носили мусульмане и персы.

бородком, незаметно переходящим в полную, крепкую шею. Раз в неделю, по субботам, с девяти часов и до глубокой ночи у них происходили небольшие сборища, во время которых беседовали, иногда читали вслух, а угощение состояло из фруктовых блюд — сэндвичи из каштанов, намазанные ореховым маслом, лимонады, безалкогольное вино и все в том же роде; на одну из таких дружеских встреч мисс Минивер после долгих предварительных хлопот привела и Анну-Веронику.

Ее представили и, по ее мнению, несколько подчеркнуто, как девушку, выступившую против своих родных. Собрание состояло из престарелой дамы с необычайно морщинистой кожей, низким голосом, и, как показалось неопытному глазу Анны-Вероники, вышитой салфеточкой на голове; застенчивого молодого блондина с узким лбом и в очках; двух малоприметных женщин в скромных юбках и блузках и одной четы средних лет — оба были очень толстые, похожие друг на друга, одетые во все черное — мистер и миссис Данстейбл из муниципального совета Мерилбоуна. Гости расположились неправильным полукругом перед камином с медными украшениями, увенчанным резьбой по дереву и с надписью:

«Сделай это сейчас».

Вскоре к ним присоединился рыжеволосый молодой человек, жуликоватого вида, с оранжевым галстуком, в костюме из пушистого твида, и еще какие-то люди, которые в памяти Анны-Вероники, несмотря на ее усилия удержать подробности, упорно сохранились только как «прочие».

Беседа была оживленной и по форме оставалась блестящей даже тогда, когда по содержанию переставала быть ею. Временами Анна-Вероника начинала подозревать, что главные ораторы, как говорят школьники, «выставлялись» ради нее.

Они беседовали о новом суррогате жира для вегетарианской кухни, который, по убеждению миссис Гупс, производит особенно очищающее действие на ум. Затем перешли к рассуждениям об анархизме и социализме: является ли первый полной противоположностью второго или только его высшей формой. Молодой человек

с рыжеватыми волосами сослался на философию Гегеля, чем тут же запутал спор. Тогда вмешался олдермен Данстейбл, до сих пор хранивший молчание; отклонившись от темы, он изложил свои личные впечатления о целом ряде своих коллег, членов муниципального совета. И продолжал говорить об этом весь вечер, то умолкая, то возвращаясь к тому же и нарушая обсуждение других тем. Большей частью он обращался к Гупсам и говорил, как бы отвечая на заданные ими многочисленные вопросы о личном составе муниципального совета Мерилбоуна.

— Если бы вы спросили меня,— говорил он,— то я бы сказал, что Блайндерс — человек честный, но, разумеется, заурядный.

Участие миссис Данстейбл в разговоре выражалось преимущественно кивками; всякий раз, когда олдермен Данстейбл кого-нибудь хвалил или порицал, она кивала дважды или трижды — в зависимости от его пафоса. В то же время она не сводила глаз с платья Анны-Вероники. Миссис Гупс привела в некоторое замешательство олдермена, внезапно обратив внимание похожего на жулика молодого человека в оранжевом галстуке (он оказался помощником редактора «Нью Айдиэз») на появившуюся в его газете критическую статью о Ницше и Толстом, в которой выражались сомнения относительно подлинной искренности Толстого. И все казались весьма озабоченными вопросом об искренности великого писателя.

Мисс Минивер, заявив, что если она когда-нибудь потеряет веру в искренность Толстого, то ее собственные чувства перестанут иметь для нее какое-либо значение, спросила Анну-Веронику, не испытывает ли та то же самое; а мистер Гупс подчеркнул, что следует различать искренность и иронию, которая часто является не чем иным, как искренностью высшего порядка.

Олдермен Данстейбл заметил, что искренность — часто дело случая, и разъяснил вопрос молодому блондину, воспользовавшись в качестве иллюстрации эпизодом из деятельности Блайндерса в Комитете по борьбе с пылью; а молодому человеку в оранжевом галстуке тем временем удалось придать всей дискуссии несколько рискованный и эротический оттенок: он спросил, может ли кто-либо быть вполне искренним в любви.

Однако мисс Минивер полагала, что подлинная искренность только и бывает в любви, и она вторично поинтересовалась мнением Анны-Вероники. Но тут молодой человек в оранжевом галстуке заявил, что можно вполне искренне любить одновременно двух людей, хотя и поразному, соответственно индивидуальным особенностям каждого, и обманывать обоих. Тогда миссис Гупс напомнила ему урок, столь убедительно преподанный Тицианом в его картине «Любовь земная и небесная», и стала весьма красноречиво говорить о том, что любовь не терпит лжи.

Потом они рассуждали некоторое время о любви, и олдермен Данстейбл вновь обернулся к робкому молодому блондину и вполголоса, но совершенно ясно дал ему краткий и конфиденциальный отчет по поводу двойной привязанности Блайндерса, которая привела к неприятной ситуации в муниципальном совете.

Престарелая дама с салфеточкой на голове дотронулась до руки Анны-Вероники и сказала низким голосом с оттенком лукавства:

— Опять разговоры о любви; опять весна, опять любовь. О молодежь, молодежь!

Юноша в оранжевом галстуке, несмотря на сизифовы усилия Гупсов вести разговор на более высоком уровне, с большим упорством продолжал рассуждать о возможном раздвоении чувств у высокоразвитых современных людей.

Престарелая дама с салфеточкой вдруг сказала:

— Ах, молодежь, молодежь, если бы вы только знали!..

Она рассмеялась, потом задумалась; молодой человек с узким лбом и в очках откашлялся и спросил молодого человека в оранжевом галстуке, верит ли он в платоническую любовь. Миссис Гупс заявила, что она только в нее и верит, и, бросив взгляд на Анну-Веронику, неожиданно встала и поручила Гупсу и робкому молодому человеку разносить угощение.

Молодой человек в оранжевом галстуке остался на своем месте и продолжал спорить о том, имеет ли тело, как он выразился, свои законные требования. И, заговорив о «Крейцеровой сонате» и «Воскресении», они опять вернулись к Толстому.

Беседа продолжалась. Гупс, который вначале был довольно сдержан, прибегнул к сократовскому методу, чтобы обуздать молодого человека в оранжевом галстуке, и, склонив к нему голову, весьма убедительно стал доказывать ему, что тело — только иллюзия и ничего не существует, кроме духа и молекул мышления. Между ними произошло нечто вроде поединка, все остальные сидели и слушали — все, за исключением олдермена, который завел молодого блондина в угол возле зеленого кухонного шкафа с алюминиевой посудой и, усевшись спиной ко всем и прикрыв рот рукой для большей секретности, рассказывал ему шепотком и доверительным тоном о постоянном антагонизме между скромным и безобидным муниципальным советом и социальным злом в Мерилбоуне.

Беседа все еще продолжалась, собравшиеся перешли к критике романистов, их внимание привлекли некоторые смелые эссе Уилкинса, затем они принялись обсуждать будущее театра. Анна-Вероника отважилась вмешаться в дискуссию о романистах, взяв под защиту «Эсмонда» [1] и возразив против непонятностей «Эгоиста» [2]; когда она заговорила, все смолкли и стали слушать ее. Потом принялись решать, должен ли Бернард Шоу войти в состав парламента. Это привело к вопросу о вегетарианстве и трезвости, а молодой человек в оранжевом галстуке и миссис Гупс стали ожесточенно спорить об искренности Честертона [3] и Беллока [4], а конец этому положил Гупс, вновь пожелавший применить сократический метод.

Наконец Анна-Вероника и мисс Минивер спустились по темной лестнице и вышли в туманные просторы лондонских площадей, пересекли Рассел-сквер, Уобэрн-сквер, Гордон-сквер, направляясь кружным путем к дому Анны-Вероники. Они шли медленно, немного голодные после фруктового угощения, но умственно весьма ожив-

---

[1] «История Генри Эсмонда» — роман английского писателя Уильяма Теккерея (1811 — 1863).

[2] Роман английского писателя Джорджа Мередита (1828—1909).

[3] Честертон, Гилберт Кит (1874—1936) — английский писатель, автор романов, новелл, детективных рассказов.

[4] Беллок, Хилар (1870—1953) —английский поэт, романист, критик.

ленные. Мисс Минивер пустилась в рассуждение о том, кто именно — Гупс или Бернард Шоу, Толстой, доктор Тампани или писатель Уилкинс — является самым глубоким и самым совершенным умом современности. Ей было ясно, что людей, равных им по силе ума, в мире нет.

4

Потом, однажды вечером, Анна-Вероника отправилась с мисс Минивер в Эссекс-холл; там они сели в последнем ряду балкона, и она услышала и увидела лидеров-исполинов Фабианского общества, заново перестраивающих мир: на трибуне сидели Бернард Шоу, Тумер, доктор Тампани и писатель Уилкинс. Зал был переполнен; вокруг себя Анна-Вероника видела восторженную молодежь приятной наружности и великое множество людей, похожих на Гупсов. Дискуссия представляла собой самую странную смесь личного и мелкого с идеалистическими устремлениями, которые были прекрасны сами по себе и бесспорны. Почти в каждом выступлении чувствовалось одно и то же — необходимость великих перемен, перемен, которые придется завоевывать ценой усилий и жертв, но они непременно будут завоеваны. А потом она присутствовала на гораздо более многолюдном собрании охваченных энтузиазмом людей — на митинге секции женского движения в Кэкстон-холле, где как лейтмотив тоже звучала необходимость коренных изменений и широчайшего прогресса. Вероника побывала на вечере Ассоциации по реформе одежды, посетила Выставку по реформе пищи, где неотвратимые перемены были показаны с устрашающей отчетливостью. Женский митинг был гораздо более эмоциональным, чем собрание социалистов. Анна-Вероника совершенно потеряла там способность рассуждать и критиковать; она аплодировала, выкрикивала какие-то требования, с которыми потом, после зрелого размышления, никак не могла согласиться.

— Я знала, что и вы это почувствуете,— сказала мисс Минивер, когда они вышли оттуда красные и разгоряченные.— Я знала, что и вы увидите, как все становятся в единый строй.

И действительно, все становились как бы в единый строй. Вероника все более живо воспринимала не столько систему идей, сколько огромное, хотя и смутное стремление к переменам, великое недовольство жизнью и критическое отношение к ней, шумную путаницу идей по реорганизации всего: реорганизации торговли, развития экономики, закона собственности, положения детей, одежды, питания и всеобщего обучения. Она ясно представляла себе толпу людей, движущихся по запруженным улицам Лондона, людей, сознание, речи, жесты и даже одежда которых отражали полную уверенность в срочной необходимости всесторонних перемен. Некоторые действительно держали себя и даже одевались скорее как заезжие иностранцы из «Оглянись назад»[1] или «Вестей ниоткуда»[2], чем как коренные лондонцы, которыми они и были в действительности. Чаще всего это были люди независимые: скульпторы, молодые писатели, молодые служащие, много самостоятельных девушек и женщин из студенческой среды, словом, той среды, в которую Анна-Вероника окунулась теперь с головой и которая стала ее собственной средой.

Слова и поступки этих людей были знакомы Веронике, теперь она увидела всю эту массу людей и ощутила их — живых, выступающих с трибуны, настойчивых, тогда как раньше видела их лишь мимолетно или читала о них только в книгах. В Лондоне кварталы Блумсбери и Мерилбоун, на фоне которых демонстрировали эти люди, серые фасады домов, неумолимо респектабельные окна и ставни, бесконечные унылые железные ограды — все это вызывало в ней воспоминания об отце, об его закоснелом упрямстве и обо всем, против чего она сама боролась.

Разнообразное чтение и разговоры с Уиджетами отчасти уже подготовили Веронику к новым идеям и «движениям», хотя по своему темпераменту она скорее была склонна противиться и критиковать, нежели активно участвовать в них. Но люди, с которыми девушка теперь столкнулась благодаря усилиям мисс Минивер и Уид-

---

[1] Роман американского писателя Эдварда Беллами (1850—1898).

[2] Роман английского писателя Уильяма Морриса (1834—1896).

жетов — Гедди и Хетти как-то приехали из Морнингсайд-парка и повели ее в Сохо пообедать за 18 пенсов, где она познакомилась со студентами художественных училищ, социалистами и таким путем смогла побывать у них в студии на вечере, там говорили о всякой всячине, — эти люди повлияли на нее своей уверенностью, что мир, очевидно, застыл в нелепых заблуждениях, но достаточно всего нескольких пионеров, людей инициативных, вполне и безусловно «передовых», для того, чтобы новый порядок установился сам собой. Если девяносто процентов из тех людей, с кем встречаешься в течение месяца, не только говорят, но чувствуют и утверждают что-либо, то очень трудно не поверить им. Анна-Вероника почти незаметно для себя усвоила новую точку зрения, хотя рассудок ее продолжал еще противиться этим идеям. Тогда мисс Минивер и начала влиять на нее.

Секрет возрастающего влияния мисс Минивер, как это ни странно, заключался именно в том, что она никогда не приводила ясных доводов, никогда не смущалась внутренними противоречиями и испытывала столько же уважения к незыблемым утверждениям, сколько прачка — к мыльным парам, поэтому Анна-Вероника при первой их встрече в Морнингсайд-парке и отнеслась к ней критически и враждебно. Но сопротивление утомляет наш мозг, и при его неупорядоченной активности, снова и снова сталкиваясь с одними и теми же фразами, с теми же самыми идеями, которые он уже опроверг, вскрыл, отбросил и похоронил, он (мозг) все более теряет энергию, необходимую для повторения этой операции. Начинаешь чувствовать, что в самих идеях должно быть заключено нечто такое, что упорно и успешно возрождает их. Мисс Минивер назвала бы это воздействием Высшей Истины.

Однако, несмотря на все разговоры, деятельность и усилия, митинги и конференции, куда Анна-Вероника ходила со своей приятельницей и где временами с энтузиазмом аплодировала вместе с ней, глаза ее выражали все большее недоумение, а тонкие брови все сильнее хмурились. Она сочувствовала этой деятельности, была заодно с ее сторонниками, порой глубоко это ощущала, и все же что-то ускользало от нее. Жизнь в Морнингсайд-парке была бездеятельной и неполноценной; здесь все неслось вперед, все действовало, но тоже чувствовалась

какая-то неполноценность. Чего-то не хватало. Множество участников «авангарда» были заурядными людьми или чудаками, а то и просто уставшими от своей деятельности. Все они не умели спорить, страдали самомнением и непоследовательностью суждений, а это вредило делу. Порой Анне-Веронике вся эта деятельность общества, собрания и беседы представлялись инсценировкой, прикрывающей некий унизительный провал эффектным шумом громких выступлений. Случилось так, что Анна-Вероника стала встречаться с семьей конского барышника из Морнингсайд-парка, представлявшей полную противоположность кружку Уиджетов; компания состояла из молодых женщин, элегантно одетых и веселых, и их брата-наездника, имевшего пристрастие к модным жилетам, сигарам и мушкам. Девушки носили шляпы удивительных фасонов и с такими бантами, которые должны были поразить насмерть всякого; они считали необходимым присутствовать на всех фешенебельных сборищах и первыми узнавать обо всех сногсшибательных событиях; свое отношение к социалистам и ко всем сторонникам реформ они определяли словами «просто ужас» и «бред». Ну что же, эти слова, бесспорно, отражали некоторые черты всего Движения, которому служила мисс Минивер. В каком-то смысле это и было «бредом». И все же...

В конце концов ошеломляющий контраст между передовой мыслью и передовыми мыслителями стал тревожить Анну-Веронику даже по ночам и не давал ей спать. Например, общие положения социализма вызывали в ней восторг, но она не могла распространить своего восхищения ни на одного из его последователей. Более глубоко ее продолжала волновать идея равноправия женщин и сознание того, что есть многочисленная и все растущая женская организация, которая отстаивала чувство собственного достоинства и форму его проявления и требовала уважения к жажде личной свободы—именно эта жажда и привела Веронику в Лондон. Но все в ней восставало, когда она слушала рассуждения мисс Минивер о кампании за общее избирательное право или читала о женщинах, которые с галереи выкрикивают оскорбления в адрес кабинета министров и на публичных митингах вскакивают и при-

нимаются свистеть, требуя избирательных прав, а когда их насильно выпроваживают, отбиваются и визжат. Вероника не могла отказаться от чувства собственного достоинства. Что-то, еще не совсем осознанное, удерживало ее от такого воплощения в жизнь ее взглядов.

— Не для таких дел,— говорил ей внутренний голос,— ты восстала, Анна-Вероника. Не в этом твоя задача.

Она как бы видела во тьме нечто прекрасное и замечательное, но пока что нереальное. Морщинка между ее бровями становилась все более заметной.

5

В начале декабря Анна-Вероника стала подумывать о закладе своих вещей. Она решила начать с жемчужного ожерелья. Девушка провела очень неприятный день и вечер, размышляя о своем материальном положении и о мерах, которые следовало принять,— шел сильный дождь, а она опрометчиво оставила самые прочные ботинки в отцовском шкафу для обуви в Морнингсайд-парке. Тетка по секрету прислала ей новое теплое белье, шесть пар чулок и прошлогодний зимний жакет, но эта добрая душа забыла о ботинках.

Отсутствие нужной обуви особенно ясно показало ей всю неприглядность ее положения. В конце концов Анна-Вероника решилась на шаг, всегда казавшийся ей разумным, но от которого она до сих пор воздерживалась по каким-то неосознанным причинам. Она решила пойти в Сити к Рэмеджу и спросить у него совета. На следующее утро, одевшись особенно тщательно и изящно и узнав его адрес в справочнике на почте, она отправилась к нему.

Веронике пришлось подождать несколько минут в приемной конторы, где трое бойких и броско одетых молодых людей смотрели на нее, едва скрывая восхищение и любопытство. Наконец появился Рэмедж, горячо приветствовал ее и повел в свой кабинет. Трое молодых людей обменялись красноречивыми взглядами.

Его комната была довольно изящно обставлена: красивый пушистый турецкий ковер, добротная медная каминная решетка, старинный письменный стол тонкой работы; на стенах висели гравюры — две грезовские



«АННА-ВЕРОНИКА»



«АННА-ВЕРОНИКА»

головки и репродукция с какой-то современной картины, изображающая мальчиков в залитом солнцем пруду.

— Вот так сюрприз! — сказал Рэмедж.— Это просто замечательно. А мне уж казалось, что вы исчезли из моей жизни. Разве вы уехали из Морнингсайд-парка?

— Я вам не помешала?

— Именно. Это и чудесно. Дела только и существуют для таких помех. Садитесь, пожалуйста, в самое лучшее кресло для клиентов.

Анна-Вероника села, Рэмедж, любуясь ею, устремил на нее пылкий взгляд.

— Я вас искал,— сказал он.— Должен в этом сознаться.

Она впервые заметила, какие у него выпуклые глаза.

— Мне нужен совет,— сказала Анна-Вероника.

— Да?

— Помните, однажды мы беседовали у ограды, возле холмов: мы говорили о том, каким образом девушка может добиться независимости.

— Да, да.

— Так вот, видите ли, дома кое-что произошло.

Она смолкла.

— С мистером Стэнли ничего не случилось?

— Я поссорилась с отцом. Из-за того, как мне следует или не следует поступать. По правде говоря, он просто-напросто запер меня в комнате.

Она с трудом перевела дыхание.

— Да что вы!

— Я хотела пойти на вечер студентов-художников, а он этого не одобрял.

— А почему бы вам было не пойти?

— Я почувствовала, что это надо пресечь, уложила вещи и на другой день приехала в Лондон.

— К подруге?

— В меблированную комнату, одна.

— Скажите, какая смелая! И вы сделали это по собственной инициативе?

Анна-Вероника улыбнулась.

— Совершенно самостоятельно.

— Великолепно! — Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на нее, склонив голову набок.— Ей-богу! В вас

есть что-то непосредственное. Интересно знать, будь я вашим отцом, мог ли бы я запереть вас на ключ? К счастью, я не ваш отец. И вы собрались в путь, чтобы сразиться с обществом и стать самостоятельной гражданкой? — Он выпрямился и сложил руки на письменном столе.— Как же общество к этому отнеслось? — спросил мистер Рэмедж.— Я бы на его месте расстелил перед вами пунцовый ковер, осведомился у вас, чего вы хотите, и просил бы вас со мной не считаться. Но общество этого не сделало.

— Совершенно верно.

— Оно повернулось к вам широкой непроницаемой спиной и прошло мимо, думая о чем-то другом. Оно предложило вам от пятнадцати до двадцати двух шиллингов в неделю за тяжелую и нудную работу. Общество не умеет воздавать должное молодости и отваге. И никогда не воздавало.

— Да,—сказала Анна-Вероника.—Но дело в том, что мне нужна работа.

— Верно! И вот вы пришли ко мне. Как видите, я не поворачиваюсь спиной, я гляжу на вас и думаю о вас.

— И что же, по вашему мнению, мне следует делать?

— Вот именно.— Он приподнял пресс-папье и осторожно положил его на место.— Что вам следует делать?

— Я искала любой работы.

— Пожалуй, вы серьезно к этому не стремились.

— Не понимаю.

— Вам хочется быть свободной и все прочее, да? Но вы не очень хотите выполнять ту самую работу, которая даст вам свободу. Я имею в виду, что сама по себе работа вас не интересует.

— Полагаю, что нет.

— В этом и заключается разница между нами. Мы, мужчины, подобны детям. Мы способны увлекаться зрелищами, играми, трудом, которым мы занимаемся. Поэтому мы действительно делаем это упорно и иногда довольно успешно. А женщины — женщины, как правило, не умеют так отдавать себя чему-нибудь. В сущности, это не их задача. И потому, естественно, в них нет упорства, они не так хорошо справляются с работой, и

общество не платит им настоящей цены. Видите ли, женщины не хотят разбрасываться, заниматься одновременно многими делами, они серьезнее, сосредоточены на главной, подлинной сущности жизни и несколько нетерпеливы, ожидая ее конкретного воплощения. Именно поэтому умной женщине труднее добиться независимости, нежели умному мужчине.

— Она не приобретает специальности...— Анна-Вероника силилась понять его.

— Специальность-то у нее есть, в этом все дело,— продолжал он.— Ее специальность — самое главное в жизни, сама жизнь, тепло жизни, пол и любовь.

Он произнес все это как глубокое убеждение, не отрывая глаз от лица Анны-Вероники. Казалось, он поделился с ней сокровенной, личной тайной. Она вздрогнула, когда он бросил ей эти слова в упор, хотела ответить, но сдержалась и слегка покраснела.

— Это не имеет отношения к моему вопросу,— ответила она.— Может быть, вы и правы, но я имела в виду другое.

— Ну конечно,— ответил Рэмедж, словно покончив с какими-то серьезными заботами, и начал расспрашивать деловым тоном о предпринятых ею шагах и наведенных справках.

В нем уже не было веселого оптимизма, как во время их разговора у ограды на лужайке. При готовности помочь он высказывал и серьезные сомнения в успехе.

— Видите ли,— говорил он,— с моей точки зрения, вы взрослая, вы ровесница богиням всех времен и современница любого мужчины, ныне живущего на земле. Но... с экономической точки зрения вы очень молоды и совершенно неопытны.

Он остановился на этой мысли и стал ее развивать:

— Вы еще, так сказать, в школьном возрасте. С деловой точки зрения для большинства женских профессий, обеспечивающих прожиточный минимум, вы незрелы и недостаточно подготовлены. Что, если бы вы продолжили свое обучение?

Рэмедж заговорил о секретарской работе, но даже для этого ей надо уметь печатать на машинке и стенографировать. Из его слов ей становилось все яснее, что

правильнее будет не зарабатывать деньги, а приобретать умение.

— Видите ли,— сказал он,— вы в этом деле, как недосягаемая золотая жила. Вы представляете собой великолепное сырье, но готовой продукции для продажи у вас нет. Вот как все это обстоит в деловом мире.

Он задумался. Затем хлопнул рукой по письменному столу и поднял глаза с видом человека, которого осенила блестящая идея.

— Послушайте,— сказал он, выкатив глаза,— зачем вам именно сейчас браться за какую-нибудь работу? Отчего не поступить благоразумно, если вы стремитесь к свободе? Заслужите вашу свободу. Продолжайте занятия в Имперском колледже, получите диплом и повысьте себе цену. Или станьте высококвалифицированной машинисткой-стенографисткой и секретарем.

— Но я не могу этого сделать.

— Почему?

— Видите ли, если я вернусь домой, отец станет возражать против колледжа, а что касается печатания на машинке...

— Не возвращайтесь домой.

— Да, но вы забыли, как же мне жить?

— Очень просто. Очень просто... Займите... у меня.

— Не могу,— резко ответила Анна-Вероника.

— Не понимаю, почему.

— Это невозможно.

— Как друг берет у друга. Мужчины всегда так делают, и если вы решили стать похожей на мужчину...

— Нет, мистер Рэмедж, об этом не может быть и речи.— Лицо Анны-Вероники порозовело.

Устремив на нее упорный взгляд, он выпятил свои несколько отвисшие губы и пожал плечами.

— Во всяком случае... Я не вижу достаточных оснований для вашего отказа. Я вам просто даю совет. Вот то, что вам нужно. Считайте, что у вас есть какие-то средства, которые вы мне доверили. Может быть, на первый взгляд это кажется вам странным. Людей приучили быть особенно щепетильными в отношении денег. Как бы из деликатности. А это своего рода робость. Но вот перед вами источник, из которого можно черпать.

Если вы займете у меня денег, вам не придется ни делать противную вам работу, ни возвращаться домой.

— Вы очень любезны...— начала Анна-Вероника.

— Ничуточки. Просто дружеский вежливый совет. Я не проповедую филантропии. Я возьму с вас пять процентов, не больше, не меньше.

Анна-Вероника хотела ответить, но ничего не сказала. Пять процентов повысили ценность предложения, сделанного Рэмеджем.

— Во всяком случае, считайте вопрос открытым.— Он снова стукнул пресс-папье по столу и заговорил совсем другим тоном: — А теперь расскажите мне, пожалуйста, как вы сбежали из Морнингсайд-парка. Каким образом вам удалось вынести вещи из дома? Было ли это ну... хоть чуточку забавно? Вот одно из упущений моей прошедшей молодости. Я никогда, ниоткуда и ни с кем никуда не убегал. А теперь... полагаю, меня сочли бы слишком старым. Я-то сам этого не ощущаю... И вы, наверное, чувствовали, что переживаете настоящее приключение, когда поезд подходил к Ватерлоо?

6

Перед рождеством Анна-Вероника еще раз была у Рэмеджа и согласилась на предложение, сначала ею отвергнутое.

Множество мелких обстоятельств способствовало такому решению. Больше всего на нее повлияло постепенно пробуждающееся сознание, что без денег ей не обойтись. Пришлось купить ботинки и расхожую юбку, а сумма, вырученная от заклада жемчужного ожерелья, была обидно ничтожной.

Кроме того, ей хотелось занять денег. Рэмедж во многих отношениях оказался прав: это был самый разумный выход. Следовательно, надо взять деньги. Тем самым вся ее затея получит более широкую и прочную основу; это была чуть ли не единственная возможность завершить ее бунт с некоторым успехом. А хотя бы ради победы в споре с родными Анна-Вероника желала добиться успеха. В конце концов почему ей и не взять взаймы у Рэмеджа?

Он сказал сущую правду: средняя буржуазия до смешного щепетильна в отношении денег. К чему это?

Они с Рэмеджем друзья, большие друзья. Если бы она могла оказать ему какую-либо помощь, она бы это сделала; но вышло наоборот. Помощь мог оказать он. Что же мешает этому?

Вероника решила покончить со своими колебаниями. Она пошла к Рэмеджу и почти сразу заговорила о деле.

— Можете вы мне одолжить сорок фунтов?

Мистер Рэмедж быстро овладел собой и собрался с мыслями.

— По рукам,— сказал он.— Разумеется.— И взял лежавшую перед ним чековую книжку.

— Лучше всего,— продолжал он,— получить сразу круглую сумму. Я вам не дам чек, хотя... Нет, я это сделаю. Я вам дам некроссированный чек, и вы сможете получить деньги в банке здесь, совсем рядом... Вам лучше не иметь всех денег при себе; вы откроете небольшой текущий счет в почтовом отделении и будете брать по пять фунтов. Для этого не нужно справок, как при банковских расчетах, и так далее. Деньги будут лежать дольше, и вам не придется с этим возиться.

Он стоял довольно близко к ней и смотрел ей в глаза. Казалось, он силится понять нечто весьма сложное и неуловимое.

— Приятно,— сказал он,— сознавать, что вы обратились ко мне. Это своего рода гарантия доверия. Прошлый раз вы меня так осадили, что я почувствовал себя униженным.

Он запнулся, потом переменил тему.

— Есть столько вопросов, о которых мне хотелось бы поговорить с вами. Теперь как раз время завтрака. Давайте позавтракаем вместе.

Анна-Вероника была в нерешительности:

— Я не хочу отнимать у вас время.

— Мы не пойдем в Сити. Там только одни мужчины, и нет уверенности, что обойдется без скандала. Я знаю одно местечко, где мы сможем спокойно побеседовать.

Анне-Веронике по какой-то неуловимой причине не хотелось завтракать с ним, но причина была настолько неуловима, что она решила не считаться с ней, и Рэмедж провел ее через приемную, оживленный и предупредительный, вызвав интерес трех клерков. Все три клерка,

оттесняя друг друга от единственного окна, увидели, как она села в экипаж. Последовавший между ними разговор выходит за пределы нашего рассказа.

— К Риттеру! — приказал кучеру Рэмедж.— Динстрит.

Анна-Вероника редко ездила в экипаже, и поездка сама по себе была веселым и приятным событием. Ей нравился легкий ход и высокое сиденье, расположенное над большими колесами, быстрый перестук копыт, езда по людным и шумным улицам. Она поделилась своими приятными впечатлениями с Рэмеджем.

И у Риттера было занятно, непривычно, уютно: маленький зал неправильной формы с небольшими столиками, электрические лампы под красными абажурами, цветы. День был хмурый, хоть и не туманный, абажуры отбрасывали теплые тени, а лакей, плохо говоривший по-английски, приняв заказ у Рэмеджа, обслуживал их с приятным радушием. Анне-Веронике вся затея показалась веселой. Кухня у Риттера была лучше, чем у большинства его соотечественников, а Рэмедж обнаружил тонкое понимание женского вкуса, заказав vero cari. Анна-Вероника почувствовала, как глоток этого удивительного вина словно согрел ей кровь; тетка, конечно, не одобрила бы такого завтрака tête-á-tête с мужчиной, а между тем это было вполне невинно и очень приятно.

Во время завтрака они вели легкий и дружеский разговор о делах Анны-Вероники; Рэмедж оказался интересным и умным собеседником, он допускал в разговоре некоторые вольности, однако в пределах дозволенного. Она описала ему Гупсов, фабианцев и свою хозяйку; он говорил занимательно и без всякой предвзятости о видах на будущее, открывающихся перед современной молодой женщиной. Очевидно, Рэмедж хорошо знал жизнь. Он коснулся существующих возможностей. Пробудил ее любопытство. Он представлял собой полную противоположность Тедди с его пустозвонством. Дружба с ним была, по-видимому, делом стоящим...

Но когда она вечером в своей комнате стала размышлять, то неожиданно увидела все в другом свете и начала сомневаться в правильности своих поступков. Что могло означать это выражение сдержанного удовольствия на его лице? Ей казалось, что, желая вести

разговор на равных началах, она говорила свободнее, чем следовало, и у него создалось о ней неправильное впечатление.

7

Это было за два дня до сочельника. А на другое утро пришло лаконичное письмо от отца.

«Дорогая дочь,— писал он,— теперь, когда наступают дни всепрощения, я в последний раз протягиваю тебе руку в надежде на примирение. Я прошу тебя, хотя не к лицу мне просить тебя, вернись домой. Этот кров все еще готов принять тебя. Если ты вернешься, то не услышишь никаких укоров, и будет сделано все возможное для того, чтобы ты была счастлива.

Мне приходится умолять тебя вернуться. Твое приключение слишком затянулось, оно причиняет большое страдание твоей тете и мне. Мы не можем понять, почему ты так ведешь себя, как ты справляешься с трудностями и на какие средства ты живешь. Если ты хорошенько подумаешь об одном обстоятельстве — о том, как нам трудно объяснять людям причину твоего отсутствия,— то поймешь, насколько все это тяжело. Вряд ли мне надо говорить о том, что тетя всей душой присоединяется к моей просьбе.

Пожалуйста, вернись домой. Я не буду слишком требовательным к тебе.

Любящий тебя
отец».

Анна-Вероника сидела у камина, держа в руке письмо отца.

— Странные письма он пишет,— сказала она.— Вероятно, люди по большей части пишут странные письма. Готов принять — точно это Ноев ковчег. Интересно, действительно ли он хочет, чтобы я вернулась домой? Удивительно, до чего мало я знаю об отце, о том, что он думает и чувствует. Хотелось бы мне знать, как он обращался с Гвен.

Она стала думать о своей сестре.

— Надо бы ее повидать, узнать, что там произошло.

Затем она вспомнила о тетке.

— Мне хотелось бы вернуться домой,— воскликнула Вероника,— чтобы доставить ей удовольствие! Она

добрая душа. Подумать только, как мало он приносит ей радости!

Однако правда взяла верх.

— Странно, но я не вернусь домой, только чтобы доставить ей удовольствие. Она по-своему прелесть. Мой долг — хотеть доставить ей удовольствие. А я не хочу. Мне все равно. Я даже не могу вызвать в себе теплые чувства.

Она вынула из шкатулки чек Рэмеджа, как бы желая сравнить его с письмом отца. Вероника до сих пор не получала денег. Чек еще не был индоссирован.

— Предположим, я его уничтожу,— сказала она, стоя с розовато-лиловым бланком в руке,— предположим, я его уничтожу, сдамся и вернусь домой! Может быть, Родди и прав!

— Отец приоткрывает дверь и захлопывает ее, но наступит время...

— Я все еще могу вернуться домой!

Она держала чек Рэмеджа так, как будто собиралась разорвать его пополам.

— Нет,— наконец сказала она.— Я человек, а не робкая женщина. Что я буду делать дома? Те, кто падает духом, сдаются. Трусы! Я доведу дело до конца.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БИОЛОГИЯ

1

В январе Анна-Вероника приступила к занятиям в биологической лаборатории Центрального Имперского колледжа, здание которого высится среди глухих улиц на углу Юстон-роуд и Грейт Портлэнд-стрит. Она усердно проходила повышенный курс сравнительной анатомии, ощущая удивительное облегчение оттого, что мысль ее была занята систематической разработкой одной темы, а не перебрасывалась с одного неясного вопроса на другой, как это происходило в течение двух последних месяцев. Вероника делала все возможное, чтобы не думать и даже забыть, во-первых, о том, что причалить

к этой гавани и получить удовлетворение от работы ей удалось, задолжав сорок фунтов Рэмеджу, и, во-вторых, что ее теперешнее положение неизбежно кончится, а виды на будущее весьма туманны.

В биологической лаборатории царила особая атмосфера. Оттуда, с верхнего этажа, открывался широкий вид на Риджент-парк и на массив тесно столпившихся более низких домов. Лаборатория, длинная и узкая комната, спокойная, достаточно освещенная, с хорошей вентиляцией и вереницей небольших столов и моек, была пропитана испарениями метилового спирта и умеренным запахом стерилизованных продуктов органического распада. По внутренней стене была выставлена замечательно классифицированная самим Расселом серия образцов. Наибольшее впечатление на Анну-Веронику произвела необыкновенная продуманность этой серии, в сравнении с которой подобного рода выставки, виденные ею до сих пор, казались нестройными и беспорядочными. И целое и каждая деталь в отдельности были подчинены одной задаче: пояснить, разработать, критически осветить и все полнее и полнее представить строение животных и растений. Сверху донизу и от начала до конца — все находившиеся здесь предметы были связаны с теорией о формах жизни; даже тряпка для стирания мела участвовала в этой работе, даже мойки под кранами; все в этой комнате подчинялось одной цели, пожалуй, еще больше, чем в церкви. Вот почему здесь было так приятно работать. В противовес хаосу, царившему на митингах фабианцев, и малопонятному энтузиазму участников кампании за избирательные права с выступлениями ораторов, то самовлюбленных, то маневрирующих или выкрикивающих невразумительные лозунги, с быстрой сменой слушателей и сторонников, подобных обрывкам бумаги, гонимых ветром, эта длинная, тихая, деловая комната сияла, как звезда сквозь тучи.

День за днем в аудитории в точно назначенное время Рассел с целеустремленной энергией и терпением собирал по крупицам все «за» и «против», все аргументы и гипотезы, все, с чем он встречался на пути к построению родословного древа жизни. Затем студенты переходили в длинную лабораторию и усердно исследовали эти факты на почти живой ткани при помощи микроскопа

и скальпеля, зонда и микротома, совершая время от времени набеги в соседний тесно заставленный музей, где образцы, макеты и справочный материал располагались в строгом порядке и находились в ведении ассистента Кейпса. На обоих концах перед рядами столов имелись классные доски, стоя у которых Кейпс руководил вскрытием, разъясняя строение исследуемых объектов; он говорил быстро и нервно, резко отличаясь от Рассела с его медленной и четкой речью. Затем Кейпс проходил по всей лаборатории, присаживаясь около каждого студента, проверяя работу, обсуждая трудности и отвечая на вопросы, возникшие после лекции Рассела.

Анна-Вероника поступила в Имперский колледж, захваченная интересом к выдающейся личности Рассела, к его роли в диспутах о дарвинизме, под обаянием его внешности — этого жестко очерченного рта, желтого львиного лица, этой серебряной гривы волос. Кейпс был тоже своего рода находкой, как бы сверхдополнением. Рассел светил, как маяк, Кейпс сверкал, как молния, мгновенно озаряя сотни уголков, которые Рассел упорно оставлял в тени.

Кейпс, молодой человек лет тридцати двух или трех, очень красивый и настолько белокурый, что как будто чудом избежал белесых ресниц, был менее известен, но его уважали за самостоятельность научной мысли. Стоя у доски, он говорил приятным голосом, чуть шепелявя, с редкой непосредственностью излагая свои мысли то довольно неуклюже, то очень живо. Анатомировал он хорошо, но как-то неловко и торопливо, чертил быстро и угловато, причем недостаточная точность восполнялась смыслом. Цветные мелки, подобно ракетам разных оттенков, летали по классной доске, рождая диаграммы одну за другой.

В этом году в лаборатории повышенного курса, очевидно, из-за малочисленности класса, оказалось необычное число девушек и женщин. Класс состоял всего лишь из девяти учащихся, и четыре из них были студентки. С такой маленькой группой было легче работать и вести занятия в форме собеседований. Как-то само по себе вошло в привычку всем вместе в четыре часа пить чай под опекой мисс Гэрвайс, высокой и грациозной девуш-

ки, не блиставшей умом, но с чрезмерной склонностью к хозяйству.

Кейпс приходил на эти чаепития; ему определенно нравилось там бывать; он появлялся в дверях препараторской, веселый и смущенный, ожидая приглашения.

Анна-Вероника с самого начала решила, что он исключительно интересный человек. Прежде всего ее поразило его непостоянство: она никогда не встречала столь изменчивых людей. Временами он выступал с блеском и уверенностью в себе, говорил пространно и больше всех и мог бы показаться высокомерным, если бы не присущая ему удивительная доброта. Иногда же он отвечал односложно, и самые искусные попытки мисс Гэрвайс вызвать его на разговор кончались поражением. Временами он бывал крайне раздражительным и неловким, и ему не удавалось держаться непринужденно. А порой в приступе своеобразной язвительной иронии сметал все, что дерзало преграждать ему путь. Анна-Вероника до сих пор видела мужчин более устойчивого склада: Тедди, который всегда был глуп, отца, который всегда был деспотичен и сентиментален, Мэннинга, который всегда оставался Мэннингом. И большинство других, встреченных ею, тоже не казались изменчивыми. Гупс, она в этом не сомневалась, всегда был далек от жизни, медлителен и рассудителен. Рэмедж тоже — у Рэмеджа всегда сохранялось алчное выражение лица, знающее и вопрошающее, а в его разговорах чувствовалась смесь хорошего и дурного. Но относительно Кейпса ни в чем нельзя было быть уверенной.

Пятеро студентов-мужчин были весьма различны. Один из них, восемнадцатилетний юнец, чрезвычайно белолицый, зачесывал назад волосы в точности, как это делал Рассел, и, оказываясь рядом с Анной-Вероникой, становился молчаливым до неловкости, а она только по чисто христианской доброте всегда была с ним мила; второй, расхлябанный молодой человек лет двадцати пяти в темно-синем костюме, пытался сочетать Маркса и Бебеля с самыми общепризнанными богами биологического пантеона. Имелся еще один, решительный и румяный юноша маленького роста, унаследовавший от отца безапелляционный тон в вопросах биологии; потом студент-японец со скромными манерами, он превосходно

чертил и плохо владел английским; и, наконец, темноволосый, словно неумытый шотландец в очках со сложными стеклами; он приходил каждый день с утра в качестве некоего добровольного и дополнительного ассистента, пристально рассматривал Веронику и ее работу и говорил, что она препарирует «волшебно», или «поистине волшебно», или «гораздо выше обычного женского уровня», медлил, как бы ожидая бурного выражения признательности, а возвращаясь на свое место, бросал на нее восхищенные взгляды, которые отражались в граненых стеклах его очков, вспыхивавших, подобно бриллиантам.

Женщины, по мнению Анны-Вероники, были менее интересны, чем мужчины. Среди них две школьные учительницы; одна — мисс Клегг — вполне могла сойти за двоюродную сестру мисс Минивер, так много сходного было в их характерах; затем какая-то вечно озабоченная девушка, она отлично училась, но ее имени Анна-Вероника никак не могла запомнить, и, наконец, мисс Гэрвайс, которая сначала ей очень понравилась — она так грациозно двигалась,— а потом у нее сложилось впечатление, что сущность мисс Гэрвайс заключалась только в умении грациозно двигаться.

2

Следующие несколько недель Анна-Вероника особенно живо размышляла и развивалась. Сумбурные впечатления, накопившиеся перед тем, как бы стерлись, она освободилась от беспорядочных поисков места и смогла опять включиться в строгую и последовательную разработку научных идей. Повышенный курс Центрального имперского колледжа был тесно связан с жизненными интересами и столкновениями научных взглядов. Опыты и материалы основывались на двух крупных исследованиях Рассела: о связи между плеченогими и колючеголовыми и о вторичных и третичных факторах млекопитающих и псевдомлекопитающих в свободных личиночных формах различных морских организмов. Кроме того, разгорался перекрестный огонь взаимной критики между Имперским колледжем и менделистами Кембриджа, и это находило свое отражение в лекциях. Весь материал с начала до конца получали из первых рук.

Однако влияние науки распространялось далеко за пределы ее собственной сферы, за пределы тех замечательных, но чисто технических проблем, которыми мы ни на секунду не собираемся докучать читателю, и так уж, наверное, испуганному. Биология исключительно хорошо усваивается. Она дает ряд широких экспериментальных обобщений, а затем позволяет согласовывать или устанавливать с ними связь бесконечно многообразных феноменов. Прожилки зародыша в яйце, нервные движения нетерпеливой лошади, уловки мальчика, занятого счетом, инстинкты рыбы, поганка на корне садового цветка и слизь на сырой приморской скале — десятки тысяч подобных явлений служат доказательствами и соответствующим образом освещаются. И эти обобщения не только захватывали своими щупальцами и собирали воедино все факты естествознания и сравнительной анатомии, они всегда как бы распространялись все дальше на мир интересов, лежащих за их законными границами.

Однажды вечером после долгой беседы с мисс Минивер Анне-Веронике пришла в голову еще неизведанная, удивительная, фантастическая мысль о том, что эта постепенно разрабатываемая биологическая схема представляет для нее не только чисто академический интерес. Эта схема служила, в сущности, более систематическим, особым методом для рассмотрения тех самых вопросов, которые лежали в основе дискуссий Фабианского общества, бесед Западного центрального клуба искусств, болтовни в студиях и глубоких, бездонных споров в самых обычных домах. Это был тот самый «Биос» [1], который по своей природе, стремлениям, методам, направлениям и аспектам захватывал их всех. И сама Анна-Вероника тоже была этим «Биосом», снова повторявшим путь к селекции, размножению, гибели или выживанию.

Но лишь на мгновение она применила эту мысль к себе, развивать же ее не стала.

Теперь Анна-Вероника и вечером была очень занята. Она продолжала вместе с мисс Минивер интересоваться движением социалистов и агитацией суфражисток.

---

[1] Биос — жизнь (*греч.*).

Они ходили на различные центральные и районные собрания фабианцев и на митинги суфражисток. На всех этих собраниях где-то сбоку болтался Тедди Уиджет, поглядывал на Анну-Веронику, иногда дружески бросался к ней навстречу и после митингов водил ее и мисс Миниwер пить какао в компании молодежи, близкой по духу фабианцам. Мистер Мэннинг тоже появлялся время от времени на ее горизонте со своей докучной заботливостью, всякий раз повторяя, что она великолепна, прямо великолепна, и старался объясниться с нею. Мэннинг не скупился на многочисленные чаепития, чтобы завоевать Анну-Веронику. Обычно он приглашал ее выпить с ним чаю в уютном кафе над фруктовой лавкой на Тоттенхем Корт-роуд и там излагал свои взгляды и делал намеки на то, что готов выполнить любое ее приказание. Звучно и отчетливо, тщательно отделяя каждую фразу, говорил о своих разнообразных художественных вкусах и эстетических оценках. На рождество мистер Мэннинг преподнес ей собрание сочинений Мередита, изданное небольшим форматом, в очень изящном переплете из мягкой кожи, стремясь, как он выразился, выбрать автора скорее по ее, чем по своему вкусу.

Он держал себя с ней с каким-то подчеркнутым и обдуманным свободомыслием, давал ей понять, что вполне сознает некорректность их встреч, никем не санкционированных, но нарушение светских приличий его нисколько не смущает, что он махнул на них рукой, так будет и впредь.

Кроме того, Анна-Вероника виделась почти каждую неделю с Рэмеджем и серьезно верила в их необыкновенную дружбу. То он предлагал ей пообедать с ним в каком-нибудь маленьком итальянском или полубогемном ресторане в районе Сохо, то в одном из наиболее модных и роскошных — на Пикадилли-Сэркис,— и она большей частью соглашалась. Да ей, собственно, и хотелось. Эти обеды, начиная с обильных и сомнительного вида закусок и кончая небольшой порцией мороженого на тарелочках из гофрированной бумаги, с кьянти в оплетенных узкогорлых бутылках, с кушаньями, сдобренными пармезаном, лакеями-полиглотами и разноязычной публикой—все это забавляло ее и веселило. Ей действительно нравился Рэмедж, она ценила его помощь и советы,

Интересно было наблюдать за его своеобразным и характерным подходом к важным для нее вопросам и занятно узнавать о другой стороне жизни одного из обитателей Морнингсайд-парка. А она-то воображала, что все жители Морнингсайд-парка возвращаются домой самое позднее к семи часам, как обычно делал отец. Рэмедж постоянно говорил о женщинах или о чем-либо, что их касалось, и очень много о взглядах самой Анны-Вероники на жизнь. Он всегда сравнивал участь женщины и мужчины, а Веронику считал замечательным новым явлением. Молодой девушке нравилась их дружба, особенно потому, что она казалась ей необычной.

Пообедав, они чаще всего гуляли по набережной Темзы, любуясь течением реки по обе стороны моста Ватерлоо; затем расставались у Вестминстерского моста, и он обычно шел по направлению к Ватерлоо. Однажды Рэмедж предложил Анне-Веронике пойти в мюзик-холл посмотреть новую замечательную танцовщицу, но ей не хотелось видеть новую танцовщицу. Тогда они заговорили о танце и его значении в жизни человека. Анна-Вероника считала танец стихийным высвобождением энергии, вызванным ощущением полноты жизни, а Рэмедж,— что, танцуя, люди, а также птицы и животные, движения которых подобны танцам, начинают чувствовать свое тело и думать о нем.

Рэмедж рассчитывал этими встречами вызвать в Анне-Веронике более теплые чувства к себе, но в действительности в нем самом пробуждался постоянный, все более глубокий интерес к ней. Он видел, что очень медленно движется по намеченному пути, и не знал, как это ускорить. Следовало вызвать в ней определенные представления, пробудить любопытство к определенным темам. Иначе — он знал это по опыту — все попытки мужчины приблизиться к девушке встретят ледяной отпор. Сила ее очарования заключалась именно в том, что она в этом отношении совершенно сбивала его с толку. С одной стороны, Вероника судила здраво и просто и высказывалась спокойно и свободно о таких вещах, о которых большинство женщин приучены не говорить или скрывать их, а с другой — в этом и состояла загадка — она не понимала или делала вид, что не понимает значения всего этого для себя лично; между тем всякая

другая девушка или женщина, вероятно, поняла бы. Рамедж всеми силами старался привлечь ее внимание к тому, что он мужчина энергичный, с положением и опытом, а она молодая и красивая женщина, и их дружбу можно толковать всячески. Этим он надеялся навести ее на мысль о возможности других отношений. Она реагировала на его уловки с каким-то неизменным безразличием, не как молодая красивая женщина, сознающая это, а как рассудительная студентка.

С каждой встречей он все глубже и острее ощущал ее красоту. Ее присутствие то и дело ослепляло его. Когда она внезапно появлялась на улице и шла к нему навстречу, такая изящная, улыбающаяся, приветливая, такая оживленная, цветущая, светлая, она казалась ему ярче того образа, который он создал себе. Или вдруг замечал то вьющуюся прядь волос, то линию лба или шеи, и эти открытия были полны очарования.

Она беспрерывно присутствовала в его мыслях. Сидя у себя в конторе, он придумывал свои беседы с ней, проникновенные, убедительные, почти решающие, но при встрече с ней они оказывались ни к чему. Иногда он просыпался и ночью снова думал о ней.

Он думал о ней и о себе, теперь уж не в духе возможного приключения, как вначале. Кроме того, он вспоминал о капризной калеке, лежавшей в соседней комнате,— ведь благодаря ее деньгам он создал свое дело и добился в жизни успеха.

«Я получил почти все, к чему стремился»,— говорил себе Рэмедж в ночной тиши.

3

Некоторое время семья Анны-Вероники решила не предлагать полного прощения; очевидно, они ждали, пока деньги у нее иссякнут. Ни отец, ни тетка, ни братья — никто не давал знать о себе, а затем однажды под вечер в начале февраля приехала тетка. Цель ее приезда была не совсем ясной: не то уговаривать, не то выразить благородное негодование, но, без сомнения, она была очень озабочена судьбой Анны-Вероники.

— Мне приснилось,— начала мисс Стэнли,— будто ты стоишь на каком-то косогоре, очень скользком, цепля-

ешься руками, чтобы не упасть, а сама скользишь, скользишь, и лицо у тебя совершенно белое! Все было так живо, так отчетливо. Ты скользишь, вот-вот упадешь и стараешься удержаться. И тут я проснулась, лежала и думала о тебе, ведь ты в одиночестве проводишь ночи, и некому присмотреть за тобой. Мне захотелось узнать, как ты живешь и не случилось ли чего. Я сразу сказала: «Или это сон вещий, или действие соуса из каперсов». Все же я была уверена, что дело именно в тебе. Я почувствовала, надо что-то предпринять, и вот приехала повидать тебя.

— Не могу не сказать тебе,— торопливо продолжала тетка, и тембр ее голоса изменился,— что все-таки не следует жить девушке в Лондоне одной, как живешь ты.

— Тетя, ведь я вполне могу позаботиться о себе.

— Здесь, должно быть, очень неуютно. Очень неуютно любому человеку.

Мисс Стэнли говорила резковато, чувствуя, что сон обманул ее, но если уж она приехала в Лондон, то имеет право высказаться до конца.

— Ни рождественского обеда, ни чего-нибудь вкусного! Даже неизвестно, чем ты здесь занимаешься.

— Я учусь, чтобы получить диплом.

— Разве ты не могла учиться, живя дома?

— Я занимаюсь в Имперском колледже. Видишь ли, тетя, это единственный способ получить хорошую подготовку по моим дисциплинам, а отец и слушать об этом не хочет. Живи я дома — не миновать бесконечных скандалов. Да и как я могу вернуться домой, когда он запирает меня в комнате и так далее!

— Я хочу, чтобы этого не было,— сказала мисс Стэнли после паузы.— Я хочу, чтобы ты и отец пришли к какому-нибудь соглашению.

Анна-Вероника ответила с полной убежденностью:

— Я тоже этого хочу.

— Нельзя ли что-нибудь придумать? Своего рода договор, что ли?

— Отец его нарушит. Как-нибудь вечером он страшно рассердится, и никто не осмелится напомнить ему о договоре.

— Как ты можешь говорить такие вещи?

— Но он поступит именно так!

— Все же ты не имеешь права этого говорить!

— Значит, договор заключить нельзя.

— Может быть, мне бы удалось заключить договор?

Анна-Вероника задумалась; она не видела возможности так договориться с отцом, чтобы иметь возможность тайком обедать с Рэмеджем или до глубокой ночи бродить по лондонским площадям и рассуждать с миссис Минивер о социализме. Она познала вкус свободы и до сих пор не нуждалась в чьей-либо защите. Все же идея о соглашении была интересной.

— Совершенно не могу представить себе, как ты сводишь концы с концами,— сказала мисс Стэнли.

И Анна-Вероника поспешно ответила:

— Я живу очень скромно.

Она продолжала думать о договоре.

— Разве в Имперском колледже не платят за учение? — спросила тетка. Вопрос был не из приятных.

— Это небольшая сумма.

— Как же ты вышла из положения?

«Ах черт!» — сказала про себя Вероника и сделала невинное лицо.— Я заняла эти деньги.

— Заняла деньги! Но кто же одолжил их тебе?

— Один друг,— ответила Анна-Вероника.

Она почувствовала себя припертой к стене и поспешно придумывала правдоподобный ответ на неизбежный вопрос, но он не последовал. Тетка слегка отклонилась от темы.

— Анна-Вероника, дорогая, ты же наделаешь долгов!

Девушка немедленно с огромным облегчением прибегла к испытанному средству.

— Я полагаю, тетя,— сказала она,— что вы можете поверить моему чувству собственного достоинства.

Тетка сразу не нашла что ответить на столь решительный довод, и племянница, воспользовавшись своим преимуществом, задала вопрос о забытых ботинках.

Но в поезде, по дороге домой, мисс Стэнли вернулась к этому вопросу.

«Если она занимает деньги,— сказала себе тетка,— то неминуемо наделает долгов. Все это бессмысленно...»

4

Кейпс стал занимать место в мыслях Анны-Вероники сначала постепенно, потом все ощутимее, и наконец оказалось, что он вытеснил почти все остальное. На первых порах она заинтересовалась его практическими занятиями и биологической теорией, затем он привлек ее своим характером, и тогда она почувствовала своего рода влюбленность в его ум.

Однажды, когда они пили чай в лаборатории, возник спор об избирательных правах для женщин. Тогда суфражистское движение находилось еще в своей ранней, воинствующей стадии, и только одна из присутствующих женщин, мисс Гэрвайс, выступила против; Анна-Вероника намеревалась остаться нейтральной, но оппозиция мужчины всегда вызывала в ней стремление поддержать суфражисток; ее охватывало своеобразное чувство солидарности с ними, и она желала победы этим напористым женщинам. Кейпс раздражал ее своей беспристрастностью; он не приводил нелепых возражений, поэтому ему нельзя было нанести сокрушительный удар, и не выражал неопределенных надежд, а был просто настроен скептически. Мисс Клегг и самая молоденькая из студенток набросились на мисс Гэрвайс, утверждавшую, что женщины теряют нечто бесконечно ценное, когда вмешиваются в жизненные конфликты. Спор продолжался, и его прервали только, чтобы съесть бутерброды. Кейпс склонен был поддерживать мисс Клегг до той минуты, пока мисс Гэрвайс не приперла его к стене, сославшись на недавно опубликованную им статью в «Найнтинс Сенчюри», в которой он, следуя Эткинсону, нанес сильный и сокрушительный удар Лестеру Уорду, разбив его доводы в защиту первобытного матриархата и преобладающей роли самки в мире животных.

Анна-Вероника не знала о печатных работах своего учителя; превосходство мисс Гэрвайс ее слегка раздосадовало. Впоследствии, прочитав статью, о которой шла речь, она нашла ее замечательно хорошо написанной и весьма убедительной. Кейпс с его ясным, логическим мышлением обладал даром писать легко и просто, и когда она следила за его мыслями, у нее появлялось такое ощущение, будто она что-то разрезала новым, острым

ножом. Ей захотелось еще почитать его, и в следующую среду она отправилась в Британский музей, где занялась поисками его статей в научно-популярной периодике и исследований в различных толстых научных журналах. Научные статьи, если только в них не идет речь о каких-либо из ряда вон выходящих теориях, обычно по своему стилю неудобочитаемы, поэтому Анна-Вероника пришла в восторг, обнаружив в научных статьях Кейпса ту же простоту, уверенность и ясность, что и в статьях для широкого читателя. Она еще раз вернулась к ним, и в глубине ее сознания созрело твердое решение по примеру мисс Гэрвайс при первом удобном случае сослаться на них.

Возвратившись вечером домой, Анна-Вероника с удивлением подумала о том, чем она занималась всю вторую половину дня; это доказывало, по ее мнению, что Кейпс действительно очень интересный человек.

И она стала размышлять о Кейпсе. Ее поражало, почему он такой особенный, непохожий на других мужчин. Ей тогда еще не пришло на ум объяснить это тем, что она влюбилась в него.

5

А все же Анна-Вероника очень много думала о любви. Преграды, возведенные в ее душе застенчивостью и привитыми понятиями, постепенно рушились. Окружающая обстановка поддерживала ее склонности и помогала идти против традиций семьи и воспитания, подготавливая девушку к смелому принятию реальной жизни. Рэмедж множеством ловких намеков подводил Анну-Веронику к пониманию того, что проблема ее личной жизни является только частным случаем и неразрывно связана с основным вопросом жизни женщины вообще и вопрос этот — любовь.

— Молодой человек вступает в жизнь, спрашивая, как он может получше устроиться,— говорил Рэмедж,— а женщина, вступая в жизнь, инстинктивно вопрошает, как ей лучше отдаться.

Она решила, что это удачный афоризм, но он проник в ее сознание своими щупальцами и стал влиять на ее образ мыслей. Биологическая лаборатория, рассмат-

ривавшая жизнь как процесс спаривания, размножения и отбора и снова спаривания и размножения, казалось, только обобщала это утверждение. А разговоры людей, подобных мисс Минивер и Уиджетам, всегда напоминали корабль, укрывавшийся в непогоду на подветренном берегу любви.

— Целых семь лет,— говорила себе Анна-Вероника,— я старалась даже не думать о любви... Я приучала себя относиться с подозрением ко всякой красоте.

Теперь она разрешила себе смотреть на вещи прямо. Провозгласила для самой себя свободу:

— Этот страх — чепуха, косноязычная болтовня! Завуалированная жизнь — рабство. С таким же успехом можно было остаться в Морнингсайд-парке. Любовь — главное дело жизни, любовь для женщины — основное событие и поворотный пункт, она вознаграждает за все другие ограничения, а я трусиха, как и все мы, с робким, скованным умом, и так будет до тех пор, пока любовь не застигнет меня врасплох!..

И черт меня побери, если я отступлю!

Но свободно рассуждать о любви она не могла, несмотря на все свои порывы к раскрепощению.

А Рэмедж как бы вечно кружил вокруг да около запретной темы, нащупывая благоприятную возможность, которую она, сама не зная почему, не предоставляла ему. Инстинктивно она не шла на это; приняв наконец решение не быть «дурой» и чересчур щепетильной, Анна-Вероника все же, как только он становился слишком смелым, переходила на строго научный, безличный, почти что энтомологический язык: с каждым его замечанием она обращалась так, словно это была бабочка, которую накалывают на булавку, чтобы лучше рассмотреть. В биологической лаборатории этот способ считался безошибочным. Но молодая девушка все сильнее возмущалась своим духовным аскетизмом. Перед ней человек с большим жизненным опытом, ее друг, который, несомненно, интересовался этим важным вопросом, он хотел поделиться с ней своими знаниями! Почему же ей не держаться с ним просто? Почему бы не приобщиться к его опыту? Человеку и так нелегко даются познания, а сомкнутые уста и запертые мысли усложняют все это еще во много раз.

Она решила хотя бы в одном вопросе преодолеть застенчивость и однажды вечером заговорила о любви и о сущности любви с мисс Минивер.

Но ответы мисс Минивер ее совершенно не удовлетворили. Мисс Минивер повторяла фразы миссис Гупс.

— Передовые люди,— произнесла она с видом человека, познавшего истину,— стремятся обобщить любовь. «Тот горячее молится, кто горячее любит. И это правда для всего на свете — великого и малого». Что касается меня, мой удел — преданность.

— Да, но мужчины? — отозвалась Анна-Вероника, решившись.— Разве вы не хотите мужской любви?

Обе несколько секунд хранили молчание, шокированные самим вопросом.

Мисс Минивер сквозь очки почти грозно посмотрела на своего друга.

— Нет!—выговорила она наконец, и что-то в ее голосе напомнило лопнувшую струну теннисной ракетки.

— Я прошла через это,— добавила она после паузы.

Потом заговорила с расстановкой:

— Я никогда еще не встречала мужчины, интеллект которого внушал бы мне уважение.

Анна-Вероника задумчиво взглянула на нее и решила настаивать из принципа.

— А если бы встретили? — спросила она.

— Не могу себе представить,— ответила мисс Минивер.— И подумайте, подумайте,— ее голос упал,— об ужасающей грубости!..

— О какой грубости? — спросила Анна-Вероника.

— Но, дорогая моя Ви! — Она говорила еле слышно.— Разве вы не знаете?

— О, я знаю...

— Тогда...— Она густо покраснела.

Но Анна-Вероника игнорировала смущение своей приятельницы.

— А не обман ли все это относительно грубости? Я имею в виду женщин,— сказала Вероника. После короткой передышки она решила продолжать: — Мы уверяем, будто тело безобразно. А на самом деле это самая прекрасная вещь на свете. Мы уверяем, будто никогда не думаем обо всем том, что создало нас такими, какие мы есть.

— Нет! — воскликнула мисс Минивер со страстью.— Вы ошибаетесь! Я и не подозревала у вас таких мыслей. Тело! Тело! Оно ужасно. Мы души. Любовь — чувство более высокого плана. Мы не животные. Если бы я когда-нибудь встретила мужчину, которого смогла бы полюбить, то любила бы,— ее голос снова упал,— платонически.— Стекла ее очков блеснули.— Совершенно платонически, душой душу.

Она повернулась лицом к огню, крепко стиснула себе локти, пожала узкими плечами.

— Тьфу! — произнесла она.

Анна-Вероника смотрела на нее и удивлялась.

— Не нужно нам мужчин,— продолжала мисс Минивер,— нам не нужны их насмешки и громкий хохот. Пустые, глупые, грубые скоты. Да, скоты! Они и с нами все еще ведут себя, как скоты. Может быть, наука когда-нибудь позволит нам обходиться без них. Я имею в виду женщин. Самцы нужны не каждому живому существу. У некоторых нет самцов.

— У зеленых мух, например,— согласилась Анна-Вероника,— но даже и они...

Наступила минута глубокомысленного молчания.

Анна-Вероника удобнее оперлась подбородком на руку.

— Интересно знать, кто из нас прав. Во мне нет ни капли такого отвращения.

— Толстой хорошо говорит об этом,— продолжала мисс Минивер, не обращая внимания на слова приятельницы.— Он видит все насквозь от начала до конца. Жизнь духовную и телесную. Он видит, как люди оскверняют себя скотскими мыслями, скотским образом жизни, жестокостями. Просто потому, что они ожесточены скотством, отравлены кровью и мясом убитых в злобе животных и спиртными напитками. Подумать только! Напитками, которые кишат тысячами и тысячами отвратительных мелких бактерий!

— Это же дрожжи,— заметила Анна-Вероника,— растительные.

— Все равно,— ответила мисс Минивер.— Поэтому мужчины как бы набухают материей, они возбуждены и опьянены ею. И они слепы ко всему нежному и утонченному; они смотрят на жизнь налитыми кровью глазами, и

их ноздри раздуваются от вожделения. Они деспотичны, несправедливы, догматичны и похотливы.

— Вы действительно думаете, что человеческий мозг изменяется под влиянием пищи, которую употребляют люди?

— Мне это точно известно,—сказала мисс Минивер.— Experte credo [1]. Когда я живу правильно, живу чисто и просто, без всяких волнений и возбуждающих средств, я вижу все отчетливо и ясно, но достаточно мне взять в рот кусочек мяса или что-нибудь в этом роде, и взор мой сейчас же мутнеет.

6

Тогда у Анны-Вероники возникла почему-то новая потребность — страстная жажда видеть и понимать красоту.

В ней вдруг словно вспыхнуло чувство прекрасного. Мысли ее изменились, она обвиняла себя в холодности и жестокости. Она принялась искать красоту и находила ее в самых непредвиденных местах и неожиданных сторонах жизни. До сих пор Вероника видела красоту главным образом в живописи и в других видах искусства, случайно, как нечто оторванное от жизни. Теперь ощущение красоты распространилось на множество явлений жизни, где она раньше ее не замечала.

Мысли о красоте стали неотвязными. Они вплетались в ее работу по биологии. Анна-Вероника ловила себя на том, что все с большим любопытством спрашивает: «Откуда же у меня это чувство красоты, если основа жизни — борьба за существование?» И вот она думала о красоте, когда следовало думать о биологии.

Она была очень встревожена тем, что в ее сознании все получало двоякое объяснение: с точки зрения сравнительной анатомии и с точки зрения красоты. Анна-Вероника не могла решить, какая же из двух тоньше, глубже, какая лежит в основе другой. То ли борьба за существование вырабатывает своего рода необходимый побочный продукт — пылкое желание и предпочтение, или же нечто мистическое, находящееся вне нас са-

[1] Убеждение, построенное на опыте *(лат.)*.

мих, какая-то великая сила толкает жизнь к красоте даже в ущерб целесообразности, невзирая на значение естественного отбора и на все очевидное многообразие жизни. Она пришла с этой загадкой к Кейпсу и изложила ее очень толково и ясно. Он умел хорошо говорить, говорил всегда пространно, когда она обращалась к нему с каким-либо затруднением; он отослал ее к существующей разнообразной литературе о расцветке бабочек, о непонятном богатстве оттенков и красоте оперения у райских птиц и колибри, о расположении полос у тигров и пятен у леопарда. Кейпс говорил интересно, но не объяснил ей все до конца, а оригинальные статьи, которые он упомянул, также не давали ответа на вопросы и только наводили на размышления. Как-то днем Кейпс замешкался, подошел, сел рядом с ней и стал говорить о красоте и о загадке красоты. В этом вопросе он обнаружил совершенно непрофессиональную склонность к мистицизму. Тут он был полной противоположностью Расселу, чьи методы мышления следовало бы определить как скептический догматизм. Разговор перешел на красоту в музыке, и они продолжили свою беседу за чаем.

Но когда студенты сидели за чайным столом вокруг мисс Гэрвайс, пили чай и курили сигареты, нить разговора как-то ускользнула от Кейпса. Шотландец сообщил Анне-Веронике, что взгляд на красоту всегда зависит от метафизической предпосылки индивидуума; молодой человек с волосами, зачесанными, как у Рассела, стараясь отличиться, сказал студенту-японцу, что западное искусство симметрично, а восточное — асимметрично и что среди высших организмов наблюдается тенденция к наружной симметрии, прикрывающей внутренний недостаток равновесия.

Анна-Вероника решила продолжить беседу с Кейпсом в другой раз и, подняв глаза, увидела, что он сидит на табурете, засунув руки в карманы, слегка наклонив голову набок, и задумчиво глядит на нее. Она перехватила его взгляд с любопытством и удивлением.

Он отвел глаза и как человек, который очнулся от задумчивости, пристально стал смотреть на мисс Гэрвайс, затем встал и медленно направился в свое убежище — препараторскую.

7

Однажды произошло событие само по себе ничтожное, но в нем содержался важный смысл.

Вероника работала над серией гистологических срезов зародыша саламандры, и Кейпс пришел посмотреть, как она это делает. Девушка встала, а он сел за микроскоп и начал исследовать один срез за другим. Она взглянула на него и увидела на его щеках, освещенных солнцем, нежный золотистый пушок. При виде этого пушка что-то в ней затрепетало. Что-то изменилось.

Она стала ощущать его присутствие так, как никогда еще не ощущала присутствие человека. Она заметила форму его уха, шею, волосы, нежное закругление века, видневшееся из-под брови; она воспринимала все эти знакомые черты, и они казались ей необычайно красивыми. Они и были необычайно красивы. Она чувствовала его плечи под пиджаком, его руку от плеча до гибкой и как будто нежной кисти, легко лежавшей на столе. Она чувствовала в нем что-то безмерно крепкое, сильное, надежное. Это ощущение разлилось по всему ее существу.

Кейпс встал.

— Здесь, пожалуй, есть кое-что удачное,— сказал он. И Вероника, сделав над собой усилие, заняла место у микроскопа, а он стоял, чуть склонившись над ней.

Она заметила, что дрожит от его близости и боится, как бы он не коснулся ее. Овладев собою, она приложила глаз к окуляру.

— Вы видите стрелку? — спросил он.

— Вижу,— ответила она.

— Вот так,— сказал он, пододвинул табуретку, сел — его локоть был на расстоянии четырех дюймов от нее — и сделал набросок. Затем встал и отошел от нее.

Его уход вызвал в ней ощущение внезапной пустоты, как будто ушло нечто огромное; она не понимала, было ли это чувством бесконечного сожаления или бесконечного облегчения...

Но отныне Анна-Вероника знала, что с ней происходит.

8

В этот вечер Анна-Вероника долго сидела задумавшись, полураздетая, на своей кровати, потом стала ощупывать нежные мускулы на своей руке от плеча до кисти. Она думала об удивительной красоте кожи и обо всей прелести живой ткани. Под плечевым сгибом она нащупала тончайший волосяной покров.

— Одухотворенная обезьяна,— сказала она.

Вытянув руку прямо перед собой, она поворачивала ее и так и этак.

— Зачем притворяться? — прошептала она.— Зачем притворяться? Подумай обо всей красоте мира, которая скрыта и очень мало доступна.

Она застенчиво взглянула в зеркало над туалетным столом и на мебель, как будто они могли подслушать ее мысли.

— *Интересно, красива ли я? Интересно, буду ли* я когда-нибудь сиять, как свет, как светящаяся богиня? Интересно...

— Вероятно, девушки и женщины молились об этом и достигали этого... В Вавилоне, в Ниневии.

— Почему не смотреть фактам в лицо, если они касаются тебя самой?

Она встала. Подошла к зеркалу и стала рассматривать себя задумчивым, критическим и все же восхищенным взглядом.

— В конце концов я самая обыкновенная женщина!

Она наблюдала, как пульсирует артерия на шее, потом легко и робко дотронулась до того места, где в груди билось ее сердце.

9

Сознание влюбленности переполнило Анну-Веронику и изменило все ее мысли. Она все время думала о Кейпсе, и ей казалось, что и раньше, уже несколько недель, сама того не подозревая, она упорно думала о нем. Она дивилась изобилию связанных с ним впечатлений и воспоминаний, которые хранились в ее мозгу; как живо она помнила его жесты, случайные слова! Неправильно и нелепо было думать об одном и том же, ибо это одно

поглощало все остальное; она делала большое усилие, чтобы заставить себя интересоваться другими вопросами.

Но удивительно, как вещи совершенно посторонние возвращали ее к думам о Кейпсе. Когда она ложилась спать, Кейпс появлялся в ее снах как чудесный и нежданный гость.

Некоторое время она довольствовалась своей любовью к нему. Возможность ответного чувства выходила за пределы ее фантазии. Ей даже не хотелось представлять себе, что он любит ее. Ей хотелось думать о нем, как о любимом человеке, быть подле него, присутствовать при том, как он ходит, берется то за одно дело, то за другое, говорит то одно, то другое, не сознавая, что она здесь, так же, как и она не осознавала себя. Воображать его любящим — значит все изменить. Тогда он повертывался бы к ней лицом, и ей пришлось бы думать о том, какое она производит впечатление, быть настороже, учитывать каждый свой жест. Он предъявлял бы к ней требования, а ей страстно хотелось бы их выполнить. Любить самой было намного лучше. Любить — означало забывать о себе и только наслаждаться другим существом. Если Кейпс будет подле нее, этого достаточно, чтобы любить и любить.

Когда Анна-Вероника пришла на другой день в лабораторию, ей показалось, что счастье только облеклось в грубую оболочку всех ее дел и обязанностей. Она обнаружила, что любовь помогает лучше работать с микроскопом. Она вздрогнула, услышав, как в первый раз открылась дверь препараторской и Кейпс вошел в лабораторию, но, когда он приблизился к ней, она уже справилась с собой. Анна-Вероника поставила для него табуретку на некотором расстоянии от своего места; проверив работу, сделанную за день, он помедлил, затем решительно возобновил их разговор о красоте.

— Мне кажется,— сказал он,— вчера, рассуждая о красоте, я слишком впал в мистику.

— А мне нравится мистический подход.

— Наша работа здесь — вот правильный подход. Я, знаете ли, думал... Может быть, в основе чувства красоты лежит только сильное ощущение освобожденности от боли, сила восприятия без разрушения ткани.

— Нет, я предпочитаю мистический подход,— повторила Анна-Вероника и задумалась.— Красота — это не всегда сила.

— Однако нежность можно, например, ощущать очень сильно.

— Но почему же одно лицо красиво, а другое некрасиво? — возразила она.— По вашей теории, если два лица находятся рядом и озарены солнцем, они должны быть одинаково красивыми. Их красоту надо ощущать с совершенно равной силой.

Кейпс с этим не согласился.

— Я не имею в виду просто силу ощущения. Я сказал, сила восприятия. Можно интенсивно воспринимать гармонию, пропорцию, ритм. Существуют вещи неотчетливые, незначительные сами по себе, как физические факторы, но они подобны детонатору, вызывающему взрыв. Существует фактор внутренний и фактор внешний... Не знаю, выражаюсь ли я достаточно ясно. Я хочу сказать, что живость восприятия — вот в чем существенный фактор красоты. Но, разумеется, живость восприятия может быть вызвана и шепотом.

— Это снова приводит нас к тайне,— заметила Анна-Вероника.— Почему одно, а не другое раскрывает нам глубины?

— Ну, это может быть в конце концов следствием отбора; ведь некоторые насекомые предпочитают же голубые цветы, хотя они менее ярки, чем желтые.

— Это не объясняет цвет неба при закате солнца.

— Не так просто объясняет, как влечение насекомых к цветной бумаге, на которую они слетаются. Но, может быть, если бы людям не нравились ясные, блестящие, здоровые глаза,— что совершенно понятно с точки зрения биологии,— они не смогли бы любоваться драгоценными камнями. Одно явление может быть необходимым дополнением к другим. И, наконец, высокое ясное небо — знак того, что можно выйти из укрытия, радоваться и продолжать жизнь.

— Гм! — произнесла Анна-Вероника и покачала головой.

Кейпс, встретившись с ней глазами, весело улыбнулся.

— Я высказался мимоходом и настаиваю на том, что красота не является особым дополнением к жизни,— вот моя мысль. Это жизнь, просто жизнь, она возникает и развивается ярко и сильно.

Он встал, чтобы перейти к следующему студенту.

— Есть красота нездоровая,—сказала Анна-Вероника.

— Не знаю, существует ли она,—ответил Кейпс и после паузы наклонился над юношей с прической, как у Рассела.

Анна-Вероника смотрела на его склоненную спину, затем подвинула к себе микроскоп. Некоторое время она сидела неподвижно. Она чувствовала, что вышла победительницей из трудного положения и теперь снова может разговаривать с ним, как прежде, до того, как ей стало понятно то, что с ней произошло...

У нее созрело решение заняться научно-исследовательской работой и таким образом остаться в лаборатории еще на год.

«Теперь мне ясен смысл всего»,—сказала про себя Анна-Вероника. И действительно, несколько дней ей казалось, будто тайна мироздания, которую упорно замалчивали и прятали от нее, наконец полностью открылась.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПРОТИВОРЕЧИЯ

1

Однажды днем, вскоре после великого открытия, сделанного Анной-Вероникой, в лабораторию на ее имя пришла телеграмма:

СКУЧАЮ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ПООБЕДАЕМ ГДЕ-НИБУДЬ НЫНЧЕ ВЕЧЕРОМ ПОБЕСЕДУЕМ БУДУ СЧАСТЛИВ РЭМЕДЖ.

Это предложение, пожалуй, даже обрадовало Анну-Веронику. Она не виделась с Рэмеджем дней десять-одиннадцать и охотно поболтала бы с ним. Сейчас она была переполнена мыслью о том, что влюблена, влюбле-

на! Какое чудесное состояние! И, право, у нее, кажется, возникло даже смутное намерение поговорить с ним об этом. Во всяком случае, хорошо бы послушать его разговоры на некоторые темы, быть может, она поймет их лучше теперь, когда великая, потрясающая тайна пылает в ее сознании и притом так близко от него.

К сожалению, Рэмедж был настроен несколько меланхолически.

— На прошлой неделе я заработал больше семисот фунтов,— сообщил он.

— Замечательно! — воскликнула Анна-Вероника.

— Ничуть,— отозвался он,— просто удача в деловой игре.

— Это удача, на которую можно купить очень многое.

— Ничего из того, что человеку хочется.

Рэмедж обернулся к лакею, предлагавшему карту вин.

— Меня может развеселить только шампанское,— заявил он и стал выбирать.— Вот это,— сказал он, но затем передумал: — Нет! Это слаще? Отлично.

— У меня все как будто идет хорошо,— продолжал Рэмедж, скрестив на груди руки и глядя на Анну-Веронику широко открытыми глазами слегка навыкате.— А я несчастлив. Я, кажется, влюбился.

Он наклонился над тарелкой с супом. И тут же повторил:

— Кажется, я влюбился.

— Не может быть,— ответила Анна-Вероника тоном многоопытной женщины.

— Откуда вы знаете?

— Ведь это же нельзя назвать угнетающим состоянием, верно?

— Уж вы этого знать не можете.

— У каждого своя теория,— пояснила Анна-Вероника с сияющим лицом.

— Ну, знаете, теории! Влюбленность — факт.

— Она должна радовать.

— Любовь — это тревога... жажда. Что еще? — спросил он подошедшего лакея.— Пармезан? Уберите!

Мистер Рэмедж взглянул в лицо Анны-Вероники, оно показалось ему совершенно лучезарным. Интересно, почему она думает, что любовь дает людям счастье? И он



«АННА-ВЕРОНИКА»



«АННА-ВЕРОНИКА»

заговорил о сассапарели и гвоздике, украшавших стол. Затем, наполнив ее бокал шампанским, сказал:

— Вы должны выпить, потому что у меня тоска.

За перепелками они вернулись к вопросу о любви.

— Почему,— неожиданно спросил Рэмедж, и что-то жадное промелькнуло в его лице,— вы считаете, что любовь приносит людям счастье?

— Должна, я уверена.

— Но почему?

Анне-Веронике он показался чересчур настойчивым.

— Женщины чувствуют это инстинктивно.

— Интересно, так ли это? — заметил Рэмедж.— Я сомневаюсь в женском инстинкте. Один из обычных предрассудков. Женщина якобы знает, когда мужчина в нее влюблен. А вы как считаете?

С видом беспристрастного судьи Анна-Вероника подбирала вилкой салат.

— Думаю, женщина должна знать,— решила она.

— Вот как? — многозначительно произнес Рэмедж.

Анна-Вероника взглянула на него и заметила устремленные на нее мрачные глаза, которыми он пытался выразить больше, чем они способны были выразить. Наступило короткое молчание, и в ее сознании быстро пронеслись смутные подозрения и предчувствия.

— Может быть, о женском инстинкте действительно говорят глупости,— сказала она, чтобы избежать объяснений.— Кроме того, девушки и женщины, вероятно, отличаются друг от друга. Не знаю. Мне кажется, девушка не может знать, влюблен ли в нее мужчина или нет.— Она подумала о Кейпсе. Ее мысли невольно выливались в слова.— Девушка не может знать. По-моему, это зависит от ее душевного состояния. Когда страстно чего-нибудь желаешь, начинаешь думать, что это недоступно. Если полюбишь, наверное, начинаешь сомневаться. А если полюбишь очень сильно, как раз и становишься слепой, когда особенно хочешь быть зрячей.

Анна-Вероника осеклась, испугавшись, что ее слова наведут Рэмеджа на мысль о Кейпсе, и действительно его лицо выражало нетерпение.

— Даже так! — сказал он.

Анна-Вероника покраснела.

— Вот и все,— произнесла она.— Боюсь, я представляю себе эти вещи несколько туманно.

Рэмедж взглянул на нее, затем глубоко задумался. Из этого состояния его вывел лакей, который подошел, чтобы обсудить дальнейший заказ.

— Анна-Вероника, вы бывали в опере? — спросил Рэмедж.

— Раз или два.

— Хотите пойти сегодня?

— Я с удовольствием послушаю музыку. А что сегодня идет?

— «Тристан».

— Я никогда не слышала «Тристана и Изольду».

— Значит, решено. Мы пойдем, какие-нибудь места найдутся.

— Это очень любезно с вашей стороны.

— Любезны вы, что согласились пойти.

Они сели в экипаж; Анна-Вероника откинулась на спинку с приятным ощущением комфорта, ей было весело из-под полуопущенных век наблюдать огни, суету, движение, мглистое поблескивание улицы, а Рэмедж сидел к ней ближе, чем следовало, и временами поглядывал на нее, порывался говорить, но молчал. Приехав в Ковент-Гарден, он достал билет в одну из верхних маленьких лож; когда они вошли, увертюра уже началась.

Анна-Вероника сняла жакет, села на стул, стоявший с краю, и, наклонившись вперед, стала смотреть в огромный, подернутый теплой коричневатой дымкой зал. Рэмедж поставил стул близко к ней и вместе с тем так, чтобы хорошо видеть сцену. Музыка постепенно завладевала Анной-Вероникой; она переводила глаза с рядов публики, едва видной в полумраке, на поглощенный своим делом небольшой оркестр, где трепетали смычки и мерно двигались темные и серебристые инструменты, видела ярко освещенные партитуры и притушенные верхние люстры. Анна-Вероника всего один раз была в опере, тогда она сидела на дешевых местах, в тесноте, и рамкой к спектаклю служили спины, головы и женские шляпки; теперь у нее, наоборот, возникло приятное ощущение, что тут просторно и удобно. При заключительных тактах увертюры занавес поднялся, и

зрители увидели Изольду на носу примитивно сделанного корабля. С высокой мачты донесся голос молодого моряка, и начался рассказ о бессмертных любовниках. Анна-Вероника знала эту легенду лишь в общих чертах и следила за развертывающимся действием со все возрастающим, страстным интересом. Великолепные голоса раскрывали все перипетии этой любви, а корабль плыл по морю под мерные взмахи весел. В минуту страстного объяснения между влюбленными, когда они впервые осознают свои чувства, словно ворвавшаяся дисгармония, появляется король Марк, встреченный приветственными кликами матросов, и становится рядом с ними.

Складки занавеса медленно опустились, музыка стихла, в зале вспыхнул свет. Анна-Вероника очнулась от восхитительных звуков и красок, от смятенных грез любви, невольно завладевших ее сердцем, и увидела, что Рэмедж сидел почти прижавшись к ней, а рука его слегка касалась ее талии. Она поспешно отодвинулась, и рука упала.

— Честное слово, Анна-Вероника,— сказал он, глубоко вздохнув,— это же так волнует.

Она сидела совершенно неподвижно и смотрела на него.

— Хорошо бы, если бы мы с вами выпили любовный напиток,— проговорил он.

Она не нашлась, что ответить, и он продолжал:

— Эта музыка питает любовь. Она будит во мне безмерную жажду жизни. Жить! Жить и любить! Она будит во мне желание быть вечно молодым, сильным, верным, а потом умереть великолепной смертью.

— Это прекрасно,— тихо ответила Анна-Вероника.

Они помолчали, теперь уже хорошо понимая друг друга. Анну-Веронику волновал и смущал тот странный новый свет, в котором предстали перед ней их отношения. Она раньше никогда не думала с этой точки зрения о Рэмедже. И она не была шокирована, но поражена и ужасно заинтересована. И все же это не должно продолжаться. Она чувствовала: вот он сейчас скажет еще что-то, что-то еще более личное и интимное. Ей было любопытно узнать, и вместе с тем она твердо решила не слушать его. Надо любой ценой заставить его говорить на нейтральную тему.

— Каково точное значение слова «лейтмотив»? — наобум спросила она.— Прежде чем я услышала вагнеровскую музыку, мне ее с большим восторгом описывала в школе одна учительница, которую я не любила. Из-за нее у меня и сложилось впечатление, что это нечто вроде лоскутного одеяла: кусочки узора, который вновь и вновь повторяется.

Анна-Вероника замолчала, на лице ее было вопросительное выражение.

Рэмедж, не говоря ни слова, смотрел на нее долгим и проницательным взглядом. Казалось, он колеблется и не знает, как действовать дальше.

— Я плохо разбираюсь в музыкальной терминологии,— наконец произнес он, не сводя с нее глаз.— Для меня музыка — вопрос чувства.

И, противореча себе, тут же углубился в толкование слова «лейтмотив». По обоюдному молчаливому соглашению они игнорировали то знаменательное, что произошло между ними, игнорировали тот скользкий путь, на который оба теперь вступили.

Слушая любовную музыку второго акта, до той минуты, когда охотничий рог Марка прервал сладостный сон, Анна-Вероника беспрерывно думала о том, что рядом, совсем близко, сидит человек, который собирается еще что-то сказать, может быть, прикоснуться к ней, протянуть невидимые жадные щупальца.

Она старалась придумать, как ей поступить в том или ином случае. Она была по-прежнему полна мыслями о Кейпсе, это был гигантский обобщенный образ Кейпса-возлюбленного. И каким-то непонятным образом Рэмедж сливался с Кейпсом. Ее охватило нелепое стремление убедить себя в том, что именно Кейпс жаждет воздействовать на нее. То обстоятельство, что преданный друг пытается ухаживать за ней недопустимым образом, оставалось, несмотря на все ее усилия, незначительным фактом. Музыка смущала и отвлекала ее, заставляла бороться с каким-то опьянением. У нее закружилась голова. В этом именно и заключалось самое неприятное: у нее кружилась голова. Музыка звучала предостерегающе, возвещая вторжение короля.

Вдруг Рэмедж сжал кисть ее руки.

— Я люблю вас, Анна-Вероника, я люблю вас всем сердцем и душой!

Она наклонилась к нему и почувствовала тепло его лица.

— Не надо! — сказала она и вырвала руку.

— Боже мой! Анна-Вероника! — заговорил он, пытаясь удержать ее.— Боже мой! Скажите мне, скажите мне сейчас же, скажите, что вы любите меня!

Лицо его выражало все ту же затаенную хищную жадность. Она отвечала шепотом, оттого что в соседней ложе, по другую сторону Рэмеджа, из-за перегородки выступал белый женский локоть.

— Пустите руку! Здесь не место!

Он выпустил ее руку, вспомнив о присутствии публики, и заговорил вполголоса, настойчиво и с горечью:

— Анна-Вероника, поверьте мне, это любовь! Я готов целовать землю, по которой вы ступаете. Я люблю каждый ваш вздох. Я пытался не говорить вам этого, пытался быть только вашим другом. Но тщетно. Я хочу вас. Я обожаю вас. Я готов сделать все, я бы все отдал, чтобы вы стали моей!.. Вы слышите меня? Вы слышите, что я говорю?.. Это любовь!

Он сжал ей локоть и сразу отпустил его, почувствовав, как она дернула руку. Долгое время оба молчали.

Она сидела в углу ложи, откинувшись на спинку стула, не зная, что сказать или сделать, охваченная любопытством, испуганная, ошеломленная. Казалось, она должна встать и заявить, что уходит домой, что такое ухаживание оскорбительно. Но ей меньше всего хотелось поступить именно так. На подобное решительное выражение собственного достоинства у нее не хватало воли; ведь Рэмедж ей нравился, она его должница, и ей интересно, ужасно интересно. Он в нее влюблен! Анна-Вероника пыталась осознать всю сложность и запутанность создавшегося положения и сделать какие-то выводы.

Он опять заговорил вполголоса и так быстро, что она не все могла расслышать.

— Я полюбил вас,— сказал он,— с той минуты, когда вы сидели на ограде и мы беседовали. Я вас всегда любил. То, что нас разделяет, для меня не существует. Весь мир для меня не существует. Вы мне нужны безмерно, беспредельно...

Его голос то звучал громче, то терялся в звуках оркестра и в пении Тристана и короля Марка, как это бывает в телефонном разговоре при плохой слышимости. Она с удивлением смотрела на его умоляющее лицо.

Анна-Вероника обернулась к сцене: раненый Тристан лежал в объятиях Курвенала, Изольда была у его ног, а король Марк, воплощение мужества и долга, мужской верности любви и красоте, стоял над ним, и вторая кульминация окончилась замиранием переплетающихся мелодий. Занавес короткими рывками стал опускаться, музыка стихла, публика задвигалась, раздались аплодисменты, в зале зажегся свет. Он озарил и ложу, и Рэмедж сразу оборвал лихорадочный поток слов и откинулся назад. Это помогло Анне-Веронике овладеть собой.

Она посмотрела на него и увидела своего прежнего друга, своего приятного и верного спутника, который вдруг решил превратиться в страстного влюбленного, бормотавшего интересные, но неприемлемые вещи. Его пылавшее лицо выражало нетерпение и смятенность. Его страстный вопрошающий взгляд перехватил ее взгляд.

— Скажите мне что-нибудь,— произнес он,— говорите со мной.

Она поняла, что Рэмеджа можно пожалеть, глубоко пожалеть, видя его в таком состоянии. Разумеется, все это совершенно невозможно. Но она была смущена, странно смущена. И вдруг она вспомнила, что ведь живет на его средства. Она наклонилась к нему и сказала:

— Мистер Рэмедж, прошу вас, не говорите больше об этом.

Он порывался было что-то ответить, но промолчал.

— Я не хочу, вы не должны так говорить со мной! Я не хочу слушать вас. Если бы я знала, что вы намерены так говорить со мной, я не пришла бы сюда.

— Но что же мне делать? Я не могу молчать.

— Пожалуйста,— настаивала она,— пожалуйста, не сейчас, здесь не место.

— Я должен с вами объясниться! Я должен высказаться!

— Но не сейчас, не здесь.

— Так уж случилось,— сказал он.— Это вышло не преднамеренно. А теперь, раз уж я заговорил...

Анна-Вероника почувствовала, что он, безусловно, имеет право на объяснение, но что объясняться именно сегодня невозможно. Ей надо было подумать.

— Мистер Рэмедж,— сказала она,— я не могу... Не сейчас. Прошу вас... Не сейчас, иначе мне придется уйти.

Пристально глядя на нее, он старался проникнуть в тайники ее души.

— Вам не хочется уходить?

— Нет. Но я вынуждена... Я должна...

— А я должен говорить об этом. Это необходимо.

— В другое время.

— Но я люблю вас. Я люблю вас... нестерпимо!

— Тогда не говорите со мной сейчас. Я не хочу, чтобы вы вели со мной этот разговор теперь. В другом месте. Не здесь. Вы неправильно поняли меня. Я не могу вам объяснить...

Они смотрели друг на друга, не понимая один другого.

— Простите меня,— наконец сказал он слегка дрожащим от волнения голосом и накрыл своей ладонью руку Анны-Вероники, лежавшую на ее колене.— Я самый безрассудный из людей. Я был глуп, глуп и несдержан от избытка чувств. Разве можно было так вдруг их излить? Я... я заболел любовью и не отвечаю за себя. Можете ли вы меня простить, если я больше ничего не скажу?

Она взглянула на него задумчиво и серьезно.

— Считайте,— сказал он,— будто я ничего не говорил. И продолжим нашу сегодняшнюю встречу. Почему бы и нет? Представьте себе, что у меня был истерический припадок, и вот я пришел в себя.

— Хорошо,— ответила она и вдруг почувствовала к нему горячую симпатию. Забыть—это был единственный правильный путь, чтобы выйти из нелепого и мучительного положения.

Он продолжал вопросительно смотреть на нее.

— А об этом давайте поговорим как-нибудь в другой раз. В таком месте, где нам никто не помешает. Хотите?

Она обдумывала его слова, а ему казалось, что он никогда еще не видел ее такой собранной, независимой и красивой.

— Хорошо,— согласилась она,— так мы и сделаем. Однако у нее опять возникли сомнения относительно прочности того перемирия, которое они только что заключили.

Ему хотелось кричать от радости.

— Идет,— сказал он, странно возбужденный, и еще крепче сжал ее руку.— А сегодня мы друзья, не правда ли?

— Мы друзья,— отозвалась Анна-Вероника и поспешила отдернуть руку.

— Сегодня вечером мы такие же, какими были всегда. Вот только музыка, в которую мы погрузились, божественна. Когда я докучал вам, вы слушали ее? По крайней мере первый акт вы слушали. А весь третий — это любовное томление. Тристан умирает, и приход Изольды для него — луч света в последние минуты жизни. Вагнер сам был влюблен, когда писал эту вещь. Акт начинается своеобразным соло на флейте пикколо. Эта музыка всегда будет захватывать меня как воспоминание о сегодняшнем вечере.

Свет погас, вступление к третьему акту началось, звуки росли и замирали, это были чувства, теснившиеся в сердцах разлученных любовников, которых все же объединяли боль и воспоминания. Занавес поднялся — Тристан лежал раненый на своем ложе, а пастух со свирелью, нагнувшись, смотрел на него.

2

Они объяснились на следующий вечер, но произошло это совсем не так, как ожидала Анна-Вероника; многое поразило ее, и многое стало ясно. Рэмедж зашел за ней, она встретила его ласково и приветливо, словно королева, которая знает, что будет вынуждена причинить горе своему верноподданному. Ее обращение с ним было необычно бережным и мягким. Новый цилиндр с более широкими полями шел к его типу лица, несколько скрадывая настойчивое выражение темных глаз и придавая ему солидный, достойный и благожелательный вид. В его манерах чуть сквозило предвкушение победы и сдержанное волнение.

— Мы пойдем в такое место, где нам отведут отдельную комнату,— сказал он.— Там... там мы сможем обо всем поговорить.

На этот раз они отправились в ресторан Рококо на Джермен-стрит, поднялись по лестнице; на площадке стоял лысый лакей с бакенбардами, как у французского адмирала, и с необычайно благопристойным видом. Он как будто ожидал их прихода. Плавным гостеприимным жестом он указал на дверь и ввел их в маленькую комнату с газовой печуркой, диваном, обитым малиновым шелком, и нарядным, покрытым скатертью столиком с цветами из оранжереи.

— Странная комнатка,— заметила Анна-Вероника, чувствуя какую-то смутную неприязнь к этому слишком крикливому дивану.

— Здесь можно побеседовать, так сказать, не стесняясь,— ответил Рэмедж.— Это отдельный кабинет.

Он стоял и следил, необычно озабоченный, за приготовлениями к столу. Потом как-то неловко бросился снимать с нее жакет и передал его лакею, который повесил жакет в углу комнаты. Видимо, обед и вино он заказал заранее, и лакей с бакенбардами угодливо поспешил подать суп.

— Пока нам будут подавать, поговорим на всякие нейтральные темы,— как-то нервно сказал Рэмедж.— А потом... потом мы останемся одни... Понравился вам Тристан?

Анна-Вероника чуть помедлила, прежде чем ответить:

— По-моему, многое там удивительно красиво.

— Не правда ли? И подумать только, что человек создал все это из жалкой маленькой истории любви к порядочной и знатной даме. Вы читали об этом?

— Нет.

— Здесь, как в капле воды, отразилось волшебство, совершенное искусством и фантазией. Чудаковатый, раздражительный музыкант самым невероятным и несчастным образом влюбился в свою богатую покровительницу, и вот его мозг порождает это великолепное панно, сотканное из музыки, повествующей о любви любовников, любовников, которые любят вопреки всему, что мудро, добропорядочно и благоразумно.

Анна-Вероника задумалась. Ей не хотелось уклоняться от разговора, ибо на ум приходили разные странные вопросы.

— Интересно, почему люди, влюбившись, пренебрегают всеми другими соображениями? Не считаются с ними?

— И заяц бывает храбрым. Оттого, вероятно, что это в жизни самое важное.— Он смолк, потом серьезным тоном продолжал: — Это — самое важное в жизни, все остальное отступает на второй план. Все, дорогая, решительно все!.. Но давайте говорить на нейтральные темы, пока мы не отделаемся от этого белокурого молодого баварца...

И вот обед был окончен, лакей с бакенбардами подал счет, убрал со стола и вышел из комнаты, с подчеркнутой скромностью притворив за собой дверь. Рэмедж встал и бесцеремонно запер дверь на ключ.

— Теперь,— сказал он,— никто случайно не забредет сюда. Мы одни и можем говорить и делать все, что нам захочется. Вы и я.— Он замолчал, глядя на нее.

Анна-Вероника старалась казаться совершенно равнодушной. Поворот ключа в замке ошеломил ее, но она не знала, что можно возразить против этого. Она чувствовала, что вступила в мир, обычаи и нравы которого ей незнакомы.

— Как я ждал этого! — произнес он, не двигаясь с места и глядя на нее до тех пор, пока молчание не стало тягостным.

— Может быть, вы сядете,— предложила она,— и скажете, о чем вам хотелось побеседовать со мной.

Анна-Вероника говорила без выражения и негромко. Ей вдруг стало страшно. Но она боролась с чувством страха. В конце концов, что может случиться?

Рэмедж смотрел на нее очень решительно и серьезно.

— Анна-Вероника,— произнес он.

И не успела она вымолвить слово, чтобы остановить его, как он оказался подле нее.

— Не надо! — проговорила она слабеющим голосом, когда он наклонился к ней, обнял ее одной рукой, а дру-

гой сжал ее руки и поцеловал, поцеловал почти что в губы.

Казалось, он успел сделать десять движений, прежде чем она соберется сделать одно, успеет броситься на нее и овладеть ею.

Мир, окружавший Анну-Веронику и никогда не оказывавший ей того уважения, какого она желала, этот мир теперь, словно подав сигнал, перевернул все вверх дном. Все изменилось вокруг нее. Если бы ненависть убивала, то Рэмедж был бы убит ее ненавистью.

— Мистер Рэмедж!— воскликнула она и попыталась встать.

— Любимая моя,—сказал он, решительно обняв ее.— Прелесть моя!

— Мистер Рэмедж! — снова заговорила она, но его губы крепко прижались к ее рту, их дыхание смешалось. Она увидела за четыре дюйма от себя его глаз — сверкающий, огромный, чудовищный, полный решимости.

Анна-Вероника крепко сжала губы, стиснула зубы и начала бороться. Ей удалось освободить голову и протиснуть руку между своей и его грудью. Началась упорная, неистовая борьба. Оба с ужасом ощутили тела друг друга, их упругость и силу, крепкие мышцы шеи, прижатой к щеке, руки, сжимающие плечи и талию.

— Как вы смеете? — проговорила она, задыхаясь, причем весь привычный мир словно кричал и оскорбительно гримасничал.— Как вы смеете!

Каждый был изумлен силой другого. Особенно, пожалуй, был удивлен Рэмедж. Анна-Вероника еще в школе с азартом играла в хоккей и занималась джиу-джитсу. В этой борьбе она совершенно утратила женскую скромность и боролась с силой и решительностью. Выбившаяся из прически прядь темных волос попала Рэмеджу в глаз, а костяшки маленького, но крепкого кулака нанесли ему чрезвычайно меткий и очень чувствительный удар в челюсть и в ухо.

— Пустите! — сквозь зубы проговорила Анна-Вероника, изо всех сил отталкивая его. Он пронзительно вскрикнул, выпустил ее и отступил.

— Вот так,— сказала Анна-Вероника.— Как вы смели?

3

Они пристально смотрели друг на друга. Весь мир стал другим, система ценностей изменилась, как в калейдоскопе. Лицо у нее горело, глаза были злые и блестели; она задыхалась, волосы разметались и висели темными прядями. Рэмедж тоже был красен и растрепан; один конец воротничка отстегнулся, и он держался рукой за челюсть.

— Мегера!

Это было первое слово, пришедшее ему на ум, и оно вырвалось у него со всей непосредственностью.

— Вы не имели права...— задыхаясь, произнесла Анна-Вероника.

— Чего ради,— спросил он,— вы так измолотили меня?

Анна-Вероника всеми силами пыталась убедить себя, что не умышленно причинила ему боль, и не ответила на его вопрос.

— Вот уж никак не ожидала!— сказала она.

— А чего же вы тогда ожидали от меня? — спросил он.

4

Смысл всего происшедшего обрушился на нее, как лавина; теперь она поняла и выбор комнаты, и поведение лакея, и всю ситуацию. Она поняла. Она попала в мир скрытых, низменных побуждений и постыдных тайн. Ей хотелось накричать на себя за свое непростительное безрассудство.

— Я думала, вы хотите поговорить со мной,— сказала она.

— Я добивался физической близости с вами. И вы это знали,— добавил он.

— Вы сказали, что влюблены в меня! — продолжала Анна-Вероника.— Я и хотела объяснить...

— Я сказал, что люблю и хочу вас.— Грубая злость и изумление, вызванные ее резким отпором, постепенно исчезали.— Я влюблен в вас. Вы знаете, что я в вас влюблен. А вы чуть не задушили меня... По-моему, вы повредили мне челюсть или еще что-то.

— Извините меня, — сказала Анна-Вероника. — Но что мне оставалось делать?

Несколько секунд она смотрела на него, и оба они лихорадочно думали. Бабушка Анны-Вероники, наверное, сочла бы ее душевное состояние совершенно недопустимым. При подобных обстоятельствах ей надлежало упасть в обморок или пронзительно закричать; ей надлежало сохранять вид оскорбленной добродетели, чтобы скрыть трепет своего сердца. Я бы охотно изобразил все это именно так. Но подобное изображение вовсе не соответствовало бы истине. Разумеется, она держалась, как возмущенная королева, она испытывала тревогу и безграничное отвращение, но она была в высшей степени взволнована, в ее душе проснулась какая-то смутная тяга к приключениям, какое-то стремление, быть может, низменное, хотя и едва уловимое, которое толкало ее на путь мятежа, на сборища бунтовщиков — и эта сторона ее натуры говорила ей, что вся эта история в конце концов — только такими словами и можно назвать ее — презабавная штука. В глубине души она ничуть не боялась Рэмеджа. У нее появились даже необъяснимые проблески сочувствия и расположения к нему. И самым нелепым был тот факт, что она вспоминала полученные поцелуи не столько с отвращением, сколько критически анализировала испытанное ею странное ощущение. Никогда еще никто не целовал ее в губы...

И только спустя несколько часов после того, как улетучились и исчезли все эти сомнительные чувства, появилось отвращение, тошнота и глубокий стыд по поводу позорной ссоры и драки между ними.

Он же пытался понять ее неожиданный отпор и негодование, испортившие их tête-à-tête. Он намеревался в этот вечер добиться удачи, а удача решительно ускользнула от него. Все рухнуло при первом же его шаге. Он решил, что Анна-Вероника отвратительно обошлась с ним.

— Послушайте,— сказал он,—я привел вас сюда, чтобы добиться вашей близости.

— Я не понимала, как вы себе представляете близость. Лучше отпустите меня.

— Нет еще,— ответил он.— Я люблю вас. Я тем сильней люблю вас за то, что в вас есть что-то дьявольское... Вы для меня самое красивое и желанное существо на свете, я таких еще не встречал. Вас было приятно це-

ловать даже такой ценой. Но, черт возьми, вы просто свирепы! Вы подобны римлянкам, которые прятали стилет в прическу.

— Я пришла сюда, мистер Рэмедж, чтобы поговорить с вами разумно. И отвратительно, что вы...

— Анна-Вероника, зачем так возмущаться? Вот я перед вами! Я ваш поклонник, я жажду вас. Я хочу овладеть вами! Не хмурьтесь. Не напускайте на себя викторианской респектабельности и не делайте вид, будто вы не понимаете, подумать об этом не можете и прочее. От грез в конце концов переходят к действительности. Ваше время пришло. Никто никогда не будет любить вас так, как я сейчас люблю вас. Я каждую ночь мечтаю о вашем теле и о вас. Я воображал...

— Мистер Рэмедж, я пришла сюда... Я ни на минуту не допускала мысли, что вы позволите себе...

— Вздор! В этом ваша ошибка! Вы чересчур рассудительны. Вы хотите, чтобы все поступки были предварительно обдуманы. Вы боитесь поцелуев. Вы боитесь жара в вашей крови! Это происходит потому, что вы еще не изведали этой стороны жизни.

Он сделал к ней шаг.

— Мистер Рэмедж,— резко сказала она,— я хочу, чтобы вы меня поняли. Мне кажется, вы не понимаете. Я вас не люблю. Не люблю. И не могу любить вас. Я люблю другого. И меня отталкивает... Ваше прикосновение мне отвратительно.

Он был ошеломлен новым оборотом дела.

— Вы любите другого? — повторил он.

— Да, люблю другого. Я и подумать не могу о том, чтобы любить вас.

И тогда одним ошеломляющим вопросом Рэмедж открыл ей свое понимание отношений между мужчиной и женщиной. Он инстинктивно, как бы вопрошая, опять поднес руку к своей челюсти.

— Так какого черта,— спросил он,— вы обедали со мной, ходили в оперу, почему вы пошли со мной в отдельный кабинет? — Он вдруг пришел в бешенство.— Вы хотите сказать, что у вас есть любовник? И это в то время, как я вас содержал? Да, содержал!

Этот взгляд на жизнь, который он швырнул в нее, как метательный снаряд, оглушил ее. Она почувствова-

ла, что должна спастись бегством, что дальше терпеть не в силах. Ни секунды она не задумалась над тем, какой смысл он вложил в слово «любовник».

— Мистер Рэмедж,— сказала она, стремясь уже только к одной цели,— я хочу выйти из этой отвратительной комнаты. Все оказалось ошибкой. Я была глупа и безрассудна. Отоприте мне дверь.

— Ни за что! — ответил он.— К черту вашего любовника. Слушайте меня. Неужели вы действительно думаете, что я буду ухаживать за вами, а близость у вас будет с ним? Не беспокойтесь, не будет этого. Никогда не встречал такого цинизма. Если он хочет вас, пусть добивается. Вы моя. Я заплатил за вас, и помог вам, и добьюсь вас, даже если придется действовать силой. До сих пор вы видели меня только хорошим, покладистым. Но теперь к черту! Да и как вы помешаете мне? Я буду целовать вас.

— Нет, не будете!— решительно и отчетливо произнесла Анна-Вероника.

Казалось, он намерен приблизиться к ней. Она быстро отступила и задела рукой бокал, который упал со стола и со звоном разбился. У нее блеснула мысль.

— Если вы приблизитесь ко мне на шаг,— сказала она,— я перебью все стекло на столе.

— Что ж,— ответил он,— тогда, клянусь богом, вы попадете в тюрьму!

На миг Анна-Вероника растерялась. Она представила себе полицейских, упреки судей, переполненный судебный зал, публичный позор. Она увидела тетку всю в слезах, отца, побледневшего под тяжестью такого удара.

— Не подходите! — крикнула она.

В дверь осторожно постучали, Рэмедж изменился в лице.

— Нет,— сказала она, задыхаясь,— вы этого не сделаете.

Она почувствовала себя в безопасности.

Он пошел к дверям.

— Все в порядке,— сказал он, успокаивая вопрошающего по ту сторону двери.

Анна-Вероника взглянула в зеркало и увидела свое раскрасневшееся лицо и растрепанные волосы. Она поспешила привести в порядок прическу, а Рэмедж в это

время отвечал на вопросы, которые она не могла разобрать.

— Да это бокал упал со стола,— объяснил он...— Non, pas du tout. Non. Niente... Bitte! Oui, dans la note[1]. Сейчас. Сейчас.

Разговор закончился, он опять обернулся к ней.

— Я ухожу,— сурово заявила она, держа во рту три шпильки.

Анна-Вероника сняла шляпу с вешалки в углу и стала надевать ее. Он смотрел на нее злыми глазами, пока совершалось таинство прикалывания шляпки.

— Анна-Вероника, послушайте,— начал он.— Я хочу откровенно объясниться с вами. Неужели вы убедите меня, что не понимали, зачем я пригласил вас сюда?

— Нисколько,— решительно ответила она.

— И вы не ждали, что я буду целовать вас?

— Разве я знала, что мужчина будет... будет считать это возможным, если ничего нет... нет любви?..

— А разве я знал, что нет любви?

С минуту она не могла найти слов.

— Как, по-вашему, устроен мир? — продолжал он.— Почему бы я стал принимать в вас участие? Ради одного удовольствия делать добро? Неужели вы член той многочисленной общины, которая только берет, но не дает? Добрая, благосклонно все принимающая женщина!.. Неужели вы действительно полагаете, что девушка имеет право беззаботно жить за счет любого мужчины, которого она встретит, ничего не давая взамен?

— Я думала,— сказала Анна-Вероника,— что вы мне друг.

— Друг! Что есть общего между мужчиной и девушкой? Разве они могут быть друзьями? Спросите-ка на этот счет вашего любовника! Да и между друзьями не бывает так, чтобы один все давал, а другой только брал... А он знает, что я вас содержу? Прикосновения мужских губ вы не терпите, но очень ловко умеете есть из рук мужчины.

Анну-Веронику ужалил бессильный гнев.

---

[1] Нет. Нисколько. Нет. Пожалуйста! Да, включите в счет *(франц., итал., нем.)*.

— Мистер Рэмедж,— воскликнула она,— это — оскорбление! Вы ничего не понимаете. Вы отвратительны. Выпустите меня отсюда!

— Ни за что,— крикнул Рэмедж,— выслушайте меня! Уж этого-то удовольствия я не упущу. Вы, женщины, со всеми вашими уловками, весь ваш пол — обманщицы! Вы все от природы паразиты. Вы придаете себе очарование, чтобы эксплуатировать нас. Вы преуспеваете, обманывая мужчин. Этот ваш любовник...

— Он не знает!— закричала Анна-Вероника.

— Зато вы знаете.

Анна-Вероника чуть не расплакалась от унижения. И действительно, в ее голосе были слышны слезы, когда у нее вырвалось:

— Вы знаете так же хорошо, как и я, что эти деньги были взяты взаймы!

— Взаймы!

— Вы сами так это назвали!

— Все это риторика! Мы оба отлично это понимали.

— Вы получите все деньги сполна.

— Когда я получу, то вставлю их в рамку.

— Я вам верну долг, даже если мне придется шить сорочки за три пенса в час.

— Вы мне никогда не вернете этих денег. Вам только кажется. Это ваша манера истолковывать в свою пользу вопросы морали. Вот так женщина всегда разрешает свои моральные затруднения. Вы все хотите жить за наш счет, все. Инстинктивно. Только так называемые хорошие среди вас увиливают. Вы увиливаете от прямой и честной расплаты за то, что получаете от нас, прикрываясь чистотой, деликатностью и тому подобным.

— Мистер Рэмедж,— выговорила Анна-Вероника,— я хочу уйти сию минуту! Сейчас же!

5

Но ей в ту минуту тоже не удалось уйти.

Горечь Рэмеджа прошла так же внезапно, как и его злоба.

— О! Анна-Вероника! — воскликнул он.— Не могу я вас отпустить! Вы же не понимаете. Вы никак не можете понять!

Он начал сбивчивое объяснение и, путаясь и противореча себе, пытался оправдывать свою настойчивость и ярость. Он любит Анну-Веронику, сказал он; он так безумно желает ее, что сам все испортил, наделав страшные и грубые глупости. Его грязная брань прекратилась. Он вдруг заговорил проникновенно и убедительно. Он дал ей как-то почувствовать то острое, мучительное желание, которое пробудилось в нем и завладело им. Она стояла в прежней позе, повернувшись к двери, следила за каждым его движением, слушала с неприязнью, но все же смутно начинала понимать его.

Во всяком случае, в этот вечер он ясно показал ей, что в жизни есть несоответствия, какие-то неискоренимые противоречия, которым суждено разбить вдребезги ее мечты о независимой жизни женщины, о свободной дружбе с мужчинами; и эти противоречия вызваны самой сущностью мужчин, считающих, что любовь женщины можно купить, завоевать, что ею можно распоряжаться и властвовать над ней. Рэмедж отбросил все свои разговоры о помощи, как будто он никогда даже не помышлял об этом всерьез, как будто с самого начала это был маскарадный костюм, который они сознательно набросили на свои отношения. Он взялся завоевать ее, а она помогла ему сделать первый шаг. При мысли об этом другом любовнике — он был убежден, что любимый ею человек — любовник, а она не была в состоянии вымолвить слова и объяснить, что любимый ею человек даже не знает о ее чувстве,— Рэмедж снова пришел в ярость, взбесился и опять стал издеваться и оскорблять ее. Мужчины оказывают женщинам услуги ради их любви, и женщина, принимающая эти услуги, должна платить. Вот в чем состояла суть его взглядов. Он преподнес это жесткое правило во всей его наготе, без тени утонченности или деликатности. Если он дает сорок фунтов стерлингов, чтобы помочь девушке, а она предпочитает ему другого мужчину,— это, с ее стороны, обман и издевательство, поэтому ее оскорбительный отказ и привел его в бешенство. Тем не менее он был страстно влюблен в нее.

Затем Рэмедж опять стал угрожать ей.

— Ваша жизнь в моих руках,— заявил он.— Подумайте о чеке, который вы индоссировали. Вот она, ули-

ка против вас. Ну-ка попробуйте объяснить кому-нибудь этот факт. Какое это произведет впечатление? Как к этому отнесется ваш любовник?

Время от времени Анна-Вероника требовала, чтобы он ее выпустил, заявляла о своем твердом решении вернуть ему деньги любой ценой и бросалась к двери.

Наконец, эта пытка кончилась, и Рэмедж отпер дверь. Бледная, с широко раскрытыми глазами, она выскочила на небольшую лестничную площадку, освещенную красным светом. Она прошла мимо трех весьма исполнительных и с виду очень озабоченных лакеев, спустилась по лестнице, покрытой пушистым ковром, мимо высокого швейцара в синей с малиновым ливрее и из отеля Рококо, этой своеобразной лаборатории разных отношений между людьми, вышла в ясную, прохладную ночь.

6

Когда Анна-Вероника наконец добралась до своей маленькой комнаты, которая была и спальней и гостиной, каждый нерв ее дрожал от стыда и отвращения к самой себе.

Она бросила шляпу и пальто на кровать и села у камина.

«А теперь,— сказала она, одним ловким ударом расколов тлеющий кусок угля на мелкие кусочки, тут же вспыхнувшие ярким пламенем,— что мне делать? Я попала в трудное положение! Вернее, в грязную историю. Я попала в гнусную историю, в ужасную беду! В мерзкую беду! И нет этому конца! Ты слышишь, Анна-Вероника? Ты попала в ужасную, мерзкую, непростительную беду!

Ведь я сама натворила все эти глупости! Сорок фунтов! А у меня не осталось и двадцати!»

Она вскочила, топнула ногой и тут же, вспомнив о жильце в нижнем этаже, села и сорвала с себя башмаки.

«Вот что получается, когда молодая женщина хочет быть передовой. Клянусь богом, я начинаю сомневаться в существовании свободы!

Ты глупа, Анна-Вероника! Просто глупа. Какой позор!

Какая грязь!.. Избить тебя мало!»

Она принялась отчаянно тереть тыльной стороной руки свои оскверненные губы.

«Тьфу! — сплюнула она.— Молодые женщины времен Джейн Остин не попадали в такие переделки! По крайней мере так нам кажется... А может быть, кто-нибудь из них и попадал, но это просто не было описано. У тети Джейн царило полное спокойствие. Во всяком случае, у большинства таких историй не происходило. Они были хорошо воспитаны, сидели скромно и чинно и принимали выпавшую на их долю судьбу, как полагается девушкам из порядочного общества. И все они знали, что кроется за утонченным обращением мужчин. Они знали, что те втайне лицемеры. А я не знала! Не знала! В конце концов...»

Некоторое время она размышляла об изысканной манере держаться как о надежном и единственном средстве защиты. Мир изящных узорчатых платьев из батиста и эскортируемых дев, искусных недомолвок и утонченных намеков представился ее воображению во всем блеске потерянного рая,— ведь для многих женщин это действительно и был потерянный рай.

«Может быть, в моей манере держаться есть что-то недостойное? — спрашивала себя Анна-Вероника.— Может быть, я дурно воспитана? Будь я совершенно спокойна, чиста и полна достоинства, было ли бы все поиному? Посмел бы он тогда?..»

Во время этих похвальных угрызений Анна-Вероника испытывала глубокое отвращение к самой себе; ее охватило горячее и несколько запоздалое желание двигаться грациозно, говорить мягко и туманно—словом, держаться чопорно.

Ей вспоминались отвратительные подробности.

«И почему, помимо всего, я нарочно, чтобы причинить боль, дала ему кулаком по шее?»

Она попыталась найти в этом комическую сторону.

«Понимаете ли вы, Анна-Вероника, что чуть не задушили этого джентльмена?»

Потом стала упрекать себя за то, что именно она так глупо вела себя.

«Анна-Вероника, ты ослица и дура! Дрянь! Дрянь! Дрянь!.. Почему ты не надушена лавандой, как подобает каждой молодой женщине? Что ты сделала с собой!»

Она принялась кочергой сгребать жар.

«Но все это ничуть не поможет мне вернуть ему деньги».

Впервые Анна-Вероника провела такую мучительную ночь. Прежде чем лечь, она долго и усердно мылась и терла себе лицо. Она действительно не сомкнула глаз. Чем больше она старалась найти выход из этой путаницы, тем глубже становилось ее отвращение к самой себе. Время от времени ей делалось невмоготу лежать, она вскакивала, ходила по комнате и, натыкаясь на мебель, свистящим шепотом осыпала себя бранью.

Затем наступали минуты покоя, и тогда она говорила себе:

«Ну, а теперь послушай! Давай продумаем все с самого начала!»

Впервые, казалось ей, она ясно увидела положение женщины: скудные возможности свободы, почти неизбежные обязательства перед каким-нибудь мужчиной, гнет которого надо терпеть, чтобы кое-как просуществовать в жизни. Она бежала от поддержки отца, она лелеяла высокомерные притязания на личную независимость. И теперь она попала в беду оттого, что поневоле пришлось опереться на другого мужчину. Она думала... Что она думала? Что зависимость женщины — иллюзия, которую достаточно игнорировать, чтобы эта иллюзия исчезла? Всеми силами она отрицала свою зависимость и вот — попалась!

Она не стала продумывать до конца этот вопрос в целом и тут же перешла к своей неразрешенной личной проблеме.

«Что мне делать?»

Прежде всего ей хотелось швырнуть в лицо Рэмеджу его сорок фунтов. Но истрачена почти половина этой суммы, и неизвестно, как и откуда ее пополнить. Перебрав всевозможные необычные и отчаянные способы, она со страстным раздражением отбросила их.

Чтобы хоть немного облегчить душу, Анна-Вероника принялась колотить подушку и придумывать себе самые оскорбительные эпитеты. Потом подняла штору и стала

смотреть на городские трубы, обозначавшиеся в холодном рассвете, затем отошла от окна и села на край постели. Что если вернуться домой? Нет, здесь, в темноте, она не могла придумать никакого иного выхода.

Вернуться домой и признать себя побежденной казалось нестерпимым. Ей упорно хотелось спасти свой престиж в Морнингсайд-парке, но она в течение долгих часов не могла придумать, как сделать так, чтобы не признать своего полного поражения.

«Уж лучше стать хористкой»,— сказала она наконец.

Анна-Вероника неясно представляла себе положение и обязанности хористки, но ей казалось, что это, на крайний случай, последнее прибежище. У нее возникла смутная надежда, что, пригрозив отцу выбором такой профессии, она, может быть, заставит его сдаться; однако Анна-Вероника тут же поняла, что ни при каких обстоятельствах не сможет признаться отцу в своем долге. Полная капитуляция ничего в этом отношении не даст. Если возвращаться домой, то необходимо отдать долг. Проходя по Авеню, она будет чувствовать на себе взгляды Рэмеджа, встречать его в поезде.

Некоторое время она бродила по комнате.

«И зачем я связалась с этим долгом? Идиотка из сумасшедшего дома сообразила бы все лучше меня! Вульгарность души и наивность ума — самое ужасное из всех возможных сочетаний. Хорошо, если бы кто-нибудь случайно убил Рэмеджа! Но тогда в его письменном столе найдут индоссированный чек...

Интересно, что он сделает?»

Анна-Вероника пыталась представить себе, к чему может привести вражда Рэмеджа: ведь он был зол и жесток, трудно поверить, что он больше ничего не предпримет.

На следующее утро она вышла со своей сберегательной книжкой и дала телеграмму в банк, чтобы ей перевели все ее деньги. У нее оставалось двадцать два фунта стерлингов. Анна-Вероника заранее надписала на конверте адрес Рэмеджа и на половинке листка бумаги небрежно нацарапала: «Остальное последует». Деньги она получит во второй половине дня и пошлет ему. Четыре кредитных билета по пять фунтов. Два фунта она

решила сохранить, чтобы не оказаться совершенно без денег. Несколько успокоенная этим шагом, она отправилась в Имперский колледж, надеясь в обществе Кейпса забыть на время все свои запутанные дела.

7

В биологической лаборатории Анна-Вероника сначала почувствовала себя как бы исцеленной. После бессонной ночи она ощущала вялость, но не бессилие, и в течение почти целого часа занятия совершенно отвлекли ее от забот.

Затем, после того, как Кейпс проверил ее работу и отошел, у нее явилась мысль о том, что весь строй ее жизни немедленно рухнет, что очень скоро ей придется прекратить занятия и, может быть, она никогда больше его не увидит. После этого она была уже не в силах утешиться.

Начало сказываться нервное напряжение прошлой ночи. Анна-Вероника стала рассеянной, дело не двигалось. Ее мучили сонливость и необычная раздражительность. Она позавтракала в молочной на Грейт Портленд-стрит. Зимний день был солнечным, поэтому до конца перерыва, охваченная сонным унынием и воображая, что обдумывает свое положение, она просидела на скамье в Риджент-парке. Девочка лет пятнадцати-шестнадцати вручила ей листовку, которую Анна-Вероника приняла за воззвание религиозного общества, пока не прочла заглавия: ««Избирательные права для женщин». Это опять вернуло ее мысли к более обобщенному объяснению ее личных трудностей. Никогда еще она не была так склонна считать положение женщины в современном мире нестерпимым.

За чаем Кейпс присоединился к студентам, он ехидничал, как это иногда с ним бывало, и не заметил, что Анна-Вероника озабочена и хочет спать. Мисс Клегг подняла вопрос об избирательных правах для женщин, и Кейпс старался, чтобы между нею и мисс Гэрвайс начался словесный поединок. Юноша с зачесанными назад волосами и шотландец в очках приняли участие в этой перепалке за и против женского равноправия.

Кейпс то и дело обращался к Анне-Веронике. Ему хотелось вовлечь ее в спор, и она делала все от нее зависящее, чтобы принять в нем участие. Но ей было трудно собраться с мыслями, и, высказывая какое-нибудь суждение, она путалась и понимала, что путается. Кейпс парировал со всей энергией, как бы отдавая этим дань ее уму. Сегодня в ней чувствовалась необычайная взволнованность. Кейпс читал Белфорта Бэкса и объявил себя его сторонником. Он противопоставил участь женщин вообще участи мужчин и изобразил мужчин терпеливыми и самоотверженными мучениками, а женщин — избалованными любимицами природы. К его гротеску примешивалась и доля убежденности.

Некоторое время он и мисс Клегг спорили друг с другом.

Для Анны-Вероники этот вопрос уже не был простой беседой за чаем, он вдруг приобрел трагическую конкретность. Вот он сидит беззаботно — приветливый и по-мужски свободный, любимый, единственный мужчина, которому она с радостью позволила бы открыть ей путь в широкий мир и освободить из заточения возможности, заложенные в ее женской душе; а он, казалось, не замечает, как она чахнет у него на глазах; он смеется над всеми этими женскими душами, страстно восстающими против своей роковой судьбы.

Мисс Гэрвайс еще раз повторила почти в тех же выражениях, которыми она обычно пользовалась во всех дискуссиях, свое мнение по этому важному вопросу. Женщины, мол, не созданы для жизненной борьбы и суматохи, их место дома, в тесном кругу семьи; их сила не в избирательных правах, а в том, чтобы влиять на мужчин и растить в душах своих детей благородство и красоту.

— Может быть, женщины и должны бы вникать в мужские дела,— сказала мисс Гэрвайс,— но вмешиваться в них — значит жертвовать той силой влияния, которое они могут теперь оказывать.

— В этом есть кое-какой смысл,— вмешался Кейпс, как бы желая защитить мисс Гэрвайс от возможных нападок Анны-Вероники.— Может быть, это несправедливо и прочее, но в конце концов таково положение

вещей. Женщины не занимают в жизни такого же места, как мужчины, и я не представляю их в этой роли. Мужчины — индивидуумы, участвующие в свалке. А каждый дом — укромное убежище вне мира, где царят дела и конкуренция, и здесь женщины и будущее находят себе приют.

— Маленькая западня! — заметила Анна-Вероника.— Маленькая тюрьма!

— Которая часто является маленьким убежищем. Во всяком случае, таков порядок вещей.

— И мужчина стоит, как хозяин, у входа в эту берлогу?

— Как часовой. Вы забыли о воспитании, традициях, инстинкте, которые сделали из него неплохого хозяина. Природа — мать, она всегда была на стороне женщин и обтесывала мужчину в угоду обделенной женщине.

— Хотела бы я,— с неожиданным гневом вдруг сказала Анна-Вероника,— чтобы вы узнали, как живут в западне!

Сказав это, она поднялась, поставила свою чашку на стол возле мисс Гэрвайс и обратилась к Кейпсу, будто говорила с ним одним.

— Я не могу примириться с этим,— сказала она.

Все повернулись к ней, удивленные.

Она почувствовала, что должна продолжать.

— Ни один мужчина не представляет себе, какой может быть эта западня. А способ... способ, которым нас туда завлекают? Нас учат верить в то, что мы свободны в этом мире, воображать, что мы королевы... И вот мы узнаем правду. Мы узнаем, что ни один мужчина не относится к женщине честно, как мужчина к мужчине,— ни один. Или вы ему нужны, или не нужны; и тогда он помогает другой женщине вам назло... То, что вы говорите, вероятно, справедливо и необходимо... Но подумайте о разочаровании! Помимо пола, у нас такие же души, как у мужчин, такие же желания. Мы идем в жизнь, некоторые из нас...

Анна-Вероника смолкла. Слова, которые она произнесла, как ей показалось, ничего не означали, а ведь ей надо было выразить так много.

— Женщин осмеивают,— сказала она.— Всякий раз, когда они пытаются утвердиться в жизни, мужчины препятствуют этому.

Она с ужасом почувствовала, что сейчас расплачется. Ей не надо было вставать с места. И зачем только она встала? Все молчали, поэтому она была вынуждена продолжать свою речь.

— Подумайте об этой насмешке! — воскликнула она.— Подумайте, как мы бываем подавлены и потрясены! Конечно, видимость свободы у нас есть... Вы когда-нибудь пробовали бегать и прыгать в юбке, мистер Кейпс? Так вот, представьте себе, что это значит, когда душа, ум и тело так стеснены. А для мужчин смеяться над нашим положением — забава.

— Я не смеялся,— резко ответил Кейпс.

Они стояли лицом к лицу, и его голос сразу пресек ее слова, она замолчала. Она была измучена, нервы натянуты, она не могла вынести, что он стоит в трех шагах от нее, ничего не подозревая, что имеет такую неизмеримую власть над ней, что от него зависит ее счастье. Нелепость ее положения мучила ее. Она устала от себя самой, от своей жизни, от всего, за исключением Кейпса. И все скрытое и затаенное от него теперь рвалось наружу.

При звуке его голоса Анна-Вероника сразу умолкла и потеряла нить своих мыслей. Во время этой паузы она заметила, как внимательно смотрят на нее остальные, и почувствовала, что глаза ее наполняются слезами. Бурное смятение чувств охватило ее. Она увидела, что студент-шотландец, держа чашку в волосатой руке, с изумлением ее разглядывает, а в сложных стеклах его очков видны по-разному увеличенные зрачки.

Дверь сама как бы звала ее уйти — это была единственная возможность избежать необъяснимого страстного желания расплакаться при всех.

Кейпс мгновенно понял ее намерение, вскочил и распахнул перед ней дверь.

8

«Зачем мне возвращаться сюда?» — спросила Анна-Вероника, спускаясь по лестнице.

Она отправилась на почту и послала деньги Рэмеджу. Когда она вышла на улицу, она ощущала только

одно: сразу идти домой она не в состоянии. Надо подышать воздухом, отвлечься ходьбой и переменой обстановки. Дни становятся длиннее, темнеть начнет только через час. Надо пройти парком к зоологическому саду, а затем через Примроуз-хилл до Хэмпстед-хит. Приятно будет там побродить в мягких сумерках и все обдумать...

Анна-Вероника услышала за собой быстрые шаги, оглянулась и увидела догонявшую ее и запыхавшуюся мисс Клегг.

Анна-Вероника замедлила шаг, и они пошли рядом.

— Разве вы ходите через парк?

— Не всегда. Но сегодня пойду. Хочу прогуляться.

— Меня это не удивляет. Я считаю, что мистер Кейпс — человек весьма нелегкий.

— Дело не в нем. У меня весь день болит голова.

— По-моему, мистер Кейпс был очень несправедлив.— Мисс Клегг говорила тихим, ровным голосом.— Очень несправедлив! Я рада, что вы ответили, как надо.

— Вопрос не в этом маленьком споре.

— Вы ему хорошо ответили. Сказать это было необходимо. После вашего ухода он сбежал и укрылся в препараторской. Иначе его бы прикончила я.

Анна-Вероника ничего не ответила, и мисс Клегг продолжала:

— Он очень часто бывает весьма несправедлив. У него привычка осаживать людей. Едва ли ему понравилось бы, если бы люди так вели себя с ним. Он выхватывает у вас слова на лету и истолковывает их, а вы еще не успели выразить до конца свою мысль.

Наступило молчание.

— Он, должно быть, страшно умный,— сказала мисс Клегг — Кейпс — член Королевского общества, хотя ему едва ли больше тридцати.

— Он очень хорошо пишет, — заметила Анна-Вероника.

— Да, не больше тридцати. Женился, наверное, совсем молодым.

— Женился? — удивилась Анна-Вероника.

— Разве вы не знали, что он женат? — спросила мисс Клегг.

У нее, видимо, блеснула какая-то мысль, и она быстро взглянула на свою спутницу.

В эту минуту Анна-Вероника не нашлась что ответить. Она резко отвернулась. Автоматически и каким-то чужим голосом произнесла:

— Вон играют в футбол.

— Это далеко, мяч в нас не попадет,— ответила мисс Клегг.

— Я не знала, что мистер Кейпс женат,— наконец отозвалась Анна-Вероника, возобновляя прерванный разговор. От ее прежней усталости не осталось и следа.

— Женат,— подтвердила мисс Клегг.— Я думала, все это знают.

— Нет,— с неожиданной решительностью отозвалась Анна-Вероника.— Я никогда не слышала об этом.

— Я думала, все знают, все слышали об этом.

— Но почему?

— Он женат и, по-моему, живет с женой врозь. Несколько лет назад возникло какое-то дело или что-то произошло.

— Какое дело?

— Ну, развод или что-то в этом роде, не знаю! Я слышала, что он был бы отстранен от преподавания, если бы не профессор Рассел, который отстоял его.

— Вы хотите сказать, что он развелся?

— Нет, но он был замешан в каком-то деле о разводе. Я забыла подробности, но знаю, это было что-то очень неприятное. И связано с артистической средой.

Анна-Вероника молчала.

— Я была уверена, что все об этом слышали,— повторила мисс Клегг.— Иначе я бы ничего не сказала.

— Вероятно, все мужчины,— независимым и критическим тоном заметила Анна-Вероника,— попадают в такие вот истории. Во всяком случае, нас это не касается.— Она тут же свернула на другую тропинку.— Я здесь пройду на ту сторону парка,— сказала она.

— А я думала, вы хотите пройти прямо через парк.

— Нет. Мне надо еще поработать. Просто хотелось подышать воздухом. Да и ворота сейчас запрут. Скоро темнеть начнет.

9

Вечером, около десяти часов, когда Анна-Вероника сидела у камина в глубоком раздумье, ей принесли заказное письмо с печатями.

Она вскрыла конверт и извлекла письмо, в котором лежали деньги, отосланные в этот день Рэмеджу. Письмо начиналось так:

«Моя любимая девочка, я не могу допустить, чтобы вы совершили подобную глупость...»

Она скомкала деньги и письмо и швырнула их в огонь. В то же мгновение, схватив кочергу, отчаянным усилием попыталась выхватить их из пламени. Но ей удалось спасти лишь уголок письма. Двадцать фунтов стерлингов сгорели дотла.

Несколько секунд она сидела, согнувшись над каминной решеткой, держа в руке кочергу.

— Ей-богу! — воскликнула она наконец, поднимаясь.— На этом, Анна-Вероника, все, наверное, и кончится!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СУФРАЖИСТКИ

1

«Есть только один выход из положения,— сказала себе Анна-Вероника, сидя в темноте на своей узкой кровати и грызя ногти.— Я думала, что бунтую только против отца и порядков в Морнингсайд-парке, но оказалось, что я бунтую против всей нашей жизни, против всей нашей проклятой жизни...»

Она вздрогнула. Нахмурившись, крепко обхватила руками колени. Все в ней кипело от гнева при мысли о положении современной женщины.

«Должно быть, судьба каждого человека в какой-то мере — дело случая. Но судьба женщины зависит только от случая. Для нее искусственно придуман случай. Главное — найти своего мужчину. Все остальное —

притворство и жеманство. Он твой выигрышный билет. Если ему угодно, он не станет тебе мешать...

А нельзя ли изменить такой порядок?

Актрисы, наверное, независимы...»

Она попыталась представить себе какой-нибудь иной мир, в котором не было бы этих чудовищных ограничений, в котором женщины стояли бы на собственных ногах и имели бы одинаковые с мужчинами гражданские права. Она задумалась над тем, что предлагали социалисты, над их идеалами, затем над туманными проповедями о Счастье Материнства, о полном освобождении женщин от жестокой личной зависимости, связанной с существующим общественным строем. В глубине души она неизменно ощущала присутствие умного стороннего наблюдателя, которого старалась не замечать. Не будет она смотреть на него, не будет о нем думать; а когда мысли ее путались, она, чтобы не изменять своему решению, шептала в темноте:

— Так надо. Нельзя больше откладывать; так надо. Если мы хотим добиться независимости или хотя бы уважения, женщины целого поколения должны стать мученицами.—...А почему бы нам не стать мученицами? Во всяком случае, большинству из нас ничего другого не остается. Желание самой распоряжаться своей жизнью считается каким-то бунтом.

Да, каким-то бунтом,— повторила она словно в ответ на возражение невидимого собеседника.

Все равно, как если бы все женщины-покупательницы отказались покупать товары.

Она стала думать о других вещах, о женщинах другого склада.

«Бедняжка Минивер! Разве она может быть иной, чем она есть?.. Если она путано выражает свои взгляды и не в силах их вытащить из трясины всякой чепухи, это вовсе не значит, что она не права».

Слова «тащить правду через трясину чепухи» принадлежали Кейпсу. Вспомнив об этом, Анна-Вероника как будто провалилась сквозь тонкую поверхность, словно пробила корку лавы на кратере и упала в пылающие глубины. На какое-то время она погрузилась в мысли о Кейпсе, не будучи в силах избавиться от его образа,

от сознания, что он занимает столь значительное место в ее жизни.

Потом она размечталась о том смутном рае, в который верили Гупсы, Миниверы, фабианцы, все те, кто боролся за реформы. У входа в этот мир огненными буквами было начертано: «Обеспечение Матери». Что, если бы пусть трудным, но доступным способом женщины обеспечили бы себя, сбросили экономическую и социальную зависимость от мужчин?

— Если бы существовало равноправие,— сказала она тихо,—можно было бы пойти к Кейпсу... Как отвратителен этот страх встретиться взглядом с мужчиной! Можно было бы пойти к нему и сказать, что любишь его. Я хочу его любить. Пусть бы он любил меня чуть-чуть. Кому от этого вред? Это не накладывало бы на него никаких обязательств.

Анна-Вероника со стоном уткнулась носом в колени. Она совсем растерялась. Ей хотелось целовать ему ноги. У него, должно быть, такие же сильные ноги, как и руки.

Вдруг все в ней возмутилось.

«Не допущу я такого рабства! — воскликнула она.— Не допущу такого рабства!»

Она подняла руку и погрозила кулаком.

«Слышишь? Какой бы ты ни был, где бы ты ни был! Я не сделаюсь рабой моих мыслей о мужчине, рабой каких-либо обычаев. Будь оно проклято, это рабство пола! Я человек. Я подавлю свое чувство, если даже это меня убьет!»

Она гневно посмотрела на окружавший ее холодный мрак.

«Мэннинг...— произнесла она и представила себе мистера Мэннинга, робкого, но настойчивого.— Ни за что!»

Мысли ее приняли новое направление.

— Неважно, если эти женщины смешны,— сказала она после долгого раздумья.— Но чего-то они добиваются. Они добиваются того, что женщинам необходимо,— они не хотят покорности. Избирательные права — только начало, надо же с чего-нибудь начать. Если мы не начнем...

Анна-Вероника наконец приняла решение. Она вскочила с кровати, разгладила простыню, поправила смятую подушку, снова легла и почти мгновенно уснула.

2

Утро было хмурым и туманным, точно в середине ноября, а не в начале марта. Анна-Вероника проснулась позднее обычного и только через несколько минут вспомнила о принятом ночью решении. Она быстро встала и начала одеваться.

В Имперский колледж она не пошла. До десяти утра она безуспешно писала письма Рэмеджу и рвала их, не дописав. Потом ей это надоело, она надела жакет и вышла на скользкую мрачную улицу, на которой горели фонари. Она решительно повернула в южном направлении.

Оксфорд-стрит привела ее в Холборн, там она спросила, как пройти на Ченсери-Лейн, и с трудом отыскала номер 107-а, одно из тех многоэтажных зданий на восточной стороне улицы, в которых громоздятся друг над другом самые разнообразные конторы. Она прочла написанные красками на стене названия фирм, предприятий и фамилии людей и узнала, что Союз равноправия женщин занимает ряд смежных комнат на первом этаже. Анна-Вероника поднялась по лестнице и в нерешительности остановилась: перед ней было четыре двери; на каждой висела табличка из матового стекла, на которой аккуратными черными буквами было выведено: «Союз равноправия женщин». Она открыла одну из дверей и вошла в неприбранный зал с беспорядочно сдвинутыми стульями, словно ночью здесь происходило собрание. На стенах висели доски с пачками наколотых на них газетных вырезок, три или четыре афиши извещали о массовых митингах, на одном из которых она была вместе с мисс Минивер, и всякие объявления, написанные красными химическими чернилами; в углу были составлены знамена. Здесь никого не было, но в приоткрытую дверь Анна-Вероника увидела в комнате поменьше двух молоденьких девушек, сидевших за столом, заваленным бумагами, и что-то быстро писавших.

Она пересекла зал и, отворив дверь пошире, обнаружила работавший полным ходом отдел прессы женского движения.

— Я хотела бы справиться...— начала Анна-Вероника.

— Рядом!— оборвала ее молодая особа лет семнадцати-восемнадцати, в очках, нетерпеливо указав на соседнюю дверь.

В комнате рядом Анна-Вероника застала средних лет женщину с усталым, помятым лицом, в помятой шляпке— женщина сидела за конторкой и распечатывала письма—и мрачную неряшливую девушку лет двадцати восьми, деловито стучавшую на машинке. Усталая женщина вопросительно взглянула на Анну-Веронику.

— Я хотела бы узнать подробнее о женском движении,— сказала Анна-Вероника.

— Вы на нашей стороне? — спросила усталая женщина.

— Не знаю, пожалуй, да,— ответила Анна-Вероника.— Мне бы очень хотелось что-нибудь сделать для женщин. Но я хочу знать, что вы делаете.

Усталая женщина отозвалась не сразу.

— Вы явились сюда не затем, чтобы чинить нам всякие препятствия?

— Нет,— ответила Анна-Вероника.— Просто я хочу знать.

Усталая женщина зажмурила глаза, потом посмотрела на Анну-Веронику.

— А что вы умеете делать? — спросила она.

— Делать?

— Готовы ли вы работать для нас? Распространять листовки? Писать письма? Срывать собрания? Вербовать голоса перед выборами? Смело встречать опасности?

— Если я буду убеждена...

— Если мы вас убедим?

— Тогда мне хотелось бы сесть в тюрьму... если это возможно.

— А что хорошего в том, чтобы сесть в тюрьму?

— Меня это устроит.

— Ничего хорошего тут нет.

— Ну, это частность,— сказала Анна-Вероника.

— Чем же вы недовольны?

Усталая женщина спокойно смотрела на нее.

— Какие же у вас возражения? Чем же вы недовольны? — спросила она.

— Дело не в недовольстве. Я хочу знать, что вы делаете и каким образом ваша работа может действительно помочь женщинам.

— Мы боремся за гражданские права женщин,— сказала усталая женщина.— С нами обращались и обращаются так, словно мы ниже мужчин; мы добиваемся равноправия женщин.

— С этим я согласна, но...

Усталая женщина с недоумением подняла брови.

— А вам не кажется, что вопрос гораздо сложнее? — спросила Анна-Вероника.

— Если хотите, можете сегодня днем поговорить с мисс Китти Брет. Записать вас на прием?

Мисс Китти Брет была одной из самых видных руководительниц движения, и Анна-Вероника ухватилась за возможность повидаться с ней. Большую часть времени, оставшегося до встречи, она провела в ассирийском отделе Британского музея, читая и размышляя над брошюрой о феминистском движении, которую ее уговорила купить усталая женщина. В маленьком буфете она выпила чашку какао и съела булочку, потом прошла через верхние галереи, где были выставлены полинезийские идолы, костюмы для плясок и разные наивные и нескромные аксессуары полинезийской жизни, и поднялась в зал с мумиями. Здесь она присела и попыталась разобраться до конца в волновавших ее вопросах; но мысли ее перескакивали с одного на другое, и сосредоточиться было почему-то особенно трудно. Все, о чем бы она ни подумала, казалось удивительно туманным.

«Почему женщины должны быть в зависимости от мужчин? — спросила она себя, и этот вопрос потянул за собой целый ряд других.— Почему именно так, а не иначе? Почему человеческие существа живородящие? Почему люди три раза в день хотят есть? Почему при опасности теряют голову?»

Она долго простояла на одном месте, рассматривая сморщенное, сухое тело и лицо мумии из той эпохи, ко-

гда общественная жизнь еще только зарождалась. А ведь лицо у мумии очень спокойное, даже слегка самодовольное, пришло на ум Анне-Веронике. Кажется, мумия преуспевала, ни над чем не задумываясь, и принимала окружавший ее мир таким, каким он был,— тот мир, в котором детей приучали повиноваться старшим, а насилие над волей женщин никого не удивляло. Разве не поразительно, что эта вещь была живой, мыслила и страдала? Может быть, однажды она страстно желала другое живое существо. Может быть, кто-нибудь целовал этот лоб — лоб трупа, нежными пальцами гладил эти провалившиеся щеки, трепетными руками обнимал эту жилистую шею. Но все это было забыто. Это существо, казалось, думало: «В конце концов меня с величайшими почестями забальзамировали, выбирая самые стойкие, самые лучшие специи! Я принимала мир таким, каким он был. *Такова жизнь!*»

3

Китти Брет сначала показалась Анне-Веронике неприветливой и несимпатичной, но потом выяснилось, что она обладает редким даром убеждать. На вид ей было года двадцать три, она поражала румянцем во всю щеку и цветущим видом. Простая, однако довольно изящная блузка оставляла открытой полную белую шею, а короткие рукава — энергично жестикулирующие округлые руки. У нее были живые темные сине-серые глаза, тонкие брови, пышные темно-каштановые волосы, скромно зачесанные назад, низкий широкий лоб. Китти Брет способна была раздавить вас разумными доводами, как неудержимо движущийся паровой каток. Она прошла хорошую выучку: ее мать, приняв решение, отстаивала его до конца.

Говорила она гладко и с энтузиазмом. Замечаний Анны-Вероники она или почти не принимала в расчет, или приобретенная навыком находчивость помогала ей быстро расправляться с ними, и она продолжала с благородной прямотой излагать сущность дела, за которое боролась, этот удивительный мятеж женщин, взбудораживший в то время весь политический мир и вызы-

вавший бурные дискуссии. На все вопросы, которые ставила перед нею Анна-Вероника, она откликалась с какой-то гипнотической силой.

— Чего мы хотим? Чего мы добиваемся? — спросила Анна-Вероника.

— Свободы! Гражданских прав! А путь к этому, путь ко всему лежит через избирательное право.

Анна-Вероника пробормотала что-то насчет того, что надо вообще изменить взгляды людей на жизнь.

— Разве можно заставить людей изменить свои взгляды, если не имеешь власти? — возразила Китти Брет.

К такой контратаке Анна-Вероника не была подготовлена.

— Нельзя все сводить только к антагонизму полов.

— Когда женщины добьются справедливости,— ответила Китти Брет,— не будет и антагонизма полов. Никакого. А до тех пор мы намерены упорно продолжать борьбу.

— Мне кажется, для женщин главные трудности — экономического характера.

— И с этими трудностями будет борьба. Будет.

Анна-Вероника раскрыла рот, желая вставить что-то, но Китти Брет помешала ей, воскликнув с заражающим оптимизмом:

— Все будет!

— Да,— проговорила Анна-Вероника, пытаясь понять, к чему они пришли, пытаясь снова разобраться в том, что как будто прояснилось для нее в ночной тишине.

— Ничто никогда не свершалось без элемента веры,— продолжала мисс Брет.— После того как мы получим доступ к избирательным урнам и гражданские права, мы сможем заняться всеми остальными вопросами.

Анне-Веронике казалось, что то, о чем говорит мисс Брет, несмотря на все обаяние убежденности, в общем-то отличается от проповеди мисс Минивер только какими-то новыми оттенками. И, так же как в той проповеди, в словах мисс Брет есть какой-то скрытый смысл, какая-то неуловимая, недосказанная, но тем не менее существенная правда, хотя рассуждает мисс Брет весьма непоследовательно. Что-то держит женщин в подчинении, сковывает их и, если это не закон, установленный мужчинами, то, во всяком случае, оно породило

этот закон. На самом деле существует в мире нечто такое, что мешает людям жить полной жизнью...

— Избирательное право — символ всего,— сказала мисс Брет и вдруг обратилась к самой Анне-Веронике:

— Прошу вас, не давайте увести себя в сторону второстепенными соображениями. Не просите меня, чтобы я перечислила вам все то, чем женщины могут заниматься и кем они могут стать. Новая жизнь, не похожая на прежнюю, зависящую от чужой воли, вполне возможна. Если бы только мы не были разобщены, если бы только мы работали дружно! Наше движение единственное, которое объединило женщин разных классов ради общей цели. Посмотрели бы вы, как эта цель воодушевляет женщин, даже тех женщин, которые ни над чем не задумывались, были всецело поглощены суетностью и тщеславием...

— Поручите мне какое-нибудь дело,— наконец прервала Анна-Вероника ее речь.— Вы были так добры, что приняли меня, но я не смею отнимать у вас время. Я не хочу сидеть и болтать, я хочу что-нибудь делать. Я хочу восстать против всего, что сковывает женщину, иначе я буду задыхаться, пока не начну действовать, и притом действовать скоро, не откладывая.

4

Не Анна-Вероника была виновата в том, что вечерний поход принял характер какого-то нелепого фарса. Она относилась чрезвычайно серьезно ко всему, что делала. Ей казалось, что это последняя отчаянная атака на мир, который не давал ей жить так, как она хотела, который запирал ее, контролировал, поучал, не одобрял ее поступков, что это борьба против тех самых чехлов, той гнетущей тирании, которую она после памятного столкновения с отцом в Морнингсайд-парке поклялась сбросить.

Она была внесена в список участниц похода — ей сказали, что это будет рейд к Палате общин, но не сообщили никаких подробностей и велели, не спрашивая дороги у полисменов, прийти одной на Декстер-стрит, 14, Вестминстер. Под этим номером оказался не дом, а двор на уединенной улице; на огромных воротах было

написано: «Поджерс и Карло, перевозка и доставка мебели». Она в недоумении остановилась на пустынной улице, но тут под фонарем на углу показалась еще одна женщина, нерешительно оглядывавшаяся по сторонам, и Анна-Вероника поняла, что не ошиблась. В воротах была небольшая калитка, и она постучала в нее. Калитку тут же открыл мужчина с белесыми ресницами; он, как видно, с трудом сдерживал волнение.

— Входите, быстро! — прошипел он тоном конспиратора, осторожно притворил калитку и указал: — Сюда!

При скудном свете газового фонаря Анна-Вероника разглядела мощенный булыжником двор и четыре больших фургона с запряженными в них лошадьми и с важженными фонарями. Из тени ближайшего фургона вынырнул худощавый юноша в очках.

— Вы в каком — А, Б, В или Г? — спросил он.

— Мне сказали, что В,— ответила Анна-Вероника.

— Вот сюда! — Он махнул брошюрой, которую держал в руках.

Анна-Вероника очутилась в кучке суетившихся, взбудораженных женщин, они шептались, хихикали и говорили приглушенными голосами.

Свет был слабый, и она смутно, словно сквозь туман, видела их лица. Ни одна не заговорила с ней. Она стояла среди них, наблюдая, чувствуя себя удивительно чуждой им. Косой красноватый луч фонаря как-то странно искажал их черты, рисовал на их одежде причудливые пятна и полосы теней.

— Это Китти придумала поехать в фургонах,— сказала какая-то женщина.

— Китти замечательная! — воскликнула вторая.

— Замечательная!

— Я всегда мечтала участвовать в таком деле, которое грозит тюрьмой,— послышался голос.— Всегда! С самого начала. И только сейчас мне представился случай.

Невысокая блондинка, стоявшая рядом, рассмеялась истерическим смехом и вдруг всхлипнула.

— Когда я еще не была суфражисткой, я с трудом поднималась по лестнице, так у меня начинало колотиться сердце,— произнес кто-то скучным, непререкаемым тоном.

Какой-то человек, заслоненный от Анны-Вероники другими, видимо, намеревался дать команду.

— Должно быть, пора ехать,— обратилась к Анне-Веронике маленькая симпатичная старушка в капоре, голос ее слегка дрожал.— Вы что-нибудь видите при этом освещении, милочка? Я, пожалуй, полезу. Какой из них А?

Анна-Вероника посмотрела в черные пасти фургонов, и сердце у нее сжалось. Двери были раскрыты, на каждом висел плакат с огромной черной буквой. Она проводила старушку и направилась к фургону В. Молодая женщина с белой повязкой на руке стояла у входа и считала влезавших в фургоны.

— Когда постучат по крыше, выходите,— сказала она тоном приказа.— Вас подвезут не с главного входа, а с другой стороны. Это вход для публики. Туда вы и двинетесь. Старайтесь прорваться в кулуары, а оттуда в зал заседаний парламента и все время кричите: «Мы требуем избирательных прав для женщин!»

Она говорила, как учительница, обращавшаяся к школьницам.

— Не сбивайтесь в кучу, когда выйдете из фургонов,— добавила она.

— Все в порядке? — спросил появившийся в дверях человек с белесыми ресницами.

Он с минуту подождал, ободряюще улыбнулся в слабом свете фонаря, захлопнул двери фургона, и женщин окутал мрак...

Фургон рывком тронулся с места и, грохоча, покатился по улице.

— Точно Троянский конь! — раздался восторженный возглас.— Совсем Троянский конь!

5

И вот Анна-Вероника, как всегда предприимчивая, но терзаемая сомнениями, вошла в историю, вписав свое имя в протокол британского полицейского суда.

Когда-нибудь литература сочтет почетным долгом заняться кропотливыми исследованиями этого женского движения и оно обретет своего Карлейля, а эпизоды

удивительных подвигов, благодаря которым мисс Брет и ее коллеги втянули весь западный мир в дискуссию о положении женщин, лягут в основу чудесных и увлекательных повествований. Мир ждет такого писателя, а покамест единственным источником, из которого можно узнать об этом диковинном движении, остаются сумбурные отчеты в газетах. Но писатель придет и воздаст должное походу в фургонах для перевозки мебели; он подробно опишет место действия перед парламентом, каким оно было в тот вечер: кареты, кебы, коляски и автомобили, промозглым, сырым вечером въезжавшие в Нью-Палас-Ярд; усиленные, но ничего не подозревавшие отряды полиции у входов в громады зданий, чьи стены в духе викторианской готики, вздымаясь над огнями фонарей, уходили в ночную тьму; неприступный маяк — Биг Бен, сверкавший в вышине; и редкое движение по Вестминстеру — кебы, повозки, освещенные омнибусы, спешившие на мост и с моста. Возле Аббатства и Эбингдон-стрит разместились наружные пикеты и отряды полиции, все их внимание было обращено на запад, на Кэкстон-холл в Вестминстере,— там гудели женщины, как растревоженный улей; у ворот этого центра, где собрались нарушительницы порядка, стояли полицейские машины. И, пройдя сквозь все эти заграждения, во двор Олд-Палас-Ярда, святая святых противника, громыхая, въехали, не вызвавшие никаких подозрений фургоны.

Они проехали мимо немногих зевак, пренебрегших плохой погодой, чтобы поглядеть, что натворят суфражистки, и беспрепятственно остановились в тридцати ярдах от вожделенных порталов.

Здесь они начали разгружаться.

Будь я художником, я употребил бы все свое мастерство на то, чтобы изобразить этот оплот Британской империи, чтобы реалистически воссоздать пропорции, перспективы, атмосферу; я нарисовал бы его серыми красками громадным, величественным и респектабельным превыше всяких слов, потом поместил бы у его подножия совсем маленькие, очень черные фургоны, вторгшиеся в эту твердыню и извергающие беспорядочный поток черных фигурок, крошечных фигурок отважных женщин, объявивших войну всему миру.

Анна-Вероника была на передовой линии фронта.

Мнимое спокойствие Вестминстера в один миг было нарушено, даже сам спикер на кафедре побледнел, когда раздались пронзительные свистки полисменов. Члены парламента посмелее поднялись со своих мест и, усмехаясь, направились в кулуары. Другие, нахлобучив шляпы на глаза, уселись поглубже, делая вид, будто все в полном порядке. В Олд-Палас-Ярде все забегали. Одни мчались к месту происшествия, другие искали, где бы спрятаться. Даже два министра улепетывали с лицемерной улыбкой на лицах.

Когда открылись двери фургонов и Анна-Вероника вышла на свежий воздух, она уже ни в чем не сомневалась, подавленное настроение исчезло, ее охватило буйное веселье. Она снова оказалась во власти того безрассудства, которое овладевало ею в решающие минуты перелома и которое повергло бы в ужас и показалось постыдным любой обыкновенной девушке. Перед нею высился огромный готический портал. Через него надо было пройти.

Мимо промчалась старушка в капоре, бежавшая с невероятной быстротой, тем не менее сохраняя благопристойный вид; она размахивала руками в черных перчатках и издавала странные, угрожающие звуки, похожие на те, какими выгоняют из сада забредших туда уток. С флангов заходили полисмены, чтобы ее задержать. Старая леди, налетев на ближайшего из них, словно снаряд, гулко стукнулась о его грудь, но Анна-Вероника уже пробежала мимо и стала подниматься по лестнице.

Вдруг ее сзади грубо подхватили и подняли.

И тут, кроме волнения, Анна-Вероника почувствовала ужас и нестерпимую гадливость. Она в жизни не испытывала ничего столь неприятного, как это сознание своей беспомощности оттого, что ее держат на весу. Она невольно взвизгнула — никогда еще Анна-Вероника не визжала — и, словно насмерть перепуганный зверек, стала яростно вырываться и драться с державшими ее людьми.

Это ночное путешествие, эта забавная проделка в один миг превратилась в отвратительный кошмар насилия. Волосы Анны-Вероники рассыпались, шляпка сполз-

ла набок и закрыла глаза, а ей не давали поднять руку, чтобы привести себя в порядок. Ей казалось, что она потеряет сознание, если ее не опустят наземь, и некоторое время ее не опускали. Вдруг она с неописуемым облегчением почувствовала, что стоит на мостовой и два полисмена, крепко схватив ее за кисти рук, с профессиональной ловкостью куда-то ведут. Анна-Вероника извивалась, стараясь вырвать руки, и исступленно кричала: «Это подло! Подло!»,— что встретило явное возмущение доброжелательного полисмена справа.

Потом они отпустили ее руки и стали оттеснять к воротам.

— Идите домой, мисс,— сказал доброжелательный полисмен.— Здесь вам не место.

Привычным жестом, широко расставив пальцы, он подталкивал ее в спину, и она прошла ярдов десять по грязной, скользкой мостовой, почти не чувствуя нажима. Перед нею простиралась площадь, усеянная точками бегущих ей навстречу людей, затем она увидела перила и статую. Анна-Вероника была готова примириться с таким исходом этого приключения, но слово «домой» заставило ее повернуть назад.

— Не пойду я домой, не пойду! — заявила Анна-Вероника и, уклонившись от рук доброжелательного полисмена, сделала попытку снова броситься в сторону высокого портала.

— Остановитесь! — крикнул он.

Дорогу ей преградила отбивавшаяся от полисменов старушка в капоре. Казалось, она наделена нечеловеческой силой. Старушка и три вцепившихся в нее полисмена, покачиваясь от борьбы, приближались к стражам Анны-Вероники и отвлекли их внимание.

— Пусть меня арестуют! Я не пойду домой! — не смолкая, кричала старушка.

Полисмены отпустили ее, она подпрыгнула и сбросила с одного из них каску.

— Придется ее забрать! — крикнул сидевший на лошади инспектор.

— Берите меня!— эхом откликнулась старушка.

Ее схватили и подняли, а она закричала не своим голосом.

Увидев эту сцену, Анна-Вероника пришла в исступление.

— Трусы! Отпустите ее! — крикнула она и, вырвавшись из удерживавшей ее руки, принялась молотить кулаками огромное красное ухо и плечо полисмена в синем мундире, который держал старушку.

Тогда арестовали и Анну-Веронику.

А потом, когда ее вели по улице в полицейский участок, ей пришлось испытать унизительное сознание своей беспомощности. Действительность превзошла самые смелые предположения Анны-Вероники. Ее вели сквозь мятущуюся, кричащую толпу, люди ухмылялись, безжалостно разглядывая ее при свете фонарей. «Ага, мисс попалась!» — крикнул кто-то; «Ну-ка лягни их»,— хотя она шла теперь с поистине христианской покорностью, негодуя только против того, что полицейские держали ее за руки. Какие-то люди в толпе дрались. То и дело слышались оскорбительные выкрики, но их смысла она чаще всего не понимала. То один, то другой подхватывал пущенное кем-то восклицание: «Кому нужна эта дуреха!» Какое-то время ее преследовал хилый молодой человек в очках, кричавший: «Мужайтесь! Мужайтесь!» Кто-то швырнул в нее комком земли, и грязь потекла по шее. Она почувствовала нестерпимое омерзение. Ей казалось, что ее волокут по грязи, безнаказанно оскорбляют. Она не имела даже возможности закрыть лицо. Усилием воли она попыталась забыть об этой сцене, представить себе, что она где-то в другом месте. Потом перед нею мелькнула старушка, еще недавно такая почтенная,— ее тоже вели в участок; вся забрызганная грязью, она все еще отбивалась, но уже слабо, седая прядь свисала на шею, лицо было бледное, все в царапинах, однако торжествующее. Капор свалился с головы, его затоптали, он упал в канаву. Длинный мальчишка вытащил его и делал усилия пробраться к старушке, чтобы вернуть ей капор.

— Вы обязаны арестовать меня! — едва дыша, хрипела старушка, не сознавая, что уже арестована.— Обязаны!

Полицейский участок, куда наконец привели Анну-Веронику, показался ей убежищем после того не поддающегося описанию позора, который ей пришлось пере-

жить. Она промолчала, когда спросили ее имя и фамилию; но так как на этом настаивали, она в конце концов назвалась Анной-Вероникой Смит и дала адрес: 107-а, Ченсери-Лейн...

Всю ночь она не переставала возмущаться тем, что общество, где хозяйничают мужчины, посмело так с ней обращаться. Арестованных женщин согнали в коридор полицейского участка на Пэнтон-стрит, откуда дверь вела в камеру, до того грязную, что в ней невозможно было находиться, и большинство арестованных провело ночь стоя. Утром какой-то сообразительный приверженец суфражистского движения прислал им горячий кофе и булочки. Если бы не это, Анне-Веронике пришлось бы весь день голодать. Покоряясь неизбежности, она предстала перед судьей.

Он, разумеется, прилагал все усилия, чтобы беспристрастно выразить отношение общества к этим усталым подсудимым, которые вели себя героически, но Анне-Веронике он показался суровым и несправедливым. Казалось, он не по праву занимает должность судьи и его обижает всякое недовольство тем, как он вершит правосудие. Он возмущался, когда говорили, что он нарушает установленный порядок. Себя он считал человеком мудрым, а свои интерпелляции — подсказанными благоразумием. «Глупые вы женщины,— без конца повторял он во время слушания дела, суетливо перебирая бумажки в своем портфеле.— Глупые вы создания! Тьфу! И не стыдно вам!»

Зал суда был полон, здесь собрались главным образом поклонники обвиняемых и приверженцы суфражистского движения, особенно привлекал внимание деятельный, вездесущий мужчина с белесыми ресницами.

Допрос Анны-Вероники был недолгим и прошел незамеченным. Ей нечего было сказать в свое оправдание. На скамью подсудимых ее проводил услужливый полицейский надзиратель, он же подсказывал ей, что нужно делать. Она видела заседателей, секретарей, сидевших за черным, заваленным бумагами столом, полисменов, неподвижно стоявших рядом с застывшим выражением бесстрастия на лицах, ощущала присутствие зрителей, слышала приглушенный шум их голосов за своей спиной. Человек, выполнявший обязанности судьи,

сидел в высоком кресле за загородкой и неприязненно смотрел на нее поверх очков. А расположившийся за столом прессы рыжий неприятный молодой человек с отвислыми губами без всякого стеснения рисовал ее.

Анна-Вероника заинтересовалась тем, как свидетели приносили присягу, но особенно поразил ее ритуал целования библии. Потом отрывисто, стереотипными фразами давали показания полисмены.

— Есть у вас вопросы к свидетелю? — обратился к ней услужливый надзиратель.

Таившиеся в глубине ее сознания демоны-искусители подстрекали Анну-Веронику задавать смешные вопросы, спросить, например, свидетеля, у кого он позаимствовал стиль своей прозы. Но она сдержала себя и ответила: «Нет».

— Ну-с, Анна-Вероника Смит,— сказал судья, когда кончилось разбирательство,— вы, я вижу, девица порядочная, хорошенькая и здоровая, можно только пожалеть, что вы, глупые молодые женщины, не находите лучшего применения своей энергии. Двадцать два года! О чем только думают ваши родители? Как они позволяют вам ввязываться в подобные драки!

В голове Анны-Вероники вертелись каверзные ответы, которые она не решилась бы произнести вслух.

— Вас уговаривают, и вы участвуете в противозаконных действиях, причем многие из вас, я убежден, и понятия не имеют об их цели. Вы, наверное, не смогли бы даже ответить мне на вопрос, откуда происходит слово «суфражизм»! Да, откуда оно происходит? Но вам подают дурной пример, и вы слепо следуете ему.

Репортеры за столиком прессы подняли брови и, откинувшись назад, с усмешкой уставились на Анну-Веронику, желая посмотреть, как она отнесется к тому, что ее распекают. Один из них, лысый, похожий на гнома, отчаянно зевнул. Им все это порядком наскучило, ведь разбиралось четырнадцатое дело о суфражистках. Настоящий судья повел бы его совсем по-другому.

И вот Анна-Вероника уже не на скамье подсудимых и должна сделать выбор: поручительство в сумме сорока фунтов (что бы это ни значило) или месяц тюремного заключения. «Вторая категория»,— сказал кто-то, но она

не видела разницы между второй и первой. Она выбрала тюрьму.

Наконец после утомительного пути в громыхавшем душном фургоне без окон ее привезли в тюрьму Кэнонгет — тюрьма Холоуэй уже получила свою порцию заключенных. Анне-Веронике решительно не везло.

Тюрьма Кэнонгет была отвратительная. Холодная, насквозь пропитанная неуловимым тошнотворным запахом. К тому же, пока ей отвели камеру, пришлось два часа провести в обществе двух наглых угрюмых неряшливых воровок. Анна-Вероника не ожидала, что камера окажется так же, как и в полицейском участке, мрачной и грязной... В ее представлении стены тюрем были выложены белыми изразцами и сияли побелкой и безупречной чистотой. Теперь она увидела, что гигиенические условия в них не лучше, чем в ночлежках для бродяг. Ее выкупали в мутной воде, которой кто-то пользовался до нее. Ей не разрешили мыться самой, ее мыла какая-то привилегированная заключенная. Отказываться от этой процедуры в тюрьме Кэнонгет не полагалось. Вымыли ей и голову. Потом на нее напялили грязное платье из грубой саржи и колпак, а ее собственную одежду унесли. Платье досталось ей от прежней владелицы явно не стиранным, даже белье не было чистым. Анна-Вероника вспомнила о микробах, которых видела в микроскоп, и с ужасом представила себе, какие они могут вызвать болезни. Она присела на край кровати — надзирательница была в тот день так занята потоком вновь прибывших, что могла и не сменить постельные принадлежности. Кожа у Анны-Вероники горела и зудела от соприкосновения с одеждой. Она стала осматривать помещение, и оно сначала показалось ей просто суровым. Но по мере того, как шло время, она видела, что попала в немыслимые условия. Несколько бесконечных холодных часов она просидела, углубившись в думы о происшедшем, о том, чем она занималась после того, как водоворот суфражистского движения отвлек ее от ее собственных дел...

Эти ее собственные дела и личные вопросы, словно преодолевая ее оцепенение, постепенно заняли в ее сознании прежнее место. А она-то воображала, будто окончательно похоронила их.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ТЮРЬМЕ

1

Первую ночь в тюрьме Анне-Веронике так и не удалось уснуть. Никогда еще ей не приходилось спать на такой жесткой постели, одеяло было колючее и не грело, в камере сразу стало холодно и не хватало воздуха, а забранный решеткой «глазок» в двери и сознание, что за нею неустанно наблюдают, угнетали ее. Она, не отрываясь, смотрела на эту решетку. Анна-Вероника устала морально и физически, но ни тело, ни дух ее не находили покоя. Она заметила, что на ее лицо через определенные промежутки времени падает свет и ее кто-то разглядывает в окошечко, и это все больше и больше мучило ее...

Ее мыслями снова завладел Кейпс. Он являлся ей не то в лихорадочном забытьи, не то в полубреду, и она разговаривала с ним вслух. Всю ночь перед ней маячил какой-то совершенно немыслимый, не похожий на себя Кейпс, и она спорила с ним о положении мужчин и женщин. Он представлялся ей в форме полисмена, совершенно безмятежным. В какой-то безумный миг она вообразила, что ей необходимо изложить обстоятельства своего дела в стихах.

— Женщины—это музыка, а мужчины — инструменты,— сказала она про себя.— Мы — поэзия, вы — проза.

У них рассудок, стих у нас.
Берет мужчина верх тотчас.

Двустишие родилось в ее голове само собой, и за ним тут же потянулась бесконечная цепь таких же стихов. Она сочиняла их и посвящала Кейпсу. Они теснились в ее отчаянно болевшей голове, и она не могла от них избавиться.

Мужчина — тот везде пройдет,
Уж он-то юбки не порвет.
Мужчина всюду верх берет,

Без женских козней, без тенет
Везде мужчина верх берет,

Пускай зубов недостает —
Везде мужчина верх берет.

Не соблюдая наших мод,
Цилиндры носит круглый год.
Везде мужчина верх берет.

Без всяких талий он живет,
Везде мужчина верх берет.

И лысый он не пропадет —
Везде мужчина верх берет.

Спиртного не возьму я в рот —
И здесь мужчина верх берет.

Никто к нему не пристает —
Везде мужчина верх берет.

Детей рожаем в свой черед.
. . . .

— К черту! — наконец воскликнула Анна-Вероника, когда, помимо ее воли, появилось чуть ли не сто первое двустишие.

Потом ее мучило беспокойство, не подцепила ли она во время принудительного мытья какую-нибудь кожную болезнь.

Вдруг она стала корить себя за то, что у нее вошло в привычку употребление бранных слов.

Бранится, курит он и пьет —
Везде мужчина верх берет.

Распутник, сквернослов, урод —
Везде мужчина верх берет.

Она перевернулась на живот и заткнула уши, пытаясь избавиться от навязчивого ритма этих стишков. Она долго лежала неподвижно, и мозг ее успокоился. Она заметила, что разговаривает. Она заметила, что разговаривает с Кейпсом вполголоса, идет на разумные уступки.

— В конце концов можно сказать многое и в защиту женственности и хороших манер,— согласилась она.— Женщинам следует быть и мягкими и уступчивыми, и только тогда оказывать сопротивление, когда посягают на их добродетель или хотят принудить к неблаговид-

ному поступку. Я знаю это, любимый, здесь-то уж я могу позволить себе так называть тебя. Я признаю, что женщины викторианской эпохи хватили через край. Их добродетель — это та непорочность, которая не светит и не греет. Но все же невинность существует. Об этом я читала, задумывалась, догадывалась, я присматривалась к жизни, а теперь моя невинность... замарана.

— Замарана!..

— Видишь ли, милый, человек горячо, неудержимо к чему-то стремится... К чему же? Хочется быть чистой. Ты желал бы, чтобы я была чистой, ты желал бы этого, если бы думал обо мне, если бы...

— Думаешь ли ты обо мне?..

— Я дурная женщина. Не то, чтобы я была дурной... Я хочу сказать, я нехорошая женщина. В моей бедной голове такая путаница, что я едва понимаю, о чем говорю. Я хотела сказать, что я вовсе не образец хорошей женщины. В моем характере есть что-то мужское. С женщинами всякое случается — с добродетельными женщинами,— и от них требуется только одно: чтобы они отнеслись к этому правильно. Чтобы сохранили чистоту. А я всегда нарочно встреваю во всякие истории. И всегда пачкаюсь...

— Это такая грязь, которая смывается, мой дорогой, но это все-таки грязь.

— Невинная, безропотная женщина, которая хранит добродетель, нянчит детей и служит мужчине, которую обожают и обманывают, она королева мужчин, мученица, белоснежная мать... На это женщина способна, только если она религиозна, а я не религиозна, в таком смысле — нет, мне на все это наплевать.

— Я не кроткая. И, конечно, я не леди.

— Но я и не груба. Однако нет у меня целомудрия помыслов, истинного целомудрия. Добродетельную женщину от греховных мыслей охраняют ангелы с огненными мечами...

— А существуют ли подлинно добродетельные женщины?

— Меня огорчает, что я ругаюсь. Да, ругаюсь. Вначале я делала это в шутку. Потом это стало вроде дурной привычки. В конце концов ругательства, как табач-

ный пепел, ложатся на все, что бы я ни говорила и ни делала.

— «Ага, мисс, попалась. Ну-ка лягни их!» — крикнули мне.

— Я обругала полисмена, и он возмутился! Он возмутился!

За нас краснеют полисмены.
Мужчина — властелин вселенной.

— Черт! Но в голове у меня проясняется. Должно быть, скоро рассвет.

Сменяется сумрак сиянием дня.
Довольно, довольно! Измучилась я.

— А теперь спать! Спать! Спать! Спать!

2

— А теперь,—сказала себе Анна-Вероника, садясь на неудобную табуретку в своей камере после получасовой гимнастики,— нечего сидеть, как дура. Целый месяц мне только и дела будет, что размышлять. Так почему бы не начать сейчас? Мне многое нужно продумать до конца.

— Как же правильнее поставить вопрос? Что я собой представляю? Что мне с собою делать?

— Хотела бы я знать, многие ли действительно продумывают все до конца?

— Может быть, мы просто цепляемся за готовые фразы и подчиняемся настроениям?

— В старину было по-другому: люди умели различать добро и зло, у них была ясная, благоговейная вера, которая как будто все объясняла и для всего указывала закон. У нас теперь ее нет. У меня, во всяком случае, нет. И нечего прикидываться, будто она у тебя есть, когда на самом деле ее нет... Должно быть, я верю в бога... По-настоящему я никогда не думала о нем, да и никто не думает... Мои взгляды, наверное, сводятся вот к чему: «Я верю, скорее всего безотчетно, во всемогущего бога-отца, как в основу эволюционного процесса, а также в некий сентиментальный и туманный образ, в Иисуса Христа, его сына, за которым уже не стоит ничего конкретного...»

— Нехорошо, Анна-Вероника, притворяться, будто ты веруешь, если нет у тебя веры...

— Молюсь ли я, чтобы бог даровал мне веру? Но ведь этот монолог и есть та форма молитвы, на которую способны люди моего склада. Разве я не молюсь об этом теперь, не молюсь откровенно?

— Наш разум заражен болезнью неверия, и у всех у нас путаница в мыслях — у каждого...

— Смятение мыслей — вот что у меня сейчас в голове!..

— Эта нелепая тоска по Кейпсу — «помешательство на Кейпсе», как сказали бы в Америке. Почему меня так неудержимо тянет к нему? Почему меня так влечет к нему, и я постоянно думаю о нем и не в силах отогнать его образ?

— Но ведь это еще не все!

— Прежде всего ты любишь себя, Анна-Вероника! Запомни это. Душа, которую тебе надо спасать,— это душа Анны-Вероники.

Она опустилась на колени на полу своей камеры, сжала руки и долго не произносила ни слова.

— О боже! — наконец сказала она.— Почему я не умею молиться?

3

Когда Анну-Веронику предупредили, что к ней зайдет капеллан, у нее мелькнула мысль обратиться к нему со своими трудными вопросами весьма деликатного характера. Но она не знала порядков Кэнонгета. При появлении капеллана она встала, как было ей приказано, и очень удивилась, когда он по обычаям тюрьмы сел на ее место. Шляпы он не снял, и это должно было означать, что дни чудес миновали навсегда и посланец Христа не обязан быть вежливым с грешниками. Она заметила, что у него жесткие черты лица, брови насуплены и он с трудом сохраняет самообладание. Он был раздражен, и уши у него горели явно в результате какого-то недавнего спора. Усевшись, он сразу же так охарактеризовал Анну-Веронику:

— Вероятно, еще одна девица, которая лучше творца знает, где ее место в мире. Желаете спросить меня что-нибудь?

Анна-Вероника тут же изменила свое намерение. Она выпрямилась. Чувство собственного достоинства заставило ее ответить тем же тоном на неприязненный, следовательский тон этого посетителя, обходившего камеры своего прихода.

— Вы что, прошли специальную подготовку или учились в университете? — спросила она после короткой паузы, глядя на него сверху вниз.

— О! — воскликнул он, глубоко задетый.

Задыхаясь, он попытался что-то сказать, потом с презрительным жестом поднялся и вышел из камеры.

Так Анне-Веронике и не удалось получить ответ специалиста на свои вопросы, хотя она в ее теперешнем состоянии духа очень в них нуждалась.

4

Через несколько дней мысли ее приняли более определенный характер. Она вдруг почувствовала резкую антипатию к суфражистскому движению, вызванную в значительной мере, как это часто бывает с людьми, похожими на Анну-Веронику, неприязнью к девушке из соседней камеры. Это была рослая, неунывающая девушка, с глупой улыбкой, сменявшейся еще более глупым выражением серьезности, и с хриплым контральто. Она была крикливой, веселой и восторженной, и ее прическа всегда оказывалась в отчаянном беспорядке. В тюремной часовне она пела со смаком, во все горло, и совершенно заглушала Анну-Веронику, а когда выпускали на прогулку, бродила по двору, неуклюже расставляя ноги. Анна-Вероника решила про себя, что ее следовало бы называть «горластая озорница». Девушка эта вечно нарушала правила, что-то шептала по секрету, делала намеки на какие-то сигналы. Порой она становилась для Анны-Вероники олицетворением всех нелепостей и погрешностей суфражистского движения.

Она вечно была зачинщицей всяких мелких нарушений дисциплины. Ее самый крупный подвиг состоял в том, что она подговорила женщин выть перед обедом, подражая реву, который поднимают хищные животные в зоологических садах в часы кормления. Эту

выдумку подхватили одна за другой остальные заключённые, и вскоре тюрьма стала оглашаться тявканьем, лаем, рычанием, стрекотней пеликанов и кошачьим мяуканьем, и эти звуки еще разнообразились истошными выкриками и истерическим смехом.

Многим в этом многолюдном одиночестве подобные концерты приносили неожиданное облегчение. Даже больше, чем пение гимнов. Но Анна-Вероника негодовала.

— Идиотки! — сказала она про себя, услышав эту бешеную какофонию, и добавила, адресуя свои слова девушке с хриплым голосом из соседней камеры: — Невероятные идиотки!

Понадобилось несколько дней, чтобы справиться со своим настроением, но оно не прошло бесследно, и на этом этапе Анна-Вероника сделала кое-какие выводы:

— Буйством ничего не добьешься. Если поднять бунт, женщины способны на такое... Но в остальном наше дело правильное... Да, правильное.

По мере того как проходили в одиночестве долгие дни, многие вопросы для Анны-Вероники прояснялись, и она принимала решения.

Женщин она поделила на две категории: таких, которые испытывают к мужчинам вражду, и таких, у которых этой вражды нет.

— Главная причина, почему я здесь не нахожу себе места,— сказала она,— состоит в том, что мне нравятся мужчины. Я умею с ними разговаривать, я никогда не ощущала их враждебности. У меня нет классового чувства принадлежности к женщинам. Я не хочу, чтобы какие-нибудь законы или свободы отгородили меня от мистера Кейпса. Сердце подсказывает мне, что от него я приняла бы все...

— Женщина хочет надежного союза с мужчиной, с мужчиной, который лучше ее. Она хочет этого, и такой союз ей нужнее всего на свете. Может быть, это нехорошо, несправедливо, но так оно есть. Не закон, не обычай установили это, оно не навязано мужчинами силой. Просто таков порядок вещей. Женщина хочет быть свободной, она хочет гражданских прав и экономической независимости, чтобы не оказаться во власти мужчины, если это не тот, который ей нужен. Но только бог, со-

здатель вселенной, может изменить этот порядок и помешать ей быть рабыней того, который ей нужен.

— А если она не нужна ему?

— Мужчины так капризны и требовательны!

Она потерла лоб костяшками пальцев.

— О, до чего сложна жизнь! — с тяжким вздохом воскликнула Анна-Вероника.— Распутаешь один узел — затягивается другой!.. Пока что-нибудь изменится по существу, пройдет двести лет... Меня уже не будет в живых... Не будет!..

5

Однажды днем, когда всюду было тихо, надзирательница услышала, как Анна-Вероника вдруг с нескрываемым душевным волнением и тревогой крикнула:

— И зачем только я сожгла эти двадцать фунтов!

6

Анна-Вероника сидела и разглядывала свой обед. Мясо было жестким и сервировано крайне неаппетитно.

— Может быть, кто-нибудь подрабатывает на этой еде? — сказала она.

— Создаешь себе нелепое представление о безнравственности простых людей и об образцовом правосудии, которое сажает их за решетку. И вот вам тюрьмы, кишащие паразитами!

— Это и есть истинная сущность нашей жизни; то, о чем мы, утонченные и обеспеченные люди, забываем. Мы воображаем, что в своей основе мир справедлив и благороден. Но это неправда! Нам кажется, что стоит бросить вызов своим близким и вступить в жизнь, и все сразу станет легким и прекрасным. Мы не отдаем себе отчета в том, что даже кое-какую цивилизацию, которая есть у нас в Морнингсайд-парке, поддерживают с трудом. Что толку возмущаться полисменами?..

— Разве в нашей жизни простодушная девушка может расхаживать одна? Это мир грязи, микробов, кожных болезней. Мир, где закон может быть туп, как свинья, а полицейские участки — загаженные берлоги. Нам необходимы покровители и помощь. Нужна чистая вода.

— Что со мной: я становлюсь разумной, или меня укротили?

— Просто я увидела жизнь с разных сторон, поняла, как она сложна и непонятна. А раньше мне казалось, что нужно только взять ее за горло.

— А у нее нет горла!

7

Как-то ей пришла в голову мысль о самопожертвовании, и она решила, что сделала важное и поучительное открытие.

Ее охватило удивительное ощущение новизны своего открытия.

— Какой я была все это время? — спросила она себя и ответила: — Законченной эгоисткой, неразумно самоутверждающейся Анной-Вероникой, в которой не было ни чуточки дисциплины, религии или уважения к какому-нибудь авторитету, ничего, что бы сдерживало ее.

Ей казалось, что наконец-то она нашла объяснение своим поступкам. Ведь ни о ком, кроме себя, она по-настоящему не думала, что бы она ни делала, какие бы планы ни строила. Даже Кейпс был для нее только объектом, возбуждающим пылкую любовь, просто идолом, в ногах которого можно было мысленно с восторгом валяться. Она намеревалась устроить себе радостную жизнь, вольную, без всякой опеки, развивать свой интеллект, не подумав даже о том, чего это будет стоить ей и ее близким.

— Я оскорбила отца,— сказала она,— оскорбила тетку; огорчила и обидела беднягу Тедди. Я никому не доставила радости, и то, что со мною случилось, я заслужила...

— Хотя бы только потому, что ты оскорбляла людей ради своего удовольствия и свободы, и вот нужно терпеть...

— Надломленные люди! Должно быть, мир состоит только из безответственных эгоистов и надломленных людей...

— Тебе, как и другим, придется спустить свое крохотное знамя гордыни, Анна-Вероника...

— Компромисс... и доброта.

— Компромисс и доброта.

— Кто ты такая, чтобы мир лежал у твоих ног?

— Надо быть порядочной гражданкой, Анна-Вероника. Ты ничем не лучше других. И нечего цепляться за человека, который тебе не принадлежит, даже не интересуется тобой. Уж это, во всяком случае, ясно.

— Надо вести себя прилично и разумно. Надо уметь ладить с людьми, которыми бог тебя окружил. Остальные же это делают!

Она долго думала над этим. Почему бы ей не стать другом Кейпса? Она нравится ему, во всяком случае, он всегда казался довольным, когда они бывали вместе. Почему бы ей не стать другом Кейпса — сдержанным и сохраняющим собственное достоинство? В конце концов такова жизнь. Анна-Вероника ни от чего не отрекалась, и ни у кого нет таких данных, чтобы забрать все, предлагаемое жизнью. Каждому приходится вступать с нею в сделки...

Хорошо бы стать другом Кейпса.

Она могла бы продолжать свои занятия биологией, даже работать над теми же проблемами, которыми занимается он...

Может быть, ее внучка вышла бы замуж за его внука...

Ей стало ясно, что в течение всего этого нелепого похода за независимость она ничего хорошего ни для кого не сделала, а ей помогали многие люди. Она вспомнила о тетке и кошельке, оставленном на столе, о многих других случаях, когда проявленная к ней доброта доставляла другим всякие хлопоты, которых она не умела ценить. Она вспомнила о поддержке, оказанной ей Уиджетами, о поклонении Тедди; с неожиданной теплотой и жалостью вспомнила об отце, о мистере Мэннинге и его неизменной преданности, о привязанности к ней мисс Минивер.

— А мной владела только гордость, гордость и гордость!

— *Я блудная дочь. Я вернусь к отцу и скажу ему...*

— Должно быть, тот, кто горд и самоутверждается, грешит! Я грешила против бога... Грешила против бога, я грешна перед богом и перед тобой...

— Бедный, старенький папочка... Интересно, много ли он истратит на откормленного теленка?[1].

— Жизнь, одетая в чехлы... Установленный порядок! В конце концов постигаешь и это. Я начинаю понимать Джейн Остин, ценить красивые покрывала, утонченность, хорошие манеры и все прочее. Надо сдерживать себя. Владеть собой...

— И прежде всего,— добавила она после долгой паузы,— я должна любой ценой вернуть мистеру Рэмеджу те сорок фунтов.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

АННА-ВЕРОНИКА ПРИВОДИТ СВОИ ДЕЛА В ПОРЯДОК

1

Анна-Вероника с необычайным усердием принялась осуществлять свои благие намерения. Тщательно и не спеша обдумала она письмо к отцу, прежде чем села его писать, и еще раз серьезно поразмыслила, прежде чем отправить.

«Дорогой отец,— начала она,— здесь, в тюрьме, я упорно думала обо всем том, что произошло. Пережитое многому меня научило, помогло лучше понять реальную жизнь. Я убедилась, что она требует гораздо больших уступок, чем я, по своему неведению, полагала. Я решила прочитать книгу лорда Морли на эту тему, но в тюремной библиотеке ее не оказалось, должно быть, капеллан считает Морли неподходящим для нас писателем».

Тут она заметила, что отклоняется от темы.

«Я непременно прочитаю эту книгу, когда выйду отсюда. Но я вполне сознаю, что в наших условиях дочь вынуждена зависеть от отца и поэтому обязана считаться с его взглядами».

— Суховато,— сказала себе Анна-Вероника и резко изменила тон. В последних фразах даже чувствовалась теплота.

---

[1] Имеется в виду библейская притча о блудном сыне,

«Поверь, папочка, мне жаль, что я огорчила тебя. Позволь мне вернуться домой, я попытаюсь быть хорошей дочерью, лучшей, чем была до сих пор.

Анна-Вероника».

2

Тетка пришла встретить Анну-Веронику к Кэнонгету и, несколько смущенная, хорошенько не зная, что является официальной церемонией, а что — всего лишь вызовом правосудию страны, оказалась вовлеченной в триумфальное шествие к Ресторану вегетарианцев; у входа в ресторан небольшая разношерстная толпа приветствовала ее одобрительными возгласами.

— Все-таки она славная старушка,— как видно, решили эти люди.— Право голоса не повредит ей.

Тетка опомнилась уже за столиком, когда перед нею поставили какое-то вегетарианское блюдо. Инстинкт подсказал ей прийти в темной вуалетке, которую она подняла, чтобы поцеловать Анну-Веронику, да так потом и не опустила. Ей подали яйца, и тут она красноречиво, но с достоинством, которое надлежит всегда сохранять оскорбленной даме из хорошей семьи, излила свои чувства. Злополучное шествие помешало ей и Анне-Веронике тихо и спокойно встретиться, как они намеревались, и прямо поехать домой. Никакого объяснения между ними не состоялось, и, уладив дела с хозяйкой Анны-Вероники, они отправились в Морнингсайд-парк, куда и прибыли в середине дня, усталые, с головной болью. В ушах у них все еще гремел голос неукротимой Китти Брет.

— Ужасные женщины, милочка,— сказала мисс Стэнли.— А ведь некоторые из них прехорошенькие и прилично одеты. Напрасно они в это вмешиваются. Отец не должен знать, что мы там были. И зачем только ты посадила меня в эту колымагу?

— Мне казалось, что мы обязаны поехать,— ответила Анна-Вероника, которая тоже действовала под нажимом устроителей собрания.— Это было очень утомительно.

— Поскорее попьем чаю в гостиной, да я переоденусь. Вряд ли я еще когда-нибудь надену эту шляпку. Нам подадут гренки с маслом. У тебя совсем ввалились щеки, бедняжечка...

3

В тот вечер, когда Анна-Вероника оказалась в кабинете отца, ей вдруг почудилось, что события последних шести месяцев ей лишь приснились. Огромные, серые площади Лондона, скользкие от грязи улицы, ярко освещенные витрины магазинов — все это отошло в далекое прошлое; работа в биологической лаборатории, то, что она там пережила; митинги и дискуссии, поездки в экипаже с Рэмеджем—все это представлялось ей чем-то прочитанным в книге, которую она теперь захлопнула. Кабинет ничуть не изменился: та же лампа с отбитым уголком абажура, тот же газовый камин, та же стопка белых и голубых бумаг возле подлокотника кресла, перевязанных как будто той же розовой тесемкой, нисколько не изменившийся отец. Он сидел все в той же позе, а она стояла перед ним так, как тогда, когда он заявил ей, чтобы она не смела идти на костюмированный бал. Оба отбросили несколько нарочитую вежливость, с какой держались в гостиной, и беспристрастный наблюдатель заметил бы на их лицах выражение присущего им обоим упрямства, резко выраженного у отца и смягченного у дочери, тем не менее такого, при котором всякий компромисс превращается в сделку, а всякое проявление милосердия — в уступку.

— Итак, ты упорно думала? — начал отец, цитируя ее письмо и глядя на нее поверх сползающих очков.— Жаль, дитя мое, что ты не подумала обо всем раньше, тогда бы не было этих неприятностей.

Анна-Вероника почувствовала, что надо во что бы то ни стало сохранять самообладание.

— Опыт жизни учит,— заметила она, несколько подражая тону отца.

— Если хочешь учиться,— сказал мистер Стэнли.

Воцарилось молчание.

— Ты ведь не против, папочка, чтобы я посещала Имперский колледж? — спросила Анна-Вероника.

— Если это отвлечет тебя от других дел,— ответил отец, иронически улыбаясь.

— Я уплатила до конца сессии.

Словно это само собой разумелось, он дважды кивнул, не отводя взгляда от камина.

— Можешь посещать, но тебе придется считаться с

порядками у нас дома. Я убежден, что Рассел во многом ошибается, его исследования ведутся не так, как следовало бы. Но ты должна сама это понять. Ты совершеннолетняя, да, совершеннолетняя.

— Его труды необходимо знать, чтобы сдать экзамен на степень бакалавра.

— Тут ты, вероятно, права. Как это ни прискорбно.

Пока что они мирно договорились, но этой сцене примирения как будто не хватало тепла. Между тем Анна-Вероника еще ничего не сказала о том, что было для нее самым главным. Некоторое время оба молчали.

— Сейчас у нас царят незрелые взгляды и незрелые научные труды,— заговорил опять мистер Стэнли.— Однако эти менделисты еще причинят мистеру Расселу немало огорчений. Некоторые их образцы великолепно отобраны, великолепно препарированы.

— Папа, мои занятия и жизнь вне дома... стоили денег,— сказала Анна-Вероника.

— Я так и думал, что ты это наконец поймешь.

— Я была вынуждена немного занять.

— Ни за что!

От его тона у нее упало сердце.

— Но ведь квартира и прочее! И потом плата за учение в колледже.

— А где же ты достала деньги? Кто тебя кредитовал?

— Видишь ли, хозяйка сохранила за мной комнату, пока я была в тюрьме, и за право учения в колледже пришлось заплатить порядочно.

Анна-Вероника все это выпалила чуть ли не скороговоркой, ибо вопрос отца показался ей настолько щекотливым, что она не знала даже, как на него ответить.

— Вы же с Молли все уладили насчет квартирной платы? Она сказала, что у тебя были кое-какие деньги.

— Я заняла,— сказала Анна-Вероника беспечно, но с отчаянием в душе.

— Кто же мог тебе ссудить?

— Я заложила жемчужное ожерелье. Получила три фунта и еще три фунта за часы.

— Шесть фунтов. Гм. Квитанция у тебя? Но ведь ты... ты сказала, что заняла?

— Да, я еще заняла.

— У кого?

На секунду их взгляды встретились, и у нее сжалось сердце. Сказать правду немыслимо, неприлично. Если она назовет Рэмеджа, отец будет возмущен... Он может натворить что угодно...

— Мне одолжили Уиджеты,— солгала она.

— Так, так! — воскликнул отец.— Ты, кажется, всем раззвонила о наших отношениях, Ви.

— Они... Им, конечно, было известно... из-за маскарада.

— Сколько же ты им должна?

Она понимала, что сорок фунтов — неправдоподобная сумма для их соседей. Знала и то, что медлить с ответом нельзя.

— Восемь фунтов,— вырвалось у нее, и она добавила, не отдавая себе отчета в своих словах: — Пятнадцати фунтов мне хватило на все.— И тут же вполголоса обругала себя, мысленно произнеся еще какое-то крепкое словцо.

Мистер Стэнли решил воспользоваться случаем и вовсе не спешил принять решение.

— Хорошо, я заплачу,— сказал он наконец с расстановкой.— Я заплачу. Заплачу. Но надеюсь, Ви, надеюсь, что на этом кончатся твои рискованные эксперименты. Надеюсь, ты получила хороший урок и многое поняла, увидела... каково положение вещей. Никто не может в этом мире делать все, что ему заблагорассудится. Для всего есть определенные границы.

— Знаю, — сказала Анна-Вероника (Пятнадцать фунтов!).— Я уже поняла. Я буду... буду делать все, что в моих силах. (Пятнадцать фунтов! Пятнадцать из сорока — двадцать пять.)

Он молчал. Ей больше ничего не приходило в голову.

— Что ж! — наконец заявила она.— Жизнь начинается сначала!

— Жизнь начинается сначала! — повторил он и поднялся.

Отец и дочь с опаской посмотрели друг на друга. Каждый был весьма не уверен в другом. Он сделал шаг в

ее сторону, потом вспомнил их последний разговор в этом кабинете. Она поняла его намерение, сомнения и после недолгих колебаний подошла к нему, взяла за лацканы и поцеловала в щеку.

— Ну, вот так будет лучше, Ви,— сказал отец и довольно неловко ответил на ее поцелуй.— Будем же разумными.

Она отстранилась от него и вышла из комнаты, серьезно озабоченная. (Пятнадцать фунтов! А ей нужно сорок!)

4

Анна-Вероника снова провела бессонную и горестную ночь — быть может, это явилось результатом долгого, волнующего и очень утомительного дня. Принятое ею в Кэнонгете благородное решение примириться с жизнью и ограничить себя впервые представилось в мрачном, почти зловещем свете. Теперь она поняла, что, строя свои планы, совершенно не учла присущей отцу душевной сухости, и, помимо всего прочего, она не предполагала, что так трудно будет раздобыть необходимые ей для Рэмеджа сорок фунтов. Все это застигло ее врасплох, и расшатанные нервы сдали. Она получит пятнадцать фунтов и сверх того — ни пенни. Рассчитывать на большее — все равно что надеяться отыскать в саду золотую жилу. Она упустила случай. Ей вдруг стало ясно, что вернуть Рэмеджу пятнадцать фунтов — и вообще любую сумму меньше двадцати — совершенно немыслимо. Она поняла это с болью в сердце, с ужасом.

Однажды она послала ему двадцать фунтов, но так и не написала, почему не отослала их обратно сразу же после того, как он эти деньги ей вернул. А следовало тут же сообщить о том, что произошло. Если же она сейчас пошлет пятнадцать, он непременно подумает, что пять фунтов она за это время истратила. Нет, послать пятнадцать фунтов никак нельзя... Остается только придержать до тех пор, пока она не достанет еще пять. Может быть, в день ее рождения в августе у нее появятся еще пять фунтов.

Она перевернулась на другой бок; ее преследовали видения — не то воспоминания, не то сны,— в которых действовал Рэмедж. Отвратительный, чудовищный, он

настойчиво требовал уплаты долга, угрожал ей, нападал на нее.

— Будь оно проклято, это влечение полов! — сказала себе Анна-Вероника.— Почему мы не можем размножаться бесполыми спорами, подобно папоротнику? Мы ограничиваем друг друга, изводим, отравляем всякие дружеские отношения, убиваем их!.. Я должна вернуть эти сорок фунтов. Должна.

Даже мысли о Кейпсе не приносили ей успокоения. Завтра она увидится с Кейпсом, но сейчас горе внушало ей, что он отвернется от нее, не обратит на нее никакого внимания. А если он не обратит на нее внимания, то что толку от встречи с ним?

— Будь он женщиной,— сказала она,— тогда бы он мог стать моим другом. Я хочу, чтобы он стал моим другом... Хочу разговаривать с ним и прогуливаться вместе с ним. Просто прогуливаться.

Она смолкла, уткнувшись носом в подушку, и подумала: «Что толку притворяться?»

— Я люблю его! — произнесла она вслух, обращаясь к смутно очерченным предметам в ее комнате, и повторила: — Я люблю его.

Она стала придумывать случаи, когда бы жизни биолога грозила опасность и она спасала его с собачьей преданностью, а он — что усиливало драматизм ситуации — не замечал этого и никак не реагировал на ее поступки.

Под конец эти упражнения подействовали на нее, как болеутоляющее средство, ее ресницы увлажнились легкими слезами — такие слезы могут быть вызваны переживаниями только в три часа ночи,— и она уснула.

5

По соображениям, в которых она не решилась бы признаться даже самой себе, Анна-Вероника поехала в колледж не с утра, а во второй половине дня. В лаборатории, как она и рассчитывала, никого не было. Она подошла к столу, стоявшему у последнего окна, за которым она обычно работала, и увидела, что стол прибран и на нем стоят склянки с реактивами. Как видно, здесь поддерживали чистоту и порядок и ждали ее прихода. Она

положила на стол альбом и прибор, которые принесла с собой, выдвинула из-под стола табуретку и села. В эту минуту за ее спиной открылась дверь из препараторской. Она услышала скрип открываемой двери, но небрежно оглянуться была не в силах и притворилась, будто не слышит. Она узнала шаги Кейпса, приближавшегося к ней, и заставила себя обернуться.

— Я ждал вас утром,— сказал он. - Я видел... Ведь вчера были разбиты ваши оковы.

— Хорошо, что я пришла хоть сегодня.

— Я уже начал бояться: а вдруг вы совсем не придете?

— Бояться?

— Да. Я рад, что вы вернулись, по многим причинам.— Он был заметно взволнован.— Одна из них... Я не вполне понимал, что вы этим вопросом о суфражизме заняты так серьезно, и я виноват, я обидел вас...

— Обидели меня? Когда?

— Мысль об этом меня преследовала. Я вел себя глупо и был груб. Мы говорили о суфражизме, и я иронизировал.

— Вы не были грубым,— возразила она.

— Я не знал, что вас в такой степени интересует суфражистское движение.

— Я тоже не знала. Не думали же вы об этом все время?

— Пожалуй, думал. Мне казалось, что я чем-то обидел вас.

— Нет, нисколько. Я... я сама себя обидела.

— Я хочу сказать...

— Я вела себя, как идиотка, вот и все. Нервы совсем сдали, я окончательно извелась. Мы, женщины, похожи на животных да к тому же истерички, мистер Кейпс. Чтобы остыть, я позволила посадить себя за решетку. Тут действовал какой-то инстинкт, как у собаки, когда она ест траву. Теперь все в порядке.

— Если нервы у вас были напряжены, тогда мне тем более нет оправдания. Я должен был понять...

— Это все пустяки... если только вы... не были возмущены моим поведением.

— Возмущен?

— Мне жаль, что я вела себя так глупо.

— Значит, мы теперь помирились, ведь так?—сказал Кейпс, и в тоне его почувствовалось облегчение; он удобнее устроился на краешке ее стола.— Но если суфражистские дела не так уж вас интересовали, то чего ради вы сели в тюрьму?

— Такой был у меня в жизни период,— не сразу ответила Анна-Вероника.

— Да, начался новый период в жизни человечества,— сказал он, улыбаясь.— Это сейчас со всеми происходит. С каждой девушкой, которая становится женщиной.

— А как же мисс Гэрвайс?

— Она тоже не стоит на месте. Понимаете, мы все благодаря вам изменились. Я потрясен. Ваша борьба увенчалась успехом.— Встретив вопрошающий взгляд Анны-Вероники, он повторил: — О да, увенчалась успехом! Мужчина всегда склонен... слишком поверхностно смотреть на женщин. Если только они вовремя ему не докажут, что для этого нет оснований... Вы доказали.

— Так я, значит, все-таки не зря сидела в тюрьме?

— На меня произвело впечатление не то, что вы сидели в тюрьме, а то, что вы здесь говорили. Я вдруг понял, что вы... мыслящий человек. Простите меня за эти слова, за то, что в них скрыто. Обычно в отношении мужчины к женщине есть что-то... какой-то снобизм. Именно это и лежало у меня на совести... Я не считаю одних только мужчин виновными в том, что они не относятся серьезно к некоторым из ваших сестер. Но я боюсь, что уже по привычке мы, разговаривая с вами, испытываем известное самодовольство и слегка... лукавим.

Он смолк, внимательно глядя на нее.

— Вы, во всяком случае, этого не заслуживаете,— добавил он.

Появление мисс Клегг резко оборвало разговор. Увидев Анну-Веронику, она остановилась ошарашенная, потом бросилась к ней, раскрыв объятия.

— Вероника! — воскликнула она, хотя прежде неизменно называла Анну-Веронику «мисс Стэнли», обняла ее и горячо расцеловала.

— Вот уж не ожидала от вас такого подвига... И никому ни слова! Вы похудели немного, но вообще выглядите великолепно, как никогда. Это было ужасно? Я пыталась проникнуть в полицейский участок, когда был суд,

но никак не смогла пробиться сквозь толпу... Я сама намереваюсь сесть в тюрьму, как только кончится сессия. Ни скачущие во весь опор лошади, ни вся конная полиция Лондона, если ее туда пригонят, не остановят меня,— заявила мисс Клегг.

6

В тот день мир озарился для Анны-Вероники неожиданной радостью: Кейпс так явно ею интересовался, был так дружески к ней расположен и доволен тем, что она возвратилась! Чаепитие в лаборатории скорее напоминало прием в честь суфражистки. Мисс Гэрвайс сохраняла нейтралитет, даже дала понять, что пример Анны-Вероники ее убедил. Шотландец же громогласно заявил, что, будь у женщин определенная сфера деятельности, эта сфера, бесспорно, развивалась бы, и всякий, кто верит в теорию эволюции, должен согласиться с тем, что «в конечном счете» женщины получат избирательные права, хотя сделать им эту уступку сейчас, может быть, и нецелесообразно. Им отказано в праве голоса не окончательно, сказал он, это временный отказ. Юнец с прической, как у Рассела, откашлявшись, сообщил — уж вовсе не к месту,— что знаком с человеком, который лично знал Томаса Бэйярда Симмонса, участвовавшего в беспорядках на Стрэнджерс Гэлери. После этого Кейпс, решив, что теперь все на стороне Анны-Вероники, а то и на стороне суфражизма, стал упрямо развивать теорию шотландца: еще, мол, не потеряна надежда на то, что в процессе эволюции женщины достигнут чего-то большего.

Кейпс никогда еще не был так непоследователен и общителен, и Анне-Веронике все время чудилось — она с радостью ощущала это в глубине души, в то же время не доверяя себе,— что он так мил, потому что она вернулась. Когда она ехала домой, мир, казавшийся ей еще накануне серым, стал теперь для нее розовым.

Но на вокзале в Морнингсайд-парке ее ждало большое потрясение. Выйдя из поезда, она увидела в двадцати ярдах от себя на платформе лоснящийся цилиндр и широкую спину шагавшего с неподражаемой важностью Рэмеджа. Она мгновенно скрылась за будкой стрелочника и возилась со шнурком от башмака до тех пор, пока

Рэмедж не покинул платформу. Затем она медленно, соблюдая величайшую осторожность, последовала за ним до того места, где от Авеню отделялась дорожка. Рэмедж пошел по Авеню, а Анна-Вероника быстрым шагом свернула на дорожку, сердце у нее колотилось, мозг снова мучили нерешенные вопросы.

«Ничего не изменилось,— сказала она себе.— Ничего так и не изменилось, черт возьми! Того, что ты натворила, благими намерениями не исправишь!»

И тут она увидела идущего к ней сияющего радостью, улыбающегося Мэннинга. Эта встреча показалась ей приятным развлечением среди всех ее горестных дум. Она улыбнулась ему в ответ, и он засиял еще больше.

— Я точно не знал часа, когда вас выпустят,— сказал он,— но я был в ресторане вегетарианцев. Я знаю, вы меня не видели. Но я находился в толпе внизу и постарался вас увидеть.

— И вас, конечно, убедили? — спросила она.

— В том, что все эти замечательные женщины должны получить избирательные права? Пожалуй, да! Кто устоял бы?

Он высился над ней и улыбался своей доброжелательной, отеческой улыбкой.

— В том, что все женщины должны иметь избирательные права, хотят они этого или не хотят,— сказала она.

Он кивнул, а от улыбки вокруг глаз и возле рта под черными усами разбежались морщинки. Потом они пошли рядом и затеяли спор, и Анна-Вероника была довольна, что эта встреча оттеснила ее заботы на задний план. К ней вернулась радость, и ей стало казаться, что Мэннинг чрезвычайно приятен. Свет, которым благодаря Кейпсу озарился мир, окружил ореолом даже его соперника.

7

Анна-Вероника так и не уяснила себе до конца, почему, собственно, она решила стать невестой мистера Мэннинга и выйти за него. Толкнули ее на этот шаг самые разнообразные побуждения, и среди них отнюдь не последнее место занимало сознание, что она безумно лю-

бит Кейпса; в иные минуты ей даже казалось, что он начинает серьезно увлекаться ею, и от этой мысли кружилась голова. Теперь она поняла, на краю какой страшной пропасти стоит, с какой готовностью способна броситься в эту пропасть и насколько такое самозабвение было бы безрассудством, непоправимой ошибкой.

«Он никогда не узнает,— шептала она про себя.— Никогда. Иначе... Иначе мне не быть его другом».

Эти простые слова никак не могли служить объяснением всему тому, чем были полны ее мысли. Однако именно они помогли ей принять решение, и только им она позволила вырваться на свет. Остальное таилось в тени, в укромных уголках ее сознания, и если в те минуты, когда она предавалась мечтам, эти мысли и всплывали на поверхность, она сразу же подавляла их, заталкивала назад, в тайник. Она никогда не позволяла себе смотреть в упор на те видения, которые являлись как бы насмешкой над порядками, царившими в мире, где она жила, и ни за что не призналась бы, что прислушивается к нежному шепоту, звучавшему в ее ушах. Брак с Мэннингом все яснее представлялся ей прибежищем, возможностью обрести покой. Несмотря на сумятицу чувств и желаний, в которой, может быть, она сама была повинна, Анна-Вероника поняла, что надо что-то предпринять. Встречи с Кейпсом наполняли каждый день яркими впечатлениями, которые мешали ей следовать по намеченному пути. И вот она исчезла из лаборатории на целую неделю, семь странно волнующих дней...

Когда Анна-Вероника снова появилась в Имперском колледже, на третьем пальце ее левой руки поблескивало прелестное старинное кольцо с темно-синими сапфирами, некогда принадлежавшее двоюродной бабушке Мэннинга.

Мысли Анны-Вероники то и дело возвращались к кольцу. Когда к ней подошел Кейпс, она сначала опустила руку на колени, потом довольно неловко положила перед ним на стол. Но мужчины часто не замечают колец. По-видимому, не замечал кольца и Кейпс.

К концу дня после серьезных размышлений она решила действовать решительнее.

— Скажите, это настоящие сапфиры? — спросила она.

Он наклонился к ее руке. Анна-Вероника сняла кольцо и протянула ему, чтобы он посмотрел.

— Очень хороши,— сказал он.— Пожалуй, темнее, чем они бывают обычно. Но я профан насчет драгоценных камней. Старинное? — спросил он, возвращая кольцо.

— Должно быть. Мне его подарили при обручении...— Она надела кольцо и добавила, стараясь говорить непринужденно: — На прошлой неделе.

— О! — отозвался он бесстрастным тоном, не сводя глаз с ее лица.

— Да, на прошлой неделе.

Она посмотрела на него, и вдруг ее пронзила мысль, что, обручившись, она совершила величайшую ошибку в своей жизни. Но эта мысль померкла от сознания неизбежной необходимости такого шага.

— Странно,— неожиданно сказал он после короткой паузы.

Потом оба замолчали, но их молчание было напряженным, насыщенным смыслом.

Анна-Вероника словно приросла к месту, а Кейпс, на миг задержавшись взглядом на кольце, медленно перевел его на ее запястье, потом на нежно очерченную руку.

— Я должен, очевидно, вас поздравить,— сказал он.

Их глаза встретились; в его взгляде было любопытство и недоумение.

— Видите ли.. не знаю, почему... это застало меня врасплох. Я как-то не связывал с вами представление о браке. Вы казались мне и без того вполне завершенной.

— Разве?

— Не знаю почему. Вроде как... если бы я обошел вокруг дома, который представлялся мне квадратным и завершенным, и вдруг увидел бы, что сзади есть еще длинная пристройка.

Она взглянула на него и заметила, что он пристально наблюдает за ней. Несколько минут оба задумчиво созерцали кольцо, не произнося ни слова. Потом Кейпс посмотрел на микроскоп и стоявшие рядом с ним чашки с подготовленными срезами.

— Хорошо окрашивает этот кармин? — спросил Кейпс, стараясь казаться заинтересованным.

— Лучше,— неестественно веселым тоном отозвалась Анна-Вероника.— Но все еще не берет ядрышки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

КОЛЬЦО С САПФИРАМИ

1

Это кольцо с сапфирами на некоторое время как будто разрешило все трудности в жизни Анны-Вероники. Точно на потускневший металл вылили едкую кислоту, и он заблестел. Какая-то скованность, появившаяся за последнее время в ее отношениях с Кейпсом, исчезла. Между ними установилась дружба, открытая и всеми признанная. Они даже стали говорить о дружбе. А однажды в субботу отправились вместе в зоологический сад, чтобы выяснить интересовавший их обоих вопрос из области морфологии: о строении клюва у тукана — милой и занимательной птицы,— и провели всю вторую половину дня, прогуливаясь по дорожкам и обсуждая в самой общей форме тему дружбы и превосходства интеллектуального товарищества над отношениями, построенными только на страсти. Кейпс был в своих высказываниях чрезвычайно строг и трезв, но Анна-Вероника считала, что таким он и должен быть. Притом — и ей следовало это предвидеть — он был в значительной мере неискренен.

— Заря новой дружбы еще только занимается,— сказал он,— и скоро интерес займет место страсти. Раньше приходилось или любить людей, или ненавидеть их — а это тоже своего рода любовь,— чтобы чего-нибудь от них добиться. Но сейчас мы начинаем все больше интересоваться ими, они вызывают наше любопытство, желание в самой мягкой форме производить над ними эксперименты.

Высказывая вслух свои мысли, он как бы тут же продумывал их. Анна-Вероника и Кейпс остановились перед обезьяньим питомником и полюбовались обезьянами и кроткой человечностью их глаз — «насколько они человечнее, чем люди»; потом понаблюдали за ловкачом гиббоном в соседней клетке, который совершал изумительные прыжки и воздушные сальто-мортале.

— Интересно, кому это доставляет больше удовольствия: ему или нам? — заметил Кейпс.

— У него, видимо, особая склонность к этому...

— Нет, он проделывает свои фокусы и сейчас же забывает о них. Но эти же радостные прыжки вплетаются в ткань моих воспоминаний и остаются там навсегда. Жизнь материальна.

— А все-таки быть живым очень хорошо.

— Лучше знать, что такое жизнь, чем быть жизнью.

— Можно совмещать и то и другое,— ответила Анна-Вероника.

В этот день она была особенно далека от всяких критических настроений. Когда он предложил пойти посмотреть на бородавочник, она решила, что ни у кого не возникает столько удачных мыслей, сколько у Кейпса, а когда он объяснил, что не булки, а сахар служит талисманом популярности среди животных, она восхитилась его практическим всеведением.

Войдя в конце концов в Риджент-парк, они столкнулись с мисс Клегг. Выражение, появившееся при этой встрече на лице мисс Клегг, и навело Анну-Веронику на мысль как-нибудь показать в колледже мистера Мэннинга, мысль, которую она по тем или иным причинам не осуществляла в течение двух недель.

2

А после того как она ее осуществила, кольцо с сапфирами приобрело в воображении Кейпса новый смысл. Оно уже не знаменовало собой свободу и какую-то неведомую, совершенно абстрактную личность, а внезапно и очень неприятно связалось с образом крупного и самодовольного мужчины, вполне зримого и осязаемого.

Мэннинг появился во вторую половину дня, как раз к концу занятий, когда Кейпс был погружен в разъяснения некоторых ошибок, допущенных шотландцем в результате его метафизического истолкования строения черепов Hyrax[1] и молодого африканского слона. Кейпс был занят устранением этих ошибок, исследуя частично не замеченный шотландцем шов, когда дверь в коридор открылась и в его обитель вошел Мэннинг.

---

[1] Землеройка (*лат.*).

Появившись в другом конце лаборатории, он действительно произвел впечатление весьма красивого и статного джентльмена, и, увидев, как нетерпеливо он устремился к своей fiancée [1], мисс Клегг была вынуждена заменить давно придуманную ею и взлелеянную легенду о романе Анны-Вероники более обычным и простым вариантом. В одной руке, затянутой в серую перчатку, он держал трость и цилиндр с черной лентой; его сюртук и брюки были восхитительны; благообразное лицо, черные усы, выпуклый лоб — все выражало усиленную заботливость о своей невесте.

— Я хотел бы,— сказал он, простерев белую руку,— повести вас пить чай.

— Я уже все прибрала,— весело ответила Анна-Вероника.

— Все эти ваши ужасные научные штуки? — спросил он с улыбкой, которая показалась мисс Клегг необыкновенно доброй.

— Все мои ужасные научные штуки,— ответила Анна-Вероника.

Он стоял, улыбаясь улыбкой собственника, и озирался, разглядывая деловую обстановку комнаты. Из-за низкого потолка он казался чрезмерно большим. Анна-Вероника вытерла скальпель, накрыла куском картона часовое стекло с тонкими срезами ткани зародыша морской свинки, плавающими в розовато-лиловой краске, и разобрала свой микроскоп.

— Как жаль, что я так мало смыслю в биологии,— сказал Мэннинг.

— Ну, я готова,— заявила Анна-Вероника, закрывая футляр с микроскопом, и, щелкнув запором, бросила быстрый взгляд в другой конец лаборатории.— У нас тут просто, без затей, моя шляпа висит на вешалке в коридоре.

Она пошла вперед, Мэннинг последовал за ней, опередил ее и распахнул перед нею дверь. Когда Кейпс вскинул на них глаза, ему показалось, что Мэннинг даже обнял ее, а в ее поведении не чувствовалось ничего, кроме спокойного согласия.

Кейпс, разобравшись в ошибке шотландца, вернул-

---

[1] Невеста *(франц.)*.

ся в препараторскую. Окно было открыто; он сел на подоконник, сложил руки и долго смотрел вдаль, поверх столпившихся крыш и труб, на синее пустое небо. Он не имел склонности к внутреннему монологу, и единственным комментарием, который он себе позволил в отношении вселенной — *она сегодня ему решительно не нравилась*,— был краткий и неведомо к кому обращенный возглас:

— Черт!

Вероятно, это слово все же давало какое-то удовлетворение, ибо он повторил его. Слез с подоконника, воскликнул:

— Какой я был дурак! — И дар речи вернулся к нему. Он стал варьировать эту фразу с помощью новых ругательств.— Осел! — продолжал он, все еще горячась.— Моральный осел! Навоз! Я должен был что-то предпринять! Я должен был что-то предпринять! Для чего же существует мужчина? Хороша дружба!

Он стиснул кулак и стал смотреть на него, словно примериваясь, как бы пробить им окно. Потом повернулся спиной к этому искушению и вдруг, схватив стоявшую на столе банку с заспиртованными препаратами, которая содержала большую часть выполненной за неделю работы — великолепно анатомированную улитку,— запустил банку через всю комнату. Она с треском разбилась на цементном полу под этажеркой с книгами. Затем, не спеша и не задерживаясь, он провел рукой вдоль полки с реактивами, смахнул их, и осколки смешались с уже валявшимися на полу débris[1]. Падая, они создали целую гамму звона и звяканья.

— Гм,— пробурчал он, глядя с уже более спокойным видом на произведенное им разрушение.— Глупо! — заметил он после паузы.— И кто мог знать все это время!

Он засунул руки в карманы, выпятил губы кружочком, словно намереваясь засвистеть, вышел в наружную препараторскую и там остановился — само воплощение белокурого спокойствия, если не считать чуть более яркого румянца, чем обычно.

— Джиллет! — позвал он.— Подите сюда и, пожалуйста, уберите все это. Я тут кое-что разбил.

---

[1] Осколки (*франц.*).

3

В попытках Анны-Вероники оправдаться перед самой собой существовал один серьезный изъян, и это был Рэмедж. Он как бы висел над ней: он и взятые у него деньги, и отношения с ним, и тот ужасный вечер, и постоянная, пугавшая ее возможность приставаний и опасности. Она видела только один способ освободиться от тревог, а именно вернуть деньги, но не представляла, как это сделать. Раздобыть двадцать пять фунтов было непосильной для нее задачей. До дня ее рождения еще четыре месяца, да и это обстоятельство может в лучшем случае дать ей всего пять фунтов.

Мысль о долге мучила ее днем и ночью. Не раз, просыпаясь по ночам, она с горечью повторяла:

— И зачем только я тогда сожгла деньги!

Трудность ее положения еще чрезвычайно осложнялась тем, что, с тех пор как она вернулась под родительский кров, она дважды видела Рэмеджа на Авеню. Он поклонился ей с изысканной светскостью, а в глазах его появилось загадочное, многозначительное выражение.

Она чувствовала, что обязана рано или поздно рассказать всю историю Мэннингу. В самом деле, или она распутает это дело с его помощью, или не распутает совсем. Когда Мэннинга рядом не было, все казалось простым. Она придумывала очень ясные и достойные объяснения. Но когда доходило до дела, все оказывалось гораздо более сложным.

Они спустились по широкой лестнице, и пока Анна-Вероника придумывала, как приступить к рассказу, он рассыпался в похвалах ее простому платью и поздравлял себя с их помолвкой.

— Мне кажется,— начал он,— что, когда вы теперь вот рядом со мной, на свете нет невозможного. Я сказал на днях в Сарбитоне: «В жизни есть много хорошего, но самое лучшее только одно — это растрепанная девушка, опускающая в воду весло. Я сделаю из нее свой Грааль [1], и когда-нибудь, если господу будет угодно, она станет моей женой».

---

[1] Согласно преданию — чаша, в которую стекала кровь Иисуса Христа.

Говоря это, он смотрел перед собой твердым взглядом, а в голосе его звучало глубокое и сильное чувство.

— Грааль! — повторила Анна-Вероника и поспешно продолжала: — Ну да, конечно! Хотя боюсь, что святости во мне меньше всего!

— Все в вас свято, Анна-Вероника. Ах, вы даже представить себе не можете, чтó вы для меня, как много вы значите! Вероятно, в женщинах вообще есть что-то мистическое и чудесное.

— Во всех человеческих существах есть нечто мистическое и чудесное. Зачем видеть это только в женщинах?

— Но мужчина видит,—сказал Мэннинг,—во всяком случае, настоящий мужчина. А для меня существует только одна сокровищница моих мечтаний. Клянусь, когда я думаю об этом, мне хочется прыгать и кричать от радости.

— Тот человек с тачкой, наверное, очень удивился бы.

— А меня удивляет, что я не делаю этого,— ответил Мэннинг с глубокой внутренней радостью.

— Мне кажется,— начала Анна-Вероника,— вы не видите...

Но он совершенно не желал ее слушать. Помахивая рукой, он заговорил необычно звучным голосом:

— Мне чудится, будто я исполин! И я верю, что теперь совершу великие дела. Боги! Какое блаженство изливать душу в сильных, блистательных стихах — в мощных строках! В мощных строках! И если я их создам, Анна-Вероника, это будете вы. Это будете только вы. Свои книги я буду посвящать вам. Я все их сложу у ваших ног.

Сияя, он смотрел на нее.

— Мне кажется, вы не видите,— снова начала Анна-Вероника,— что я скорее человеческое существо с большими дефектами.

— И не хочу видеть,—возразил Мэннинг.—Говорят, и на солнце есть пятна. Но не для меня. Оно греет меня, и светит мне, и наполняет мой мир цветами. Зачем же мне глядеть на него через закопченное стекло и стараться увидеть вещи, которые на меня не действуют? — И он, улыбаясь, пытался передать свой восторг спутнице.

— Я совершила тяжелые ошибки.

Он медленно покачал головой, его улыбка стала загадочной.

— Может быть, мне хотелось бы признаться в них.

— Даю вам заранее отпущение грехов.

— Мне не нужно отпущения. Я хочу, чтобы вы видели меня такой, какая я есть.

— А я хотел бы, чтобы вы сами видели себя, какая вы есть! Не верю я в ваши ошибки. Они просто придают радостную мягкость вашим очертаниям, в них больше красоты, чем совершенства. Это как трещинка в старом мраморе. Если вы будете говорить о ваших ошибках, я заговорю о вашем великолепии.

— И все-таки я хочу сказать вам о том, что было.

— Ну что ж, времени, слава богу, хватит. Впереди мириады дней, чтобы рассказывать друг другу всякие вещи. Когда я об этом подумаю...

— Но это вещи, о которых я хочу вам сказать сейчас!

— Я сочинил по этому поводу одну песенку. Еще не знаю, как назвать ее. Может быть, эпиталамой.

Пред нами солнечная ширь
Неведомых морей.
Пред нами десять тысяч дней
И столько же ночей.

И это все только до шестидесяти пяти лет!

Сверкая, как морская даль,
Нас время в путь зовет.
Еще не бороздил никто
Бескрайних этих вод.

Я с королевою моей
Отплыть в лазурь готов,
Чтоб с божьей помощью достичь
Счастливых островов.

— Да,— согласилась его будущая спутница,— это очень красиво.

И она вдруг смолкла, как бы переполненная всем недосказанным. Красиво! Десять тысяч дней, десять тысяч ночей!

— Ну, поведайте же мне свои ошибки,— предложил Мэннинг.— Если это для вас важно, значит, важно.

— Да они не то что ошибки,— сказала Анна-Вероника,— но меня мучают.— Десять тысяч! С такой точки зрения все выглядит, конечно, иначе.

— Тогда, разумеется, говорите.

Ей было довольно трудно начать, и она обрадовалась, когда он продолжал разглагольствовать:

— Я хочу быть твердыней, в которой вы найдете убежище от всяких треволнений. Я хочу встать между вами и всеми злыми силами, всеми подлостями жизни. Вы должны почувствовать, что есть убежище, где не слышны крики толпы и не дуют злобные ветры.

— Все это очень хорошо,— рассеянно отозвалась Анна-Вероника.

— Вот моя греза о вас,—заявил Мэннинг, снова разгорячившись.— Я хотел бы стать золотобитом и пожертвовать своей жизнью, чтобы создать вам достойную оправу. И вы будете обитать в святилище моего храма. Я хочу убрать его прекрасными каменьями и веселить вас стихами. Я хочу украсить его утонченными и драгоценными предметами. И, может быть, постепенно это девичье недоверие, которое заставляет вас испуганно уклоняться от моих поцелуев, исчезнет... Простите, если в моих словах есть известная пылкость. Парк сегодня зеленый и серый, а я пылаю пурпуром и золотом... Впрочем, трудно все это выразить словами...

4

Они сидели за столиком в павильоне Риджент-парка; перед ними стоял чай и клубника со сливками; Анна-Вероника все еще не начинала своей исповеди. Мэннинг наклонился к ней через столик и рассуждал о будущем блеске их брачной жизни. Анна-Вероника сидела смущенная, с рассеянным видом откинувшись на спинку стула и глядя на далеких игроков в крикет; она была погружена в свои мысли. Вспоминала обстоятельства, при которых стала невестой Мэннинга, и силилась понять своеобразное развитие и особенности их отношений.

Подробности того, как она дала ему согласие, Анна-Вероника помнила очень хорошо. Она постаралась тогда, чтобы их мгновенный разговор произошел на садовой скамье, которая была видна из окон дома. Они перед

тем играли в теннис, и она все время чувствовала, что он жаждет с ней объясниться.

— Давайте сядем на минутку,— сказал он наконец.

Мэннинг произнес тщательно подготовленную речь. А она, пощипывая узелки на ракетке, дослушала его до конца, потом заговорила вполголоса.

— Вы просите меня обручиться с вами, мистер Мэннинг...— начала она.

— Я хочу положить к вашим ногам всю мою жизнь.

— Не думаю, мистер Мэннинг, чтобы я любила вас... Я хочу быть с вами вполне откровенной. Я не чувствую ничего, ничего, что могла бы считать страстью к вам. Право же. Решительно ничего.

Несколько мгновений он молчал.

— Может быть, страсть просто еще не проснулась,— сказал он.— Откуда вам знать?

— Так мне кажется. Может быть, я просто холодная женщина.

Она смолкла. Он слушал ее очень внимательно.

— Вы очень хорошо относились ко мне,— заговорила она снова.

— Я отдал бы жизнь ради вас.

У нее на сердце потеплело. И ей показалось, что жизнь может быть еще очень хороша при его доброте и жертвенности. Она представила себе, что он всегда будет великодушен и готов помочь, осуществляя свой идеал защиты и служения, по-рыцарски предоставит ей жить, как она захочет, раз уж с таким бесконечным великодушием восторгается каждой чертой ее неотзывчивого существа. Она продолжала постукивать пальцами по переплетениям ракетки.

— Это выглядит очень нечестно,— сказала она,— брать все, что вы мне предлагаете, и так мало давать взамен.

— Для меня в этом весь мир. И мы же не купцы, которые стараются не продешевить.

— А знаете, мистер Мэннинг, мне действительно не хочется замуж.

— Знаю.

— И мне... мне кажется... что я недостойна...— она поискала слова,— той благородной любви, которую вы предлагаете мне...

Она смолкла, чувствуя себя бессильной выразить свою мысль.

— Об этом предоставьте судить мне,— отозвался Мэннинг.

— А вы согласились бы подождать?

Мэннинг молчал довольно долго.

— Как прикажет дама моего сердца.

— И вы отпустили бы меня учиться?

— Раз вы приказываете ждать...

— Я думаю, мистер Мэннинг... Не знаю. Все это так сложно. Когда я думаю о той любви, которую вы дарите мне... Вам тоже нужно отвечать любовью.

— Я вам нравлюсь?

— Да. И я очень благодарна вам...

Воцарилось молчание. Мэннинг время от времени ударял ракеткой по земле.

— Вы самое совершенное, самое изумительное создание: нежная, открытая, умная, смелая, прекрасная. И я ваш слуга. Я готов ждать вас, служить вашим радостям, отдать мою жизнь, чтобы победить все трудности. Только разрешите мне носить вашу ливрею. Дайте мне возможность хотя бы попытаться заслужить вашу любовь. Вы хотите немного подумать, побыть еще на свободе. Как они похожи на вас — Диана, Паллада-Афина! (Скорее, Паллада-Афина.) Вы образ всех стройных богинь. Я понимаю. Разрешите мне считать себя обрученным. Вот все, о чем я прошу.

Она взглянула на него; его склоненный профиль казался красивым и решительным. В душе у нее поднялась волна благодарности.

— Вы слишком хороши для меня,— сказала она вполголоса.

— Значит, вы... вы согласны?

Наступила долгая пауза.

— Это нечестно...

— Но вы согласны?

— Да.

На несколько мгновений он словно замер.

— Если я буду тут сидеть,— сказал он, порывисто поднимаясь с места,— я начну кричать от радости. Давайте ходить.— Тум, тум, тири-тум, тум, тум-ту-тум — этот мендельсоновский марш! Если вас может удовлет-

ворить сознание, что вы сделали одного человека абсолютно счастливым...

Он протянул к ней руки, и она тоже встала.

Он привлек ее к себе сильным и решительным движением. Затем вдруг на виду у всех этих окон обнял ее, прижал к себе, стал целовать ее покорное лицо.

— Пустите! — воскликнула Анна-Вероника, слегка сопротивляясь, и он тут же разжал объятия.

— Простите меня,— сказал он,— но во мне все поет.

На миг ее охватил полнейший ужас от того, что она наделала.

— Мистер Мэннинг,— сказала она,— вы пока... никому не скажете? Вы сохраните нашу тайну? А то меня берет сомнение... не говорите, прошу вас, даже моей тете...

— Как вы пожелаете,— ответил он.— Но если по моему виду догадаются? Я никак не могу с собой справиться. Вы хотите держать это в тайне... долго?

— Совсем недолго,— отозвалась она.— Да...

Но и кольцо, и торжествующее выражение в теткиных глазах, и что-то одобрительное, появившееся в тоне отца, и его новое стремление восхвалять Мэннинга с какой-то подчеркнутой беспристрастной объективностью — все это вскоре сделало вполне явным содержание их условной тайны.

5

Вначале Анне-Веронике казалось, что она относится к Мэннингу прекрасно, трогательно. Она восхищалась им, быть может, жалела, испытывала к нему искреннюю благодарность. Она даже допускала, что со временем полюбит его, несмотря на тот неуловимый оттенок нелепой выспренности, который ощущался в его изысканных манерах. Конечно, она никогда не будет любить его так, как любит Кейпса, но сила и характер любви ведь бывают разные. В отношении Мэннинга ее любовь будет более сдержанной. Намного сдержаннее — благоразумная, безрадостная любовь кроткой, добродетельной, смиренной жены. Она была убеждена, что помолвка, а затем брак с Мэннингом и есть тот самый компромисс, который определяет пути к благоразумию. Для нее это,

пожалуй, самый лучший вариант существования в мире, одетом в чехлы. Она представила себе свою жизнь, построенную на *такой основе*,— всегда умеренную, но приятную и красивую, возможно, не лишенную горечи; жизнь, полную самообуздания, отречений и умалчиваний...

Но прежде всего надо распутать дело с Рэмеджем; этот долг мешает ее планам. Она должна объяснить, что произошло, вернуть эти сорок фунтов...

Затем как-то незаметно она соскользнула с высоты, на которую вознеслась. Ей так и не удалось проследить, когда именно изменилось ее отношение к Мэннингу и когда вместо веры в то, что она Королева, баловень судьбы, венец любви отличного человека (хотя втайне она боготворит другого), появилось сознание, что для своего жениха она всего лишь манекен и ее сущность, ее мысли и устремления, пыл души и мечтания волнуют его не больше, чем волнуют ребенка опилки в туловище куклы. Она актриса, которой прихотью жениха предназначена пассивная роль...

Для Анны-Вероники это открытие явилось одним из самых поучительных крушений ее иллюзий.

Но много ли женщин, чья участь лучше?

В тот день, когда она решила разъяснить свои запутанные и бросавшие на нее тень отношения с Рэмеджем, она вдруг остро ощутила, что Мэннинг ей далек и чужд. До сих пор с этим ее примиряло понимание всей жизни как компромисса, ее новая попытка не предъявлять особых требований к жизни. Теперь она поняла, что рассказать Мэннингу об авантюре с Рэмеджем, о том, как это произошло, все равно что измазать дегтем акварельный рисунок. Она и Мэннинг воспринимают мир в разном ключе, видят его в разном цвете. Как, в самом деле, объяснить ему, зачем она заняла деньги, если теперь сама удивляется этому? Ведь, в общем-то, она соблазнилась приманкой. Она соблазнилась! Сказав себе это, Анна-Вероника все меньше стала следить за рассудительной, самодовольной речью Мэннинга. Втайне, без всякой уверенности, она торопливо прикидывала возможность представить Мэннингу случившееся в романтических тонах: Рэмедж, мол, черный злодей, а она белая, незапятнанно белая девица... Но Мэннинг вряд ли

станет слушать. Он откажется слушать, отпустит грехи без исповеди.

И тут ее потрясло сознание, что она совершила величайшую оплошность и никогда не отважится сказать Мэннингу о Рэмедже, никогда.

Что ж, она не скажет ему. Но все-таки как быть с этими сорока фунтами?..

Она продолжала свои выводы. Эта тайна всегда будет стоять между нею и Мэннингом. Она увидела свою жизнь с ним, лишенную всех иллюзий, навсегда одетую в чехлы: однообразные возражения, кризисы притворства, годы мучительного взаимного равнодушия в туманном саду возвышенных сантиментов.

Но есть ли такая женщина, которая получает от мужчины что-то лучшее? Может быть, все женщины волей-неволей утаивают от мужчин свои мысли и чувства?..

Она подумала о Кейпсе. Она не могла не думать о нем. Кейпс совсем другой. Кейпс смотрит на человека, а не *поверх него*, разговаривает с ним, считается с ним как с реальным, конкретным фактом. Кейпс видит именно ее, сочувствует ей, очень к ней внимателен, пусть даже не любит. В нем по крайней мере нет по отношению к ней никакой приторной чувствительности. А после прогулки по зоологическому саду ей даже стало казаться, что он не просто внимателен к ней... Всякие мелочи, едва ощутимые, подтверждают ее предположение; что-то в его манере держаться не согласуется с его словами. Разве он не поджидал ее в то утро... не бросился к ней навстречу, когда она вошла? Она вспомнила, каким видела его в последний раз, его взгляд, устремленный к двери в другом конце лаборатории, когда она уходила. Почему он так смотрел на нее — именно этим особенным взглядом?

Мысль о Кейпсе залила ее сердце радостью, словно ее пронизал солнечный свет, прорвавшийся наконец сквозь тучи. Она вдруг будто заново открыла, что Кейпс ей мил, что она любит его. Она поняла, что стать женою другого невозможно. Если нельзя выйти за Кейпса, она не выйдет ни за кого. Лжи с Мэннингом надо положить конец. Не нужно было этого и начинать. Обман, жалкий обман. И если когда-нибудь Кейпс захочет ее... найдет возможным изменить свой взгляд на дружбу...

В темных глубинах сознания Анны-Вероники мелькали смутные мысли о такой возможности, но она не позволила себе задерживаться на них.

И вдруг она приняла отчаянное решение, казалось, в один миг изменившее все ее существо. Она отреклась от всех своих планов, отбросила всякое благоразумие. Что ей мешает? По крайней мере она будет честной!

Она посмотрела на Мэннинга.

Он сидел, откинувшись, на своем зеленом стуле, одна рука лежала на спинке стула, другая покоилась на столике. Губы его улыбались под пышными усами, и он, чуть склонив голову набок, смотрел на нее.

— Какое же это страшное признание вы хотели сделать? — спросил он.

Его тихая, спокойная улыбка была безмятежна; она выражала неверие в то, что Анна-Вероника могла совершить что-нибудь предосудительное. Она отодвинула чашку, тарелку с остатками клубники и сливок и оперлась локтями о столик.

— Мистер Мэннинг, я действительно хочу кое в чем вам признаться,— сказала она.

— Почему бы вам не называть меня по имени? — заметил он.

Анна-Вероника задумалась над этим, но тут же отбросила как нечто несущественное.

Что-то в ее голосе, манере неожиданно показалось ему угрожающе серьезным. Он как будто только сейчас заинтересовался, в чем, собственно, она хочет ему признаться. Его улыбка погасла.

— С нашей помолвкой, наверное, придется покончить,— заявила Анна-Вероника, и у нее перехватило дыхание, словно она нырнула в ледяную воду.

— То есть как покончить? — спросил он с безмерным изумлением и выпрямился.

— Пока вы говорили, я о многом думала. Видите ли... Я не понимала...

Она разглядывала свои ногти.

— Очень трудно найти нужные слова, но я хочу быть с вами честной. Когда я давала согласие, я думала, что смогу выйти за вас; мне это казалось возможным. Я считала, что смогу. Я восхищалась вашим рыцарством. И была вам благодарна.

Она смолкла.

— Продолжайте,— сказал он.

Она придвинула локоть поближе к нему и очень тихо произнесла:

— Я сказала вам, что не люблю вас.

— Я знаю, вы поступили благородно и смело,— отозвался Мэннинг, степенно кивнув.

— Но это еще не все.

Она опять замолчала.

— Я... я очень сожалею... Я тогда не объяснила вам. О таких вещах трудно говорить. Я не понимала, что обязана была объяснить... Я люблю другого.

С минуту они пристально смотрели друг на друга. Потом Мэннинг как-то осел на своем стуле и опустил голову, словно сраженный пулей. Оба долго не произносили ни слова.

— Боже мой! — наконец воскликнул он прочувствованно и повторил: — Боже мой!

Теперь, когда главное сказано, в голове у нее прояснилось, и она успокоилась. Тривиальные слова, которыми он описал свою душевную боль, она выслушала с суровой холодностью, которой сама удивилась. Почти безотчетно она понимала, что этот крик не выражает глубоких чувств; миллионы и миллионы Мэннингов при положениях, воспринимаемых столь же поверхностно, с таким же пустым пафосом, восклицают: «Боже мой! Боже мой!» Это чрезвычайно успокоило ее совесть. Он оперся лбом на руку, приняв позу, выражавшую величественный трагизм.

— Но почему вы не сказали об этом сразу?—спросил он прерывающимся голосом, как человек, испытывающий душевные муки, и посмотрел на нее, болезненно наморщив лоб.

— Я не знала... Я думала, что смогу подавить это в себе.

— И вы не можете?

— Мне кажется, я не должна...

— А я так мечтал и надеялся!

— Мне ужасно жаль...

— Но... это как гром среди ясного неба! Боже мой! Вы не понимаете, Анна-Вероника! Ведь... ведь рушится мир!

Она пыталась вызвать в себе жалость к нему, но мешало ясное, отчетливое сознание его удивительного эгоцентризма.

Он продолжал с упорством и настойчивостью:

— Зачем вы позволили мне любить себя? Зачем приоткрыли передо мною ворота рая? О боже мой! Я все еще не могу опомниться. Мне кажется, это только слова! Мне кажется, это дурной сон! Скажите мне, что я ослышался! Что вы пошутили!

Он говорил почти шепотом, придав своему голосу проникновенность и пристально глядя на нее.

Она стиснула руки.

— Это не шутка,— заявила она.— Я кажусь себе подлой, бесчестной... Я и думать не должна была об этом. О вас, я хотела сказать...

Он снова откинулся назад с видом безграничного отчаяния.

— Боже мой! — повторил он снова.

Тут они заметили официантку, остановившуюся возле них с книжечкой и карандашом, чтобы написать счет.

— Ах, до счета ли!—трагическим тоном сказал Мэннинг; он встал, сунул удивленной кельнерше четырехшиллинговую монету и повернулся к ней своей широкой спиной.— Давайте хотя бы погуляем по парку,— обратился он к Анне-Веронике.— У меня это просто не укладывается в голове... Я ведь сказал вам, мне не до счета. Оставьте себе! Оставьте себе!

6

В тот день они очень долго гуляли. Они прошли через парк в западном направлении, повернули обратно и обогнули Королевские ботанические сады, потом пошли к Ватерлоо, к югу. Весь этот утомительный путь они говорили, и Мэннинг с усилием, как он выразился, «переваривал» услышанное.

Разговор был нудный, бессмысленный, постыдный, но избежать его было нельзя. Анна-Вероника чувствовала себя виноватой до глубины души. Это не мешало ей, однако, несказанно радоваться принятому решению, тому, что она исправила свою ошибку. Остается только немного потерпеть, насколько возможно, утешить Мэннинга, постараться наложить хоть какой-нибудь пластырь на его

раны, а потом она будет свободна и вольна довериться своей судьбе. Она что-то доказывала, приносила какие-то извинения по поводу того, что дала согласие, что-то неуверенно пыталась объяснить, но он не следил за ее словами, не вслушивался в их значение. Тогда она поняла, что должна предоставить Мэннингу вести разговор: пусть объясняет создавшееся положение, как ему удобнее. Именно так она и поступила. Однако в отношении своего неведомого соперника он проявил весьма настойчивое любопытство.

Он заставил Анну-Веронику рассказать о своих затруднениях.

— Я не могу его назвать,— ответила Анна-Вероника,— но он женат... Нет! Я не знаю даже, интересуется ли он мною. Бесполезно вдаваться в подробности. Я знаю одно: меня просто влечет к нему и никто другой мне не нужен. И незачем обсуждать такого рода вещи.

— Но вы же допускали, что сможете забыть его?

— Видимо, допускала. Я не понимала. Теперь я поняла.

— Господи боже мой! — произнес Мэннинг, выжав все, что было можно, из слова «бог».— Наверное, это рок. Рок! Вы так правдивы, так изумительны!

— Я отношусь к случившемуся спокойно потому,— продолжал он чуть ли не виноватым тоном,— что оно оглушило меня...

— Скажите мне! Этот человек... Он осмелился приставать к вам? — вдруг спросил Мэннинг.

Анна-Вероника пережила ужасную минуту.

— Если бы это было так! — ответила она.

— Но...

Долгий, несуразный разговор начал действовать ей на нервы.

— Если чего-нибудь хочешь больше всего на свете,— заявила она с жестокой искренностью,— естественно, что к этому стремишься.

Ее ответ потряс его. Она разрушила здание, которое *он возвел в своем воображении,*— преданный влюбленный при первой возможности спасает ее от безнадежного и пагубного увлечения.

— Мистер Мэннинг, я предостерегала вас, чтобы вы не идеализировали меня. Мужчины не должны идеали-

зировать женщину. Мы не стоим этого. Не заслуживаем. И это нас стесняет. Вы не представляете себе, о чем мы думаем, что способны сделать и сказать. У вас нет сестер; вы никогда не слышали разговоров, которые обычно ведутся в женских пансионах.

— О! Но вы изумительная, правдивая, бесстрашная! Разве я возражаю? Что они значат, все эти мелочи? Ничего! Ровным счетом ничего! Вы не можете запятнать себя! Не можете! Скажу вам честно, пусть вы отказываете мне... Я себя считаю, как и раньше, помолвленным с вами, все равно считаю себя вашим. А что касается этого слепого увлечения... Оно вроде какой-то навязчивой идеи, какого-то наваждения. Это не вы, нисколько. Это нечто такое, что стряслось с вами. Это как несчастный случай. Я не придаю ему значения. В некотором роде не придаю значения. Он ничего не меняет... И все-таки я хотел бы удушить того человека! Сильный, первобытный человек во мне жаждет этого...

— Я бы, наверное, не сдерживала его, если чувствовала бы в себе такого человека.

— Знаете, мне это не кажется концом,— продолжал он.— Я человек настойчивый. Я вроде собаки: ее прогонишь из комнаты, а она ляжет на коврик за дверью. И я не томящийся от любви юнец. Я мужчина и знаю, чего хочу. Удар, конечно, страшный... но он меня не убил. И в какое я поставлен положение! В какое положение!

Таким был Мэннинг, самовлюбленный, непоследовательный, далекий от жизни. Анна-Вероника шла с ним рядом, стараясь смягчить свое сердце мыслью о том, насколько дурно она поступила с ним; но, по мере того как уставали ее ноги и мозг, она все больше радовалась, что ценою этой бесконечной прогулки избежала...— чего она избежала? — перспективы находиться в обществе Мэннинга «десять тысяч дней и десять тысяч ночей». Что бы ни случилось, она никогда не воспользуется такой возможностью.

— Для меня это не конец,—провозгласил Мэннинг.— В каком-то смысле ничего не изменилось. Я буду по-прежнему носить ваши цвета, даже если они ворованные, запретные, носить на моем шлеме... Я буду по-прежнему верить в вас. Доверять вам.

Он несколько раз повторил, что будет ей доверять, но при чем тут доверие, так и осталось неясным.

— Послушайте,—вдруг воскликнул Мэннинг, которого осенила догадка,— сегодня днем, когда мы встретились, вы ведь не имели намерения порвать со мной?

Анна-Вероника замялась, ее испугала мысль, что ведь он прав.

— Нет,— неохотно призналась она.

— Прекрасно,— подхватил Мэннинг,— посему я и не считаю ваше решение окончательным. Именно так. Я чем-то наскучил вам или... Вы думаете, что любите того человека! Конечно, вы любите его. Но пока вы не...

Мэннинг жестом оратора простер руку, загадочно, пророческим тоном произнес:

— Я заставлю вас полюбить меня. А его вы забудете... забудете.

У Ватерлоо он посадил ее в поезд и стоял — высокий, массивный, держа шляпу в поднятой руке,— пока его не заслонили медленно двигавшиеся вагоны. Анна-Вероника села, откинулась назад, облегченно вздохнула. Пусть Мэннинг идеализирует ее теперь сколько его душе угодно. Ее это больше не касается. Пусть воображает себя верным возлюбленным, пока ему не надоест. Она навсегда покончила с веком рыцарства, она больше не будет приспосабливаться к отжившим традициям, не пойдет ни на какие компромиссы. Она опять честный человек.

Но когда мысли ее вернулись к Морнингсайд-парку, она поняла, что в ее жизнь, подобную запутанному клубку, романтические домогательства Мэннинга внесут новые осложнения.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

РАСКАЯВШИЙСЯ ГРЕШНИК

1

Весна в этом году задержалась до начала мая, а затем пришла стремительно, вместе с летом. Через два дня после разговора Анны-Вероники с Мэннингом Кейпс появился в лаборатории во время перерыва и застал ее одну; она стояла у окна и даже не притворялась, будто чем-то занята. Он вошел, засунув руки в карманы брюк,

и казался подавленным. Теперь он почти с одинаковой силой ненавидел и Мэннинга и самого себя. Увидев ее, он просиял и подошел к ней.

— Что вы делаете? — спросил он.

— Ничего,— ответила Анна-Вероника, глядя в окно через плечо.

— И я тоже... Устали?

— Вероятно.

— А я не могу работать.

— И я,— ответила Анна-Вероника.

Они помолчали.

— Это весна,— сказал он.— Все прогревается, светает рано, все приходит в движение, и хочется делать что-то новое. Противно работать; мечтаешь о каникулах. В этом году мне трудно. Хочется уехать. Мне еще никогда так сильно не хотелось уехать.

— Куда же вы собираетесь?

— В Альпы.

— Совершать восхождения?

— Да.

— Что ж, это чудесный отдых!

Несколько секунд он не отвечал ей.

— Да,— произнес он,— я хочу уехать. Минутами мне кажется, я просто готов удрать... Правда, глупо? Недисциплинированно.

Он подошел к окну и стал нервно мять занавеску, глядя на видневшиеся из-за домов верхушки деревьев Риджент-парка. Вдруг он резко обернулся к ней и увидел, что она стоит неподвижно и смотрит на него.

— Это — действие весны,— сказал он.

— Наверное.

Она взглянула в окно на видневшиеся вдали деревья, покрытые буйной молодой зеленью, на цветущий миндаль. У нее созрело безумное решение, и, чтобы уже не отступать от него, она тут же решила его осуществить.

— Я порвала со своим женихом,— сказала она бесстрастно, ощущая при этом, что сердце бьется где-то в горле. Он сделал легкое движение, и она, чуть задыхаясь, продолжала: — Конечно, это тяжело и неприятно, но, видите ли...— Высказать все сейчас было необходимо, ведь она уже не могла думать ни о чем другом. Ее голос звучал слабо и безжизненно: — Я влюбилась.

Он не помог ей ни одним словом.

— Я... я не любила человека, с которым была помолвлена,— сказала она.

Быстро взглянув ему в глаза, она не смогла уловить их выражения. Его взгляд показался ей холодным и равнодушным.

Сердце у нее упало, ее решимость исчезла. Она продолжала стоять, точно оцепенев, не в силах сделать хоть одно движение. Какое-то время, показавшееся ей вечностью, она не решалась взглянуть на него. Но она почувствовала, что вся его вялость исчезла и он стал каким-то жестким.

Наконец зазвучал его голос, и ее тревога прошла.

— Я думал, у вас не хватит характера. Вы... Это чудесно с вашей стороны, что вы доверились мне. И все же...— И тогда с неправдоподобной и явно напускной недогадливостью, голосом еще более безжизненным, чем у нее, он спросил: — А кто он?

Анна-Вероника была взбешена собственной немотой и бессилием. Грацию, уверенность, даже способность двигаться—она как будто все утратила. Ее бросило в жар от стыда. Ужасные сомнения овладели ею. Она неловко и беспомощно опустилась на одну из стоявших у ее стола табуреток и закрыла лицо руками.

— Неужели вы не понимаете? — проговорила она.

2

Не успел Кейпс ей ответить, как дверь в конце лаборатории с шумом открылась и на пороге показалась мисс Клегг. Она прошла к своему столу и села. При звуке распахнувшейся двери Анна-Вероника открыла лицо, на котором не было ни слезинки, и одним движением быстро приняла позу спокойно беседующего человека. Мгновение продолжалось неловкое молчание.

— Видите,— сказала Анна-Вероника, глядя перед собой на оконный переплет,— вот какую форму приняла сейчас моя личная проблема.

Кейпс не мог так быстро справиться с собой. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на спину мисс Клегг. Лицо его было бледно.

— Да... Это трудный вопрос.

Казалось, он онемел, мучительно что-то обдумывая. Затем неловко взял одну из табуреток, поставил ее в конце стола Анны-Вероники и сел. Снова взглянув на мисс Клегг, он заговорил торопливо, вполголоса, глядя прямо в лицо Анны-Вероники жадным взглядом.

— У меня возникла смутная догадка, что дело обстоит именно так, как вы сказали, но случай с кольцом, с этим неожиданным кольцом смутил меня. Чтоб она провалилась...— Он кивнул в сторону мисс Клегг.— Хочется поговорить с вами об этом поскорее. Я мог бы проводить вас до вокзала, если вы не сочтете это нарушением приличий.

— Я подожду вас,— все еще не глядя на него, сказала Анна-Вероника,— и мы пойдем в Риджент-парк. Нет, лучше проводите меня до Ватерлоо.

— Согласен! — ответил он, немного замешкался, потом встал и удалился в препараторскую.

3

Некоторое время они шли молча глухими улицами, тянувшимися к югу от колледжа. На лице у Кейпса было написано бесконечное смущение.

— Прежде всего я должен сказать вам, мисс Стэнли,— наконец произнес он,— все это очень неожиданно.

— Это началось, как только я пришла в лабораторию.

— Чего вы хотите? — спросил он прямо.

— Вас! — ответила Анна-Вероника.

Они чувствовали себя на людях, мимо них сновали прохожие, и поэтому оба не показывали своего волнения. И не было в них той театральности, которая требует жестов и мимики.

— Вам, наверное, известно, что вы мне страшно нравитесь? — продолжал Кейпс.

— Вы мне сказали об этом в зоологическом саду.

Она чувствовала, что вся дрожит. Но держала себя так, что ни один прохожий не заметил ее волнения.

— Я...— Казалось, ему трудно произнести эти слова.— Я люблю вас. В сущности, я вам это уже сказал. Но сейчас я могу назвать это чувство своим именем. Не сомневайтесь. Я говорю с вами так потому, что это дает нам опору...

Некоторое время оба молчали.

— Разве вы ничего не знаете обо мне? — произнес он наконец.

— Кое-что. Немного.

— Я женат. Но моя жена не хочет жить со мной по причинам, которые, как мне кажется, большинство женщин сочтут убедительными... Иначе я давно бы стал ухаживать за вами.

Они опять помолчали.

— Мне все равно,— сказала Анна-Вероника.

— Но если бы вы знали...

— Я знала. Это не имеет значения.

— Зачем вы мне сказали? Я надеялся... Надеялся, что мы будем друзьями.

Он вдруг возмутился. Казалось, он винит ее за то, что они оказались в таком трудном положении.

— И чего ради вы сказали мне? — воскликнул он.

— Я ничего не могла с собой поделать. Меня что-то толкнуло. Я должна была сказать.

— Но это же все меняет. Я думал, вы понимаете.

— Я должна была сказать,— повторила она.— Я так устала притворяться. Мне все равно. Я рада, что сказала. Рада.

— Послушайте! — продолжал Кейпс.— Чего же вы хотите? Что мы можем сделать, по-вашему? Разве вы не знаете, каковы мужчины и какова жизнь? Подойти ко мне и все выложить!

— Я знаю кое-что. Но мне все равно. И я ни на капли не стыжусь. На что мне жизнь, если в этой жизни нет вас? Я хотела, чтобы вы знали. И теперь вы знаете. И хорошо, что рухнули все преграды. Вы не можете, глядя мне в глаза, отрицать, что любите меня.

— Я же вам сказал,— ответил он.

— Прекрасно,— произнесла Анна-Вероника тоном человека, заканчивающего дискуссию.

Некоторое время они молча шли рядом.

— В лаборатории привыкаешь не обращать внимания на такие увлечения,— начал Кейпс.— Мужчины — любопытные животные, они легко влюбляются в девушек вашего возраста. Приходится воспитывать себя, не допускать этого. Я приучил себя думать о вас просто как о студентке колледжа и совершенно исключил иную воз-

можность. *Хотя бы из уважения к принципу совместного обучения.* Помимо всего прочего, наша встреча является нарушением этого хорошего правила.

— Правила существуют для будней,— ответила Анна-Вероника.— А это особый день. Он выше всех правил.

— Для вас!

— А для вас нет?

— Нет. Нет, я буду следовать правилам... Это странно, но к данному случаю подходят только готовые штампы. Мисс Стэнли, вы меня поставили в необычайное положение.— Его раздражал собственный голос.— Ах, черт!

Она не ответила; казалось, в нем происходит внутренняя борьба.

— Нет! — наконец произнес он вслух.

— Здравый смысл подсказывает, — продолжал Кейпс,— что мы не можем стать любовниками в обычном смысле слова. Это, по-моему, ясно. Вы знаете, я сегодня был совершенно не в состоянии работать. Курил в препараторской и думал обо всем этом. Мы не можем быть любовниками в обычном смысле слова, но мы можем быть большими и близкими друзьями.

— Мы и теперь друзья,— заметила Анна-Вероника.

— Вы меня глубоко заинтересовали...

Он остановился, чувствуя неубедительность того, что ему надо сказать.

— Я хочу быть вашим другом. Я вам уже говорил об этом в зоологическом саду, я это и думаю. Будем друзьями настолько близкими, насколько могут быть друзья.

Он видел побледневшее лицо Анны-Вероники.

— К чему притворяться? — спросила она.

— Мы не притворяемся.

— Притворяемся. Любовь — одно, а дружба — совсем другое. Я моложе вас... И у меня есть воображение... Я знаю, о чем говорю... Мистер Кейпс, вы думаете... Вы думаете, я не знаю, что такое любовь?

4

Кейпс помолчал.

— У меня в голове полный сумбур,— сказал он наконец.— Я весь день думал. А кроме того, в течение

долгих недель и месяцев во мне таилось столько мыслей и переживаний... Я чувствую себя и скотиной и почтенным дядюшкой. Я чувствую себя чем-то вроде жулика-опекуна. Все законы против меня... Почему я позволил вам затеять этот разговор? Мне надо было сказать...

— Едва ли вы могли удержать меня...

— Может быть, и смог бы...

— Нет, не могли.

— Все равно я обязан был,— сказал он и тут же отклонился от темы.— Я хочу знать, известно ли вам мое скандальное прошлое?

— Очень мало. Оно как будто не имеет значения. Верно?

— Думаю, что имеет, и большое.

— Почему?

— Оно не даст нам возможности пожениться. И накладывает запрет... на многое.

— Но не помешает нам любить друг друга.

— Боюсь, что не помешает. Но, право же, сделает нашу любовь чем-то ужасно отвлеченным.

— Вы разошлись с вашей женой?

— Да, но вы знаете почему?

— Не совсем.

— Почему на человека всегда наклеивают ярлык? Видите ли, я с женой разошелся. Но она не хочет развода и не разведется. Вы не понимаете, в каком я положении. И вы не знаете, чем вызван наш разрыв. В сущности, все вертится вокруг вопроса, вам непонятного, а я никак не мог сказать об этом раньше. Мне хотелось сделать это тогда, в зоологическом саду. Но я считался с вашим кольцом.

— Бедное старое кольцо! — отозвалась Анна-Вероника.

— Мне не следовало ходить в зоологический сад. А я просил вас пойти со мной. Человек — существо сложное... Мне хотелось побыть с вами. Ужасно хотелось.

— Расскажите мне о себе,— предложила Анна-Вероника.

— Прежде всего я был... Я участвовал в бракоразводном процессе. Но я был... был соответчиком. Вам этот термин понятен?

Анна-Вероника едва приметно улыбнулась.

— Современная девушка знакома с этими терминами. Она читает романы, исторические пьесы и так далее. А вы думали, я этого не знаю?

— Нет. Но вы, наверное, все же не понимаете.

— Почему?

— Знать вещи по названию — это одно, а знать, оттого что видел, чувствовал и сам был в таком положении,— совсем другое. Вот преимущество жизненного опыта над молодостью. Вы не понимаете.

— Может быть.

— Не понимаете. В том-то и трудность. Если я изложу факты, то, поскольку вы в меня влюблены, вы все объясните как что-то очень благородное и делающее мне честь. Ну, Высшей моралью или чем-то в этом роде... Но было не так.

— Я не разбираюсь в Высшей морали, Высшей истине и вопросах того же порядка.

— Возможно. Но молодое и чистое существо, как вы, всегда склонно облагораживать или оправдывать.

— У меня биологическая подготовка. Я особа закаленная.

— Во всяком случае, это чистая и хорошая закалка. Я считаю вас закаленной. В вас есть что-то... какая-то... взрослость. Я говорю с вами так, будто вы мудрее и милосерднее всех на свете. Я расскажу все откровенно. Да. Так будет лучше. А потом вы пойдете домой и все обдумаете, прежде чем мы опять поговорим. Во всяком случае, я хочу, чтобы вам было совершенно ясно, как вы должны поступить.

— Не возражаю,— сказала Анна-Вероника.

— Это вовсе не романтично.

— Ладно, говорите.

— Я женился довольно рано,— начал Кейпс,— должен сказать, что во мне сидит животная страстность. Я женился, женился на женщине, которую и теперь считаю одной из самых красивых на свете. Она примерно на год старше меня, она... горда, полна чувства собственного достоинства, и у нее очень спокойный темперамент. Если бы вам довелось ее встретить, я уверен, вы были бы о ней такого же высокого мнения, как и я. Насколько я знаю, она никогда не совершила ни одного

неблагородного поступка. Мы встретились, когда были оба очень молоды, в вашем возрасте. Я полюбил ее, стал за ней ухаживать, но думаю, что ее чувство ко мне было не совсем такое, как мое к ней.

Он замолчал. Анна-Вероника ждала.

— Есть вещи, которые нельзя предвидеть. О таких несоответствиях в романах не пишут. Молодежь о них не знает, пока не натолкнется на них. Моя жена не поняла, в чем дело, не понимает до сих пор. Вероятно, она презирает меня... Мы поженились и некоторое время были счастливы. Она была изящной и нежной. Я боготворил ее и подчинялся ей.

Он прервал себя:

— Вы понимаете, о чем я говорю? Если не понимаете, то это ни к чему.

— Думаю, что понимаю,— ответила Анна-Вероника и покраснела.— Пожалуй, да, понимаю.

— А как вы считаете: относятся эти явления к нашей Высшей или Низшей природе?

— Я сказала вам, что не занимаюсь ни высшими проблемами,— ответила Анна-Вероника,— ни, если хотите, низшими. Я не классифицирую.— Она приостановилась в нерешительности.— Плоть и цветы для меня одно и то же.

— Это в вас и хорошо. Так вот, через какое-то время кровь во мне загорелась. Не думайте, что это было какое-то прекрасное чувство. Нет, просто лихорадка. Вскоре после нашей женитьбы — примерно через год — я подружился с женой моего приятеля, женщиной лет на восемь старше меня... В этом не было ничего замечательного. Между нами возникли постыдные, нелепые отношения. Мы встречались украдкой. Это было как воровство. Мы их слегка приукрашали музыкой... Я хочу, чтобы вы ясно поняли, я был кое-чем обязан своему приятелю. И я поступил низко... Но это было удовлетворением мучительной потребности. Мы оба были одержимы страстью. Чувствовали себя ворами. Мы и были ворами... Может быть, мы и нравились друг другу. Ну, а мой приятель все это обнаружил и ничего не хотел слушать. Он развелся с ней. Что вы скажете об этой истории?

— Продолжайте,— сказала Анна-Вероника слегка охрипшим голосом,— расскажите мне все.

— Моя жена была ошеломлена и оскорблена безмерно. Она решила, что я развратник. Вся ее гордость взбунтовалась против меня. Открылась одна особенно унизительная подробность, унизительная для меня. Оказалось, что существует еще второй соответчик. До суда я не слышал о нем. Не знаю, почему это было так унизительно. Логики в этом нет. Но это факт.

— Бедняга! — произнесла Анна-Вероника.

— Моя жена категорически решила порвать со мной. Она не желала объясняться; настаивала на том, чтобы немедленно расстаться. У нее были собственные деньги — и гораздо больше, чем у меня,— так что об этом не пришлось беспокоиться. Она посвятила себя общественной деятельности.

— Ну, и дальше...

— Все. В сущности, все. А теперь... Подождите, я хочу сказать вам все до конца. От страстей не избавляются только потому, что они привели к скандалу и крушению. Они остаются! Все то же самое. В крови живет то же вожделение, вожделение, не облагороженное, не направляемое высокими чувствами. Мужчина свободнее, ему легче поступать дурно, чем женщине. Я просто порочный человек, в этом нет никакой славы и романтики. Вот... вот какова моя личная жизнь. Такой она была и до последних месяцев. И дело не в том, что я был таким, я такой и есть. До сих пор меня это мало тревожило. Вопросом чести были для меня мои научные работы, открытые дискуссии и печатные труды. Большинство из нас таковы. Но, видите ли, на мне пятно. Я не гожусь для той любви, которой вы хотели бы. Я все испортил. Моя пора прошла, я ее упустил. Я подмоченный товар. А вы чисты, как пламя. И вы явились ко мне с такими ясными глазами, отважная, как ангел...

Он вдруг умолк.

— Ну и? — отозвалась она.

— Вот и все.

— Как странно, что все это вас смущает. Я не думала... Впрочем, не знаю, что я думала. Вы стали неожиданно более человечным. Реальным.

— Но разве вам не ясно, как я должен держаться с вами? Разве вы не видите, какая это преграда для на-

шей близости?.. Вы не можете... сразу. Вы должны все обдумать. Это вне вашего жизненного опыта.

— По-моему, это меняет только одно: я еще больше люблю вас. Я всегда желала вас. Никогда, даже в самых безрассудных мечтах я не думала, что могу быть нужна вам.

Он словно сдержал какой-то возглас, подавив рвавшиеся наружу чувства, и оба от волнения не могли выговорить ни слова.

Они поднимались к вокзалу Ватерлоо.

— Отправляйтесь домой и обдумайте все это,— сказал он наконец,— а завтра мы поговорим. Нет, нет, ничего сейчас не отвечайте, ничего. А любовь... Я люблю вас. Всем сердцем. Не к чему больше скрывать. Я никогда не смог бы говорить с вами так, забыв все, что нас разделяет, даже ваш возраст, если бы не любил вас беспредельно. Будь я чист и свободен... Мы должны все это обсудить. К счастью, возможностей у нас сколько угодно! И мы умеем разговаривать друг с другом. Во всяком случае, теперь, когда вы начали, ничто не может помешать нам быть лучшими друзьями на свете. И обсудить все, что возможно. Верно?

— Ничто,— подтвердила Анна-Вероника, лицо ее сияло.

— Прежде нас что-то сдерживало, было какое-то притворство. Оно исчезло.

— Исчезло!

— Дружба и любовь — разные вещи. А тут еще эта помолвка, которая спутала все карты.

— С нею покончено.

Они вышли на перрон и остановились у вагона.

Он взял ее за руку, посмотрел ей в глаза и, борясь с собой, заговорил каким-то напряженным, неискренним голосом.

— Я буду счастлив иметь в вашем лице друга,— сказал он,— любящего друга. Я и мечтать не мог о таком друге, как вы.

Она улыбнулась, уверенная в себе, глядя без всякого притворства в его смущенные глаза. Разве они уже не все выяснили?

— Я хочу, чтобы вы были моим другом,— настаивал он, как бы споря с кем-то.

5

На следующее утро она ждала его в лаборатории во время перерыва, почти уверенная, что он придет.

— Ну что ж, обдумали? — осведомился он, усаживаясь рядом с ней.

— Я думала о вас всю ночь,— ответила она.

— И что же?

— Все это ничуточки не волнует меня.

Он помолчал.

— Мы никуда не уйдем от того факта, что мы любим друг друга,— произнес он.— И поскольку мы нашли друг друга... Я ваш. Чувствую себя так, как будто я только что очнулся от сна. Я все время смотрю на вас широко открытыми глазами. Беспрерывно думаю о вас. Вспоминаю мельчайшие подробности, оттенки вашего голоса, походку, то, как откинуты набок ваши волосы. Мне кажется, я всегда был влюблен в вас. Всегда. Еще до того, как познакомился с вами.

Она сидела неподвижно, сжимая руками край стола; он тоже замолчал. Анна-Вероника дрожала все сильнее.

Он вдруг вскочил и подошел к окну.

— Мы должны,— сказал он,— быть самыми близкими друзьями.

Она встала и протянула к нему руки.

— Поцелуйте меня,— сказала она.

Он вцепился в подоконник позади себя.

— Если я это сделаю...— произнес он.— Нет! Я хочу обойтись без этого. Я хочу подождать с этим. Дать вам время подумать. Я мужчина с... определенным опытом. Вы неопытная девушка. Сядьте опять на табуретку и давайте поговорим хладнокровно. Люди вашего склада... Я не хочу, чтобы инстинкт толкнул нас на поспешные решения. Вы знаете твердо, чего именно хотите от меня?

— Вас. Я хочу, чтобы вы были моим возлюбленным. Я хочу отдаться вам. Я хочу быть для вас всем, чем только могу.— Она помолчала.— Вам ясно? — спросила она.

— Если бы я не любил вас больше самого себя, я бы так не боролся с вами. Я уверен, вы недостаточно все продумали,— продолжал он.— Вы не знаете, к чему ведут такие отношения. Мы влюблены. У нас кружится

голова от желания близости. Но что мы можем сделать? Вот я, меня связывает респектабельность и эта лаборатория. Вы живете дома. Это значит... встречаться только украдкой.

— Мне все равно, как мы будем встречаться,— сказала она.

— Ваша жизнь будет испорчена.

— Это украсит ее. Я хочу вас. Мне это ясно. Вы для меня единственный в мире. Вы меня понимаете. Вы единственный, кого я понимаю и чувствую и чьи чувства разделяю, я вас не идеализирую. Не воображайте. И не потому, что вы хороший, а оттого, что, быть может, я очень плохая; в вас есть что-то... живое, какое-то понимание. Это что-то возрождается при каждой нашей встрече и томится, когда мы в разлуке. Видите ли, я эгоистична. Склонна к иронии. Слишком много думаю о себе. Вы единственный человек, к которому я действительно отношусь хорошо, искренне и без всякого эгоизма. Я испорчу себе жизнь, если вы не придете и не возьмете ее. Я такая. В вас, если вы можете любить меня, мое спасение. Спасение. Я знаю, что поступаю правильнее вас. Вспомните, вспомните о моем обручении!

Их беседа прерывалась красноречивыми паузами, и эти паузы противоречили всему, что он считал долгом сказать.

Она встала перед ним с легкой улыбкой на губах.

— По-моему, мы исчерпали наш спор,— сказала она.

— Думаю, что да,— серьезно ответил он, обнял ее и, откинув волосы с ее лба, очень нежно поцеловал в губы.

6

Следующее воскресенье они провели в Ричмонд-парке, радуясь тому, что им не надо разлучаться весь этот долгий летний, солнечный день, и подробно обсуждали свое положение.

— В нашем чувстве — чистая свежесть весны и молодости,— сказал Кейпс,— это любовь с пушком юности. Отношения таких любовников, как мы, обменявшихся только одним жарким поцелуем,— это роса, сверкающая

на солнце. Сегодня я люблю все вокруг, все в вас, но люблю больше всего вот это... эту нашу чистоту.

— Ты не можешь себе представить,— продолжал он,— до чего постыдной может быть тайная любовная связь.

— У нас не тайная любовь, — ответила Анна-Вероника.

— Ничуть. И она у нас не будет такой... Мы не должны этого допускать.

Они бродили среди деревьев, сидели на поросшем мхом берегу, отдыхали, дружески болтая, на скамейках, потом пошли обратно, позавтракали в ресторане «Звезда и Подвязка», проговорили до вечера в саду над излучиной реки. Им ведь надо было поговорить о целой вселенной, о двух вселенных.

— Что же мы будем делать? — спросил Кейпс, устремив глаза вдаль, на широкой простор за изгибом реки.

— Я сделаю все, что ты захочешь,— ответила Анна-Вероника.

— Моя первая любовь была грубой ошибкой,— сказал Кейпс.

Он задумался, потом продолжал:

— Любовь требует бережности... Нужно быть очень осторожным... Это чудесное, но нежное растение... Я не знал. Я боюсь любви, с которой облетят лепестки, и она станет пошлой и уродливой. Как мне выразить все, что я чувствую? Я бесконечно тебя люблю. И боюсь... Я в тревоге, в радостной тревоге, как человек, который нашел сокровище.

— Ты же знаешь,— сказала Анна-Вероника,— я просто пришла к тебе и отдала себя в твои руки.

— Поэтому я не в меру щепетилен. Я боюсь. Я не хочу схватить тебя горячими, грубыми руками.

— Как тебе угодно, любимый. Мне все равно. Ты не можешь совершить ничего дурного. Ничего. Я в этом совершенно уверена. Я знаю, что делаю. Я отдаю себя тебе.

— Дай бог, чтобы ты никогда не раскаялась в этом! — воскликнул Кейпс.

Она положила свою руку в его, и Кейпс стиснул ее.

— Видишь ли, — сказал он, — едва ли мы сможем когда-нибудь пожениться. Едва ли. Я думал... Я опять пойду к жене. Я сделаю все, что в моих силах. Но,

во всяком случае, мы, несмотря на любовь, очень долго сможем быть только друзьями.

Он сделал паузу. Она помедлила, затем сказала:

— Будет так, как ты захочешь.

— Но почему это должно влиять на нашу жизнь? — спросил он.

И затем, так как она не отвечала, добавил:

— Если мы любим друг друга.

7

Прошло меньше недели после их прогулки. Кейпс во время перерыва вошел в лабораторию и сел около Анны-Вероники для обычной беседы. Он взял горсть миндаля и изюма, которые она протянула ему,— оба перестали ходить завтракать — и задержал на миг ее руку, чтобы поцеловать кончики пальцев. Они помолчали.

— Ну как? — спросила она.

— Послушай! — сказал он, сидя совершенно неподвижно.— Давай уедем.

— Уехать! — Вначале она не поняла его, потом сердце у нее заколотилось.

— Прекратим этот... этот обман,— пояснил он.— А то мы, как в поэме у Броунинга о картине и статуе. Я не могу этого вынести. Уедем и будем вместе, пока не поженимся. Ты рискнешь?

— Ты имеешь в виду — сейчас?

— После окончания сессии. Это единственный правильный для нас путь. Ты готова пойти на это?

Она стиснула руки.

— Да,— еле слышно ответила Анна-Вероника. И добавила: — Конечно! В любую минуту. Я этого всегда хотела.

Она смотрела перед собой, стараясь сдержать подступавшие слезы.

Кейпс продолжал все так же твердо, сквозь зубы:

— Есть бесконечное множество причин для того, чтобы мы этого не делали. Множество. Большинство людей осудит нас. Многие сочтут нас навсегда запятнанными... Тебе это понятно?

— Кого может заботить мнение этих людей? — ответила она, не глядя на него.

— Меня. Это значит быть изолированным от общества, бороться.

— Если у тебя хватит мужества, то его хватит и у меня,— отозвалась Анна-Вероника.— Я никогда еще за всю свою жизнь не была так убеждена в своей правоте.— Она твердо смотрела на него.— Будем мужественны! — воскликнула она. У нее хлынули слезы, но голос оставался твердым.— Ты для меня не просто мужчина, я хочу сказать, не один из представителей мужского пола. Ты особое существо, ни с кем в мире не сравнимое. Именно ты мне необходим. Я никогда не встречала никого, похожего на тебя. Любить — всего важнее. Ничто не может перетянуть эту чашу весов. Мораль начинается только после того, как это установлено. Мне совершенно все равно, даже если мы никогда не поженимся. Я нисколько не боюсь скандала, трудностей, борьбы... Пожалуй, я даже хочу этого. Да, хочу.

— Ты это получишь,— ответил Кейпс.— Ведь мы бросим им вызов.

— Ты *боишься?*

— Только за тебя! Я лишусь большей части моего заработка. Даже неверующие ассистенты кафедры билогии должны соблюдать приличия. Помимо того, ты студентка. У нас почти не будет денег.

— Мне все равно.

— А лишения и опасности?

— Мы будем вместе.

— А твои родные?

— Они не в счет. Это страшная правда. Это... все это как бы зачеркивает их. Они не в счет, мне все равно.

Кейпс вдруг весь изменился, его созерцательная сдержанность исчезла.

— Вот здорово! — вырвалось у него.— Стараешься смотреть на вещи серьезно и здраво. И сам хорошенько не знаешь, зачем. Но ведь это же замечательно, Анна-Вероника! Жизнь становится великолепным приключением!

— Ага! — с торжеством воскликнула она.

— Во всяком случае, мне придется бросить биологию. Меня всегда втайне влекла литературная деятельность. Ею мне и надо заняться. Я смогу.

— Конечно, сможешь.

— Биология мне стала немножко надоедать. Одно исследование похоже на другое... Недавно я кое-что сделал... Творческая работа меня очень увлекает. Она мне довольно легко дается... Но это только мечты. Некоторое время придется заниматься журналистикой и работать изо всех сил... А то, что ты и я покончим с болтовней и... уедем,— это уже не мечта.

— Уедем!—повторила Анна-Вероника, стиснув руки.

— На горе и на радость.

— На богатство и на бедность.

Она не могла продолжать, она и плакала и смеялась.

— Мы обязаны были это сделать сразу же, когда ты поцеловал меня,— проговорила она сквозь слезы.— Мы давно должны были... Только твои странные понятия о чести... Честь! Когда любишь, надо и это преодолеть.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДОМА

1

Они решили уехать в Швейцарию после окончания сессии.

— Давай все аккуратно доделаем,— сказал Кейпс.

Из гордости, а также для того, чтобы отвлечь себя от беспрерывных мечтаний и неутомимой тоски по любимому, Анна-Вероника все последние недели усердно занималась биологией. Она оказалась, как и угадал Кейпс, закаленной молодой особой. Она твердо решила хорошо выдержать экзамены и не дать бурным чувствам захлестнуть себя.

И все же заря новой жизни вызывала в ней трепет и тайное сладостное волнение, которые она не могла заглушить, несмотря на привычные условия ее существования. Порой усталая мысль неожиданно загоралась, и Анна-Вероника придумывала все те нежные и волшебные слова, какие ей хотелось бы сказать Кейпсу. Иногда же наступало состояние пассивной умиротворенно-

сти, полное неопределенной, лучезарной, безмятежной радости. Она не забывала об окружающих ее людях: о тетке, об отце, о своих товарищах студентах, о друзьях и соседях, но они как бы жили за пределами ее сияющей тайны — так актер смутно различает публику, сидящую по ту сторону рампы. Пусть публика аплодирует, протестует, вмешивается в действие, но пьеса — это собственная судьба Анны-Вероники, и она сама должна *пережить* ее.

Последние дни, проведенные у отца, становились ей все дороже, по мере того как число их уменьшалось. Она ходила по родному дому, ощущая все яснее, что ее пребыванию здесь конец. Она стала особенно внимательной и ласковой с отцом и теткой, и ее все больше тревожила предстоящая катастрофа, которая по ее вине должна была на них обрушиться. Мисс Стэнли имела когда-то раздражавшую Анну-Веронику привычку прерывать занятия племянницы просьбами о мелких услугах по хозяйству, но теперь она исполняла их с неожиданной готовностью, как бы желая заранее умиротворить тетку. Анну-Веронику очень беспокоила мысль о том, следует ли открыться Уиджетам; они были славные девушки, и она провела два вечера с Констэнс, однако не заговорила о своем отъезде; в письмах к мисс Минивер она делала туманные намеки, но та не обратила на них внимания. Впрочем, Анну-Веронику не слишком волновало отношение друзей: ведь они в основном сочувствовали ей.

Наконец наступил предпоследний день жизни в Морнингсайд-парке. Она поднялась рано, вышла в сад, покрытый росой и освещенный лучами июньского солнца, и стала вспоминать свои детские годы. Анна-Вероника прощалась с детством, с домом, где она выросла; теперь она уходила в огромный, многообразный мир, и на этот раз безвозвратно. Кончилась ее девичья пора, начиналась гораздо более сложная жизнь женщины. Она посетила уголок, где был расположен ее собственный садик,— незабудки и иберийки давно заросли сорной травой. Она забрела в малинник, который когда-то послужил приютом для ее первой любви к мальчику в бархатном костюмчике, и в оранжерею, где обычно читала полученные тайком письма. Здесь, за сараем, она пря-

талась от изводившего ее Родди, а там, под стеблями многолетних растений, начиналась волшебная страна. Задняя стена дома была недоступными Альпами, а кустарник со стороны фасада — Тераи[1]. Еще целы сучья и сломанные колья, по которым можно было перелезть через садовый забор и выйти в луга. Около стены росли сливовые деревья. Несмотря на страх перед богом, осами и отцом, она воровала сливы; а вот здесь, под вязами, за огородом, она лежала, уткнувшись лицом в нескошенную траву, — один раз, когда ее преступление было раскрыто, и другой — когда она поняла, что матери уже нет в живых.

Далекая маленькая Анна-Вероника! Она уже никогда не поймет душу этого ребенка! Та девочка любила сказочных принцев с золотыми локонами и в бархатных костюмчиках, а она теперь влюблена в живого человека по имени Кейпс с золотистым пушком на щеках, приятным голосом и сильными красивыми руками. Она скоро уйдет к нему, и, конечно, его крепкие руки обнимут ее. Она войдет в новую жизнь бок о бок с ним. Ее жизнь была так полна событиями, что она давно не вспоминала свои детские фантазии. Но теперь они мгновенно ожили, хотя она смотрела на них как бы издали и пришла проститься с ними перед разлукой.

Во время завтрака она была необычно внимательна и выказала полное равнодушие к тому, как сварены яйца, потом она ушла, чтобы попасть на поезд, отходивший раньше, чем тот, которым ездил отец. Анна-Вероника этим хотела доставить ему удовольствие. Он терпеть не мог ездить вторым классом вместе с ней, чего он, собственно говоря, никогда и не делал, но ему, также из-за возможных пересудов, не нравилось находиться в одном поезде с дочерью и сознавать, что она сидит в вагоне похуже. Поэтому он предпочитал другой поезд. Надобно же было так случиться, что по дороге на станцию, она встретила Рэмеджа.

Это была странная встреча, оставившая в ее душе смутное и неприятное впечатление. Она заметила на дру-

---

[1] Terai *(инд.)* — поросшая очень высокой травой, болотистая местность у подножия Гималаев.

гой стороне улицы его элегантную фигуру в черном и его лоснящийся цилиндр; вдруг он поспешно перешел дорогу, поздоровался и заговорил с ней.

— Я должен объясниться,— сказал он.— Я не могу не видеться с вами.

Она ответила какой-то вздор. Ее поразила происшедшая в нем перемена. Его глаза показались ей воспаленными; лицо уже не было таким свежим и румяным, как прежде.

Он говорил отрывисто и сбивчиво всю дорогу до станции, и она так и не поняла смысла и цели его слов. Анна-Вероника ускорила шаг, но он следовал за нею, продолжая говорить, хотя она слегка отвернулась от него. Она не столько отвечала, сколько прерывала его довольно неловкими и сделанными невпопад замечаниями. Иногда, казалось, он взывает к ее жалости; иногда угрожал разоблачением истории с чеком; иногда хвастал своей несгибаемой волей и тем, что он в конце концов всегда добивается желаемого. Рэмедж уверял, будто жизнь его без нее тосклива и бессмысленна. Лучше отправиться ко всем чертям, чем выносить это, что именно — она не могла понять. Он явно нервничал и очень старался произвести на нее впечатление; он словно стремился загипнотизировать ее, глядя на нее своими выпуклыми глазами. Самым важным для нее в этой встрече было открытие того, что ни он, ни ее опрометчивость, в сущности, уже не имеют особого значения. Даже ее долг стал казаться чем-то очень обычным.

Ну разумеется! Ей пришла в голову блестящая мысль. Как она раньше не подумала об этом? Она попыталась объяснить, что непременно вернет сорок фунтов стерлингов на следующей же неделе. Она все это сказала ему. И повторяла без конца.

— Я обрадовался, что вы мне их не послали,— сказал он.

Он разбередил старую рану, и Анна-Вероника тщетно старалась объяснить необъяснимое.

— Я хотела послать все сразу,— ответила она.

Но Рэмедж игнорировал ее возражение, пытаясь убедить ее в чем-то своем.

— Вот мы с вами живем в одном предместье,— начал он.— И нужно быть... современными.

Как только она услышала эту фразу, у нее забилось сердце. Но и этот узел будет разрублен. Подумаешь, современными! А она хочет стать первобытной, как осколок кремня.

2

Под вечер, когда Анна-Вероника срезала цветы для обеденного стола, отец, прогуливаясь по лужайке, как бы невзначай подошел к ней.

— Ви, я хочу поговорить с тобой кое о чем,— сказал мистер Стэнли.

Нервы Анны-Вероники напряглись еще больше, она остановилась и подняла на него глаза, желая узнать, что еще угрожает ей.

— Ты сегодня на Авеню говорила с этим Рэмеджем. И отправилась вместе с ним на станцию.

Вот оно что!

— Он подошел ко мне и заговорил.

— Да-а.— Мистер Стэнли задумался.— Так вот, я не хочу, чтобы ты с ним разговаривала,— сказал он очень твердо.

Анна-Вероника помолчала.

— Ты считаешь, что делать этого не следует? — спросила она затем очень покорно.

— Нет.— Мистер Стэнли откашлялся и повернул к дому.— Он не... Я его не люблю. Считаю это неблагоразумным... И не желаю, чтобы между тобой и этим типом возникли какие-либо отношения.

После паузы Анна-Вероника сказала:

— Папочка, я беседовала с ним всего раз или два.

— Не допускай этого больше. Я... Он мне чрезвычайно не нравится.

— А если он подойдет и заговорит со мной?

— Девушка всегда сумеет держать мужчину на расстоянии, если захочет. Она... Она может осадить его.

Анна-Вероника сорвала василек.

— Я бы не возражал,— продолжал мистер Стэнли,— но есть обстоятельства... О Рэмедже ходят слухи. Он... Он способен на такие вещи, которых ты себе и предста-

вить не можешь. С женой он обращается совсем не так, как следует. Не так, как следует. В сущности, он дурной человек. Распущенный, ведущий безнравственный образ жизни.

— Постараюсь больше не видеться с ним,— сказала Анна-Вероника.— Я не знала, папа, что ты против.

— Категорически,— ответил мистер Стэнли.— Совершенно категорически.

Они замолчали. Анна-Вероника старалась представить себе, что сделал бы отец, если бы узнал всю историю ее отношений с Рэмеджем.

— Такой человек, если только посмотрит на девушку, поговорит с ней, уже бросает тень на нее.— Он поправил на носу очки. Ему, видимо, хотелось сказать еще что-то.— Необходимо тщательно выбирать друзей и знакомых,— заметил он, чтобы перейти к дальнейшему.— Они влияют незаметно.— Затем продолжал как бы небрежно, с притворным равнодушием:— Вероятно, ты, Ви, теперь не особенно часто видишься с этими Уиджетами?

— Иногда захожу поболтать с Констэнс.

— Разве?

— Мы же очень дружили в школе.

— Несомненно... Однако... Не скажу, чтобы мне это нравилось... В этих людях, Ви, есть какая-то распущенность. Поскольку это касается твоих друзей, то я считаю... мне кажется, тебе следует знать мое мнение о них.— Он говорил с напускной сдержанностью.— Я ничего не имею против того, чтобы ты виделась с ней изредка, но все же есть разница... разница — там социальная атмосфера другая. Невольно оказываешься втянутым в их интересы... Не успеешь опомниться — и тебя уже впутали в какую-нибудь историю. Я вовсе не хочу нажимать на тебя... Но... Они богема. Это факт. Мы же иные.

— Я тоже так думаю,— заметила Ви, подбирая букет.

— Дружба, которая между школьницами вполне естественна, не всегда продолжается после школы. Здесь... здесь играет роль различие в общественном положении.

— Мне Констэнс очень нравится.

— Не сомневаюсь. А все же надо быть благоразумной. И, согласись, надо считаться с мнением общества. Никогда нельзя знать заранее, что может случиться с людьми такого сорта. А мы не хотим никаких неожиданностей.

Анна-Вероника ничего не ответила.

Но отец, как видно, испытывал смутное желание оправдаться.

— Тебе может показаться, что я напрасно тревожусь. Но я не могу забыть о твоей сестре, это постоянно меня гложет. Она, как ты знаешь, попала в такую среду... и не разобралась в ней. В среду заурядных актеров.

Анне-Веронике хотелось подробнее узнать об истории с Гвен с точки зрения отца, но он больше ничего не сказал. Уже одно упоминание о семейном пятне означало огромный сдвиг в отношении к ней отца: он, по-видимому, считает ее взрослой. Она взглянула на него. Вот он стоит, слегка встревоженный и раздраженный, озабоченный ответственностью за нее, и совершенно не думает о том, какой была или будет ее жизнь, игнорирует ее мысли и чувства, не знает ни об одном важном для нее событии и объясняет все то, чего не может в ней понять, глупостью и упрямством; и опасается он только неприятностей и нежелательных ситуаций. «Мы не хотим никаких неожиданностей». Никогда еще он так ясно не показывал дочери, что женщины, которые, по его убеждению, нуждаются в его опеке и руководстве, могут угодить ему лишь точным исполнением своих обязанностей по хозяйству и не должны стремиться ни к чему, кроме соблюдения необходимых приличий. У него и без них достаточно дел и забот в Сити. Он не интересовался Анной-Вероникой, не интересовался с тех пор, как она выросла и ее уже нельзя было сажать на колени. Теперь его связь с ней держалась только силой общепринятых обычаев. И чем меньше будет «неожиданностей», тем лучше. Другими словами, чем меньше она будет жить своей жизнью, тем лучше. Она вдруг все это поняла и ожесточилась против отца.

— Папа,— медленно произнесла она,—некоторое время я, вероятно, не буду видеться с Уиджетами. Думаю, что не буду.

— Повздорили?

— Нет, но, вероятно, я не увижусь с ними.

А что, если бы она добавила: «Я уезжаю»?

— Рад слышать, — ответил мистер Стэнли; он был так явно доволен, что у Анны-Вероники сжалось сердце.

— Очень рад слышать,— повторил он и воздержался от дальнейших расспросов.— По-моему, мы становимся благоразумными,— добавил он,— по-моему, ты начинаешь понимать меня.

Он помедлил, затем отошел от нее и направился к дому. Она проводила отца глазами. В линии спины, даже в его поступи чувствовалось облегчение, вызванное ее мнимым послушанием. «Слава богу! — как бы говорила вся его фигура.— Сказано, и с плеч долой. С Ви все обстоит благополучно. Ничего не случилось!» Он решил, что она не будет больше огорчать его и можно приняться за чтение приключенческого романа — он только что прочел «Голубую лагуну», произведение, по его мнению, замечательное, чувствительное и ничуть не похожее на жизнь в Морнингсайд-парке,— или спокойно заняться срезами горных пород, уже не беспокоясь об Анне-Веронике.

Какое безмерное разочарование ожидало его! Какое сокрушительное разочарование! У нее возникло смутное побуждение побежать за ним, рассказать ему все, добиться понимания ее взглядов на жизнь. Глядя в спину уходившего, ничего не подозревавшего отца, она почувствовала себя трусихой и обманщицей.

«Но что же делать?» — подумала Анна-Вероника.

3

Она тщательно оделась к обеду в черное платье, которое отцу нравилось и придавало ей серьезный и солидный вид. Обед прошел совершенно спокойно. Отец листал проспект выходящих книг, а тетка время от времени делилась своими планами насчет того, как справиться с хозяйством, когда кухарка уйдет в отпуск. После обеда Анна-Вероника вместе с мисс Стэнли перешла в гостиную, а отец поднялся в свой маленький каби-

нет выкурить трубку и заняться петрографией. Позже, вечером, она слышала, как он что-то насвистывал, бедняга!

Анна-Вероника чувствовала тревогу и волнение. Она отказалась от кофе, хотя знала, что ей все равно предстоит бессонная ночь. Взяв одну из книг отца, она тут же положила ее на место и, не зная куда себя деть, поднялась в свою комнату, чтобы найти себе какое-нибудь занятие; уселась на кровать и стала осматривать эту комнату, которую теперь действительно должна была покинуть навсегда; потом вернулась в гостиную с чулком в руке, намереваясь заняться штопкой. Под только что зажженной лампой сидела тетка и мастерила себе манжеты из узких прошивок.

Анна-Вероника села во второе кресло и стала кое-как стягивать дырку на чулке. Но через минуту, посмотрев на тетку, с любопытством отметила ее тщательно причесанные волосы, острый нос, слегка отвисшие губы, подбородок, щеки и вслух высказала свою мысль:

— Тетя, ты была когда-нибудь влюблена?

Тетка изумленно взглянула на нее, словно оцепенев, и перестала шить.

— Ви, почему ты спрашиваешь меня об этом? — отозвалась она.

— Мне интересно.

И тетка ответила вполголоса:

— Дорогая, я была помолвлена с ним семь лет, потом он умер.

Анна-Вероника сочувственно что-то пробормотала.

— Он принял духовный сан, и мы должны были пожениться только после получения прихода. Он происходил из старинной семьи Эдмондшоу в Уилтшире.

Тетка сидела неподвижно.

Анна-Вероника колебалась, ей хотелось задать вопрос, неожиданно возникший у нее, но она боялась, что это будет жестоко.

— Тетя, а ты не жалеешь, что ждала его? — спросила она.

Мисс Стэнли долго не отвечала.

— Стипендия не давала ему возможности жениться,— наконец сказала она, как бы погрузившись в воспо-

минания.— Это было бы опрометчиво и неблагоразумно. — И добавила, помолчав: — На то, что он имел, нельзя было прожить.

Анна-Вероника с испытующим любопытством смотрела в кроткие, голубовато-серые глаза, на спокойное, довольно тонко очерченное лицо. Тетка глубоко вздохнула и взглянула на часы.

— Пора заняться пасьянсом,— сказала она, встала, положила скромные манжеты в рабочую корзинку и подошла к письменному столу, чтобы взять карты, лежавшие в сафьяновом футляре.

Анна-Вероника вскочила и пододвинула к ней ломберный столик.

— Я не видела твоего нового пасьянса, дорогая,— сказала она.— Можно посидеть около тебя?

— Он очень труден,— заметила тетка.— Помоги мне тасовать карты.

Анна-Вероника помогла, потом стала ловко раскладывать карты по восемь в ряд, с чего и начиналось сражение. Она следила за пасьянсом, то давая советы, то глядя на шелковистый блеск своих рук, сложенных на коленях под самым краем стола. В этот вечер она чувствовала себя удивительно хорошо, и ощущение собственного тела, его нежной теплоты, силы и гибкости доставляло ей глубокую радость. Затем она опять переводила взгляд на карты, которые перебирала тетка, на ее унизанные кольцами пальцы, на ее лицо, несколько слабовольное и пухлое, и на глаза, следившие за пасьянсом.

Анна-Вероника думала о том, что жизнь полна необозримых чудес. Казалось невероятным, что она и тетка — существа одной крови, разъединенные только рождением или еще чем-то, что они часть одного широкого слитного потока человеческой жизни, который создал фавнов и нимф, Астарту, Афродиту, Фрею и всю женскую и мужскую красоту богов. Ей чудилось, что ее кровь поет песни о любви всех времен; из сада доносились ночные ароматы растений; мотыльки, привлеченные светом лампы, бились в закрытую раму окна, и трепет их крыльев вызывал в ней мечты о поцелуях во тьме. А тетка, поднося к губам руку в кольцах, с озадаченным и расстроенным выражением лица, глухая к этим волнам тепла и нахлынувшим желаниям, раскладывала и расклады-

вала пасьянс, как будто Дионис и ее священник умерли одновременно. Сквозь потолок доносилось слабое жужжание: петрография так же действовала. Серый, бесцветный мир! Поразительно бесстрастный мир! Мир, в котором пустые дни, дни, когда «мы не хотим никаких неожиданностей», следуют за пустыми днями до тех пор, пока не произойдет окончательная, неминуемая роковая «неприятность». Это был последний вечер ее «жизни в чехлах», против которой она восстала. Живая, теплая действительность была теперь так близко к ней, что она как бы чувствовала ее биение. Там, в Лондоне, Кейпс сейчас укладывает вещи и готовится к отъезду; Кейпс — волшебник, одно прикосновение которого превращает тебя в трепещущее пламя. Что он делает? О чем думает? Осталось менее суток, менее двадцати часов. Семнадцать часов, шестнадцать... Она взглянула на уютно тикающие часы, стоявшие на мраморной доске камина, на взмахи медного маятника и быстро подсчитала, сколько осталось времени: ровно шестнадцать часов двадцать минут. Звезды медленно двигались, приближая мгновение их встречи. Мягко поблескивающие летние звезды! Она увидела, как они блестят над снежными вершинами, над дымкой долин и их теплой мглой... Луны сегодня не будет.

— Кажется, все-таки выходит! — сказала мисс Стэнли.— Тузы помогли.

Анна-Вероника очнулась от своих мечтаний, выпрямилась, снова стала внимательной.

— Посмотри, дорогая,— тотчас заметила она,— ты можешь накрыть валета десяткой.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В ГОРАХ

1

На другой день Анна-Вероника и Кейпс чувствовали себя так, словно они только сейчас родились. Им казалось, что до этого дня они еще не были по-настояще-

му живы, а лишь существовали, смутно предчувствуя настоящую жизнь. Они сидели друг против друга в поезде, который шел из Черинг-Кросса в Фолкстон и на Булонь и был согласован с расписанием пароходов, а возле них лежали видавший виды рюкзак, новенький чемодан и кожаный саквояж. Оба старались держаться независимо и с особым вниманием читали иллюстрированные газеты, чтобы не замечать в глазах друг у друга трепетного ликования. Проезжая через Кент, они глядели в окна и восхищались.

Когда они пересекали канал, сияло солнце, бриз морщил морскую поверхность, и она покрывалась сверкающими серебряными чешуйками ряби. Кое-кто из пассажиров, наблюдая за ними, решил, судя по их счастливым лицам, что это молодожены, другие — что они давно женаты, ибо в их отношениях друг с другом чувствовалась спокойная доверчивость.

В Булони они сели в базельский поезд, на другое утро завтракали уже в буфете базельского вокзала, а затем поймали интерлакенский экспресс и добрались через Шпиц до Фрутигена. В те дни за Фрутигеном уже не было железной дороги; они отправили свой багаж почтой в Кандерштег и пошли по тропе для мулов, тянувшейся вдоль левого берега реки, к странной впадине между пропастями, называвшейся Блау-Зее, где окаменевшие ветви деревьев лежат в синих глубинах ледяного озера и сосны цепляются за гигантские валуны. Маленькая гостиница, над которой развевался швейцарский флаг, ютилась под огромной скалой; тут они сняли свои рюкзаки, съели второй завтрак и отдохнули в полуденной тени ущелья, среди смолистого аромата сосен. А потом взяли лодку и поплыли на веслах над таинственными глубинами озера, пристально всматриваясь в его зеленовато-голубые и голубовато-зеленые воды. И тогда у них возникло ощущение, словно они прожили вместе уже целых двадцать лет.

За исключением одной памятной школьной экскурсии в Париж, Анна-Вероника еще ни разу не выезжала из Англии. Поэтому ей казалось, будто изменился весь мир, самый облик его изменился. Вместо английских вилл и коттеджей появились швейцарские шале и ослепительно белые дома в итальянском стиле, изумрудные и сапфиро-

вые озера, прилепившиеся к скалам замки, утесы с такими крутыми склонами и горы с такими сверкающими снежными вершинами, каких она еще не видела. Все казалось свежим и веселым, начиная от приветливого фрутигенского сапожника, набивавшего ей шипы на башмаки, и кончая незнакомыми цветами, которые пестрели вдоль обочин дороги. А Кейпс превратился в приятнейшего и жизнерадостного спутника. Самый факт того, что он ехал вместе с ней в поезде, помогал ей, сидел против нее в вагон-ресторане, а потом спал на расстоянии какого-нибудь шага от нее,— все это заставляло ее сердце петь, и она даже испугалась, как бы другие пассажиры не услышали этой песни. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она не спала из страха потерять хотя бы одну минуту этого ощущения его близкого присутствия. А идти рядом с ним, одетой как он, с рюкзаком за плечами, по-товарищески, было уже само по себе блаженством; каждый шаг, который они делали, казался ей новым шагом, приближавшим ее к счастью.

Лишь одна мысль тревожила своими внезапными вспышками сияющее тепло этого утра жизни и омрачала его совершенство, и это была мысль об отце.

Она обидела его, оскорбила его и тетку; с точки зрения общепринятых взглядов она поступила дурно, и ей никогда не удастся убедить их в том, что она поступила правильно. Анна-Вероника представляла себе отца, ходившего по саду; тетку с ее бесконечным терпением — сколько же веков прошло с тех пор, как она видела их? Всего один день. У нее было такое ощущение, будто она нечаянно ударила их. И мысль о них приводила ее в отчаяние, нисколько при этом не мешавшее ей ощущать тот океан счастья, по которому она плыла. Но ей хотелось бы как-то так объяснить им свой поступок, чтобы он не причинил им той боли, какую, без сомнения, причинила бы правда. И их лица — особенно лицо тетки, узнавшей об ее отъезде,— растерянное, враждебное, осуждающее, огорченное — вставали перед ней все вновь и вновь.

— О, как бы я хотела,— сказала она,— чтобы люди смотрели на такие вот вещи одинаково!

Кейпс внимательно глядел на капельки прозрачной воды, стекавшие с его весла.

— Я бы тоже хотел,— отозвался он.— Но они не смотрят одинаково.

— А я чувствую, что мой уход с тобой — самый хороший из всех возможных поступков. Мне хочется каждому сказать об этом. Я готова хвастать им.

— Понимаю.

— А своим я солгала. Я наговорила им бог знает что. Вчера я написала три письма и все разорвала. Но объяснить им — дело безнадежное. В конце концов я выдумала целую историю.

— Ты не сказала им о нашем положении?

— Я сделала вид, будто мы поженились.

— Они допытаются. Они узнают.

— Не сразу.

— Рано или поздно, а узнают.

— Может быть... Постепенно... Но объяснить правду было бы безнадежно трудно. Я сказала, что знаю, насколько отец не одобряет ни тебя, ни твоей работы... и что ты разделяешь все взгляды Рассела, а он беспредельно ненавидит Рассела, и что мы не смогли бы устроить банальную свадьбу. А какие еще можно было дать объяснения? Пусть предполагают ну хотя бы регистрацию брака...

Кейпс резко опустил весло, и вода чмокнула под ним.

— Тебе это очень неприятно?— спросила она.

Он покачал головой.

— Но мне кажется, будто я совершил жестокость,— добавил он.

— А я...

— Вот тебе вечные недоразумения между отцами и детьми, — сказал он. — Отцы никак не могут изменить свои взгляды. Мы тоже. Мы считаем, что они ошибаются, а они — что мы. В общем, тупик. В каком-то очень узком смысле слова мы неправы, безнадежно неправы. И все же... вопрос в том, кому больнее?

— Никому не должно быть больно,— сказала Анна-Вероника.— А если человек счастлив... Не хочу я думать о них. Когда я впервые ушла из дому, я чувствовала себя твердой и готовой ко всему. Теперь же совсем другое. Совсем другое.

— В человеке живет своего рода инстинкт мятежа,— сказал Кейпс.— И этот инстинкт вовсе не связан с на-

шей эпохой. Люди считают, что связан, но они ошибаются. Он связан с отрочеством. Еще задолго до того, как религия и общество услышали о Сомнении, девушки были за отъезды в полночь и за Гретна-Грин [1]. Это своего рода инстинкт ухода из дому.

Он продолжал развивать свою мысль:

— Существует еще один вид инстинкта — какое-то состояние подавленности, или я ничего не понимаю, инстинкт изгнания детей... Странно... Во всяком случае, нет инстинкта объединения семьи; после того как у детей минет отроческий возраст, членов семьи удерживают вместе привычка, привязанность и материальный расчет. И всегда в семьях происходят трения, ссоры, невольные уступки. Всегда! Я совершенно не верю в то, что между родителями и взрослыми детьми существует прочная естественная привязанность. Между мной и моим отцом ее не было. В те времена я не позволял себе видеть факты в их истинном свете; теперь другое дело. Я раздражал его. Я ненавидел его. Вероятно, это должно шокировать людей с привычными взглядами. Но это правда... Я знаю, между сыном и отцом существуют сентиментальные традиционные чувства почитания и благоговения; но как раз это и мешает развитию свободной дружбы. Сыновья, почитающие отцов,— явление ненормальное, и ничего хорошего в этом нет. Ничего. Человек должен стать лучше своего отца, иначе какой смысл в смене поколений? Или жизнь — восстание, или ничто.

Он греб некоторое время молча, следя за тем, как воронка воды, возникающая под его веслом, расходится кругами и исчезает. Наконец он заговорил снова:

— Интересно, наступит ли время, когда уже не надо будет бунтовать против обычаев и законов? Вдруг эта дисгармония исчезнет? Когда-нибудь, кто знает, старики перестанут баловать и стеснять молодежь, а молодежи незачем будет набрасываться на стариков. Они будут смотреть в лицо фактам и понимать. Да! Смотреть в ли-

---

[1] Гретна-Грин — деревня в Шотландии, неподалеку от английской границы, куда уезжали молодые английские пары, так как там, по шотландским законам, вступить в брак было легче.

по фактам! Боги! Каким удивительным стал бы мир, если бы люди смотрели в лицо фактам! Понимание! Понимание! Ничем иным их нельзя исцелить. Может быть, когда-нибудь старики дадут себе труд понять молодых людей, и уже не будет этого ужасного разрыва между поколениями; исчезнут барьеры, через которые надо или перешагнуть, или погибнуть... Нам действительно остается только одно — перешагнуть, все остальное бесполезно... Быть может, когда-нибудь людей начнут воспитывать независимо от общепринятых условностей... Я хотел бы знать, Анна-Вероника, когда нам придется воспитывать детей, окажемся ли мы мудрее?

2

Кейпс размышлял.

— Чудно,— сказал он,— я ведь в душе не сомневаюсь, что то, что мы делаем, неправильно. И вместе с тем я не испытываю ни малейших угрызений совести.

— А я еще никогда не чувствовала с такой силой своей правоты.

— Ты все-таки существо женского пола,— согласился он.— Я далеко не так уверен, как ты... Что касается меня, то я смотрю на это с двух точек зрения... Жизнь вообще имеет две стороны, я так считаю, и обе они переплетаются и смешиваются. Жизнь — это этика, жизнь — это приключение. Она и судья и повелитель. Приключение правит, а этика следит за тем, чтобы поезда ходили по расписанию. Мораль подсказывает тебе, что хорошо, а приключение заставляет действовать. И если этика преследует какую-то цель, то эта цель состоит в соблюдении границ, в уважении к внутреннему смыслу правил и к внутренним ограничениям. Задача же индивидуальности — в том, чтобы переступать границы, то есть идти на приключение. Желаешь ли ты блюсти мораль и сохранять только родовые признаки или быть аморальной и самой собой? Мы решили быть аморальными. Мы не начали с отдельных попыток и не задирали нос. Мы бросили работу, которой до сих пор были заняты, отказались от своих обязанностей, под-

вергли себя риску лишиться возможности быть полезными обществу... Словом, не знаю, что еще. Человек соблюдает законы, стремясь притом оставаться самим собой. Он изучает природу, чтобы слепо не подчиняться ей. Вероятно, мораль только тогда имеет смысл, когда мы по сути своей аморальны.

Она следила за выражением его лица, пока он прокладывал себе путь через эти умозрительные дебри.

— Возьми хотя бы наши отношения,—сказал он, глядя на нее.— Мы довольно основательно подпортили свою репутацию, и никакие силы в мире не убедят меня в обратном. Ты убежала из дому; я бросил полезную работу преподавателя, поставил на карту все надежды на свою научную карьеру. И мы скрываемся, выдаем себя не за то, что мы есть; все это по меньшей мере сомнительно. И совершенно незачем утверждать, будто в этой истории есть какая-то Высшая правда или особая принципиальность. Нет их. Мы ни одной минуты не собирались горделиво скандализировать общество или следовать по стопам Шелли. Когда ты впервые убежала из дому, ты вовсе не думала, что скрытым импульсом для твоего побега являюсь я. Да я и не был им. Ты просто вылетела, как летучий муравей для брачного полета. Это была счастливая случайность, что мы столкнулись друг с другом без всякого предопределения. Мы просто столкнулись и теперь летим, отклоняясь от своих путей, слегка удивленные тем, что мы делаем, отказавшись от всех своих принципов и ужасно, совершенно неразумно гордясь собой. Из всего этого для нас возникает какая-то гармония... И это великолепно!

— Чудесно! — сказала Анна-Вероника.

— А если бы кто-нибудь рассказал тебе про нас и про то, что мы делаем, безотносительно к нам,— тебе бы такая пара понравилась?

— Я бы не удивилась,—отозвалась Анна-Вероника.

— Но если бы другая женщина спросила у тебя совета? Если бы она сказала: «Вот мой учитель, человек измотанный, женатый, уже не юноша, и между мной и им вспыхнула пылкая страсть. Мы намерены пренебречь всеми нашими узами, всеми обязанностями, всеми установленными требованиями общества и заново начать жизнь вместе». Что бы ты ответила?

— Если бы она нуждалась в совете, я бы ответила, что она и не способна на такие поступки. Я ответила бы, что, если у нее могло возникнуть хотя бы сомнение, этого достаточно, чтобы отказаться от таких отношений.

— А если это отбросить? Подумай хорошенько.

— Все равно, там было бы другое. Ведь это бы не мог быть ты.

— И не ты. Я думаю, здесь-то и кроется вся суть.— Он уставился на легкую рябь.— Законы правильны до тех пор, пока не возникнет особый случай. Законы существуют для неизменных предметов так же, как фишки и позиции в игре. Но на мужчин и женщин нельзя смотреть как на неизменные предметы; они все — эксперимент. Каждое человеческое существо — новое явление, и оно живет, чтобы создавать новое. Найди то, что ты хочешь больше всего на свете, убедись, что это так, и добивайся этого изо всех твоих сил. Если ты останешься жив, это хорошо и правильно; если умрешь — тоже хорошо и правильно. Твоя цель достигнута... Это и есть наш случай.

Он снова тронул зеркало воды, пробудил в ней воронки и заставил голубые контуры в ее глубинах корчиться и вздрагивать.

— Это и есть мой случай,— тихо сказала Анна-Вероника, не спуская с него задумчивых глаз.

Затем взглянула вверх на сосны, поднимавшиеся по склонам, на залитые солнцем, громоздящиеся друг на друга утесы и снова посмотрела на лицо Кейпса. Анна-Вероника глубоко вдохнула сладостный горный воздух. Ее взор был мягок и серьезен, а на решительно очерченных губах лежал легкий отблеск улыбки.

3

Потом они брели по извилистой тропинке над их гостиницей, охваченные любовью друг к другу. После путешествия ими овладела истома, день был теплый, воздух невыразимо мягкий. Цветы и трава, ягоды земляники, изредка пролетающая бабочка — все эти интимные мелочи стали казаться им более интересными, чем горы. Их руки, которыми они слегка размахивали, то и дело со-

прикасались. Между Анной-Вероникой и Кейпсом воцарилось глубокое молчание...

— Я сначала предполагал отправиться в Кандерштег,—наконец сказал он,— но здесь очень приятное место. В гостинице, кроме нас, нет ни души. Давай тут переночуем. Тогда можно гулять и болтать сколько душе угодно.

— Я согласна,— ответила Анна-Вероника.

— Ведь это же все-таки наш медовый месяц.

— И все, что у нас будет.

— Это место удивительно красивое.

— Любое место станет красивым...— вполголоса отозвалась Анна-Вероника.

Некоторое время они шли молча.

— Не знаю, — начала она опять, — отчего я люблю тебя и люблю так сильно? Теперь я понимаю, что это значит — быть несдержанной женщиной. Я и есть несдержанная женщина. И я не стыжусь того, что делаю. Мне хочется отдаться в твои руки. Знаешь, пусть бы мое тело сжалось в крошечный комочек, и ты бы стиснул его в своей руке и обхватил пальцами. Крепко стиснул. Я хочу, чтобы ты держал меня и владел мною вот так... ну всем во мне. Всем. Это такая чистая радость —отдать себя, отдать тебе. Я никогда не говорила таких вещей ни одному человеку на свете. Только грезила, что говорю, но избегала даже грез. Как будто на мои губы был наложен запрет. А теперь я снимаю печать — ради тебя. Одного только мне хотелось бы, чтобы я была в тысячу раз, в десять тысяч раз красивее.

Кейпс взял ее руку и поцеловал.

— И ты в тысячу раз красивее,— отозвался он,— чем все, что есть на свете... Ты это ты. В тебе — вся красота мира. И у красоты нет другого смысла и никогда не было. Только, только ты. Она была твоим вестником, обещала тебя...

4

Они лежали рядом в неглубокой впадине, заросшей травой и мохом, среди валунов и низкорослых кустарников, на высокой скале, и смотрели на вечереющее небо, выступавшее между краями исполинских пропастей, и на

вершины деревьев, которые росли по склонам расширявшегося ущелья. Швейцарские домики вдалеке и открывавшиеся повороты дороги навели их на разговор о жизни, оставленной там, внизу, и этот разговор продолжался некоторое время.

Кейпс коснулся их планов на будущее и их работы.

— Нам придется иметь дело с безвольной, слабохарактерной средой. Эти люди даже не будут знать, как относиться к нам: показывать, что они шокированы или что они прощают нас. Они останутся в стороне, не решаясь ни забросать нас камнями, ни...

— Главное, не надо держаться так, будто мы ждем, что нас забросают камнями,— сказала Анна-Вероника.

— А мы и не будем.

— Уверена!

— Позднее, если мы начнем преуспевать, они будут подходить к нам бочком и изо всех сил делать вид, что ничего не замечают...

— Если мы на это согласимся, бедненький мой.

— Но все это — в случае успеха. Если же мы не добьемся его...— продолжал Кейпс,— тогда...

— Мы добьемся успеха,— заявила Анна-Вероника.

В этот день жизнь казалась Анне-Веронике отважным и победоносным предприятием. Она трепетала от ощущения, что Кейпс тут, возле нее, и пылала героической любовью к нему; ей чудилось, что если бы они, соединив руки, толкнули Альпы, то наверное сдвинули бы с места горы. Она лежала и грызла веточку карликового рододендрона.

— Как это не добьемся? — повторила она.

5

Затем Анне-Веронике захотелось расспросить его о плане предполагаемого путешествия. Развернув на коленях складную карту Швейцарии, выпущенную издательством «Зигфрид», и скрестив ноги, он сидел словно индийский кумир, а она лежала ничком возле него и следила за каждым движением его пальца.

— Вот,— говорил он,— Блау-Зее, и мы здесь отдохнем до завтра. Я думаю, хорошо здесь отдохнуть до завтра.

Последовала короткая пауза.

— Что ж, местечко очень приятное,— сказала Анна-Вероника, перекусывая веточку рододендрона, причем на ее губах снова появился отблеск улыбки...— А потом куда? — спросила она.

— А потом мы отправимся к Эйшинен-Зее. Это озеро лежит между пропастями, и есть маленькая гостиница, где мы можем остановиться и обедать за столиком, откуда открывается чудесный вид на озеро. Там мы будем бездельничать несколько дней и бродить среди скал и деревьев. Там есть лодки, чтобы кататься по озеру, и темные ущелья, и сосновые чащи. Через день-другой, скажем, мы, быть может, совершим одну-две небольших экскурсии, посмотрим, как у тебя голова — не кружится ли, и попробуем немножко полазить; а потом поднимемся к одной хижине по тропе, которая проходит вот тут, затем двинемся на Блюмлисский ледник, он тянется отсюда вот сюда.

При этом слове она словно очнулась от каких-то грез.

— Ледники? — повторила она.

— Под Вильдефрау[1] — ее безусловно так назвали в твою честь.

Он наклонился, поцеловал ее волосы, потом заставил себя вернуться к карте.

— Мы как-нибудь отправимся в путь очень рано, и спустимся к Кандерштегу и будем подниматься вот так, зигзагами, тут и тут, и таким образом пройдем мимо Даубен-Зее к крошечной гостинице — где, наверное, еще нет туристов, и мы сможем быть совершенно одни — она стоит над извивающейся тропой такой крутизны, что трудно себе представить: тысячи футов извилин; и ты сядешь и будешь со мною завтракать и смотреть по ту сторону Ронской долины, а там откроются за синими далями синие дали, и ты увидишь Маттерхорн и Монте-Розу и длинную вереницу залитых солнцем и покрытых снегом гор. А как только мы их увидим, нам сейчас же захочется приблизиться к ним — так всегда бывает, когда видишь прекрасное,— и мы спустимся, как мухи по сте-

---

[1] Здесь: буйная женщина (*нем.*).

не, в Лейкербад, и пойдем на станцию Лейк, и поедем поездом по долине Роны и по боковой маленькой долине в Штальден; а там в прохладный предвечерний час мы поднимемся по дну ущелья, а под нами и над нами будут скалы и потоки, на полпути переночуем в гостинице и отправимся на другой день к Саас Фи, к Волшебному Саасу и Саасу Языческому. Возле Сааса опять будут снег и лед, и мы будем иногда бродить в окрестностях Сааса, среди утесов и деревьев, или заглядывать в часовни, а иногда уходить от людей и взбираться на ледники и снеговые вершины. И хоть один раз поднимемся по этой вот унылой долине к Маттмарку и все дальше, до Монте-Моро. Оттуда тебе по-настоящему откроется Монте-Роза. Это самая замечательная из вершин.

— Она очень красивая?

— Когда я увидел ее перед собой, она была очень красива. Изумительная. В своих сверкающих белых одеждах — прямо королева среди гор. Она высоко вздымалась в небо над тропой, на тысячи футов, безмолвная, белая, сверкающая, а внизу, на тысячи футов ниже, лежала пелена маленьких кудрявых облачков. И как раз когда я смотрел, облачка начали таять, открывая крутые длинные склоны, тянувшиеся все ниже, ниже, уже с травой и соснами, и еще ниже, ниже, и наконец в разрыве между облачками стали видны крыши, сверкавшие, как булавочные головки, и дорога, словно нитка белого шелка, — это Макуньона, она уже в Италии. Чудесный это будет день, он и должен быть таким, когда ты впервые увидишь Италию... Дальше мы не поедем.

— А мы не можем спуститься в Италию?

— Нет,— ответил он.— Сейчас это было бы преждевременно. Мы должны помахать рукой на прощание тем далеким голубым горам, вернуться в Лондон и работать.

— Но Италия...

— Италия — это когда девочка будет паинькой,— сказал он и на миг опустил свою руку на ее плечо.— Пусть надеется, что побывает в Италии.

— Слушай,— задумчиво отозвалась она,— а все-таки ты ведешь себя как хозяин, знаешь ли.

Эта мысль поразила его своей неожиданностью.

— Конечно, в этой экспедиции я антрепренер,— согласился он после некоторого раздумья.

Она скользнула щекой по сукну его рукава.

— Милый рукав,—сказала она и, дотянувшись до его руки, поцеловала ее.

— Ну вот! — воскликнул он.— Смотри! Разве ты не заходишь слишком далеко? Это... Это же упадок — ласкать рукава. Ты не должна делать такие вещи.

— Почему же?

— Ты свободная женщина, и мы равны.

— Нет, я могу это делать, на то моя воля,— возразила она, снова целуя ему руку.— Это еще пустяки в сравнении с тем, что я буду делать.

— Ну что ж,— согласился Кейпс несколько неуверенно,— если сейчас такая стадия...— Он наклонился и на миг оперся рукой о ее плечо; сердце его колотилось, нервы трепетали. Она лежала неподвижно, стиснув руки, темные спутанные волосы упали ей на лицо, и тогда он молча подвинулся к ней еще ближе и нежно поцеловал впадинку на шее...

6

Многое из того, что он наметил, было выполнено. Но лазили они по горам больше, чем он ожидал, ибо Анна-Вероника оказалась очень хорошей альпинисткой, настойчивой, сообразительной и смелой, но всегда готовой по его приказу соблюдать осторожность.

Одной из черт ее характера, больше всего удивлявших его, была способность к слепому повиновению. Анне-Веронике даже хотелось, чтобы он приказывал ей делать то или другое.

Он отлично знал горы, окружавшие Саас Фи; до этого он дважды приезжал в эти места, и было чудесно отделяться от плетущихся вразброд туристов, уходить вверх, в уединенные места, отдыхать на скалах, есть сэндвичи, беседовать друг с другом и вообще делать вместе то, что было немного трудно и опасно. А разговаривать им было интересно, и как будто ни разу слова и намерения одного не вызывали непонимание у другого. Они были ужасно довольны друг другом, находили друг друга неизмеримо лучше, чем предполагали вначале, хотя

бы просто потому, что слишком мало были знакомы. Любой разговор всякий раз кончался тем, что каждый из них поздравлял себя с этой встречей, причем настолько усердно, что если бы их подслушивал посторонний, ему бы эти утверждения порядком надоели.

— Ты... Я не знаю,— сказала как-то Анна-Вероника.— Ты великолепен.

— Дело не в том, что ты или я великолепны,— ответил Кейпс,— просто мы удивительно подходим друг к другу. Одному богу известно, почему. Во всех отношениях! Необычайное соответствие! Что дает его? Строение кожи и строение ума? Тело и голова? Не думаю, чтобы это была иллюзия, и ты тоже не думаешь... Если бы я никогда с тобой не встретился, а лишь в кусок твоей кожи была бы переплетена какая-нибудь книга,— я знаю, Анна-Вероника, что всегда держал бы ее где-нибудь поблизости... Все твои недостатки — они только придают тебе реальность и осязаемость.

— А недостатки и есть самое приятное,— продолжала Анна-Вероника,— ведь даже наши мелкие порочные влечения совпадают. Даже наша грубость.

— Грубость? — удивился Кейпс.— Мы же не грубые.

— А если бы и были? — отозвалась Анна-Вероника.

— Я могу говорить с тобой, а ты со мной без всякого усилия,— ответил Кейпс.— Все дело в этом. А это зависит от особенностей, крошечных, как диаметр волоса, и огромных, как жизнь и смерть... Человек всегда мечтает о такой близости и не верит, что она возможна. А если она осуществляется — это величайшая удача, самая необыкновенная, невероятная случайность. Большинство людей, да все, кого я знавал, словно сходились с иноземцами, ибо говорили на трудном, незнакомом языке, боялись того, что знало другое лицо, боялись его постоянно неверных оценок и возникающих недоразумений. И почему люди не умеют ждать? — добавил он.

Анна-Вероника в порыве присущего ей внутреннего прозрения ответила:

— Человек не может ждать.

Затем пояснила:

— Я бы не стала ждать. Некоторое время я, может быть, одурманивала бы себя. Но ты совершенно прав. Мне невероятно повезло, я упала на ноги.

— Мы оба упали на ноги! Мы — редчайший случай среди смертных! У нас все настоящее, между нами не существует ни компромисса, ни стыда, ни снисходительности. Мы не боимся, мы не терзаемся. Мы не изучаем друг друга — незачем. Что касается жизни в чехлах, как ты называешь ее, мы просто сожгли эти проклятые лохмотья! Мы — сильные.

— Сильные,— повторила, словно эхо, Анна-Вероника.

7

Когда они в тот день возвращались после очередного восхождения — они поднимались на Миттагхорн,— им пришлось пройти через группу блестящих, покрытых влагой скал между двумя травянистыми склонами, где следовало соблюдать осторожность. На уступах лежали обломки породы, они были неустойчивы, а в одном месте пришлось действовать не только ногами, но и руками. Кейпс и его спутница воспользовались веревкой — не потому, что без нее нельзя было обойтись, а потому, что для восторженно настроенной Анны-Вероники наличие этой связывавшей их веревки являлось приятным символом: в случае катастрофы, хотя возможность ее существовала очень отдаленно, веревка эта привела бы к смерти обоих. Кейпс двинулся первым, отыскивая опоры для ног, и там, где щели в краях напластований образовали некое подобие длинных человеческих следов, ставила ноги Анна-Вероника. Примерно на полпути, когда все, казалось, шло хорошо, Кейпсу вдруг суждено было испытать потрясение.

— Господи! — воскликнула Анна-Вероника с отчаянным испугом.— Боже мой! — И перестала двигаться.

Кейпс застыл, он прилип к скале. Но больше ничего не последовало.

— Все в порядке? — спросил он.

— Придется заплатить!

— Что?

— Я кое о чем забыла! Вот наказание!

— Что?
— Я обязана,— сказала она.
— Что ты говоришь?
— Вот чертовщина!
— Что? Чертовщина? Ну и выражаешься же ты!
— Как я могла забыть?
— Забыть о чем?
— А я еще сказала, что не желаю. Что не согласна. Сказала — лучше буду сорочки шить.
— Сорочки?
— Сорочки, по стольку-то за дюжину. О боже милостивый! Ты обманула, Анна-Вероника, ты обманула!
Наступило молчание.
— Может быть, ты объяснишь, что все это значит,— сказал Кейпс.
— Дело в сорока фунтах.
Кейпс терпеливо ждал.
— Вот дьявольщина... Извини, пожалуйста... Но тебе придется дать мне взаймы сорок фунтов.
— Прямо бред какой-то,— сказал Кейпс.— Может быть, влияет разреженный воздух? Я считал, что у тебя голова крепче.
— Нет! Я объясню внизу. Все в порядке. Продолжаем спуск. Просто я не знаю, каким образом совершенно забыла об одном обстоятельстве. Но, право же, все теперь в порядке. С этим можно еще чуточку подождать. Я заняла сорок фунтов у мистера Рэмеджа. Ты-то, слава богу, поймешь! Вот почему я порвала с Мэннингом... Все в порядке, иду. Но после всего, что произошло, у меня этот долг совершенно вылетел из головы... Потому он и был так раздражен, понимаешь?
— Кто был раздражен?
— Да мистер Рэмедж, из-за этих сорока фунтов.— Она сделала шаг и, словно вспомнив что-то, добавила: — Но ведь ты, милый, заставляешь забыть обо всем!

8

На другой день, сидя на высоких скалах, они говорили друг другу о своей любви, а под ними снежная круча нависала над бездонной трещиной, рассекавшей

восточный склон ледника Фии. Волосы Кейпса успели выгореть почти до белизны, а кожа стала медно-красной с золотистым отливом. Оба они сейчас были сильны и здоровы и в небывалой для них отличной спортивной форме. Юбки Анны-Вероники, которые она носила, когда они прибыли в долину Сааса, были давно уложены в чемодан и оставлены в гостинице, и теперь она ходила в широких бриджах, с широким кожаным поясом и крагах, причем все это гораздо больше подходило к ее стройной, длинноногой фигуре, чем дамское платье для улицы. Она отлично переносила сверкание снегов, только смуглый теплый тон кожи стал под альпийским солнцем чуть темнее. Анна-Вероника откинула голубую вуаль, сняла темные очки и, защищая глаза рукой и улыбаясь из-под нее, сидела, рассматривая сверкающие горные пики Ташхорна и До́ма, и синие тени, мягко округленные огромные снежные массивы, и глубокие впадины между ними, полные трепетного света. Безоблачное небо было лучезарно-синим.

Кейпс разглядывал ее, восхищаясь ею, а потом начал превозносить этот день, и их счастливую встречу, и их любовь.

— Вот мы оба, — начал он, — просвечиваем друг через друга, точно свет сквозь пыльное стекло. С этим горным воздухом в нашей крови, с этим солнечным светом, который пронизывает нас... Жизнь так прекрасна. Будет ли она когда-нибудь еще такой же прекрасной?

Анна-Вероника решительно протянула руку и сжала его локоть.

— Да, прекрасна! — отозвалась она.— Ослепительно прекрасна!

— А теперь взгляни на этот длинный снежный склон, а потом на это густо-синее пятно — видишь круглое озерцо во льду на тысячу футов или больше под нами? Да? И представь, что нам достаточно сделать десять шагов, лечь и обняться — видишь? — и мы стремительно скатимся вниз, в снежной пене, в облаке снега, чтобы бежать от всего в мечту. И весь короткий остаток нашей жизни мы были бы тогда вместе, Анна-Вероника. Каждое мгновение. И не боялись бы никаких неудач.

— Если ты будешь слишком сильно меня искушать, я это сделаю,— сказала она, помолчав.— Мне достаточно вскочить и кинуться на тебя. Я ведь отчаянная молодая особа. А пока мы будем катиться, ты начнешь объяснять и все испортишь... Ты же знаешь, что не хочешь этого.

— Нет, не хочу. Просто мне нравится это говорить.

— Еще бы! Но мне интересно, почему ты этого не хочешь?

— Потому, наверное, что жить еще лучше; какая же может быть еще причина? Жить сложнее, но лучше. Такой спуск был бы отчаянной подлостью. Ты это отлично знаешь, знаю и я, но мы, может быть, ищем оправдания. Мы совершили бы обман. Уплатить цену жизни и не жить! Да и кроме того... Мы будем жить, Анна-Вероника! Все устроится, устроится и наша жизнь. Иногда в ней будут огорчения, ни ты, ни я не думаем прожить без трудностей, но у нас есть голова, чтобы преодолевать их, и язык, чтобы говорить друг с другом. Мы не будем задерживаться на недоразумениях. Мы — нет. И мы будем бороться с этим старым миром там, внизу. С этим старым миром, который построил вон ту нелепую старую гостиницу и все прочее... Если мы не будем жить, мир решит, что мы боимся его... Умереть... Подумаешь! Нет, мы будем работать; каждый из нас будет расцветать рядом с другим; и у нас будут дети.

— Девочки! — воскликнула Анна-Вероника.

— Мальчики! — заявил Кейпс.

— И те и другие,— сказала Анна-Вероника.— Целая куча.

Кейпс засмеялся.

— Ах ты, хрупкая женщина!

— Не все ли равно, если они — это ты? — продолжала она.— Нежные, маленькие чудеса! Конечно, я хочу детей!

9

— Какими только вещами мы не будем заниматься,— сказал Кейпс,— чего только не будет в нашей жизни! Рано или поздно мы, конечно, сделаем что-нибудь с этими

тюрьмами, о которых ты говорила мне,— мы побелим изнанку жизни. Ты и я. Мы можем любить друг друга на снеговом пике, мы можем любить друг друга и над ведром с известкой. Любить везде... Везде! Лунный свет и музыка, знаешь ли, очень приятны, но, чтобы любить, они не обязательны. Мы можем в это время и препарировать акулу... Ты помнишь первый день, проведенный со мной? В самом деле помнишь? Запах разложения и дешевого метилового спирта!.. Родная! Сколько у нас было замечательных минут! Я постоянно перебирал в памяти часы, проведенные вместе, темы, на которые мы говорили, — точно перебирал бусины четок. А теперь этих бусин целый бочонок, как в трюме у купца, торгующего с Западной Африкой. Кажется, будто в ладони зажато слишком много золотого песка. И не хочешь упустить ни песчинки. И все-таки часть... часть неизбежно ускользает между пальцев.

— А мне не жалко, пусть,— отозвалась Анна-Вероника.— Меня не интересуют воспоминания. Меня интересуешь ты. Эта минута — самая лучшая, пока не настанет следующая. Вот как я это понимаю. И зачем нам копить воспоминания? Мы не собираемся погаснуть сейчас, как японские фонарики на ветру. Их оберегают бедняги, которые знают, что скоро конец, и не в силах поддержать огонь, вот они и цепляются за придорожные цветочки. И засушивают их на память в книжечках. Но увядшие цветы не для таких, как мы. Минуты, скажешь тоже! Наша любовь всегда свежа. И это не иллюзия для нас. Мы просто любим друг друга — каждый любит другого, реального, неизменяющегося — все время.

— Реального, неизменяющегося,— повторил Кейпс и слегка прикусил кончик ее мизинца.

— Пока иллюзий нет, насколько мне известно,— сказала Анна-Вероника.

— Я не верю, чтобы они могли быть. А если и есть, то это просто чехлы, под ними скрыто лучшее. У меня такое чувство, как будто я только начал узнавать тебя два дня назад или около того. Ты все больше становишься настоящей, хотя уже и вначале казалась совсем настоящей. Ты... молодчина!

10

— И подумать только,— воскликнул он,— ведь ты на десять лет моложе меня!.. А мне иногда кажется, что я просто младенец, сидящий у твоих ног,— юное, глупое создание, нуждающееся в защите. Знаешь, Анна-Вероника, твоя метрика — ложь, фальшивка и надувательство. Ты из бессмертных. Бессмертных! Вначале была ты, и все люди на земле, познавшие, что такое любовь, боготворили тебя. Ты обратила и меня в свою веру. Ты мой дорогой дружок, ты стройная девочка, но в иные мгновения, когда моя голова лежала у тебя на груди и твое сердце билось возле моего уха, ты казалась мне богиней и я жаждал быть твоим рабом, желал, чтобы ты меня убила за радость быть убитым тобою. Ты — Великая Жрица Жизни...

— Твоя жрица...— мягко прошептала Анна-Вероника.— Глупая маленькая жрица, которая совсем, совсем не знала жизни, пока не встретилась с тобой.

11

Некоторое время они сидели молча, без слов, точно замкнутые в огромную сияющую вселенную взаимного восхищения.

— Что ж,— наконец сказал Кейпс,—пора спускаться, Анна-Вероника.— Жизнь ждет нас.

Он встал, дожидаясь, когда она поднимется.

— Боги! — воскликнула Анна-Вероника, продолжая сидеть.— Подумать только, что и года не прошло, как я была злой девчонкой-школьницей; растерянная, недоумевающая, смущенная, я не понимала, что великая сила любви прорывается сквозь меня! Все эти приступы невыразимой неудовлетворенности — только родовые муки любви. Мне казалось, будто я живу в каком-то замаскированном мире. Словно у меня на глазах повязка, словно я опутана густой паутиной и она застилает мне глаза. Забивает рот. А теперь... Милый! Милый! Ко мне с высоты сошел рассвет. Я люблю. Я любима. Мне хочется кричать! Мне хочется петь! Я так рада! Я рада, что живу на свете, рада оттого, что ты живешь. Рада, что я женщина, потому что ты мужчина! Я рада! Рада! Рада! Благодарю

бога за жизнь и за тебя. Благодарю его за солнечный свет на твоем лице. Благодарю бога за мою красоту, если ты любишь ее, и за недостатки, если ты любишь их. Благодарю бога за кожу, которая лупится у тебя на носу, за все великие и малые черты, которые делают нас такими, какие мы есть. Все это — милость! О любимый! Вся радость и все слезы человеческой жизни смешались сейчас во мне и стали благодарностью. Никогда новорожденная стрекоза, впервые развернувшая утром крылья, не испытывала такой радости, как я!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ

1

Спустя четыре с лишним года, а точнее — четыре года и четыре месяца, мистер и миссис Кейпс стояли рядом на старинном персидском ковре, служившем каминным ковриком в столовой квартиры Кейпсов, и рассматривали обеденный стол, празднично накрытый на четыре персоны, освещенный искусно затененными электрическими лампочками, отблеск которых вспыхивал то тут, то там на серебре, и убранный изящно и просто душистым горошком. За это время Кейпс почти не изменился, только в одежде появилась элегантность, но Анна-Вероника выросла на полдюйма; лицо ее стало мягче и энергичнее, шея крепче и полнее, и держалась она гораздо женственнее, чем в дни ее мятежа. Теперь она была настоящей женщиной до кончика ногтей; четыре года с четвертью тому назад она простилась в старом саду со своим девичеством. На ней было простое вечернее платье из кремового шелка, с кокеткой из старинной потемневшей вышивки, подчеркивавшей мягкую строгость ее стиля, темные волосы ее были откинуты со лба и чуть стянуты простой серебряной лентой. Серебряное ожерелье подчеркивало смуглую красоту ее шеи. Муж и жена держались с напускной непринужденностью в присутст-

вии расторопной горничной, еще что-то расставлявшей в буфете.

— Как будто теперь все в порядке,— сказал Кейпс.

— По-моему, везде порядок,— отозвалась Анна-Вероника, окидывая комнату взглядом способной, но не очень ретивой хозяйки.

— Интересно, изменились ли они? — задала она в третий раз тот же вопрос.

— Ну, тут я уж ничего не могу сказать, — ответил Кейпс.

Он прошел под широкой аркой с темно-синим занавесом в другую часть комнаты, служившую гостиной, Анна-Вероника, еще раз проверив обеденную сервировку, последовала за мужем, шурша платьем, остановилась рядом с ним у высокой медной каминной решетки, коснулась двух-трех безделушек, стоявших на весело горевшем камине.

— Мне все еще кажется чудом то, что мы будем прощены,— сказала она, поворачиваясь к нему.

— Вероятно, я очаровал их. Но он, право же, очень хороший человек.

— Ты сказал ему про регистрацию?

— Ну-у... конечно, не с таким воодушевлением, как про пьесу.

— Ты по вдохновению решил объясниться с ним?

— Я чувствовал, что это — нахальство. Мне кажется, я вообще становлюсь нахальным. Я и близко не подходил к Королевскому обществу с тех пор... с тех пор, как ты меня подвергла немилости. Что это?

Они оба прислушались. Но это были не гости, а всего-навсего горничная, ходившая по холлу.

— Удивительный ты человек! — успокоившись, сказала Анна-Вероника и провела пальцем по его щеке.

Кейпс сделал быстрое движение, словно желая куснуть дерзкого пришельца, но тот отступил к Анне-Веронике.

— Я ведь серьезно заинтересовался его материалом. И я уже начал беседовать с ним, до того как прочел его фамилию на карточке возле вереницы микроскопов. А затем я, конечно, продолжал разговор. Он... он не слиш-

ком высокого мнения о своих современниках. Разумеется, он и понятия не имел о том, кто я.

— Но как же ты сказал ему? Ты никогда подробно не говорил мне. Это была, наверное, все же странная сцена?

— Постой, дай вспомнить. Я сказал, что не бываю на вечерах Королевского общества вот уже четыре года, и заставил рассказать мне о новых работах менделистов. Он любит менделистов, так как ненавидит прославленных ученых восьмидесятых и девяностых годов. Потом я, кажется, заметил, что значение науки позорно недооценивается, и признался, что мне самому пришлось заняться более выгодной деятельностью. «Дело в том,— продолжал я,— что я новый драматург — Томас Моур. Может быть, вы слышали о таком?» И представь, он слышал.

— Вот что делает слава.

— А то как же! «Я,— говорит,— не видел вашей пьесы, мистер Моур, но мне рассказывали, что это одна из самых занятных пьес современности. Один мой друг, Огилви» — вероятно, тот самый «Огилви и компания», ну, специалист по разводам, помнишь, Ви? — «Очень хвалил ее... очень хвалил!»

Кейпс, улыбаясь, заглянул ей в глаза.

— У тебя, оказывается, необыкновенно хорошая память на похвалы,— сказала Анна-Вероника.

— Еще не привык к ним. Ну, а после этого уже было легко. Я тут же бесстыдно заявил ему, что получу за пьесу десять тысяч фунтов. Он согласился, что это бессовестная цена. Затем я решил подготовить его довольно-таки дерзким способом.

— А как? Изобрази.

— Я не могу быть дерзким, дружок, когда ты рядом. Это моя обратная сторона луны. Но я говорил дерзко, уверяю тебя. «Моя фамилия не Моур, мистер Стэнли,— сказал я.— Это мой псевдоним».

— Вот как?

— По-видимому, так, и продолжал, незаметно переходя на sotto voce: «Дело в том, сэр, что я являюсь вашим зятем, Кейпсом. И мне очень хотелось бы, чтобы

вы согласились как-нибудь вечером у нас отобедать. Моя жена была бы очень счастлива».

— И что же он ответил?

— Что может ответить человек, когда его приглашают обедать вот так, прямой наводкой? Он не успевает опомниться. «Она все время думает о вас»,— добавил я.

— И он покорно согласился?

— Фактически да. А что еще ему оставалось делать? Нельзя же устраивать скандал под влиянием минуты, если перед человеком происходит коллизия столь противоречивых ценностей. А я держался с уверенностью человека, для которого все это — совершенно бесспорная действительность. Так что же он мог поделать? И как раз в эту минуту небо послало мне старого Моннингтри. Я не говорил тебе о том, как удачно тогда вмешался Моннингтри, верно? Он выглядел адски изысканно, с широкой малиновой лентой через плечо. А что означает малиновая лента? Наверное, какое-нибудь рыцарское отличие. Он и есть рыцарь. «Ну, молодой человек,— сказал он,— что-то вас давно не видно?» И заговорил насчет «Бейтсона и К°» — он ведь яростный антименделист,— что они настаивают на своем. И вот я стремглав представил его своему тестю. Я выказал большую решительность. И, на самом деле, это Моннингтри убедил твоего отца. Он...

— А вот и они! — сказала Анна-Вероника, так как у входной двери раздался звонок.

2

Молодая пара встретила своих гостей в красивом маленьком холле и приветствовала их с искренней радостью. Мисс Стэнли, сбросив черную накидку, оказалась в скромном и полном достоинства туалете из коричневого шелка; она горячо обняла Анну-Веронику.

— День такой ясный и холодный, — сказала она.— А я боялась, что будет туман.

Присутствие горничной обязывало к сдержанности. От тетки Анна-Вероника перешла к отцу, обняла его и поцеловала в щеку.

— Милый старенький папочка! — сказала она и сама себе удивилась, заметив, что на глазах у нее выступи-

ли слезы. Она постаралась скрыть свое волнение, помогая ему снять пальто.

— А это и есть мистер Кейпс? — услышала она голос тетки.

Вчетвером, слегка волнуясь, они перешли в гостиную, все еще сохраняя какую-то нервную любезность и в тоне и в жестах. Мистер Стэнли слишком усердно потирал руки, стараясь согреть их.

— Совершенно необычные холода для этого времени года,— сказал он.

— Все будет хорошо, я уверена,— прошептала мисс Стэнли Кейпсу, когда он усаживал ее на диванчик перед камином. И она замурлыкала что-то успокаивающее.

— Ну-ка, дай на себя посмотреть, Ви,— сказал мистер Стэнли с неожиданной мягкостью и поднялся, все еще потирая руки.

Анна-Вероника, зная, что платье ей идет, присела перед отцом.

К счастью, им больше некого было ждать, и то, что она так быстро распорядилась насчет обеда, доставило ей большое удовольствие. Кейпс стоял рядом с мисс Стэнли, которая так и сияла от радости, а мистер Стэнли, стараясь делать вид, что он ничуть не смущен, предпочел один отойти к камину.

— Вы легко нашли нашу квартиру? — спросил Кейпс, когда воцарилось молчание.— Номера в подворотне довольно трудно разобрать. Там следовало бы повесить лампочку.

Мистер Стэнли ответил, что нет, никаких трудностей не было.

— Кушать подано, мэм,— появившись под аркой, объявила расторопная горничная, и теперь самое сложное было позади.

— Пойдем, папочка,— сказала Анна-Вероника, идя вслед за мужем и мисс Стэнли, и от полноты сердца стиснула отцовский локоть.

— Превосходный парень,— заявил он довольно непоследовательно.— Я сначала не понимал, Ви.

— Прелестная квартирка! — восхищалась мисс Стэнли.— Прелестная! Все так красиво и удобно!

Обед прошел превосходно: все кушанья удались, начиная с золотистого и совершенно прозрачного бульона

и до вкуснейших замороженных каштанов со сливками; и мисс Стэнли от отдельных похвал перешла к одобрению их жизни в целом. Между Кейпсом и мистером Стэнли возник оживленный разговор, и обе дамы, слушая их, тактично умолкли. Мужчины раз или два приближались к опасной теме менделизма, но тут же осторожно уклонялись от нее; разговор шел преимущественно об искусстве и литературе и о существующей в Англии цензуре театральных пьес. Мистер Стэнли был склонен считать, что цензуру следовало бы распространить и на то, что он назвал современными романами; вместо хороших, здоровых историй появляется всякая «порочная, развращающая чепуха», от которой остается «неприятный осадок». А по его мнению, никакая книга не может быть признана хорошей, если после нее остается неприятный осадок, какой бы интересной и захватывающей она ни казалась во время чтения. Он не любит, продолжал мистер Стэнли многозначительно, чтобы ему напоминали о книгах и об обедах, когда он с ними покончил. Кейпс охотно с ним согласился.

— В жизни и так слишком много огорчительного, а тут еще эти романы.

На время внимание Анны-Вероники было отвлечено теткой, которой очень понравился соленый миндаль.

— Удивительно вкусен,— сказала тетка.— Исключительно!

Когда Анна-Вероника снова прислушалась к разговору мужчин, они уже обсуждали обесценивание домов и участков в результате все усиливающегося шума от движения в Вест-Энде и согласились друг с другом, что оно принимает угрожающие размеры. А ей вдруг представилось, что она видит какой-то необычно фантастический сон, и эта мысль глубоко взволновала ее. Отец почему-то казался менее значительным человеком, чем она ожидала, и вместе с тем почему-то все же привлекательным. С галстуком он, как видно, поладил не сразу; а надо было после первых неудач надеть другой. Зачем она все это отмечает? Кейпс как будто вполне владеет собой, усиленно старается быть простодушным и искренним, но она знала по его случайным неловкостям, по чуть приметному оттенку вульгарности в его необходимом гостеприимстве, что он нервничает. Ей хотелось,

чтобы он покурил и немножко успокоился. Ее охватил внезапный и невольный порыв нетерпения. Ну, слава богу, дошли до фазанов, скоро ему можно будет и покурить. А чего же, собственно, она ждала? Надо покрепче держать себя в руках.

Лучше, если бы отец и тетка не наслаждались обедом с такой спокойной обстоятельностью. Лица отца и мужа, несколько побледневшие при встрече, теперь слегка покраснели. И зачем только людям надо поглощать пищу!

— Могу сказать,— начал отец,— что я за последние двадцать лет прочел добрую половину всех романов, которые пользовались успехом. Моя порция — три романа в неделю, а если они короткие, то и четыре. Отношу их по утрам на Кэннон-стрит и захватываю с собой, когда возвращаюсь.

Анна-Вероника подумала, что раньше отец никогда не обедал вне дома и что она никогда не интересовалась его жизнью, как жизнью равного ей человека. С Кейпсом он держался чуть ли не почтительно, а в былые времена она никогда не видела, чтобы он держался с кем-нибудь почтительно. Она даже предполагать не могла, что обед этот будет таким странным. Она словно переросла отца, стала в чем-то старше его, ее горизонт бесконечно раздвинулся, и если раньше отец представлялся ей в виде плоской, двухмерной фигуры, то теперь она как бы увидела его с обратной стороны.

Она почувствовала огромное облегчение, когда наконец наступила желанная пауза и она получила право сказать: «Ну что же, тетечка...» — и, приподняв занавес, пропустить тетку под арку. Мужчины тоже встали, и отец хотел двинуться к занавесу. Она поняла, что он из тех людей, о которых не слишком заботятся во время обедов. А Кейпс сказал себе, что его жена — исключительно красивая женщина. Он извлек из буфета серебристую коробку с сигарами и сигаретами, поставил перед тестем, и некоторое время они были заняты подготовкой к курению. Затем Кейпс стремительно подошел к камину, помешал угли, выпрямился и обернулся.

— Анна-Вероника очень хорошо выглядит, правда? — сказал он, слегка смутившись.

— Очень,— отозвался мистер Стэнли.— Очень.

И с удовольствием расколол орех.

— Жизнь... обстоятельства... Я думаю, что теперь ее планы на будущее... Можно надеяться. Вы оказались в трудном положении,— добавил мистер Стэнли и смолк, опасаясь, не сказал ли он лишнего. Он посмотрел на свой портвейн, как будто мог найти ответ в золотисто-красной жидкости.— Все хорошо, что хорошо кончается,— добавил он,— и чем меньше говорить о таких вещах, тем лучше.

— Разумеется,— согласился Кейпс и нервным движением бросил в камин только что раскуренную сигару. Он нервничал.— Налить вам еще портвейну, сэр?

— Очень хорошая марка,— с достоинством кивнул мистер Стэнли.

— Мне кажется, Анна-Вероника еще никогда так хорошо не выглядела,— заметил Кейпс, все еще следуя плану намеченного разговора, хотя собеседник и уклонился от этой темы.

3

Наконец вечер кончился, и Кейпс с женой спустились вниз, посадили мистера Стэнли и его сестру в такси и, стоя на каменных ступеньках, приветливо помахали им.

— Оба они прелесть,— заметил Кейпс, когда такси скрылось из виду.

— Правда ведь? — задумчиво отозвалась Анна-Вероника после паузы.— Они очень изменились,— добавила она.

— Пойдем, а то холодно,— сказал Кейпс, беря ее под руку.

— Знаешь, они стали как-то меньше, даже ростом меньше,— продолжала Анна-Вероника.

— Это ты переросла их... А твоей тете понравились фазаны.

— Ей все понравилось. Ты слышал, как мы в гостиной говорили о кулинарии?

Они молча поднялись на лифте.

— Как странно,— сказала Анна-Вероника, входя в квартиру.

— Что странно?

— Все...

Она зябко поежилась, подошла к камину и поворошила угли. Кейпс сел рядом в кресло.

— Жизнь — ужасно странная штука...— Она опустилась на колени и стала смотреть на пламя.— Неужели и мы станем когда-нибудь такими же, как они?

Она обратила к мужу озаренное пламенем лицо.

— Ты ему сказал?

Кейпс чуть улыбнулся.

— Сказал.

— Как?

— Ну... довольно неловко.

— Но как?

— Я налил ему еще портвейну и сказал... Подожди, дай вспомнить... Ага! «Вы скоро станете дедушкой».

— Так. А он обрадовался?

— Отнесся спокойно. Спросил, не будешь ли ты недовольна, что я сказал?

— Нисколько.

— А потом добавил: «У бедной Алисы куча детей...»

— Алиса совсем другая, нежели я,— отозвалась Анна-Вероника, помолчав.— Совсем другая. Она не сама выбирала себе мужа... Что ж... а я сообщила тете... И, знаешь, супруг мой, мы, кажется, преувеличили эмоциональные возможности наших... наших дорогих родичей.

— И как же твоя тетя приняла эту новость?

— Она даже не поцеловала меня. Она... она ответила...— Анна-Вероника снова зябко поежилась.— «Надеюсь, милочка, это не осложнит твою жизнь...» Примерно так. «Но чем бы ты ни занималась, не забывай ухаживать за своими волосами». Мне кажется, судя по ее тону, что она считает это с нашей стороны несколько неделикатным, если учесть все обстоятельства; но она старалась подойти к делу практически, выразить нам сочувствие, встать на нашу точку зрения.

Кейпс посмотрел на лицо жены. Она не улыбалась.

— Твой отец,—сказал он,—заметил, что все хорошо, что хорошо кончается, и кто прошлое помянет, тому глаз вон. Таково его отношение. И потом заговорил о прошлом даже с отеческой добротой...

— А у меня сердце болело за него!

— О, конечно, тогда это его сразило. Должно было сразить.

— Может быть, мы могли бы и отказаться ради них?

— Неужели могли бы?

— Я тоже считаю, действительно хорошо все то, что хорошо кончается. А вот как насчет сегодняшнего вечера, не знаю.

— Я тоже. Я рад, что былая боль смягчилась. Ну, а если бы мы не выплыли?

Они молча посмотрели друг на друга, и Анна-Вероника заявила в порыве присущей ей прозорливости:

— Мы не из породы тех, кто тонет. — И заслонила лицо руками так, что отблески огня исчезли из ее глаз.— Мы утвердились в жизни давно, и мы народ крепкий! Да, крепкий!

— Знаешь, милый, — продолжала она, — подумать только, это мой отец! Ведь он нависал надо мной, как утес; мысль о нем чуть не заставила меня отказаться от всего, чего мы достигли. Он воплощал в себе весь социальный строй, закон и мудрость. И вот они явились к нам и рассматривают нашу мебель: хороша ли она; и они не рады, их не интересует, что мы наконец-то, наконец можем позволить себе иметь детей.

Анна-Вероника откинулась назад и, сидя на корточках, вдруг расплакалась.

— Ах, любимый мой! — воскликнула она и вдруг, став на колени, бросилась в объятия своего мужа.— А помнишь, как мы там любили друг друга? Как сильно мы любили? Помнишь, какой свет был во всем, какое великолепие? Я жажду, я жажду! Я хочу детей, как хотела тех гор и жизни, подобной небу. О... о! И любви, любви! Нам было так чудесно вдвоем, а потом мы боролись с жизнью и победили. А теперь словно лепестки опадают с цветка! О милый, я любила любовь! Я любила любовь, и тебя, и твое великолепие. А теперь то великое время прошло, и мне надо быть осторожной, и носить детей, и... ухаживать за своими волосами, и когда я со всем этим покончу, я уже буду старухой. Красные лепестки опали, лепестки, которые мы так любили. Мы стали благоразум-

ными, и у нас вся эта мебель и—успех! Успех! Но вспомни горы, милый! Мы никогда не забудем гор, никогда!.. Этот сверкающий снежный склон и как мы говорили о смерти! И мы готовы были тогда умереть! И даже когда мы состаримся и разбогатеем, мы будем помнить те дни, когда нам ничего не было нужно, кроме радости быть вместе, и мы всем рисковали друг ради друга, и казалось, что с жизни сорваны все чехлы и покровы и остались только ее свет и пламя. *Сила и сила!* Ты помнишь все, что было тогда?.. Скажи, что никогда не забудешь! Что эти будничные и второстепенные вещи никогда не возьмут верх над нами. А лепестки? Мне весь вечер хотелось плакать, оплакивать на твоем плече мои лепестки! Лепестки!.. Глупая женщина!.. Никогда раньше мне не хотелось вдруг заплакать...

— Жизнь моя! Сердце мое! — прошептал Кейпс, прижав ее к себе.— Я знаю. Я понял тебя.

1909

История мистера Полли

ГЛАВА I

НАЧАЛО. ПОРТ-БЭРДОКСКИЙ ПАССАЖ

1

— Дыра! — в сердцах воскликнул мистер Полли.— Гнусная дыра! — повторил он, еще больше раздражаясь. И, помолчав немного, разразился одной из своих непонятных присказок: — О мерзкая, проклятая, хрипучая дыра!

Мистер Полли сидел на ступеньке перелаза — вокруг него тянулись голые поля — и жестоко страдал от несварения желудка. В эту пору своей жизни он почти каждый день страдал от несварения желудка, а так как склонности к самоанализу он не имел, то проецировал внутреннее свое расстройство на внешний мир. Каждый день он заново открывал, что жизнь вообще и во всех частных проявлениях — мерзкая штука. И сегодня, соблазненный обманчивой синевой неба, которое было синим, потому что в восточном ветре уже чувствовалось дыхание весны, он вышел прогуляться, чтобы немного разогнать сплин. Но таинственная алхимия духа и тела сделала свое, и чары весны оказались над ним бессильны.

Настроение у него испортилось еще дома. Началось с того, что он никак не мог найти свою кепку. Он хотел надеть новую кепи-гольф, а миссис Полли взяла и подсунула ему его старую шляпу из коричневого фетра. И еще сказала при этом с притворной радостью: «Да вот же она!»

Он в это время рылся в газетах под кухонным столом; прекратив поиски, он доверчиво взял то, что ему протягивали. Надел на голову. Как будто что-то не то. Конечно, не то!

Поднес дрожащую руку к убору на голове, натянул его поглубже, сдвинул на один бок, потом на другой.

И только тогда понял всю глубину нанесенного ему оскорбления. Устремив на жену из-под полей шляпы, прикрывшей зловеще нахмуренный лоб, взгляд, полный негодования, он прошипел осипшим от ярости голосом:

— Ты, видно, думаешь, я век буду носить это воронье гнездо! Никогда больше не надену эту мерзкую шляпу, так и знай! Она мне осточертела! Мне все здесь осточертело! Проклятая шляпа!

Дрожащей рукой он сдернул шляпу с головы и, повторив со злостью: «Проклятая шляпа!» — швырнул ее на пол и поддал ногой так, что она пролетела через всю кухню, хлопнулась о дверь и упала с оторванной лентой на пол.

— Буду сидеть дома! — рявкнул он и, сунув руки в карманы сюртука, обнаружил в правом пропавшее кепи.

Ничего не оставалось, как молча пойти к выходу и, хлопнув дверью, удалиться.

— Хорош! — обращаясь к наступившей вдруг тишине, проговорила миссис Полли, поднимая с полу и отряхивая злополучную шляпу.— Совсем спятил! Сил моих больше нет!

И с явной неохотой, как и подобает глубоко оскорбленной женщине, начала убирать со стола немудреные принадлежности их недавней трапезы, чтобы незамедлительно приняться за мытье посуды.

Завтрак, который миссис Полли подала мужу, заслуживал, по ее мнению, большей благодарности. Холодная свинина, оставшаяся от воскресенья, несколько картофелин, пикули, которые ее супруг обожал, три корнишона, две луковицы, небольшая головка цветной капусты и несколько каперсов — все это он съел с аппетитом, если не сказать с жадностью. Потом был пудинг на сале и патоке, добрый кусок сыру с белой коркой (с красной мистер Полли считал вредным). Еще он съел три здоровенных ломтя серого хлеба. И запил все чуть ли не

целым кувшином пива. Но что поделаешь, на некоторых людей не угодишь!

— Совсем спятил! — повторила миссис Полли единственное пришедшее ей в голову объяснение буйного поведения мужа, соскабливая над раковиной засохшую горчицу с его тарелки.

А мистер Полли сидел тем временем на ступеньке перелаза и люто ненавидел жизнь, которая была в одном слишком к нему добра, а в другом скаредна. Он ненавидел Фишбурн, ненавидел в Фишбурне Хай-стрит, ненавидел свою лавку, жену, всех своих соседей, но больше всего он ненавидел самого себя.

— Зачем только я забрался в эту мерзкую дыру? — воскликнул он.— Зачем?

Мистер Полли сидел на ступеньке перелаза, поглядывая вокруг, и таков уж был дефект его зрения, что весь мир представлялся ему в черном свете: набухшие почки казались сморщенными и пожухлыми, солнечные лучи отливали металлическим блеском, а тени выглядели уродливыми чернильными пятнами.

Строгий моралист увидел бы в нем пример злостной мизантропии, но моралисты, как правило, забывают о влиянии внешней среды, если считать таковой недавнюю трапезу мистера Полли. Питие наши наставники и по сей день в отношении и качества и количества подвергают суровому осуждению, но никто, ни церковь, ни государство, ни школа, палец о палец не стукнут, чтобы оградить человека и его желудок от посягательств жены с ее обедами, завтраками и ужинами. Почти каждый день в послеобеденные часы мистер Полли испытывал жгучую ненависть ко всему миру, не подозревая, что кажущееся неустройство внешнего мира является проекцией того ужасного беспорядка, который царит внутри него самого и который я столь тонко и деликатно описываю. Жаль, что люди непрозрачны. Будь, например, мистер Полли прозрачен или если бы он хоть немного просвечивал, тогда, возможно, узрев внутри себя настоящую Лаокоонову борьбу, он понял бы, что он не столько живое существо, сколько арена военных действий.

Удивительное зрелище открылось бы ему. Поистине удивительное! Вообразите себе управляемый нерадивыми

властями промышленный город во время депрессии: на улицах митинги, там и сям возникают столкновения, заводы и транспорт бастуют, силы закона и порядка снуют туда и сюда, пытаясь утихомирить взбудораженный город, власть то и дело переходит из рук в руки, звучит «Марсельеза», грохочут по булыжнику телеги с осужденными на казнь...

Не понимаю, почему восточный ветер так плохо действует на людей с расстроенным пищеварением. Мистеру Полли казалось, что собственная кожа ему тесна, что зубы у него вот-вот выпадут, что на голове у него не волосы, а солома...

Почему медицина до сих пор не нашла средства против восточного ветра?

— Вспоминаешь про парикмахера только когда зарастешь до неузнаваемости,— простонал мистер Полли, разглядывая свою тень.— О жалкий, обшарпанный веник!

И он принялся яростно приглаживать торчащие в разные стороны патлы.

2

Мистеру Полли было ровно тридцать семь с половиной лет. Невысокого роста, плотный, с некоторой склонностью к полноте, он обладал чертами лица, не лишенными приятности, хотя, пожалуй, нижняя часть была несколько тяжеловатой, а нос чуть более заострен, нежели полагается носу классической формы. Углы его чувственного рта были уныло опущены, глаза — карие с рыжинкой и печальные, причем левому, более круглому, чем его собрат, было свойственно и более удивленное выражение. Цвет лица у мистера Полли желтоватый, болезненный, что, вероятно, объясняется происходящими в нем вышеупомянутыми беспорядками. Он был, говоря профессиональным языком, отлично выбрит, если не считать небольшого островка растительности под правым ухом и царапины на подбородке. Выдавая глубокую неудовлетворенность мистера Полли всем и вся, лоб его пересекали морщинки, мелкие складки и одутловатости, особенно над правым глазом. Он сидел на ступеньке перелаза, чуть подавшись вперед и покачивая одной ногой.

— Дыра! — опять произнес он. И тут же затянул дрожащим голосом: — Па-аршивая, ме-ерзкая, глупая дыра!

Конец речитатива, произнесенный осипшим от злости голосом, я не решаюсь привести из-за несколько неудачного подбора эпитетов.

На нем был черный поношенный сюртук, жилет с отстающей кое-где тесьмой, воротничок с высоко торчащими уголками из запасов лавки, так называемый «взмах крыла»; он носил этот воротничок и новый, яркий галстук, повязанный свободным узлом, чтобы привлекать покупателей, ибо его лавка торговала принадлежностями мужского туалета. Надвинутое на один глаз кепи-гольф, также из лавочных запасов, придавало его унылой фигуре какую-то отчаянную удаль. На ногах были коричневые ботинки, потому что мистер Полли не выносил запаха черного гуталина.

Все-таки, пожалуй, не только несварение желудка было повинно в страданиях мистера Полли.

На это имелись и другие причины, не столь явные, но очень серьезные. Образование, которое получил мистер Полли, породило в нем убеждение, что арифметика — это наука для тех, кому везет, и что в практических делах ее лучше избегать. Но даже отсутствие бухгалтерского учета и полное неумение отличить основной капитал от прибыли не могли долго скрывать от него тот факт, что лавка на Хай-стрит висит на краю банкротства. Отсутствие доходов, сокращение кредита, пустая касса — как ни улыбайся, как ни делай хорошей мины, от этих зловещих признаков никуда не уйти. С утра и до обеда и к вечеру после чая, когда голова забита тысячью дел, можно забыть о черной туче несостоятельности, нависшей на жизненном горизонте, но в послеобеденные часы, когда все силы уходят на невидимые битвы во чреве, с беспощадной ясностью начинаешь сознавать убогую неприглядность жизни и волей-неволей впадаешь в уныние. Позвольте мне поведать вам историю мистера Полли от колыбели до нынешнего плачевного состояния.

«Сперва младенец, орущий громко на руках у мамки»[1].

[1] *Шекспир «Как вам это понравится», акт 2, сцена 7.*

Было время, когда два человека считали мистера Полли самым удивительным и прелестным созданием в мире; они целовали его пальчики, ласково сюсюкали над ним, восхищались его шелковистыми волосиками, умилялись его лепету, спорили, что означают издаваемые им звуки, случайное «па-па-па-па» или сознательное «папа», с восторгом и обожанием купали его, заворачивали в мягкие теплые одеяльца и осыпали поцелуями. Сказочной была та жизнь тридцать четыре года назад, но милостивое время стерло даже воспоминания о ней, так что мистер Полли, к счастью, не мог сравнить свое теперешнее существование с теми лучезарными днями, когда мгновенно исполнялись все его прихоти. Те два человека боготворили его персону от маковки до пяточек его бесценных ножек и, что было весьма неблагоразумно, без конца пичкали его всевозможными кушаньями. Но ведь никто никогда не учил его маму воспитывать детей, разве только нянька или горничная даст время от времени тот или иной ценный совет, поэтому к пятой годовщине рождения мистера Полли безупречный ритм его новенького организма оказался слегка разлаженным...

Его мать умерла, когда ему исполнилось семь лет. А сам он начал отчетливо помнить себя с тех пор, как стал ходить в школу.

Мне припоминается одна картина, на которой изображена женщина, олицетворяющая собой, как я решил, Просвещение, но, возможно, художник хотел изобразить аллегорическую фигуру Империи, наставляющую своих сынов. По-моему, эта картина украшает стену одного общественного здания не то в Бирмингеме, не то в Глазго, но может быть, я и ошибаюсь. Я хорошо помню величественную фигуру этой женщины, склонившейся над детьми, ее мудрое и мужественное лицо. Рука ее простерта к горизонту. Жемчужные тона неба передают тепло летнего утра, и вся картина словно озарена прекрасными, одухотворенными личиками детей, помещенных на переднем плане. Вы чувствуете, что женщина рассказывает детям о великих перспективах, которые сулит им жизнь, о морских просторах и горных вершинах, что им предстоит увидеть, о том, какую радость и гордость приносят человеку знания и мастерство, о почестях

и славе, которые их ожидают. Возможно, она шепнула им и о великом, непостижимом таинстве любви, открывающемся лишь тому, кто чист сердцем и умеет прощать... И уж, конечно, она не забыла сказать о том великом наследии, которое уготовано им, английским детям, чьи отцы управляют одной пятой человечества, об их долге быть лучше всех и делать все лучше других, о долге, который налагает на них Британская империя, о врожденном рыцарском благородстве, сдержанности чувств, милосердии и разумной силе — словом, о тех качествах, которые отличают рыцарей и королей...

Просвещение, которому подвергся мистер Полли, несколько отличалось от изображенного на этой картине. Сперва он ходил в казенную школу, которая так мало платила учителям, оберегая карманы налогоплательщиков, что хороших учителей в ней не было; ему задавали задачи, которых он не понимал и которые никто не пытался ему объяснить; его заставляли с великим усердием, но без всякого проникновения в смысл и без соблюдения знаков препинания читать катехизис и библию; он переписывал непонятные тексты и срисовывал непонятные картинки; во время наглядных уроков ему демонстрировали сургуч, шелковичных червей, имбирь, колорадских жуков, железо и другие столь же занимательные предметы, а голову набивали всевозможными сведениями, которые его разум не был в состоянии постичь. Когда ему минуло двенадцать лет, отец определил его для завершения образования в одну частную школу, весьма неопределенного назначения и еще более неопределенных перспектив, где уже не было наглядных уроков, а бухгалтерию и французский язык вел (хотя вряд ли доводил до сведения учеников) престарелый джентльмен, который носил не поддающуюся описанию мантию, нюхал табак, писал каллиграфическим почерком, никогда ничего не объяснял, но зато ловко и со смаком орудовал палкой.

Мистер Полли пошел в казенную школу шести лет, а закончил частную четырнадцати; к этому времени его голова находилась примерно в таком же состоянии, в каком находились бы ваши внутренности, дорогой читатель, если бы вас оперировал по поводу аппендицита благонамеренный, решительный, но несколько утомлен-

ный и малооплачиваемый помощник мясника, которого в самый решительный момент сменил бы клерк-левша, человек высоких принципов, но неумеренного нрава. Другими словами, в голове мистера Полли царил ужасный беспорядок. Детская впечатлительность, милые детские «почему» — все было искромсано и перепутано; хирурги во время операции сшили не те сосуды и пользовались не теми инструментами, поэтому мистер Полли к концу обучения утратил большую часть своего естественного любопытства к цифрам, наукам, языкам и вообще к познанию. Мир больше не представлялся ему загадочной страной, полной непознанных чудес, он стал для мистера Полли географией и историей — длинным списком неудобопроизносимых имен и названий, таблиц, цифр, дат — словом, скука невыразимая! Религия, по его мнению, была собранием более или менее непонятных слов, трудных для запоминания. Бог представлялся ему существом необъятных размеров, имеющим ту же природу, что и школьные учителя, и существо это придумывало несметное количество известных и неизвестных правил, требующих неукоснительного соблюдения, обладало безграничной способностью карать и — что самое страшное — имело всевидящее око. (Мистер Полли, сколько хватало сил, старался не думать об этом неусыпном страже.) Он не знал, как пишутся и произносятся многие слова в нашем благозвучном, но слишком обильном и головоломном языке, что было особенно грустно, ибо мистер Полли любил слова и мог бы при других обстоятельствах обратить на пользу эту свою любовь. Он никогда не мог сказать, что на что надо перемножить, чтобы получилось шестьдесят три: девять на восемь или восемь на семь,— и не представлял себе, как это узнают. Он был уверен, что качество рисунка зависит от умения копировать; рисование нагоняло на него смертельную скуку.

Но физическое расстройство и душевная хандра, которые сыграют такую важную роль в жизни мистера Полли, тогда были еще в самом зачатке. Его печень и желудочный сок, его любознательность и воображение упорно сопротивлялись всему, что угрожало его душе и телу. То, что выходило за пределы школьной программы, еще вызывало у него горячее любопытство. Порой в нем вспыхивал даже страстный интерес к чему-нибудь.

Так, в один прекрасный день он вдруг открыл книги и жадно набросился на них. Он буквально пожирал истории о путешествиях, особенно если в них еще были и приключения. Эти книги он брал в местной библиотеке, а кроме того, он прочитывал от корки до корки один из тех захватывающих альманахов для юношества, про которые скучные люди говорят, что там «миллион ужасов на грош» и которых сейчас уже нет, потому что их вытеснили дешевые комиксы. Когда в четырнадцать лет мистер Полли выбрался наконец из долины скорби, называемой Просвещением, в нем еще были живы ростки любознательности и оптимизма; они живы были еще и сейчас, в тридцать семь лет. Чахлые, томящиеся под спудом, они тем не менее указывали — правда, не так категорически и осязаемо, как прекрасная женщина с вышеупомянутой картины,— что на земле есть счастье и что мир полон чудес. Глубоко в темных закоулках души мистера Полли — подобно живому существу, которое ударили по голове и оставили умирать, а оно все-таки жило — копошилось убеждение, что где-то далеко, за тридевять земель от этой скучной, размеренной и бессмысленной жизни, течет другая жизнь, пусть недосягаемая, пусть за семью печатями, но полная красоты и счастья, где душа и тело человека всегда пребывают в чистоте, легкости и здоровье.

В зимние безлунные ночи он ускользал из дому и любовался звездами, а потом дома не мог объяснить отцу, куда уходил.

Он читал книги об охотниках и исследователях, вместе с ними, свободный, как ветер, мчался на мустангах по прериям Дальнего Запада или в Центральной Африке вступал победителем в негритянскую деревню, жители которой восторженно встречали его. Он убивал медведя выстрелом из пистолета, держа в другой руке дымящую сигару. Дарил прекрасной дочери вождя ожерелье из клыков и когтей. Вонзал копье прямо в сердце льва, когда тот, поднявшись на дыбы, готов был растерзать его.

Он нырял за жемчугом в темно-зеленую таинственную глубь моря.

Он вел отряд храбрецов на приступ форта и умирал, сраженный пулей на крепостной стене, когда побе-

да была уже близка. И весь народ оплакивал его безвременную смерть.

Он вступал в бой один против десятка вражеских кораблей, тараня их и топя.

В него влюблялись принцессы из заморских стран, и он обращал в христианство целые народы.

Он принимал мученическую смерть, держась с достоинством и спокойно, но это случилось с ним не более двух раз после недели религиозных праздников и не вошло в привычку.

Унесенный на крыльях воображения, он забывал о своих прямых обязанностях, сидел на уроке, лениво развалясь и с отсутствующим взглядом, так что учителю приходилось частенько браться за палку... Дважды его книги были конфискованы.

Безжалостно возвращенный к действительности, он тер соответствующее место или только вздыхал, смотря по обстоятельствам, и принимался за ненавистную каллиграфию. Он терпеть не мог чистописание, пальцы у него всегда были в лиловых пятнах, а от запаха чернил его тошнило. К тому же его донимали сомнения. Почему надо писать с наклоном вправо, а не влево? Почему линии, которые ведешь сверху вниз, должны быть жирные, а те, что снизу вверх, тонкие? Почему кончик ручки должен смотреть именно в правое плечо?

Но мало-помалу записи в его тетрадях начали напоминать содержанием деловые бумаги, и теперь уже становилось ясно, какого рода деятельность его ожидает. «Дорогой сэр,— можно было там прочитать,— что касается вашего заказа от 26-го числа истекшего месяца, почтительно извещаем вас, что...» и так далее.

Пытки, которым подвергались в учебном заведении душа и тело мистера Полли, были внезапно прекращены вмешательством его отца. Это случилось, когда мистеру Полли шел пятнадцатый год. Мистер Полли-старший давно забыл время, когда в порыве любви и умиления целовал крохотные пальчики своего сына и когда его нежное тельце казалось ему только что вышедшим из рук господа бога. И вот, взглянув однажды на своего отпрыска, мистер Полли-старший сказал:

— Этому молодцу пора самому зарабатывать на жизнь.

И месяц или около того спустя мистер Полли-младший начал свою торговую карьеру, которая в конце концов, после того, как он купил у одного обанкротившегося торговца галантерейную лавку в Фишбурне, привела его в поле, на ступеньку перелаза, где мы с ним и познакомились.

3

Нельзя сказать, чтобы мистер Полли имел природную склонность к торговле галантереей. Правда, время от времени у него как будто проскальзывал интерес к делу, но хватало его ненадолго, пока какое-нибудь более созвучное его душе занятие не увлекало его. Сперва мистер Полли поступил работать учеником в большое, но довольно невысокого ранга торговое заведение, где можно было купить любую вещь — от мебели и пианино до книг и дамских шляпок,— а именно в универсальный магазин, который назывался Пассажем. Он находился в Порт-Бэрдоке, одном из трех городков, тяготевших к порт-бэрдокским верфям. Здесь мистер Полли провел шесть лет. Он не был особенно усердным учеником, радовался свободе, и неустроенность жизни, которая способствовала развитию его диспепсии, не очень его огорчала.

В общем, работать ему нравилось больше, чем учиться: занят он был дольше, но зато не было того постоянного чувства угнетенности; в помещении, где он работал, воздух был чище, чем в классных комнатах; никто не оставлял его без обеда, не было палки. С нетерпением и любопытством следил он за тем, как пробиваются у него усы, и мало-помалу стал овладевать искусством общения с себе подобными, научился вести разговор и обнаружил, что существуют предметы, о которых приятно беседовать. Теперь у него всегда были карманные деньги и он имел право голоса в покупке одежды. Наконец, пришел день, когда он получил первое жалованье, а вскоре было сделано потрясающее открытие, что на свете существуют девушки! И дружба... Ушедший в далекое прошлое Порт-Бэрдок сверкал россыпью счастливых, веселых дней.

(— Капитал я там, однако, не сколотил! — заметил между прочим мистер Полли.)

Спальня старших учеников в Пассаже была длинной холодной комнатой, где стояли шесть кроватей, шесть комодов с зеркалами и шесть простых или окованных жестью сундуков. Дверь из нее вела в следующую спальню, еще более длинную и холодную, с восемью кроватями, из которой вы попадали в третью, оклеенную желтыми обоями, где было несколько столов, покрытых клеенкой; днем она служила столовой, а после девяти — комнатой отдыха. Здесь мистер Полли, росший в семье единственным ребенком, впервые вкусил сладость общения с ближними. Сперва над мистером Полли начали было подтрунивать из-за его нелюбви к умыванию, но, выиграв два сражения с приказчиками, которые были на голову его выше, он утвердил за собой репутацию забияки. Кроме того, благодаря присутствию в магазине девушек его понятие о чистоте несколько приблизилось к общепринятому. Так что мистера Полли оставили в покое. Правда, ему не так часто приходилось сталкиваться в своем отделе с женским персоналом, но, попадая в другие отделы Пассажа, он успевал перекинуться с девушками двумя-тремя словечками, вежливо уступить дорогу или помочь поднять тяжелый ящик. В такие минуты ему казалось, что девушки поглядывают на него благосклонно. В часы, не занятые службой, молодые люди и девушки, работавшие в порт-бэрдокском Пассаже, почти не имели возможности встречаться друг с другом; свободное время и те и другие проводили в своих комнатах, не сообщавшихся между собой. И все-таки эти существа другого пола, такие близкие и вместе такие недосягаемые, глубоко волновали мистера Полли. Он любил смотреть, как они сновали взад и вперед по магазину, втайне любуясь их воздушными прическами, круглыми щеками, нежным румянцем, тонкими пальцами. Особенно волновался он во время обеда, стараясь передавать им хлеб и маргарин так, чтобы они не сомневались в его почтительном восхищении и преданности. В соседней секции, торговавшей трикотажем, служила белокурая ученица с нежным цветом лица, которой он каждое утро говорил «доброе утро», и долгое время эти два слова оставались для него самым значительным событием дня. А если случалось, что она в ответ говорила ему дватри слова, он чувствовал себя на седьмом небе. У него

не было сестер, и женщины представлялись ему высшими существами. Но своим друзьям Плэтту и Парсонсу он в этом не признавался.

Перед Плэттом и Парсонсом он принял позу закоренелого злодея. Плэтт и Парсонс были приняты в то же время, что и мистер Полли, учениками в одну из секций мануфактурного отдела. Эта троица связала себя узами дружбы по причине того, что фамилии всех трех начинались на букву «П». Они так и называли себя «Три-пэ» и вечерами любили бродить по городку с видом одичавших собак. Изредка, если бывали деньги, они шли в кабачок, пили там пиво и становились еще более дикими. Взявшись за руки, они бродили по освещенным газовыми фонарями улицам и распевали песни. У Плэтта был приятный тенор, он пел в церковном хоре, и поэтому он запевал. У Парсонса был не голос, а иерихонская труба, он то замечательно гудел, то утихал, то опять начинал гудеть. Мистер Полли обладал басом, и у него получалось нечто вроде речитатива, причем на полтона ниже, чем нужно, и он говорил, что поет вторым голосом. Им бы петь втроем юмористические куплеты, знай они, как это делается; их же репертуар в то время состоял исключительно из сентиментальных песенок об умирающем солдате и о том, как далек путь домой.

Иногда они забредали на окраинные улочки Порт-Бэрдока, где редко попадались полицейские и другие нежелательные лица. Вот тогда наши друзья чувствовали себя на верху блаженства, а голоса их уподоблялись раскатам грома. Тщетно пытались местные собаки соревноваться с ними, и еще долго после того, как темнота ночи поглощала наших гуляк, собачий лай оглашал окрестности. Одна особенно завистливая тварь — ирландский терьер — как-то предприняла отважную попытку укусить Парсонса, но была обращена в бегство численным превосходством противника и его единодушием.

«Три-пэ» жили исключительно интересами друг друга, не признавая больше никого достойным своей дружбы. Они любили беседовать о том о сем, и часто в спальне, хотя свет был уже погашен, раздавались их голоса, пока наконец потерявшие терпение соседи не начи-

нали швырять в них ботинки. После обеда, когда в магазине наступали часы затишья, «Три-пэ», улизнув из своих отделов в упаковочную склада, отводили там душу. По воскресным и праздничным дням они втроем совершали далекие прогулки.

У Плэтта было бледное лицо и темные волосы, он любил напускать на себя таинственный вид и говорить шепотом. Он интересовался жизнью местного общества и «полусвета». И был в курсе всех событий, аккуратно читая «Модерн Сэсайэти», грошовую газетку, выходившую в их городе и не имевшую определенного направления. Парсонс был более солидного сложения, с явной склонностью к полноте; у него были волнистые волосы, округлые черты лица и большой нос картошкой. Он отличался изумительной памятью и настоящей любовью к литературе. Он знал наизусть большие куски из Мильтона и Шекспира и любил декламировать их по поводу и без повода. Он читал все, что попадалось под руку, и если ему нравилась книга, он читал ее вслух, не заботясь о том, доставляет ли удовольствие окружающим. На первых порах мистер Полли отнесся с сомнением к литературным вкусам приятеля, но Парсонс заразил своим энтузиазмом и его. Однажды «Три-пэ» смотрели в Порт-Бэрдокском королевском театре «Ромео и Джульетту»; их обуял такой восторг, что они чуть не упали с галерки в партер. На другой день у них появилось даже нечто вроде пароля. Кто-нибудь один вдруг восклицал: «Это вы нам, синьор, показываете кукиш?» И приятели спешили ответить: «Мы вообще показываем кукиш!»

Несколько месяцев шекспировская Верона озаряла своим сиянием жизнь мистера Полли. Он ходил с таким видом, будто на плечах у него плащ, а на боку висит меч. Он бродил по мрачным улицам Порт-Бэрдока, не спуская глаз со второго этажа каждого дома,— высматривал балконы. Увидев в каком-нибудь дворе старую лестницу, он тут же предавался самым романтическим мечтам.

Затем Парсонс открыл одного итальянского писателя, имя которого мистер Полли произносил на свой лад: «Бокащью». После нескольких экскурсов в литературное наследие этого писателя речь Парсонса стала изобило-

вать производными от слова «амур», а мистер Полли, стоя за прилавком трикотажного отдела и вертя в руках упаковочную бумагу и шпагат, мечтал о пикниках, устраиваемых круглый год в тени оливковых деревьев под небом солнечной Италии.

Приблизительно в это время неразлучная троица стала носить в подражание артистам и художникам воротнички с отгибающимися уголками и большие шелковые галстуки, завязывающиеся свободным узлом, который они сдвигали слегка набок, что придавало им залихватский вид, вполне гармонирующий с их развязными манерами.

Потом в их жизнь вошел один замечательный француз, имя которого мистер Полли произносил по-своему: «Рабулюз». «Три-пэ» считали описание пира в день рождения Гаргантюа самой великолепной прозой, выходившей когда-либо из-под пера писателя, что, по-моему, не так уж далеко от истины. И в дождливые воскресные вечера, когда появлялась опасность, что их вот-вот потянет запеть гимны, они садились в кружок, и Парсонс по просьбе друзей приступал к чтению вслух.

Вместе с ними в комнате обитало несколько юнцов из Ассоциации молодых христиан, к которым «Три-пэ» относились с презрением и вызовом.

— Мы имеем полное право делать у себя что хотим,— говорил им Плэтт.— Мы вам не мешаем, и вы нам не мешайте.

— Но ведь это ужас что такое! — в негодовании восклицал Моррисон, старший ученик, с белым лицом и серьезным взглядом. Невзирая на трудности, он вел глубоко религиозный образ жизни, что было не так-то просто.

— Ужас? Как он смеет так говорить? — возмущался Парсонс.— Это же Литература!

— Воскресенье — не время для такой литературы.

— Другого времени у нас нет. К тому же...

И начинался ожесточенный религиозный диспут.

Мистер Полли свято соблюдал верность «Трем-пэ», но в глубине души его грызли сомнения. Глаза Моррисона горели убежденностью в своей правоте, речь его была страстной и непримиримой. Он открыто вел

жизнь праведника, не оскверняя себя ни словом, ни делом, был трудолюбив, старателен и добр. Когда кто-нибудь из младших учеников стирал себе ноги или начинал тосковать по дому, Моррисон промывал рану и исцелял сердечную боль. А если случалось, что он раньше других выполнял свою работу, он не спешил уйти, а помогал другим — поистине сверхчеловеческий поступок. Лишь тот, кто знает, как долго тянутся часы в нескончаемой веренице рабочих дней, когда труд отделен от сна лишь кратким мигом отдыха и свободы, может оценить все величие такого поступка. Мистер Полли втайне побаивался оставаться наедине с этим человеком, его приводила в трепет заключенная в нем сила духа. Взгляд Моррисона жег, как раскаленное железо.

Плэтт, который тоже не любил иметь дело с явлениями, непостижимыми его разуму, сказал однажды про Моррисона:

— Проклятый лицемер!

— Нет, он не лицемер! — возразил Парсонс.— Ты ошибаешься, старина.— Просто ему никогда не приходилось отведывать Joy de vive [1]— вот в чем беда.— И добавил:— А не махнуть ли нам в гавань посмотреть, как пьют старые морские волки?

— Кошелек пуст,— заметил мистер Полли, похлопывая себя по карману брюк.

— Не беда,— ответил Парсонс,— на кружку пива хватит и двух пенсов.

— Подождите, я только раскурю мою трубку,— сказал Плэтт, с некоторых пор ставший заядлым курильщиком.— И тогда в путь!

Наступило молчание, во время которого Плэтт безуспешно бился над своей трубкой.

— Старина! — наконец не выдержал Парсонс, глубокомысленно наблюдая за попытками приятеля.— Кто же так туго набивает трубку? Нет никакой тяги. Посмотри, как набита моя.

И, опершись на трость, стал терпеливо и сочувственно ожидать, пока поджигательские действия Плэтта увенчаются успехом.

---

[1] Искаженное *франц.* Joie de vivre — радость жизни.

4

«Веселые то были дни»,— вздыхал, сидя на ступеньке перелаза, мистер Полли, банкрот без пяти минут.

Бесконечные часы за прилавком Пассажа давно стерлись в его памяти. Запечатлелись только дни, отмеченные крупными скандалами и забавными происшествиями; зато редкие воскресенья и праздничные дни сияли, как алмазы в куче щебня. Они сияли пышным великолепием вечернего неба, отраженного в спокойной воде залива, и сквозь них, размахивая руками, распространяясь о смысле жизни, убеждая, споря, разъясняя прочитанное и развивая свою любимую теорию о «Joy de vive», шагал старина Парсонс.

Особенно хороши были прогулки в праздники. «Трипэ» поднимались в воскресенье чуть свет и отправлялись за город. В какой-нибудь скромной гостинице они снимали комнату и говорили до тех пор, пока глаза не начинали смыкаться. Домой они возвращались в понедельник вечером, распевая по дороге песни и рассуждая о звездах. Иногда они взбирались на холмы и любовались оттуда раскинувшимся у их ног Порт-Бэрдоком: на фоне черно-бархатного залива, расшитого, как жемчугом, огоньками бакенов, тянулись вдоль и поперек цепочки уличных фонарей и весело сновали светлячками трамваи.

— Завтра опять за прилавок, старина,— вздыхал Парсонс.

Он не мог найти множественное число для своего любимого обращения и всегда употреблял его в единственном, имея в виду обоих своих друзей.

— Лучше не напоминай,— отвечал Плэтт.

Однажды летом они взяли на целый день лодку и отправились исследовать гавань. Они плыли мимо стоявших на якоре броненосцев, мимо черных, отживших свой век посудин, мимо всевозможных судов и суденышек, наполнявших гавань, мимо белого военного транспорта, мимо аккуратных эллингов, бассейнов и доков к мелководным каналам и каменистой, заросшей дикими травами пустоши противоположного берега. Парсонс и мистер Полли еще поспорили в тот день о том, как далеко может стрелять пушка, и даже поссорились.

Окрестности Порт-Бэрдока по ту сторону холмов были как раз такими, каким должен быть старозаветный английский пейзаж, почти не тронутый цивилизацией. В то время велосипеды еще только входили в моду и стоили дорого, автомобилю еще не пришел черед осквернять вонью и грохотом сельскую природу. «Три-пэ» выбирали наугад тропинку в полях, выводившую их к неизвестному проселку, по обеим сторонам которого тянулись живые изгороди из жимолости и цветущего шиповника. Они отважно устремлялись в таинственные зеленые ущелья, где вся земля под ногами пестрела ковром цветов, или бродили, погрузившись по пояс в заросли папоротника, в березовых рощах. В двадцати милях от Порт-Бэрдока начинался край хмеля и сельских домиков, увенчанных гнездами аистов. А дальше, куда они могли добраться только в дни праздников, купив самый дешевый проездной билет, виднелся голый гребень высокого холма, склоны которого были прочерчены узкими ровными лентами дорог, и песчаные дюны, поросшие соснами, дроком и вереском. «Три-пэ» не могли купить велосипеды, и поэтому обувь была самым крупным расходом в их скромном бюджете. В конце концов, отбросив ложный стыд, они купили себе по паре грубых рабочих башмаков. Появление этих башмаков вызвало целую бурю в спальне, где было решено, что «Три-пэ», надев такую обувь, уронили честь достойного заведения, в котором служили.

Кто узнал и полюбил английскую сельскую природу, тот ни в одной стране не найдет ничего ей равного. Твердая и вместе с тем нежная линия холмов, поразительное разнообразие пейзажа, оленьи заповедники, луга, замки, дома эсквайров и аккуратные деревни со старинными церквами, фермы, стога сена, просторные амбары, вековые деревья, пруды, озера, серебристые нити ручьев, цветущие живые изгороди, фруктовые сады, островки рощ, изумрудный выгон и приветливые гостиницы. И в других странах сельские виды прелестны, но нигде нет такого разнообразия, и нигде природа не сохраняет своего очарования круглый год. Пикардия — вся бело-розовая — прекрасна в пору цветения; Бургундия — залитые солнцем виноградники, раскинувшиеся на пологих склонах холмов,—дивный, но все повторяющийся

мотив; в Италии придорожные часовни, каштаны и сады олив; в Арденнах — Турень и Прирейнская область,— леса и ущелья; привольная Кампания с туманными Альпами на горизонте, Южная Германия с опрятными, процветающими городками на фоне величественных Альп — каждое из этих мест встает в памяти какой-то одной привлекательной чертой. Или возьмите поля и холмы Виргинии, которые тянутся вдаль легко и привольно, как поля и холмы Англии, леса и стремительные потоки рек Пенсильвании, опрятный пейзаж Новой Англии, широкие проселочные дороги, холмы и леса штата Нью-Йорк — во всем этом есть свое очарование, но нигде ландшафт не будет меняться каждые три мили, нигде солнечный свет не бывает так мягок, нигде не дуют такие приятные, освежающие ветры с моря, нигде вы не увидите таких причудливых, фантастической формы облаков, как в нашей родной Англии.

«Три-пэ» любили гулять в таких местах, где они забывали на время, что в действительности им не принадлежит и пядь этой вольной земли, что они обречены всю жизнь торчать за прилавком в дыре, подобной Порт-Бэрдоку. Они забывали покупателей, заказчиков, праздных зевак, толкавшихся в Пассаже, забывали все на свете и становились счастливыми странниками в этом мире ветров, птичьих песен и тенистых деревьев.

И вот они подходят к гостинице. Это — целое событие. Они уверены, что никто здесь не заподозрит их в принадлежности к миру торговли. Они ждут, что сейчас на порог выскочит хорошенькая служанка или пожилая добродушная хозяйка, они уже предвкушают интересную встречу в баре с каким-нибудь странным субъектом.

В гостинице их тут же начинают расспрашивать, чего бы им хотелось съесть. Меню обычно составляют холодное мясо с пикулями или яичница с ветчиной и весело пенящийся в пузатом кувшине «коктейль»: две пинты пива, смешанные с двумя бутылками имбирного эля.

Славная то была минута, когда они стояли на пороге гостиницы, гордо оглядывая весь свет: раскачивающуюся от ветра вывеску, гусей на зеленом выгоне, пруд, в котором плавают утки, фургон, ожидающий хозяина, церковный шпиль, спящего на перилах

кота, голубое небо. А в это время за спиной аппетитно шипела яичница на сковородке. От запаха ветчины текли слюнки. Слышались быстрые шаги, звякали приборы. И, конечно, на стол стелили белую скатерть. Наконец раздавалось: «Готово, господа» или «Пожалуйте кушать, молодые люди!» Это было куда приятней слышать, чем раздраженное: «Пошевеливайся, Полли! Не зевай!»

И вот они входят, усаживаются за стол. Принимаются за еду.

— Хлеба, старина?

— Если можно, горбушку!

Однажды дочка хозяйки гостиницы, простая девушка в розовом ситцевом платьице, разговорилась с ними во время их трапезы. Во главе с галантным Парсонсом они стали наперебой клясться ей в безумной любви и упрашивали ее признаться, кому из троих она отдает предпочтение. Не было сомнения, что она предпочитает кого-то одного, но было так трудно решить, кого именно, что она болтала с ними до тех пор, пока ее не позвала мать. Потом, когда они уже на обратном пути шли мимо сада, она догнала их, чуть застенчиво протянула каждому по спелому яблоку, пригласила приходить еще и исчезла. Когда они дошли до угла, она появилась снова и помахала им вслед платком. Весь остаток дня «Три-пэ» обсуждали замеченные признаки благосклонности и в следующее воскресенье снова явились в ту же гостиницу.

Но красотки и след простыл. А ее мамаша, сделав каменное лицо, не пожелала им ничего объяснить.

Доживи Плэтт, Парсонс и Полли хоть до ста лет, они и тогда не забудут той девушки, как она стояла, зарумянившись, на фоне зеленой изгороди и, чуть улыбаясь и волнуясь, протягивала каждому по спелому яблоку...

Однажды они долго-долго шли вдоль берега, пока не пришли в Фишбурн, восточный пригород Брейлинга и Хэмпстеда-он-де-си.

В тот день Фишбурн показался мистеру Полли уютным, веселым местечком. Здесь был чистый песчаный пляж, не то что грязное каменистое побережье Порт-Бэрдока — с шестью кабинами, где можно было переодеться, и тентом на набережной, под который друзья сели отдохнуть после сытного, но довольно дорогого зав-

трака, приправленного сельдереем. Вдоль берега тянулся ряд аккуратных домиков с верандами, в которых сдавались комнаты. Пообедали они в гостинице с выкрашенным белой краской крыльцом и веселой геранью на окнах. Хай-стрит со старинной церковью в конце улицы была полна безмятежного полуденного покоя.

— Какое славное местечко! Вот где было бы хорошо завести свой магазинчик,— глубокомысленно заметил Плэтт, поглядывая на друзей из-за своей огромной трубки.

Эти слова запомнились мистеру Полли.

5

Мистер Полли не был такой живописной фигурой, как Парсонс. Он не обладал столь проникновенным басом и ходил в те дни, засунув руки в карманы и напустив на себя сосредоточенно-задумчивый вид.

Он слыл знатоком слэнга и любил коверкать слова, чем особенно нравился Парсонсу. Он испытывал странное влечение к словам, особенно к тем, что дают пищу воображению; он любил также неожиданные, необычные словосочетания. В школе ему не удалось овладеть тайной произношения английских слов, поэтому он никогда не был уверен, что произносит слова правильно. Его школьный учитель был и косноязычен и многоречив. Новые слова повергали мистера Полли в ужас и одновременно очаровывали его. Он не умел их выговаривать, но они властно манили его, и он, зажмурив глаза, выпаливал их. Он взял себе за правило не обращать внимания на правописание слов. Он старался только не перепутать их значения. Но и это было дело нелегкое. Он старался избегать широко известных фраз и почти все слова произносил, коверкая, дабы его заподозрили не в невежестве, а единственно в стремлении к остроумию. Вот, например, один разговор мистера Полли с Плэттом.

— Ораториус многословиус!—говорит мистер Полли.

— Чего? — спрашивает Плэтт.

— Красноречивый рапсодиус!

— Где? — опять спрашивает Плэтт.

— На складе, конечно. Среди скатертей и одеял. Произносит речь. Карлейль! Какой пыл! Какое красноречие!

Битва с ветряными мельницами. Зрелище, достойное богов. Он отобьет когда-нибудь костяшки своих драгоценных пальцев. Так стучать о прилавок!

Мистер Полли держит в одной руке воображаемую книгу, другой яростно размахивает.

— Итак, всякий герой, несмотря ни на что и вопреки всему, непременно, обязательно, неизбежно возвращается назад к жизни,— передразнивает он восторженный голос Парсонса,—вследствие этого он управляет вещами, а не они им.

— Веселая будет история, если его застукает управляющий,— замечает Плэтт.— Парсонс в такие минуты ничего не слышит.

— Как пьяный, совсем как пьяный,— говорит Полли.— Со мной такого не бывает. Это, пожалуй, пострашнее, чем Рабулюз.

ГЛАВА II

УВОЛЬНЕНИЕ ПАРСОНСА

1

И вдруг Парсонса уволили.

Его уволили при чрезвычайно удивительных и даже оскорбительных обстоятельствах, что произвело сильное впечатление на мистера Полли. Многие годы он не переставал размышлять над этой историей, пытаясь уяснить, как все-таки она могла случиться.

Ученичество Парсонса подошло к концу. Он получил должность младшего приказчика, и ему поручили убрать витрину в отделе товаров манчестерской мануфактуры. Он был уверен, что справится с поручением блестяще.

— Видишь ли, старина,— говорил он друзьям,— у меня есть одно преимущество: я умею убирать витрины.

Когда случалась какая-нибудь неприятность, Парсонс утверждал, что Пушок — так прозвали ученики мистера Гэрвайса, старшего партнера фирмы и главного управляющего,— должен будет хорошенько подумать, прежде чем расстаться с единственным человеком в его заведе-

нии, способным сделать из витрины произведение искусства.

Парсонс, как и должно было случиться с человеком гуманитарных наклонностей, пал жертвой своей любви к рассуждениям.

— Искусство украшения витрин находится в пеленках, старина, оно переживает цветущую пору младенчества. Куда ни глянь, симметрия, плоскость, как на картинах благословенных времен древнего Египта. Никакой радости, никакой! Одни условности. Витрина же должна приковывать к себе человека, должна, когда он идет мимо, хватать его мертвой хваткой. Мертвой хваткой!

Его голос понижался до бархатного рокота:

— А где сейчас эта мертвая хватка?

Минутная пауза, потом дикий вопль:

— Не-ету!

— Парсонс сел на своего конька, — замечает мистер Полли. — Давай, старина, давай, расскажи-ка нам еще чего-нибудь.

— Взгляните, как убраны витрины у старика Моррисона. Аккуратно, со вкусом, все по правилам, уверяю вас. Но нет изюминки! — Повторяя последние слова, Парсонс переходит на крик. — Нет изюминки, говорю я вам!

— Нет изюминки,— как эхо, вторит мистер Полли.

— Образцы тканей, разложенные по порядку, аккуратно взбитые буфы, один какой-нибудь рулон чуть-чуть распущен, а рекламные плакаты просто нагоняют сон.

— Как в церкви,— вставляет мистер Полли.

— Витрина должна волновать,— продолжает Парсонс.— Увидев витрину, вы должны воскликнуть: «Вот это да!»

Парсонс на минуту умолкает, Плэтт, попыхивая трубкой, поглядывает на него.

— Рококо! — говорит мистер Полли.

— Нужно создать новую школу украшения витрин,— говорит Парсонс, пропуская мимо ушей замечание мистера Полли. — Новую школу! Порт-бэрдокскую! Послезавтра вы увидите, как изменится облик Фитзелен-стрит. Это будет нечто из ряда вон выходящее! Я соберу толпу. Меня еще долго будут помнить!

Он и в самом деле собрал толпу. И его еще долго будут помнить в порт-бэрдокском Пассаже.

Потом Парсонс начал упрекать себя:

— Я был слишком скромен, старина! Я сдерживал себя, недооценивал свои возможности. Во мне кипели, бурлили, кишели идеи, а я не давал им ходу. Все это позади!

— Позади,— вторил мистер Полли.

— Позади окончательно и бесповоротно, старина!

2

Плэтт пришел в отделение к мистеру Полли.

— Старина создает произведение искусства.

— Какое?

— Про которое он говорил

Мистер Полли сразу сообразил, в чем дело.

Продолжая сортировать коробки с воротничками, он то и дело поглядывал на своего заведующего Мэнсфилда. Скоро того позвали в контору, и Полли стремглав бросился на улицу, помчался мимо манчестерской витрины и нырнул в дверь отделения шелковых тканей. Он пробыл на улице всего один миг, но, увидев спину Парсонса, не замечавшего ничего вокруг, пришел в восторг, и сердце его замерло в сладком ужасе. Парсонс был без сюртука и работал с необычайным воодушевлением. Он имел обыкновение затягивать постромки жилета до предела, и все приятные задатки его будущей дородности были выставлены на обозрение. Он то и дело отдувался, засовывал пальцы в шевелюру и действовал с той порывистой стремительностью, которая свойственна людям в минуту вдохновения. У его ног вздымались пунцовые одеяла, они не были сложены или раскинуты во всю длину, а если уже говорить точно, просто валялись на полу витрины. Справа от висящих на роликах полотенец через всю витрину тянулся широкий плакат, на котором жирными буквами было выведено:

СМОТРИТЕ!

Влетев в отделение шелковых тканей и натолкнувшись на Плэтта, Полли понял, что слишком поторопился вернуться в магазин.

— Ты заметил драпировку в глубине витрины? — спросил его Плэтт.

Мистер Полли этого не заметил.

— Великий магиус творит! — сказал он и помчался кружным путем в свое отделение.

Вскоре открылась ведущая на улицу дверь, и с сугубо деловым видом, дабы его внезапное появление с улицы ни у кого не вызвало подозрений, появился Плэтт. Он направился к лестнице, ведущей вниз, в складские помещения, и, проходя мимо Полли, закатил глаза, произнес «О господи!» и исчез.

Нестерпимое любопытство обуяло мистера Полли. Что лучше: пойти в манчестерское отделение через весь магазин или рискнуть еще одной вылазкой на улицу? Ноги понесли его к входной двери.

— Вы куда, Полли? — спросил его Мэнсфилд.

— Вон бежит собака,— сказал Полли с таким видом, будто слова его полны смысла, и оставил удивленного заведующего размышлять над услышанным.

Парсонс, бесспорно, сделал все, чтобы обрушить на свою голову последующие несчастья. Он обладал поистине могучим воображением. На этот раз Полли хорошенько рассмотрел витрину.

Парсонс соорудил огромную асимметричную гору из толстых белых и красных одеял, скрученных и скатанных таким образом, чтобы явственнее ощущалась теплая, пушистая шерсть; в витрине царил уютный беспорядок и висели плакаты, написанные ярко-красными буквами: «Сладок сон под одеялом, купленным по сниженной цене», «Хорошо то, что хорошо и дешево». Хотя был день, Парсонс зажег свет в том углу витрины, где высилась гора одеял, чтобы придать теплый оттенок красному и белому цвету. Контрастным фоном этой горе служили длинные полосы подкладочной материи и полотна холодного, серого цвета, которые он как раз сейчас развешивал.

Это производило впечатление, но...

Мистер Полли решил, что пора возвращаться. В дверях он столкнулся с Плэттом, который готовился предпринять очередную экспедицию во внешний мир.

— «Хорошо то, что хорошо и дешево»,— сказал он.— Прием аллитерации приходит на помощь!

Он не отважился в третий раз улизнуть на улицу и нетерпеливо маячил у окна, как вдруг увидел Пушка, то бишь главного управляющего Пассажа, самого мистера Гэрвайса, который шествовал по тротуару, обозревая начальственным оком свои владения.

Мистер Гэрвайс был коротенький и круглый человечек с тем выражением скромной гордости на лице, которое так часто встречается у полных людей; у него были решительные манеры, желчный нрав, пухлые, торчащие в стороны пальцы рук, рыжие волосы, красное лицо, а на кончике носа, как и полагается людям такого колера, торчали рыжие волоски. Когда он желал продемонстрировать перед своими подчиненными силу человеческого взгляда, он выпячивал грудь, хмурил брови и прищуривал левый глаз.

Мистер Полли встрепенулся. Во что бы то ни стало он должен все видеть.

— Мне надо поговорить с Парсонсом, сэр,— сказал он мистеру Мэнсфилду и, поспешно покинув свой пост, бросился через весь магазин в манчестерское отделение. Когда начальство появилось в дверях, он уже был возле стенда с болтонскими простынями.

— Что это вы делаете с витриной, Парсонс? — изумился мистер Гэрвайс.

Присутствующим в отделении были видны только ноги Парсонса, узкая полоска рубашки между брюками и жилеткой и нижняя часть жилетки. Он стоял внутри витрины на лестнице, вешая последний кусок драпировки на медный прут, идущий под потолком. Витрина отделялась от остального помещения магазина легкой стенкой, напоминавшей стенки, которыми отделяются в старинных английских церквах места, предназначенные для чистой публики. Эта стенка была отделана панелью, и в ней имелась дверца, тоже наподобие церковной. В этой дверце и появилась физиономия Парсонса, у которого при виде главного управляющего глаза как-то странно округлились.

Мистер Гэрвайс повторил вопрос.

— Убираю витрину, сэр, по-новому.

— Выходите оттуда,— приказал ему мистер Гэрвайс.

Парсонс глядел на него, не понимая, и Гэрвайс был вынужден повторить приказание.

С растерянным лицом Парсонс стал медленно спускаться с лестницы.

Мистер Гэрвайс обернулся.

— Где Моррисон? — спросил он.— Моррисон!

Явился Моррисон.

— Займитесь этой витриной вместо него,— сказал Гэрвайс, указывая своими растопыренными пальцами на Парсонса.— Уберите все это безобразие и приведите витрину в надлежащий вид.

Моррисон сделал было шаг к витрине, но ему пришлось остановиться.

— Прошу прощения, сэр,— с бесподобной вежливостью проговорил Парсонс,— но это *мое* окно!

— Уберите немедленно все это безобразие! — повторил мистер Гэрвайс и повернулся, чтобы уйти.

Моррисон подошел к витрине. Парсонс захлопнул перед его носом дверцу, и это привлекло внимание главного управляющего.

— Выходите оттуда,— сказал он.— Вы не умеете убирать витрины. Если вам нравится валять дурака...

— Витрина убрана отлично, сэр,— убежденно произнес новоявленный гений украшения витрин.

На минуту воцарилась тишина.

— Откройте дверь и войдите к нему,— приказал мистер Гэрвайс Моррисону.

— Не троньте дверь, Моррисон! — сказал Парсонс.

Полли уже больше не прятался за болтонскими простынями. Он понял: события принимают такой оборот, что его присутствия просто не заметят.

— Да извлеките же его оттуда наконец! — потребовал мистер Гэрвайс.

Моррисона, казалось, несколько смущала этическая сторона дела. Но верность работодателю взяла верх. Он положил руку на дверь и толкнул ее. Парсонс стал отдирать его руку. Мистер Гэрвайс пришел Моррисону на помощь. Сердце мистера Полли запрыгало, мир в его глазах завертелся и засверкал. Парсонс на миг исчез за перегородкой и появился вновь с зажатым в руке рулоном льняного полотна. Этим оружием он ударил Моррисона по голове. Голова Моррисона мотнулась от удара, но он не оставил двери. Не сдавал своих позиций и мистер Гэрвайс. Вдруг дверь широко распахнулась, и в

ту же секунду мистер Гэрвайс отпрянул от нее, пошатываясь, и схватился за голову: на его самодержавную, священную плешь обрушился коварный удар. Парсонс перестал быть Парсонсом. Он превратился в грозного мстителя. Одному небу известно, какая титаническая борьба велась до сих пор в его артистической душе, чтобы сдерживать этот необузданный темперамент.

— Ты, старый глупец, смеешь говорить, что я не умею убирать витрины? — с гневом вскричал Парсонс и метнул в хозяина рулон. За рулоном последовали одеяло, кусок подкладочной ткани и, наконец, витринная подставка. В голове мистера Полли промелькнуло, что Парсонс сам ненавидит свое творение и с наслаждением уничтожает его. Какую-то секунду мистер Полли, кроме Парсонса, никого и ничего больше не видел. Весь в движении, охваченный яростью, без сюртука, швыряя все, что попадалось под руку, Парсонс олицетворял собой аллегорическую фигуру землетрясения.

Затем мистер Полли увидел спину мистера Гэрвайса и услышал его повелительный голос.

— Извлеките его из витрины! Он сошел с ума! Он опасен! Извлеките его оттуда! — приказывал, возвысив голос, мистер Гэрвайс, обращаясь не к кому-нибудь одному из присутствующих, а ко всем.

На какой-то миг голову мистера Гэрвайса окутало пунцовое одеяло; и его речь, на секунду приглушенная, закончилась вдруг непривычной ушам подчиненных бранью.

В манчестерское отделение собрался народ со всего Пассажа. Лак, клерк из конторы, наткнувшись на Полли, заорал: «На помощь!» Соммервил из отделения шелковых тканей перескочил через прилавок и вооружился стулом. Полли почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Он ухватился за стенд, если бы сейчас ему удалось выломать из стенда доску, он пошел бы крушить всех и вся. Стенд качнулся и повалился на пол, мистеру Полли почудилось, что с другой стороны кто-то вскрикнул от боли, но он не придал этому значения. Падение стенда было толчком, образумившим мистера Полли; ему уже расхотелось бить кого попало, и он стал во все глаза следить за борьбой в витрине. Секунду Парсонс победоносно возвышался над толкающимися у витринной дверцы

спинами. Это был не Парсонс, это был яростный вихрь, срывающий предметы и швыряющий их на пол. Потом он вдруг исчез. Отчаянная возня, удар, затем еще удар, звон разбитого стекла. И вдруг все стихло, только кто-то тяжело дышал.

Парсонс был повергнут...

Мистер Полли, перешагнув через валяющиеся на полу болтонские простыни, увидел поникшую фигуру друга со ссадиной на лбу, уже, правда, не кровоточащей; за одну руку его держал Соммервил, за другую Моррисон.

— Вы... вы... вы мне надоели! — сказал Парсонс, задыхаясь от подступивших к горлу рыданий.

3

Есть события, которые стоят особняком среди других происшествий в жизни и которые в какой-то степени открывают на многое глаза. Такова была история с Парсонсом. Она началась как фарс, а закончилась катастрофой. Верхний покров с жизни был содран, и под ногами мистера Полли разверзлась бездна.

Он понял, что жизнь отнюдь не развлечение.

Появление полицейского, который был вызван на место происшествия, в первую минуту показалось еще одной комической деталью. Но когда стало ясно, что мистер Гэрвайс объят жаждой мести, дело приняло иную окраску. То, как полицейский вел дознание, не упуская ни малейшей детали и не произнося лишних слов, особенно поразило чувствительную душу мистера Полли. Разглаживая галстуки, он услыхал заключение, сделанное полицейским: «Он, значит, крепко саданул вас по голове».

В этот вечер в спальне Парсонс был героем дня. Он сидел на краю кровати с забинтованной головой, не спеша укладывал вещи и ежесекундно повторял:

— Почему он не оставил меня в покое? Он не имел права прикасаться к моей витрине!

На следующее утро Полли должен был предстать перед полицейским судом в качестве свидетеля. Ужас перед этой пыткой почти заслонил собой тот трагический факт, что Парсонса не только обвинили в оскорблении действием, но выгнали, и он уже укладывает свой чемо-

дан. Полли слишком хорошо знал себя, чтобы обольщаться насчет своих способностей быть достойным свидетелем. Он ясно помнил только один факт, нашедший отражение в словах полицейского: «Он, значит, крепко саданул вас по голове». В отношении всего прочего в мыслях у него был полный сумбур. Как все произойдет завтра, было известно одному богу. Состоится ли очная ставка? Будет ли считаться лжесвидетельством, если он нечаянно ошибется? За дачу ложных показаний тоже судят. Это — серьезное преступление.

Плэтт из кожи лез, желая помочь Парсонсу и настроить общественное мнение против Моррисона. Но Парсонс вдруг стал за него заступаться.

— Он вел себя правильно — в меру своих возможностей,— заявил Парсонс.— Что еще ему оставалось делать? На него я не в обиде.

— Мне, наверное, придется платить штраф,— рассуждал он по поводу предстоящего суда.— Без последствий дело, конечно, не оставят. Я действительно его ударил. Я ударил его...— Он на секунду задумался, как бы подыскивая слова поточнее, и окончил доверительным шепотом: — ...по голове, вот сюда.

На остроумное предложение, исходившее от младшего ученика с кровати в углу, он ответил:

— Какой может быть встречный иск, когда на скамье присяжных сидят аптекарь Коркс и агент нашей фирмы Моттишед? Завтра вы будете свидетелями моего унижения. Унижения, старина!

Некоторое время Парсонс молча укладывал вещи.

— О господи! Что это за жизнь? — вдруг загремел он своим глубоким басом.— В десять тридцать пять человек честно выполняет свой долг, пусть ошибается, но с самыми лучшими намерениями. В десять сорок с ним покончено. Покончено раз и навсегда! — И, повысив голос, воскликнул: — Как после землетрясения!

— Вулканиус катаклизмус,— сказал Полли.

— Как после отличного землетрясения! — повторил Парсонс, подражая завыванию ветра.

Затем он стал развивать вслух довольно мрачные мысли о своем будущем, и по спине мистера Полли пробежал холодок.

— Придется искать новое место. А в рекомендации будет сказано, что я побил управляющего. Хотя, впрочем, мне, наверное, никаких рекомендаций не дадут. И в лучшие-то времена нелегко найти место без рекомендаций. А уж сейчас...

— Когда будешь искать работу, не подавай виду, что тебя выгнали,— заметил мистер Полли.

В полицейском суде все оказалось не так страшно, как представлял себе мистер Полли. Его посадили у стены вместе с другими свидетелями, и после интересного дела о краже у судейского стола, а вовсе не на скамье подсудимых, появился Парсонс. К этому времени ноги мистера Полли, которые он сначала засунул из уважения к суду подальше под стул, были вытянуты во всю длину, а руки засунуты в карманы брюк. Он занимался тем, что придумывал прозвища для четырех заседателей, и дошел до «почтенного и важного синьора с величественной осанкой», когда услыхал свое имя и тотчас опустился с небес на землю. Он поспешно вскочил на ноги, и опытный полицейский едва удержал его от попытки занять место на пустующей скамье подсудимых. Секретарь суда с невероятной быстротой в который раз прочитал клятву.

— Точно! — невпопад, но почтительным тоном произнес мистер Полли и поцеловал библию.

После того как старший полицейский велел говорить ему более внятно, его показания стали ясными и членораздельными. Он попытался было замолвить словечко за Парсонса, сказав, что у Парсонса «от природы холерный темперамент», но, заметив, как вздрогнул «почтенный и важный синьор с величественной осанкой» и как поползла по его лицу усмешка, понял, что выбрал не совсем удачное выражение. Остальные заседатели были явно озадачены, и между ними произошел краткий обмен мнениями.

— Вы хотели сказать, что у него вспыльчивый характер? — спросил председатель суда.

— Да, именно это я и хотел сказать,— ответил мистер Полли.

— Вы не имели в виду, что он болен холерой?

— Я имел в виду только, что его легко вывести из себя.

— Тогда почему вы не сказали это прямо? — донимал его председатель суда.

Парсонс был признан виновным.

Он пришел в спальню за вещами, когда все ученики были в Пассаже, куда ему по распоряжению мистера Гэрвайса доступа не было. И он уехал, не попрощавшись. Когда в обеденный перерыв мистер Полли забежал в общежитие выпить чашку чаю и съесть хлеба с маргарином, он сразу же устремился в спальню, посмотреть, что делает Парсонс. Но Парсонса и след простыл. В его углу было подметено и убрано. Первый раз в жизни мистер Полли испытал чувство невозвратимой утраты.

Минуты через две-три в спальню влетел Плэтт.

— Фу, черт! — отдуваясь, произнес он и увидел Полли.

Полли высунулся из окна и не обернулся на слова приятеля. Плэтт подошел к нему.

— Уже уехал,— сказал он.— А мог бы зайти, попрощаться с друзьями!

Полли ответил не сразу. Он засунул в рот палец и всхлипнул.

— Проклятый зуб, не дает покоя! — сказал он, все еще не глядя на Плэтта. — Слезы так сами и льются, а можно подумать, что я разнюнился.

ГЛАВА III

В ПОИСКАХ МЕСТА

1

После того как Парсонс уехал, Порт-Бэрдок потерял для мистера Полли всю свою прелесть. В редких письмах Парсонса не сквозила «радость жизни», тщетно Полли искал в них хоть одно теплое слово. Парсонс писал, что поселился в Лондоне и нашел место кладовщика в магазине дешевой галантереи недалеко от собора святого Павла, там не требовали рекомендаций. Чувствовалось, что у него появились новые интересы. Он писал о социализме, о правах человека — словом, о вещах, не

имевших никакой привлекательности для мистера Полли, который понимал, что чужие люди завладели его Парсонсом, влияют на него, превращают его в кого-то другого и он утрачивает свою оригинальность. Мистеру Полли стало невыносимо в Порт-Бэрдоке, полном уже блекнущими воспоминаниями о Парсонсе; его стала грызть тоска. И Плэтт вдруг сделался скучнейшей личностью, начиненной романтической чепухой, вроде интриг и связей с «дамами из общества».

Уныние, овладевшее мистером Полли, проявлялось в его апатии ко всему. Вспыльчивость мистера Гэрвайса стала действовать ему на нервы. Отношения с людьми становились натянутыми. Чтобы проверить, насколько им дорожат, он потребовал увеличить жалованье и, получив отказ, тут же взял расчет.

Два месяца он искал новое место. За это время он пережил немало горьких минут, испытав унижение, разочарование, тревогу и одиночество.

Сначала он поселился в Исвуде у одного своего родственника. Незадолго перед тем отец мистера Полли, продав магазинчик музыкальных инструментов и велосипедов, который давал ему средства к существованию, и оставив место органиста в приходской церкви, перебрался жить к этому родственнику и стал жить на ренту. Характер его с годами начал портиться вследствие какого-то странного недуга, называемого местным доктором «манией воображения». Он старел на глазах и с каждым днем становился все раздражительнее. Но жена кузена была хорошей хозяйкой и умела поддерживать в доме мир. Мистер Полли жил в этом доме на скромном положении гостя; но после двух недель бьющего через край гостеприимства, в течение которых он написал не менее сотни писем, начинающихся словами: «Уважаемый сэр! Прочитав Ваше объявление в «Крисчен уорлд» о том, что Вам требуется приказчик в отдел галантереи, осмеливаюсь предложить Вам свои услуги. Имею шестилетний стаж...»,— и опрокинул пузырек с чернилами на туалетный столик и ковер в спальне, кузен пригласил его погулять и в разговоре между прочим заметил, что меблированные комнаты в Лондоне — более подходящий плацдарм для наступления на хозяев галантерейных магазинов.

— И в самом деле, старина! — согласился мистер Полли.— А то я мог бы еще год здесь прожить.— И приступил к сборам.

Он снял комнату в дешевой гостинице, где находили пристанище молодые люди в его обстоятельствах и где был ресторанчик — очень строгое заведение, в котором можно было в воскресенье приятно провести время за чашкой кофе. И первое же воскресенье мистер Полли не без приятности провел в дальнем углу, составляя фразы, вроде следующей: «Высоко чувствительный вместитель ларгениального отростка», имея в виду адамово яблоко.

Молодой священник с приятным лицом, увидев его серьезный вид и шевелившиеся губы и решив, что новый жилец скучает в одиночестве, подсел к нему и завел разговор. Минуту-другую они обменивались неловкими, отрывистыми фразами, как вдруг мистера Полли обуяли воспоминания о порт-бэрдокском Пассаже, и, шепнув озадаченному священнику: «Вон бежит собака»,— он дружески кивнул ему и выбежал вон, чтобы с легким сердцем и жаждущим впечатлений умом побродить по улицам Лондона.

Люди, собравшиеся в ожидании приема в торговых конторах по оптовой продаже, расположенных на Вудстрит и возле собора святого Павла (в этих конторах обслуживали оптовых покупателей из провинции), показались ему интересными и занимательными. И не будь он так сильно озабочен собственной судьбой, его от души позабавило бы это зрелище. Здесь были мужчины всякого сорта: самоуверенные и окончательно потерявшие веру в себя, образчики самого расточительного фатовства и опустившиеся до последней степени. Он видел жизнерадостных молодых людей, полных энергии и стремления пробиться, которые вселяли в его душу страх и ненависть. «Ловкачи,— думал про них мистер Полли,— ловкачи, служители торгового культа!» Видел и субъектов лет примерно тридцати пяти с изголодавшимися лицами, про которых решил, что это «пролетарии». Он давно мечтал увидеть кого-нибудь, кто подходил бы под это, звучавшее для него привлекательно, определение. В приемной несколько мужчин средних лет, «совсем старики в свои сорок», обсуждали состояние дел в торговле; по их мнению, никогда еще не было так плохо, как теперь. Мистер Полли

слушал их краем уха, а сам тем временем размышлял, подходит ли к ним выражение «выжатые, как лимон». Были здесь и такие, что прохаживались с высокомерным видом, сознавая свое превосходство и негодуя на то, что оказались выброшенными за борт,— они угадывали в этом чьи-то происки. Несколько человек, казалось, вот-вот упадут в обморок, и страшно было представить, что с ними случится, когда их вызовут для переговоров. Один молодой человек с невыразительным розовощеким лицом, по-видимому, считал, что, надев непомерно высокий воротничок, можно вступить в единоборство со всем миром, на другом был чересчур веселый костюм: фланелевая рубашка и клетчатый пиджак ядовито-яркого цвета. Каждый день, оглядываясь вокруг, мистер Полли отмечал, сколько знакомых лиц исчезло, как растет беспокойство (отражая и его собственное) на лицах оставшихся и сколько прибавилось новичков. Видя эту алчущую свору конкурентов, он понял, как ничтожны были шансы на успех его жалких посланий из Исвуда.

Мистер Полли смотрел вокруг себя, и порой ему казалось, что он в приемной дантиста. В любую минуту могут выкрикнуть его имя, и он предстанет перед очередным представителем мира хозяев и будет в который раз доказывать свою горячую любовь к торговле, свои необыкновенные прилежность и усердие ради того, кто готов платить ему в год двадцать шесть фунтов стерлингов.

И вот будущий хозяин разглагольствует по поводу того, каким, по его мнению, должен быть идеальный приказчик

— Мне нужен сметливый, расторопный молодой человек, по-настоящему расторопный, который не боится работы. Лодырь, которого надо без конца подгонять, мне ни к чему. Такому у меня делать нечего.

А в это время независимо от самого мистера Полли сидящий в нем бес сочинительства упражняется на все лады: «Толстые щеки», «щекастый толстяк» — и тому подобное, столь же подходящее для джентльмена, сколь и для продавца шляп.

— Я уверен, сэр, что не окажусь большим лодырем,— бодро отвечает мистер Полли, стараясь не заглядывать в себя поглубже.

— Мне нужен молодой человек, который намерен преуспевать.

— Вот именно, сэр! Эксельсиор!

— Простите?

— Я сказал «Эксельсиор», сэр. Это мой девиз. Из Лонгфелло. Вам нужен приказчик на долгий срок?

Толстощекий господин объясняет и продолжает излагать свои взгляды, теперь уже поглядывая на мистера Полли с сомнением.

— Вы намерены преуспевать?

— Надеюсь на это, сэр.

— Преуспевать или не успевать?

Мистер Полли издает какое-то восторженное восклицание, понимающе кивает и несколько невнятно бормочет:

— Совершенно мой стиль.

— Кое-кто из моих людей служит у меня уже по двадцать лет,— продолжает хозяин.— Один из Манчестера впервые пришел ко мне, когда ему было всего двенадцать лет. Вы христианин?

— Принадлежу к англиканской церкви.

— Гм,— несколько неодобрительно хмыкает хозяин.— Я предпочел бы баптиста. Но...

Он оглядывает галстук мистера Полли, безукоризненно повязанный и скромный, как и подобает галстуку будущего приказчика. Намекая на позу и выражение лица мистера Полли, неугомонный внутренний голос суется опять: «Скорбная почтительность, как на похоронах».

— Я хотел бы посмотреть ваши рекомендации,— замечает в заключение будущий хозяин.

Мистер Полли тотчас же вскакивает.

— Благодарю вас,— говорит хозяин, давая понять, что разговор окончен.

«Головастый толстяк! Как тебе нравится головастый толстяк?» — в порыве вдохновения восклицает внутренний голос.

— Смею надеяться, сэр? — с отменной учтивостью приказчика спрашивает мистер Полли.

— Если рекомендации окажутся в порядке,— отвечает будущий хозяин.

2

Человек, чей ум занят тем, чтобы составлять диковинные фразы и прозвища из непонятных слов, кому жизнь представляется золотоносной породой, чью ценность определяют редкие прожилки свободных от работы дней, кто запоем читает Боккаччо, Рабле и Шекспира,— такой человек вряд ли может достичь в наше время успеха на поприще торговли. Мистер Полли любил помечтать об интересных предметах, испытывая инстинктивную ненависть к суровому образу жизни. Его не увлекал пример экс-президента Рузвельта, генерала Баден-Пауэлла, мистера Питера Кери или покойного доктора Самюэла Смайлса. Вряд ли могла вдохновить его жизнь мистера Лоу Стрэчи. Он любил Фальстафа и Гудибраса, здоровый смех, старую Англию Вашингтона Ирвинга и галантное правление Карла Второго. И в жизни он, естественно, продвигался черепашьим шагом: не получал повышений, часто терял место. Что-то в его глазах не нравилось хозяевам; и было бы еще хуже, если бы время от времени в нем вдруг не просыпался исключительно толковый и на редкость аккуратный продавец, способный к тому же хоть и медленно, но очень искусно убирать витрины.

Он переходил с места на место, придумывая сотни прозвищ, познал вражду, заводил приятелей, но ни с кем не сходился так близко, как с Парсонсом. Он несколько раз влюблялся, но несильно и ненадолго и часто вспоминал ту девушку, которая однажды угостила его яблоком. Он не сомневался, чья именно юношеская свежесть пленила ее до того, что она позабыла обо всем на свете. Порой в его памяти всплывал нежащийся в лучах полуденного солнца Фишбурн. А иногда он чувствовал себя особенно усталым, одиноким и неприкаянным, и причиной этому было начинавшееся расстройство пищеварения.

Он поддавался различным влияниям и настроениям и на более или менее долгий срок оказывался в их власти.

Одно время он жил в Кентербери, и готическая архитектура завладела его воображением. Между готикой и мистером Полли существовала кровная близость; в средние века он, несомненно, занимался бы тем, что сидел на лесах и высекал на капителях портреты

церковных деятелей, ничего не приукрашая и глубоко проникая в человеческую душу. Когда он бродил, заложив руки за спину, по крытой аркаде позади собора и любовался лужайкой, поросшей сочной, зеленой травой, у него появлялось странное чувство, что он наконец-то дома, чувство, которого он никогда не испытывал под родной крышей. «Жирные каплуны!» — шептал он, воображая, что дает исчерпывающую характеристику средневековым монахам.

Он любил сидеть в нефе во время службы, и глядеть сквозь громадные ворота на горящие свечи и хористов, и слушать их пение, сопровождаемое органом, но в трансепт он не пытался проникнуть, ибо это было запрещено. Музыка и уходящие ввысь своды в лепных украшениях наполняли его душу таинственным, смутным блаженством, которое он не мог описать даже искаженными словами. Правда, строгие скульптуры исторгли из него целый поток звучных эпитетов вроде: «архиепическая урна», «погребальный вопль», «печальное ангелоподобие». Он бродил по окрестностям и размышлял о людях, живших в теснившихся возле собора старинных, уютных домах из серого камня. Сквозь зеленые калитки в высоких серых стенах он видел изумрудные газоны и пылающие клумбы; за окнами в частых переплетах горели настольные лампы под абажурами и тянулись полки с книгами в коричневых переплетах. Иногда мимо шествовало духовное лицо в гетрах (жирный каплун) или в какой-нибудь отдаленной аркаде появлялась стайка мальчиков-хористов в белом, или мелькало, как бабочка, то розовое, то кремовое платье девушки, такое нежное и легкое в этих суровых, холодных хоромах. Особенный отклик в его душе находили развалины больницы бенедиктинцев и вид на колокольню, открывавшийся из окна школы. Он даже взялся было читать «Кентерберийские рассказы», но не мог совладать со старинным языком Чосера, уставал от него и охотно отдал бы все эти истории за несколько дорожных приключений. Ему хотелось, чтобы эти милые люди поменьше тратили времени на всякие побасенки и больше на самую жизнь. Ему очень понравилась жена Бата, он был бы счастлив познакомиться с такой женщиной.

В Кентербери он первый раз в жизни увидел американцев.

Его магазин — на сей раз первоклассное заведение — находился на Вестгейт-стрит, и он часто видел, как американские туристы проходят мимо, направляясь к кабачку Чосера, и возвращаются потом обратно по Мерсерилейн, ведущей к воротам приора Голдстоуна. Он обратил внимание, что они всегда спешили, но без суеты и были гораздо серьезнее и деловитее всех его знакомых англичан.

«Культурная прожорливость,— начинал изобретать внутренний голос.—Прожорливое потребление наследия».

Он мимоходом рассказывал о них своим подчиненным. Однажды мистеру Полли удалось подслушать, как молоденькая американка у входа в церковь Христа делилась впечатлениями со своей спутницей. Произношение и интонация запали ему в память так, что он мог воспроизводить ее речь довольно точно. «Нет, послушай, в самом деле так ли уж важно посмотреть этот памятник Марлоу? — говорила американка.— У нас нет времени на второклассные достопримечательности, Мейми. Надо осмотреть в Кентербери все самое важное, известное и первосортное — это нам многое даст; выпить чашку чаю, где пил Чосер, и бежать на вокзал к поезду в четыре восемнадцать...»

Он снова и снова произносил эти небрежные фразы, ощущая в них какой-то неизъяснимый аромат. «Надо осмотреть все самое важное и первосортное»,— то и дело всплывало в его памяти.

Он пытался вообразить себе, как бы Парсонс разговаривал с американцами. Самого себя он в этой роли не представлял...

За все годы скитаний Кентербери было самым близким ему по духу местом, хотя и там друзей он не нашел.

3

Именно после Кентербери вселенная стала окончательно невыносима мистеру Полли. Все чаще и чаще ему приходилось убеждаться — нельзя сказать, на вопиющих примерах, но достаточно суровых и настойчиво повторяющихся,— что он взялся не за свое дело; ему надо было бы выбрать какой-нибудь другой род занятий, но какой именно, он не представлял.

Порой, правда, нерегулярно, на него вдруг нападали приступы бурной деятельности, приносившей плоды, но они, подобно дешевой краске, мгновенно выгорающей на солнце, быстро угасали. В моменты особенно острого безденежья в нем выработалась даже расчетливость. Но угнаться за энергичными юнцами, от природы наделенными деловой жилкой и чувствовавшими себя в торговле, как рыба в воде, он не мог.

Покидал он Кентербери с сожалением. В одно из воскресений мистер Полли вместе с еще одним представителем славной профессии торговцев взяли в Старри-он-дестор лодку и, подгоняемые попутным западным ветром, поплыли вниз по реке. Они никогда прежде не занимались греблей, и этот вид спорта показался им наиприятнейшим в мире. Когда они повернули обратно, оказалось, что ветер дует им навстречу, а река вдруг стала слишком узкой, чтобы можно было идти галсами. К тому же начался отлив. Шесть часов (за первый час надо было платить шиллинг, за каждый следующий — полшиллинга) они боролись с течением, делая полмили в час. Спас их начавшийся прилив. Из Старри им пришлось идти пешком, так что в Кентербери они добрались только под утро. Но оказалось, что там им уже нечего делать: их безжалостно выставили за дверь.

Кентерберийский хозяин был человеком незлым и очень религиозным, и, возможно, он не уволил бы мистера Полли, если бы не его несчастная страсть к острословию.

— Отлив есть отлив, сэр,— сказал мистер Полли в свое оправдание,— а я не луна, то есть не лунатик, чтобы на него влиять.

Не было никакой возможности убедить хозяина, что эта фраза была сказана в шутку, а не из неуважения и святотатства.

— К тому же,— прибавил хозяин,— что от вас толку нынче, когда вы и пальцем шевельнуть не можете?

Итак, мистер Полли опять возобновил свои наблюдения в конторе на Вуд-стрит, опять потянулись для него унылые дни. Косяк плотвы, охотящейся за крошками трудового пирога, заметно увеличился.

Он стал задумываться о своем положении. Может, ему бросить торговлю галантереей? Уже сейчас он то и

дело терпит поражение, а что будет, когда пройдет молодость, иссякнут силы? Что еще он умеет делать?

Он ничего не мог придумать. Однажды вечером он побывал на представлении в мюзик-холле, после чего ему пришла в голову смутная мысль испробовать себя в амплуа клоуна. Актеры на сцене показались ему все грубыми, глупыми и насмешливыми. Но, вообразив себя наедине с зияющей чернотой огромного зала, он понял, что тонкая душевная организация не позволяет ему вступить на подмостки. В другой раз его привлекла продажа овощей с аукциона в одной из лавок неподалеку от Лондонского моста, но, присмотревшись, он увидел, что и здесь нужны специальные навыки и знание терминологии. Он стал наводить справки о возможности поехать в колонию, но оказалось, что нигде не нужны приказчики, не имеющие собственного капитала. И он продолжал ходить на Вуд-стрит.

Он снизил свои притязания до пяти фунтов стерлингов в год и наконец нашел место в большом магазине готового платья в Клэпеме, торгующем по субботам до двенадцати часов. Приказчики этого заведения обедали в столовой, находившейся в подвальном этаже. Диспепсия его ухудшилась, он перестал спать по ночам и лежал, размышляя о жизни. Солнце и веселый смех, казалось, были навсегда потеряны для него. Куда девалось счастливое время пикников и прогулок при лунном свете?

Старший администратор невзлюбил его и без конца придирался. «Эй, Полли, проснитесь!» — слышалось то и дело. «На вид хоть куда молодец,— говорил старший администратор,— но нет в нем огонька! Нет огонька! Нет изюминки! Что с ним такое?»

Во время ночных бдений у мистера Полли появлялось чувство безнадежности, как у кролика, который после прогулок в пронизанных солнечным светом рощах, удачных набегов на пшеничное поле и волнующих уходов от глупых собак вдруг попался в западню и, промучившись всю ночь в ненавистной тюрьме, понял, что попался и что это неволя на всю жизнь.

Мистер Полли, сколько ни бился, не мог поставить диагноз своему недугу. Может, и правда, во всем виновата лень и надо встряхнуться, взять себя в руки? Нет,

мистер Полли не чувствовал себя лентяем. Во многом он винил отца — на то отцы и созданы,— который пристроил его к такому делу, к какому мистер Полли не имел склонности; правда, он и сам не мог сказать, к чему он питает склонность. Он смутно догадывался, что его учили не так и не тому, но не понимал, какое это имело значение для его судьбы. Он предпринимал отчаянные попытки разогнать свой сплин, старался изо всей мочи. Но все было тщетно, словно над ним тяготело проклятие. В конце концов он пришел к печальному выводу, что его ждет судьба всех неудачников и что впереди беспросветный мрак, разве что счастье улыбнется ему случайно. И все-таки, несмотря на самобичевание и попытки перевоспитаться, где-то в глубине души он не считал себя виновным в своих неудачах.

А между тем все признаки его немощи были в точности описаны одним ученым джентльменом в золотом пенсне, живущим в Хайбери и пишущим свои труды преимущественно в великолепной библиотеке Клаймекс-клуба. Этот джентльмен не знал мистера Полли, но он имел в виду как раз такой случай, когда описывал «категорию плохо организованных индивидуумов, которыми изобилует общество, не выработавшее коллективного сознания и коллективной воли для организации общественного строя, удовлетворяющего всех членов этого общества».

Но эти слова все равно мало что объяснили бы мистеру Полли.

ГЛАВА IV

МИСТЕР ПОЛЛИ — СИРОТА

1

Большие перемены наступили в жизни мистера Полли, когда умер его отец. Он умер внезапно, и местный доктор хоть и утверждал, что пациент его страдал недугом, именуемым «манией воображения», заполняя свидетельство о смерти, сделал тем не менее уступку в пользу модного в те времена аппендицита. Мистер Полли вдруг оказался наследником спорного количества пред-

метов мебели, находившихся в доме его кузена недалеко от Исвудского вокзала, фамильной библии, гравюры с портретом Гарибальди, бюста Гладстона, золотых часов с испорченным механизмом, золотого медальона, некогда принадлежавшего его матери, нескольких мелких драгоценностей и безделушек, ничтожных семейных реликвий, страхового полиса и денег в банке, каковые вместе с полисом составляли сумму в триста пятьдесят пять фунтов.

Мистер Полли привык смотреть на своего отца как на вечно существующую реальность, как на нечто бессмертное; а мистер Полли-старший, последние годы ставший очень скрытным, ни разу и словом не обмолвился о страховом полисе. Так что и его смерть и богатство свалились на мистера Полли как снег на голову, и нельзя сказать, чтобы он был к этому подготовлен. Он пережил смерть матери в детстве и уже забыл горечь той утраты, а самой большой его привязанностью до сей поры был Парсонс. Мистер Полли был единственный ребенок в семье, общительный от природы, но родной дом остался для него чужим: место хозяйки заступила тетка; она была скупа, неприветлива, то и дело стучала костяшками пальцев по столу, чтобы утихомирить его, и с утра до ночи натирала мебель до блеска; естественно, что она никак не могла стать другом маленькому неряшливому мальчишке. Изредка у него возникала симпатия к другим девочкам и мальчикам, но она тут же угасала, не успев укорениться. Словом, от былой детской чувствительности в душе мистера Полли почти не осталось и следа, он вырос человеком до крайности застенчивым и малообщительным. Отец для него был человеком чужим и не очень приятным, поскольку имел неограниченное право поучать и распоряжаться; к тому же он был явно разочарован собственным отпрыском. И все-таки его смерть была ударом для мистера Полли: точно во вселенной в одном месте образовалась пустота, и слово «смерть» виделось мистеру Полли начертанным на небесах.

Его вызвали в Исвуд срочной телеграммой, но отца в живых он уже не застал. Кузен Джонсон торжественно встретил его и тотчас повел наверх поглядеть на усопшего: прямую, неподвижную фигуру, одетую в саван, с непривычно спокойным лицом и брезгливой миной, вероятно, благодаря втянутым ноздрям.

— Почил в мире,— пробормотал мистер Полли, изо всех сил стараясь не замечать брезгливой мины.

— Смерть была милостива к нему,— заметил мистер Джонсон.

Воцарилось молчание.

— Второй раз в жизни вижу покойника, если не считать мумий,— промолвил мистер Полли, почувствовав необходимость что-то сказать.

— Мы сделали все, что могли,— заметил мистер Джонсон.

— Не сомневаюсь, старина! — отозвался мистер Полли.

Опять наступило долгое молчание, и наконец, к великому облегчению мистера Полли, кузен Джонсон пошел к двери.

Вечером мистер Полли отправился погулять, и пока он в одиночестве бродил по улицам, образ отца вставал перед ним как живой. Ему на память пришли давно прошедшие дни, когда отец затевал шумную возню с расшалившимся малышом; он вспоминал ежегодные поездки на ярмарку в Хрустальный дворец, где они смотрели веселые пантомимы, полные необыкновенных чудес и удивительных историй. Он видел, как наяву, внушающую трепет спину отца, выходившего к посетителям в старую, знакомую до мельчайших подробностей лавку. Совсем как живой предстал перед ним отец, когда мистеру Полли вспомнился один из его приступов ярости. Как-то раз отец решил втащить из крохотной комнатушки, расположенной за помещением лавки, в спальню наверх небольшую тахту, но на крутой узкой лестнице она застряла. Сперва отец уговаривал упрямую тахту, потом вдруг взвыл, как душа грешника в аду, и предался слепой ярости: он колотил кулаками, пинал, осыпал проклятиями злонамеренный предмет. В конце концов ценой невероятных усилий, причинив изрядный ущерб штукатурке и отломав у ножки тахты колесико, ему удалось втащить ее наверх. Эта сцена, когда, утратив самообладание, отец вдруг явился перед ним как самый обыкновенный человек, произвела исключительное действие на впечатлительную душу мистера Полли. Как будто сам отец во плоти и крови коснулся его сердца теплой, любящей рукой. Это воспоминание оживило в памяти целую ве-

реницу других, которые иначе могли бы быть безвозвратно утраченными.

Слабое, упрямое существо, бьющееся над тем, чтобы втиснуть вещь, куда она не втискивается,— в этом образе мистер Полли узнавал самого себя и все человечество с его бедами.

Несчастный старик, его жизнь не была слишком радостной. И вот теперь все кончено, навсегда...

Джонсон, человек лет тридцати пяти, меланхолического склада, серьезный, с практическим умом и очень любящий давать советы, был из тех, кто испытывает глубокое удовлетворение от исполняемого долга, хотя бы этот долг состоял в том, чтобы похоронить ближнего. Он служил кассиром на Исвудской станции и с достоинством нес возложенные на него обязанности. Он был от природы сдержан и склонен к размышлениям, этим его качествам очень соответствовали прямая, как палка, фигура и большой нависающий лоб. У него было белое в веснушках лицо и глубоко посаженные темно-серые глаза. Самой его большой слабостью был крикет, но и тут проявлялся его характер. Для Джонсона не было иного развлечения, кроме матча крикетистов. Он ходил смотреть состязание, как ходят в церковь, следил за игрой критически, аплодировал скупо и бывал оскорблен до глубины души, если игроки нарушали правила. Многословием он не отличался, но переубедить его в чем-либо было невозможно. Он отлично играл в шашки и шахматы и аккуратно читал еженедельник «Бритиш Уикли». Его жена, маленькая, румяная женщина, вечно улыбающаяся, распорядительная, услужливая и говорливая, старалась всем угодить и видела все в розовом свете, даже если бы кругом царил явно нерозовый свет. У нее были круглое лицо и большие голубые выразительные глаза. Своего мужа она называла Гарольдом. Она произнесла несколько трогательных и деликатных слов о покойном и постаралась бодрыми замечаниями развеять уныние мистера Полли.

— У него было такое просветленное лицо в последние минуты! — несколько раз повторила она с воодушевлением.— Такое просветленное!

Смерть в ее устах могла показаться почти благом.

Эти два человека были полны искреннего желания

опекать мистера Полли и всячески помогать ему, видя его беспомощность в практических делах. После скромного ужина, который состоял из ветчины, хлеба, сыра, пикулей, яблочного пирога и слабого пива, они усадили его в кресло, как тяжелобольного, сели подле него на высокие стулья, чтобы взирать на него сверху вниз, и принялись обсуждать предстоящие похороны. В конце концов похороны — это важное общественное мероприятие, и не часто случается, что у наследника нет ни одного близкого родственника; поэтому надо сделать все возможное, чтобы не ударить лицом в грязь.

— Во-первых, следует заказать катафалк,— сказала миссис Джонсон,— а не какие-то дрожки, где кучер сидит прямо на гробу. Никакого уважения к покойнику! Я не понимаю, как это можно дойти до того, чтобы тебя везли на кладбище в дрожках! — и полушепотом, как всегда, когда в ней начинало говорить эстетическое чувство, она добавила: — Я лично предпочитаю стеклянный катафалк. Это так изысканно, так эффектно!

— Катафалк надо заказать у Поджера,— подытожил Джонсон.— У него лучший во всем Исвуде.

— Пусть будет все как полагается,— согласился Полли.

— Поджер готов снять мерку в любую минуту,— сказал мистер Джонсон. И затем добавил: — Надо заказать кареты, одну или две, смотря по тому, сколько будет гостей.

— Я бы не хотел никого,— заметил мистер Полли.

— Но это необходимо,— возразил мистер Джонсон.— Нельзя же, чтобы никто не сопровождал вашего отца в последний путь.

— Любители поминального пирога,— сказал мистер Полли.

— Пирог не обязательно. Но какое-то угощение должно быть. Ветчина и цыплята — самое подходящее для такого случая. Где уж тут заниматься стряпней в разгар церемонии? Как, по-твоему, Гарольд, кого Альфреду следует пригласить? Я думаю, только родственников. Незачем собирать толпу, но, конечно, и обижать никого нельзя.

— Но он терпеть не мог нашу родню.

— Раньше не мог, а теперь может, поверьте мне,—

сказала миссис Джонсон.— Именно поэтому все и должны прийти, даже тетушка Милдред.

— Не многовато ли? — *опять попытался было запротестовать* мистер Полли.

— Будет не больше двенадцати, ну, тринадцать человек,— заметил мистер Джонсон.

— Закуску мы приготовим заранее и поставим ее на кухне. А виски и черные перчатки для гостей можно будет сразу принести в гостиную. Пока мы все будем на... церемонии, Бесси накроет в гостиной стол. Для мужчин надо купить виски, а для женщин — херес или портвейн.

— У вас есть черный костюм? Вы должны быть в трауре,— обратился Джонсон к мистеру Полли.

Мистер Полли еще не успел подумать об этом побочном обстоятельстве смерти.

— Я еще не думал об этом, старина.

Неприятный холодок пробежал у него по спине: он уже видел себя облаченным во все черное, а он не выносил черной одежды.

— Конечно, я надену траур,— сказал он.

— Разумеется! — воскликнул Джонсон с важной улыбкой.

— Придется и через это пройти,— невнятно пробормотал мистер Полли.

— На вашем месте,— сказал Джонсон,— брюки я купил бы готовые. Это в трауре главное. Затем нужен черный шелковый галстук и черная лента на шляпу. И, конечно, перчатки.

— Обязательно гагатовые запонки: ведь хоронят вашего отца,— добавила миссис Джонсон.

— Не обязательно,— возразил Джонсон.

— Запонки придают респектабельность,— заметила миссис Джонсон.

— Это верно, запонки придают респектабельность,— подтвердил супруг.

Затем миссис Джонсон опять с воодушевлением заговорила о гробе, а мистер Полли все глубже и глубже утопал в кресле, понурив голову, с видимой неохотой соглашаясь на все, что ему говорили. Ночью он долго не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок на софе, служившей ему ложем, и размышляя о своем отце. «До самой могилы не оставят в покое»,— вздохнул он.

Мистер Полли, как всякое здоровое существо, относился к смерти и ко всему, что ей сопутствует, с отвращением. Ум его терзали свалившиеся на него проблемы.

«Ну ничего, как-нибудь управлюсь,— подумал он.— Жаль только, что мы так мало с ним виделись, когда он был жив».

2

Чувство утраты пришло к мистеру Полли раньше, чем сознание свалившегося на него богатства и связанных с ним хлопот и обязательств. Об этом он задумался лишь на следующее утро, которое, кстати сказать, было воскресным, когда перед обедней вместе с Джонсоном он прогуливался по новому пригороду Исвуда мимо ряда недостроенных домов, уже ясно выступающих из завала строительного мусора. Джонсон этим утром был свободен от своих обязанностей и великодушно посвятил его нравоучительной беседе с мистером Полли.

— Не идет у меня дело с торговлей,— начал мистер Полли,— слишком о многом приходится думать.

— На вашем месте,— сказал мистер Джонсон,— я бы устроился в какой-нибудь крупной фирме в Лондоне, наследства бы трогать не стал и жил бы на жалованье. Вот как бы я поступил на вашем месте.

— Крупная фирма — дело нешуточное,— заметил мистер Полли.

— Надо достать солидные рекомендации.

На минуту воцарилось молчание, потом Джонсон спросил:

— Вы решили, куда вложить деньги?

— Я еще не привык к тому, что они у меня есть.

— Деньги надо обязательно куда-нибудь вложить. Если правильно выбрать, то они вам будут давать фунтов двадцать в год.

— Я еще об этом не думал,— сказал мистер Полли, стараясь уклониться от разговора.

— Перед вами столько возможностей. Вложить деньги можно куда угодно.

— Боюсь, что тогда я их больше не увижу. Я плохой финансист. Лучше уж играть на скачках.

— Вот уж чем я никогда не стал бы заниматься.

— У каждого свой темперамент, старина.

— Эти скачки — одно надувательство.

Мистер Полли издал неопределенный звук.

— Есть еще строительные общества,— размышлял Джонсон.

Мистер Полли коротко и сухо подтвердил, что да, таковые есть.

— Можно давать ссуды под залог,— гнул свою линию Джонсон.— Очень надежное помещение денег.

— Я не могу сейчас ни о чем таком думать, по крайней мере пока отец еще в доме,— вдруг сообразил сказать мистер Полли.

Они повернули за угол и пошли к станции.

— Не так уж плохо купить небольшую лавку,— не унимался Джонсон.

Тогда мистер Полли пропустил его замечание мимо ушей. Но мало-помалу эта мысль завладела им. Она запала ему в душу, как семя на благодатную почву, и дала ростки.

— Этот магазин, пожалуй, недурно расположен,— сказал Джонсон.

Он указал рукой на дом, который стоял на углу в неприглядной наготе последней стадии строительных работ, дожидаясь, когда штукатуры, завершив его туалет, прикроют безобразие кирпичной кладки. В первом этаже зиял четырехугольный проем, обрамленный сверху железными стропилами,— будущее помещение лавки. «Окна и прокладка труб — по желанию съемщика» — гласила табличка на здании. В задней стене проема виднелась дверь, сквозь которую проглядывала лестница, ведущая наверх, в жилые комнаты.

— Очень выгодно расположен,— сказал Джонсон и повел мистера Полли осмотреть внутренность строящегося дома.— Здесь будут водопроводные трубы,— показал он на пустую стену.

Они поднялись наверх в маленькую гостиную (или спальню — на выбор владельца), комнатушку, расположенную как раз над лавкой. Потом спустились вниз, на кухню.

— В новых домах комнаты всегда кажутся маленькими,— заметил Джонсон.

Они вышли наружу будущим черным ходом и попали во двор, заваленный строительным мусором, откуда

пробрались обратно на улицу. Они подошли к станции, которая благодаря мощеному тротуару и бойко торговавшим магазинам была коммерческим центром Исвуда. На противоположной стороне улицы боковая дверь одного из процветающих заведений отворилась, и появилось семейство: муж с женой и маленький мальчик в матроске. Женщина была прехорошенькая, в коричневом костюме и соломенной шляпке с цветами, все трое были такие сияющие, чистые, свежие и румяные. В окнах магазина блестели зеркальные стекла, витрины были завешаны собранными в складки маркизами, по которым витиеватыми буквами было выведено: «Раймер, торговец свининой и другими продуктами», а ниже шло уточнение, заманчивое для чревоугодника: «Всемирно известные исвудские колбасы».

Поставщик знаменитых колбас приветливо поздоровался с мистером Джонсоном.

— Вы уже в церковь?

— Нет еще, хотим прогуляться до Литл-Дорингтона,— ответил мистер Раймер.

— Очень приятная прогулка,— заметил Джонсон.

— Очень,— подтвердил мистер Раймер.

— Желаю хорошо провести время,— сказал мистер Джонсон.

И когда счастливое семейство удалилось, добавил вполголоса:

— Преуспевающий господин! Приехал сюда четыре года назад без гроша в кармане. Тощий, как щепка. А посмотрите на него теперь!

— Надо отдать ему должное, он очень трудолюбив,— заметил он немного погодя, чтобы его пример прозвучал более назидательно.

Оба родственника на какое-то время погрузились в раздумье.

— Один человек способен делать одно, другой — другое...— проговорил мистер Джонсон.— Кто хочет преуспеть в торговле, тому бездельничать некогда.

3

Приготовления к похоронам проходили дружно и слаженно благодаря расторопности миссис Джонсон. Накануне печального события она извлекла из комода ку-

сок черного сатина, принесла из кухни стремянку, достала коробку с гвоздиками и стала украшать дом черными бантами и фестонами, проявляя бездну вкуса. Она повязала черным крепом ручку дверного молотка, прицепила большой черный бант на рамку портрета Гарибальди, украсила черными лентами бюст Гладстона, принадлежавший усопшему, повернула вазы с видами Тиволи и Неаполитанского залива так, чтобы видна была только голубая эмаль, находя, что веселые пейзажи неуместны для печальной церемонии; в гостиную купили наконец новую скатерть лилового цвета, что уже давно замышлялось, и постелили вместо старой плюшевой в выцветших розах и амурах, которая уже давно выполнила свое предназначение. Было сделано все, на что способно богатое воображение, чтобы придать уютной квартирке вид скорбного достоинства.

Она освободила мистера Полли от скучной обязанности рассылать приглашения, а когда до прихода гостей остались считанные минуты, отправила его вместе со своим супругом в сад, который узкой полосой обрамлял дом сзади, чтобы на свободе бросить последние штрихи траурных приготовлений. Она отправила их туда, ибо в глубине души была уверена — хотя это и казалось ей странным,— что мистер Полли не прочь улизнуть от своих священных обязанностей, а из сада был только один выход на улицу — через дом.

Мистер Джонсон достиг совершенства в искусстве выращивать овощи. Особенно хороши у него были сельдерей и горох. Он шел по узенькой стежке между грядками и рассказывал мистеру Полли, как трудно выращивать горох, какое это капризное растение и что приходится преодолевать, дабы получить вознаграждение за свои труды. Скоро из дому донеслись громкие голоса и смех, возвестившие о прибытии первых гостей, и напряженность последних минут ожидания спала.

Вернувшись в дом, мистер Полли нашел там трех экстравагантных молодых особ, розовощеких, шумных, в подчеркнутом трауре; они о чем-то увлеченно болтали с миссис Джонсон. Каждая по старинному английскому обычаю расцеловала мистера Полли.

— Это ваши кузины Ларкинс,—сказала миссис Джонсон.— Это Энни! (неожиданные объятия и поцелуй), это

Мириэм! (крепкие объятия и поцелуй), а это Минни! (долгое объятие и поцелуй).

— Очень рад, очень рад! — бормотал мистер Полли, слегка помятый и полузадушенный этими горячими объятиями.

— А вот и сама тетушка Ларкинс,— сказала миссис Джонсон, когда на пороге появилась более дородная и поблекшая копия трех молодых девиц.

Мистер Полли в приступе малодушия чуть не обратился в бегство, но от тетушки Ларкинс не так-то легко было отделаться. Потискав мистера Полли в своих могучих объятиях и громко его расцеловав, она схватила его за руку и принялась бесцеремонно разглядывать. Лицо миссис Ларкинс было круглое, добродушное и все в веснушках.

— Я бы узнала его где угодно! — с жаром воскликнула она.

— Ах, послушайте, что говорит мама! — сказала кузина по имени Энни.— Она мистера Полли и в глаза никогда не видала!

— Я бы узнала его где угодно! — повторила миссис Ларкинс. — Ведь это сын моей дорогой Лиззи. У него ее глаза! Удивительное сходство! Что же касается того, видала я его или нет, то, да будет тебе известно, я качала его на своих руках. Да, качала!

— Ну, сейчас уж не покачать! — прыснула Энни.

Все три сестры громко расхохотались.

— Скажешь тоже, Энни! — сквозь смех проговорила Мириэм, и в комнате некоторое время царило буйное веселье.

— Прошло то время, когда меня качали на руках,— заметил мистер Полли, почувствовав необходимость что-то сказать.

Его слова вызвали такой восторг, что и более скромный человек, нежели мистер Полли, поверил бы, что сказал нечто необыкновенно остроумное.

Мистер Полли не удержался и выпалил еще одну фразу, почти такую же удачную.

— Теперь уж моя очередь кого-нибудь качать,— сказал он, лукаво поглядывая на тетушку.

И снова все расхохотались.

— Чур не меня! — поддержала шутку миссис Ларкинс.— Благодарю покорно! — добавила она, и все застонали от смеха.

Семейство Ларкинсов показалось мистеру Полли очень милым: с ними ему было легко. Они все еще продолжали хихикать, воображая, как мистер Полли станет качать на руках их мамашу, когда мистер Джонсон, вышедший на звук колокольчика, ввел в гостиную сгорбленную фигуру, при виде которой миссис Джонсон воскликнула:

— Это вы, дядюшка Пентстемон?

Дядюшка Пентстемон представлял собой довольно безобразную фигуру. Он был уже очень стар, но годы не придали его внешности благообразия. Время похитило растительность с его головы, оставив ему от похищенного жалкие крохи, которые пучками распространились по всему лицу. На нем были видавшие виды долгополый сюртук, высокий цилиндр, который он и не подумал снять, войдя в комнату. Он был согнут чуть ли не вдвое, в руках он держал плетеную корзинку, из которой застенчиво выглядывали свежие листочки салата и несколько луковых перьев, принесенные им в подарок по случаю похорон. Он проковылял в комнату, отмахиваясь от Джонсона, который пытался взять из его рук корзинку, остановился и, тяжело дыша, с откровенной враждебностью оглядел присутствующих. По его глазам было видно, что он всех узнал.

— И ты здесь? — спросил он миссис Ларкинс.— Ты ведь... А это твои девчонки?

— Да, мои,— ответила тетушка Ларкинс.— И лучших девчонок...

— Это Энни?—спросил дядюшка Пентстемон, указывая на одну из сестер заскорузлым большим пальцем.

— Кто бы подумал, что ты помнишь ее имя!

— Еще бы не помнить! Эта гадкая девчонка испортила мою лучшую грибную грядку! — сварливо прошамкал старик.— Ну и досталось ей тогда! По заслугам, по заслугам! Я хорошо ее запомнил. Я принес тебе свежей зелени, Грейс, только что с грядки. Это очень полезно. Корзинку мне потом отдашь. Смотри, не забудь... Вы уже его заколотили? Ты, Грейс, всегда все делаешь раньше времени.

Дядюшка Пентстемон замолчал: его внимание привлек больной зуб, и он яростно засосал его. От этого старика, заставившего всех притихнуть, веяло первобытной силой. Он, казалось, появился из тех далеких времен, когда наши предки занимались землепашеством, охотой и рыбной ловлей. Здесь, в этой гостиной, он походил на глыбу чернозема среди бумажных куколок. Он очень осторожно извлек из корзины сверток зелени с еще не отмытыми корнями, положил его прямо на новую лиловую скатерть, потом так же осторожно снял цилиндр и вытер вспотевший лоб и край цилиндра огромным красно-желтым носовым платком.

— Я так рада, дядюшка, что вы смогли прийти,— сказала миссис Джонсон.

— О, я пришел,— ответил дядюшка Пентстемон,— я-то пришел. Девчонки служат? — спросил он, поворачиваясь к миссис Ларкинс.

— Нет, не служат. И никогда не будут служить,— заявила миссис Ларкинс.

— Не будут,— повторил дядюшка Пентстемон таким тоном, что трудно было понять, одобряет он это или порицает. Потом перевел взгляд на мистера Полли.

— Сын Лиззи? — спросил он.

От возможного посрамления мистер Полли был избавлен раздавшимися в передней голосами: подошли еще гости.

— А вот и Мэй Пант! — воскликнула миссис Джонсон, когда в комнату вошла маленькая женщина, одетая в черное платье с чужого плеча — хозяйка платья, по всей вероятности, была гораздо солиднее миссис Пант.

За руку она вела крохотного мальчишку, остроносенького, белобрысого и умирающего от любопытства,— он первый раз был на похоронах. Вслед за ней появилось несколько приятельниц миссис Джонсон, поспешивших засвидетельствовать свою скорбь. Полли их почти не запомнил. (Тетушка Милдред, бывшая в семье притчей во языцех, не приняла любезного приглашения миссис Джонсон, к вящей радости всех, кто «был посвящен», по словам миссис Джонсон, хотя мистер Полли так и не мог составить себе представления, как любил говорить мой школьный учитель, кто был посвящен и во что.)

Все были в глубоком трауре, правда, на новый манер; бросалось в глаза, что многие детали туалетов побывали у красильщика, а жакеты и шляпы — самого обычного покроя. Крепа почти не было, и ни в одном костюме, ни в одном платье вы не нашли бы ничего оригинального, примечательного, свидетельствовавшего о том, что приглашенный на похороны специально занимался своим нарядом — на континенте вы непременно бы это заметили. И все же это многолюдное сборище посторонних людей в черном произвело сильное действие на впечатлительный ум мистера Полли. Он, во всяком случае, такого никак не мог ожидать.

— Ну, девочки,— сказала миссис Ларкинс,— посмотрим, какие вы хозяйки.

И все три девицы засуетились, забегали, помогая миссис Джонсон.

— Я уверена,— сказала миссис Джонсон,— что рюмка хереса и печенье не повредят никому. И прошу без церемоний.

Мгновенно на месте свертка с зеленью дядюшки Пентстемона появился графин с вином.

Мистер Джонсон попытался было освободить дядюшку от его шляпы, но тот отказался и сидел, как изваяние, у стены, а его драгоценный головной убор покоился на полу между его ног, и он настороженно следил за каждым, кто к нему приближался.

— Не наступите на цилиндр,— предупреждал он то и дело.

Разговор в гостиной стал общим, и комната наполнилась дружным гулом голосов. Дядюшка Пентстемон обратился к мистеру Полли.

— Ты еще совсем мальчишка и ничего не понимаешь,— сказал он.— Я всегда был против брака твоей матери с ним. Ну да что ворошить прошлое? Я слыхал, из тебя сделали клерка?

— Приказчика. В галантерейном магазине.

— Да, да, припоминаю. А девчонки что, шьют?

— Да, они умеют шить,— из другого угла откликнулась миссис Ларкинс.

— Подай-ка мне рюмку хереса,— сказал дядюшка мистеру Полли.— А то, вишь, как к нему присосались.

Он взял рюмку, которую поднесла ему миссис Джонсон, и, держа ее заскорузлыми пальцами, оценивающе ее взвесил.

— Тебе это встанет в копеечку,— заметил он мистеру Полли.—Твое здоровье! Дамочка, вы задели юбками мой цилиндр. Он стал хуже на целый шиллинг. Такого цилиндра теперь днем с огнем не сыщешь.

Он вылил в себя всю рюмку и громко сглотнул.

Херес скоро развязал языки, скованность первых минут прошла.

— Вскрытие должно было быть обязательно,— услышал мистер Полли, как сказала миссис Пант одной из приятельниц миссис Джонсон.

— Какая прелесть! Как изящно! — раздавалось в углу, где сидели Мириэм и другая приятельница хозяйки, восхищенные траурным убранством гостиной.

Еще не кончили обсуждать печенье с хересом, как появился гробовщик мистер Поджер, коренастый, низенький, гладковыбритый мужчина со скорбным и энергичным лицом в сопровождении помощника сугубо меланхоличного вида. Некоторое время он о чем-то беседовал с мистером Джонсоном наедине. Профессия этого человека была такого рода, что разговоры в гостиной примолкли, и все стали вслушиваться в тяжелые шаги над головой.

4

Наблюдательность мистера Полли обострилась. Он заметил, как гости со скорбной миной алчно набрасывались на херес, даже маленькому Панту распорядились поднести глоток. Затем последовали торжественная раздача черных кожаных перчаток, примеривание, натягивание.

— Очень хорошие перчатки! — сказала одна из приятельниц миссис Джонсон.

— Есть даже маленькому Вилли,— гордо ответила хозяйка.

Все с подобающей случаю мрачной торжественностью участвовали в своеобразной процедуре похорон. Скоро опять появился мистер Поджер и пригласил мистера Полли как главное лицо на похоронах, миссис Джонсон, миссис Ларкинс и Энни занять места в первой карете.

— Отлично! — воскликнул мистер Полли и сконфузился, почувствовав в своем восклицании неуместную живость.

— Кому-то придется пойти пешком,— с сияющим лицом возвестила миссис Джонсон.— Карет всего две. В каждую поместятся шесть человек, остается еще трое.

Началась великодушная борьба за место и в первую карету добавили еще двух девиц Ларкинс, застенчиво признавшихся, что у них новые туфли, которые немножко жмут, и выказавших явную заинтересованность в первой карете.

— Будет очень тесно,— заметила Энни.

— Я не возражаю против тесноты,— вежливо объявил мистер Полли.

А про себя назвал свое поведение «исторической неизбежностью».

Мистер Поджер опять появился в гостиной: он выходил на секунду взглянуть, как подвигается дело на лестнице.

— Идет, как надо! Идет, как надо! — довольно потирал руки мистер Поджер.

Он очень живо запечатлелся в памяти мистера Полли, как, впрочем, и поездка на кладбище в битком набитой карете: мистер Полли сидел, стиснутый двумя девицами в черных платьях, отделанных черной атласной тесьмой; ему запомнился на всю жизнь резкий, холодный ветер и то, что у священника был насморк и он ежесекундно чихал. Непостижимая загадка бытия! Непостижимая загадка мироздания! Как он мог ожидать, что все произойдет иначе?

Мистер Полли стал замечать, что девицы Ларкинс все больше занимают его и что интерес этот взаимный. Девицы то и дело с явным любопытством поглядывали на него и при каждом его слове и жесте начинали хихикать. Мистер Полли обнаружил, что у каждой были свои, особенные черты. У Энни — голубые глаза и свежие розовые губки, хриплый голос и такой веселый, общительный нрав, что даже печальное событие не могло омрачить его. Минни была мила, простодушна, ей нравилось без конца прикасаться к руке мистера Полли и оказывать ему тысячу других знаков внимания. Смуглая Мириэм была гораздо сдержаннее своих сестер, на ми-

стера Полли она смотрела со спокойной невозмутимостью. Миссис Ларкинс гордилась своими дочерьми, считая себя счастливейшей из матерей. Все три были влюбчивы, как и подобает девицам, редко видящим мужчин, странный кузен оказался удивительно подходящим объектом для излияния их чувств. Никогда в жизни мистера Полли столько не целовали, даже голова у него пошла кругом. Он не мог сказать, нравятся или не нравятся ему его кузины. Но ему было приятно видеть, как радостно они откликаются на каждое его слово.

И все-таки сестры Ларкинс раздражали его, раздражали и похороны, но больше всего он раздражал сам себя: нелепая фигура главного плакальщика в новом шелковом цилиндре с широкой траурной лентой. Он участвовал в церемонии похорон, но она не вызывала в нем тех чувств, которые должна была вызывать, и смутно было у него на душе.

5

Домой мистер Полли возвращался пешком, потому что ему хотелось побыть одному. Мириэм с Минни присоединились было к нему, но, увидев рядом с ним дядюшку Пентстемона, отступили.

— А ты умен,— заметил дядюшка Пентстемон, когда они остались одни.

— Рад слышать,— заставил себя ответить мистер Полли.

— Я тоже люблю пройтись перед едой,— сказал дядюшка Пентстемон и громко икнул.— Херес действует,— объяснил он.— Ужасная бурда! Его готовят в местной лавчонке.

Он спросил, во сколько обошлись похороны, и, узнав, что мистер Полли понятия об этом не имеет, вдруг как будто обрадовался.

— В таком случае, мой мальчик,— назидательно проговорил он,— они тебе обойдутся дороже, чем ты предполагаешь.

Некоторое время дядюшка Пентстемон размышлял.

— На своем веку я перевидал уйму распорядителей похорон, уйму,— задумчиво проговорил он.

Вдруг он вспомнил о девицах Ларкинс.

— Мамаша сдает внаем комнаты, стряпает постояльцам обеды. А поглядите на них. Расфуфырились в пух и прах! Будто и не на похороны пришли. На фабрику, небось, *не хотят идти работать!*

— Дядюшка Пентстемон, вы хорошо знали моего отца? — спросил мистер Полли.

— До сих пор не могу успокоиться. Чтобы Лиззи могла такое выкинуть! — сказал дядюшка Пентстемон и опять громко икнул.

— Очень плохой херес,— сказал он, и первый раз за весь день в его дребезжащем голосе проскользнуло сожаление.

Похороны на свежем ветру оказались отличным средством для возбуждения аппетита. Лица всех присутствующих оживились при виде накрытого в гостиной стола. Миссис Джонсон, как всегда, действовала быстро, и когда мистер Полли вошел в дом, все уже, оказалось, сидели за столом.

— Скорее садитесь, Альфред! — радостно окликнула его хозяйка. — Мы вас заждались! Нельзя же начинать без вас! Бесси, ты откупорила бутылки с пивом? Дядюшка, вам приготовить виски с содовой?

— Поставь виски с содовой возле меня. Терпеть не могу, когда женщины суются не в свое дело,— пробурчал дядюшка Пентстемон, осторожно ставя свой цилиндр на книжный шкаф, где ему ничто не угрожало.

Гостям были поданы два холодных цыпленка, которых миссис Джонсон аккуратно поделила на много равных порций, добрый кусок грудинки, ветчина, пирог с потрохами, огромная миска салата, всевозможные соленья, яблочный пудинг, сладкий рулет с вареньем, головка силтонского сыра, несколько бутылок пива и лимонад для дам, а мистеру Панту принесли стакан молока — словом, угощение получилось на славу. По одну сторону мистера Полли сидела миссис Пант, поглощенная воспитанием своего отпрыска, по другую — школьная приятельница миссис Джонсон и сама хозяйка; эти две дамы увлеклись воспоминаниями о прошлом и обсуждением того, как изменились и за кого вышли замуж их школьные подруги. Напротив него, рядом с другой прия-

тельницей миссис Джонсон, сидела Мириэм. Мистеру Полли выпала обязанность разрезать грудинку, кроме того, он каждую минуту должен был вскакивать с места, чтобы пропускать прислуживающую за столом Бесси, поэтому в течение всех поминок ему так и не удалось предаться размышлениям о бренности всего земного, даже если бы между миссис Ларкинс и дядюшкой Пентстемоном не вспыхнула перепалка о воспитании молодых девиц в наше время, грозившая одно мгновение, несмотря на увещевания мистера Джонсона, нарушить плавный ход печального обряда.

Вот что осталось в памяти мистера Полли от этого поминального обеда.

По правую руку от него миссис Пант говорит учтивым полушепотом:

— Я вижу, мистер Полли, вы и не подумали вскрыть вашего бедного папочку.

Сидящая слева дама обращается к нему:

— Мы с Грейс вспоминаем незабвенные дни далекого прошлого.

Мистер Полли спешит ответить миссис Пант:

— Мне как-то это не пришло в голову. Не хотите ли еще грудинки?

Голос слева:

— Мы с Грейс сидели за одной партой. Нас тогда называли Розочка и Бутончик.

Миссис Пант вдруг взрывается:

— Вилли, ты проглотишь вилку! — И прибавляет, обращаясь к мистеру Полли: — У меня как-то квартировал один студент-медик...

Слева нежный голосок:

— Еще ветчинки, Альфред? Я вам так мало положила.

За стулом мистера Полли появляется Бесси и пытается изо всех сил протиснуться между спинкой стула и стеной. Мистер Полли галантно приходит ей на помощь.

— Никак не пройти? Подождите, я немного подвину стул. Вот так. Теперь все в порядке? Отлично!

Дама слева отважно продолжает рассказывать, невзирая на то, слушают ее или нет; а миссис Джонсон рядом с ней, по обыкновению, сияет.

— Вы бы видели, с каким гордым видом она сидела на уроках! И чего только не проделывала! Кто ее знает теперь, никогда бы не поверил. То вдруг начнет передразнивать классную даму...

Миссис Пант продолжает свое:

— Содержимое желудка должно быть обязательно исследовано...

Голос миссис Джонсон:

— Альфред, передайте, пожалуйста, горчицу!

Мириэм, перегнувшись через стол:

— Альфред!

Голос соседки слева:

— А один раз нас всех из-за нее оставили без обеда. Подумайте, какой ужас, всю школу!

Мириэм, более настойчиво:

— Альфред!

Дядюшка Пентстемон сердито возвышает голос:

— Я бы и сейчас ее выдрал, если бы она испортила мои грядки! Шкодливая тварь!

Мириэм, поймав наконец взгляд мистера Полли:

— Альфред, моя соседка бывала в Кентербери, я ей рассказала, что вы там жили.

Мистер Полли:

— Рад слышать!

Соседка Мириэм, почти крича:

— Мне он очень нравится!

Миссис Ларкинс, тоже возвышая голос:

— Я никому не позволю, ни старому, ни малому, оскорблять моих дочерей!

Хлоп! В потолок летит пробка.

Мистер Джонсон, как бы между прочим:

— Дело не в пиве, оно совсем некрепкое. Просто в комнате очень жарко.

Бесси:

— Простите, пожалуйста, мне опять надо пройти...— Она бормочет еще что-то, но ее слова тонут в общем шуме.

Мистер Полли встает, двигает стул, опять садится.

— Ну как? Отлично?

Ножи и вилки, вступив, по-видимому, между собой в тайное соглашение, начинают вдруг хором звенеть, стучать, визжать, заглушая все остальные звуки.

— Никто не имел никакого представления, отчего он умер... Вилли, не набивай рот! Ты что, куда-нибудь торопишься? Боишься опоздать на поезд?

— Помнишь, Грейс, как однажды на уроках чистописания...

— Прекрасные девочки, ни у кого никогда таких не было...

Тоненький, ясный, сладкий голосок миссис Джонсон:

— Гарольд, нельзя ли миссис Ларкинс еще кусочек цыпленка?

Мистер Полли, оценив ситуацию:

— Не хотите ли грудинки, миссис Ларкинс?

Поймав взгляд дядюшки Пентстемона, предлагает и тому:

— Может, вам еще кусочек, дядюшка?

— Альфред!

Дядюшка Пентстемон громко икает, на мгновение воцаряется тишина, нарушаемая хихиканьем Энни.

А над ухом мистера Полли звучит неумолимо и монотонно:

— Пришел другой доктор и сказал: «Все надо вынуть и положить в спирт, абсолютно все!»

Вилли громко чавкает.

Рассказ, доносящийся слева, достигает своего апогея.

— «Девицы,— говорит нам она,— окуните в чернила перья и выньте оттуда носы!»

— Альфред! — слышен требовательный голос.

— Некоторые люди, как собаки, любят бросаться на чужих детей. Своих-то нет, хотя две жены было, да померли обе, бедняжки, не выдержали...

Мистер Джонсон, стараясь отвратить бурю:

— Не надо поминать плохое в такой день...

— Поминай не поминай, а и дюжина бы не выдержала, все сошли бы в могилу.

— Альфред! — надрывается Мириэм.

— Если подавишься, больше ничего не получишь. Ни кусочка. И пудинга не дам.

— Целую неделю вся школа была без обеда, целую неделю!

Мистер Полли, почувствовав, что рассказ подходит к концу, делает вид, что очень заинтересовался.

— Подумать только! — восклицает он.

— Альфред! — кричит во весь голос Мириэм, потеряв надежду, что ее услышат.

— И что бы вы думали? Они все-таки нашли причину смерти. Ключ от комода. Зачем он его проглотил?

— Нельзя допускать, чтобы кто-нибудь бросался на людей!

— А кто же это, по-вашему, бросается?

— Альфред, моя соседка хочет знать, Проссеры еще живут в Кентербери?

— Я никогда никому ничего плохого не делала! Комара не убью...

— Альфред! Не кажется ли вам, что вы слишком заняты своей грудинкой?

И все в том же духе чуть ли не целый час.

Мистеру Полли было тогда и смешно и неловко, но ел он тем не менее с аппетитом все, что ему подкладывали. Однако через час с четвертью — но еще задолго до конца поминок,— когда компания за столом зашевелилась, стали отодвигать тарелки и вставать с мест, потягиваясь и вздыхая, мистер Полли почувствовал, что его доброе расположение духа сменяется глухим раздражением и унынием, что было, конечно, следствием зарождавшейся диспепсии.

Он стоял между вешалкой и окном — ставни были открыты — в окружении девиц Ларкинс. Мистер Полли изо всех сил старался отогнать подступавшую тоску и, увидев на руке Энни два кольца, пустился высказывать всякие остроумные предположения.

— Это не обручальные кольца,— кокетливо возражала ему Энни.— Я выиграла их по лотерейному билету.

— Лотерейный билет в брюках, надо полагать? — заметил мистер Полли, вызвав целую бурю смеха.

— Чего только он не придумает! — пискнула Минни, хлопнув мистера Полли по плечу.

И в эту минуту он вдруг вспомнил то, что ему никак не полагалось забывать.

— Господи помилуй! — воскликнул он, сразу посерьезнев.

— Что случилось? — спросил его мистер Джонсон, оказавшийся поблизости.

— Я должен был вернуться на службу в магазин еще три дня назад. Представляю, какой они поднимут шум!

— Нет, он просто прелесть! — взвизгивая, захохотала Энни, как будто обрадовалась пришедшей ей в голову приятной мысли: — Так они же вас вытурят!

Мистер Полли, состроив гримасу, передразнил Энни.

— Нет, он нас уморит! — едва выговорила та сквозь смех.— Я уверена, что ему наплевать на них!

Несколько сбитый с толку весельем Энни и выражением ужаса на лице Мириэм, мистер Полли, пробормотав извинения, шмыгнул в кухню, а оттуда через мойку — в садик. Свежий воздух и мелкий, моросящий дождь принесли ему минутное облегчение. Но черный сплин, порожденный приступом диспепсии, взял верх. Непроглядный мрак окутал его душу. Он ходил, засунув руки в карманы, между грядок гороха, и страшно, необъяснимо с точки зрения здравого смысла тосковал о своем умершем отце. Шум, суматоха поминального обеда, противоречивые эмоции, которые обед в нем вызвал,— все отошло на задний план. Он видел сейчас перед собой отца, рассерженного, разгоряченного, как он тащил по узкой лестнице несчастную тахту, пиная ее, проклиная на чем свет стоит. И вот теперь этот человек лежит неподвижно на самом дне глубокой прямоугольной ямы, рядом с ней холмик земли, который вот-вот сокроет его навеки. Какой покой! Какая непостижимая тайна! И нескончаемое раскаяние!

И вдруг в сердце мистера Полли вспыхнула безумная ненависть ко всем этим людям, ко всем до единого.

— Жалкие смехачи с куриными мозгами! — прошептал мистер Полли.

Он подошел к забору, облокотился на него и стал смотреть вдаль. Так он стоял долго. Из дома вдруг донеслись громкие голоса, потом опять стало тихо. Миссис Джонсон позвала Бесси.

— Любители упражнять голосовые связки! — разразился мистер Полли.— Охотники до похоронных игр! О, его вы этим не обидите! Ему нет дела до вас!..

Долгое время никто не замечал отсутствия мистера Полли.

Когда он наконец появился в гостиной, глаза у него горели мрачным огнем, но никто на это не обратил внимания. Гости поглядывали на часы, всеведущий Джонсон сообщал расписание поездов. О мистере Полли вспомнили только в последний момент, когда стали прощаться. Каждый сказал ему несколько прочувствованных слов. Только дядюшка Пентстемон ничего не сказал: его совсем расстроило исчезновение корзинки. Он был уверен, что ее засунули подальше умышленно, с намерением присвоить себе. Миссис Джонсон пыталась дать ему взамен другую, точно такую же, но он с негодованием ее отверг: его корзинка была несравненно лучше, у нее одна ручка была скреплена веревкой, он сам ее починял, сделав это очень искусным и оригинальным способом, известным только ему одному. Так что попытку миссис Джонсон навязать ему другую корзину он расценил как самое беззастенчивое нахальство, на которое миссис Джонсон отважилась, уповая только на его преклонные годы и склероз. Мистер Полли опять попал в распоряжение девиц Ларкинс. Кузина Минни, забыв всякий стыд, целовала его без конца и даже объявила, что ехать домой еще рано. Кузина Мириэм нашла поведение сестрицы глупым и, поймав взгляд мистера Полли, сочувственно ему улыбнулась. Кузина Энни перестала хихикать, расчувствовалась и сказала проникновенно, что похороны доставили ей такое удовольствие, что словами описать невозможно.

ГЛАВА V

ЛЮБОВЬ

1

Мистер Полли возвращался после похорон отца в Клэпем, готовый к самому худшему, так что известие об увольнении не застало его врасплох.

— Вы просто несколько опередили меня,— сказал он вежливо.

Вечером в спальне он объяснял своим бывшим сослуживцам, что решил немного отдохнуть перед тем, как заняться поисками нового места; но о полученном наслед-

стве никому не сказал ни слова, вероятно, унаследовав от отца также и некоторую скрытность.

— Это тебе удастся как нельзя лучше,— заметил Аскоф, старший приказчик из обувного отдела.— Теперь это модно. Шесть недель на прелестной улице Вуд-стрит! У них там, говорят, есть отделение туризма...

«Немного отдохнуть» — вот что первое пришло в голову мистера Полли, когда он освоился наконец с мыслью о свалившемся на него богатстве. Путешествия — вот что такое, по его мнению, была настоящая жизнь, все остальное — жалкое прозябание. И теперь он может позволить себе немного отдохнуть. У него есть деньги, чтобы купить билет на поезд, чтобы остановиться в гостинице, не думать о куске хлеба. Но ему хотелось бы отдохнуть в чьем-нибудь обществе.

Сперва он лелеял надежду разыскать Парсонса, уговорить его бросить службу и отправиться с ним в Стрэтфорд-на-Эйвоне и Шрюсбери, побродить в горах Уэльса и по берегам реки Уай, побывать во множестве других таких же мест — словом, пожить целый месяц веселой, беззаботной, бездумной жизнью. Но, увы! Парсонс больше не работал в галантерейной лавке возле собора святого Павла, он ушел оттуда, не оставив адреса.

Мистер Полли попытался было уговорить себя, что и одному путешествовать не так уж плохо, но из этого ничего не вышло. Он мечтал о случайных дорожных встречах с интересными людьми, о романтических знакомствах. Подобные вещи случались у Чосера, у Боккаччо, и буквально на каждом шагу в очень вредном романе Ричарда Ле Гальена «Поиски золотой девы», который он прочитал в Кентербери. Но ему не верилось, что такое может случиться в Англии, с ним.

Когда месяц спустя он захлопнул наконец за собой дверь клэпемского Пассажа и очутился на залитой солнцем лондонской улице, у него закружилась голова от нахлынувшего на него чувства свободы, но он не совершил ничего из ряда вон выходящего, а только сел в первый попавшийся кэб и приказал кучеру отвезти его на вокзал Ватерлоо, где немедля купил билет на исвудский поезд.

Он хотел... Чего же все-таки он хотел от жизни? Мне кажется, больше всего на свете ему хотелось быть сре-

ди друзей. Он уже истратил фунт или два, устраивая пирушки для своих бывших коллег,— небольшие ужины, что ли, а в одно из воскресений веселая, галдящая компания во главе с важным и счастливым организатором отправилась на прогулку через Уандсвортскую и Уимблдонскую пустоши в Ричмонд, где их ждало вкуснейшее холодное мясо, салат и превосходный пунш! Пунш! А мистера Полли, само собой разумеется, соответствующий счет. Но в тот день, когда мистер Полли покидал Лондон, все его приятели томились за прилавками, и он отправился в Исвуд один, с баулом в одной руке и портпледом в другой; в купе, кроме него, никого не было, он стоял у окна и смотрел на мир, в котором каждый человек, который мог бы стать его другом и спутником, или трудился, в поте лица добывая хлеб свой, или искал возможности трудиться, одержимый одним отчаянным стремлением — во что бы то ни стало найти работу. Он глядел из окна на дороги пригорода, на ряды одинаковых домиков, которые либо сдавались жаждущими жильцов хозяевами, либо были населены малообщительными, неинтересными людьми, погруженными в свои дела и заботы. Около Уимблдона проехали площадку для гольфа; два пожилых джентльмена, которые могли бы, если бы только захотели, стать свободными, как ветер, с великим усердием и сосредоточенностью примеряли головки клюшек к мячам, чтобы удар получился сильный и точный. Мистер Полли не мог их понять.

Вдоль шоссе — обратил внимание мистер Полли, хотя проезжал здесь сотни раз,— тянулись изгороди: то крепкий частокол, то чугунная ограда, то аккуратно подстриженная живая изгородь. И он подумал, что в других странах дороги, наверное, не огораживают, и они манят путника своей свободой и естественностью. Пожалуй, лучше всего путешествовать за границей, решил мистер Полли.

И пока он стоит и смотрит на убегающие за окном изгороди, дороги, дома, в его памяти оживает полузабытый сон: он видит на лесной дороге карету; две дамы и два кавалера, красивые, в нарядных одеждах, танцуют старинный танец с поклонами и приседаниями; им играет на скрипке бродячий музыкант. Они ехали в карете в одну сторону, он шел себе потихоньку в другую. Они встре-

тились — и вот результат. Возможно, они явились прямо из счастливой Телемской обители, в уставе которой было только одно правило: «Делай, что хочешь». Кучер распряг лошадей, и они мирно пасутся в стороне; сам он сидит на камне и хлопает в ладоши, отбивая такт, а скрипач все играет. Солнечный свет кое-где пробивается сквозь пышные кроны деревьев, трава в лесу, высокая и густая, пестреет бледно-желтыми нарциссами, а на зеленом лугу, где танцуют дамы и кавалеры, рассыпаны белые звездочки маргариток.

Мистер Полли — простая душа! — твердо верил, что такие вещи случаются в жизни. Только почему же с ним никогда ничего такого не было? — спрашивал он себя с изумлением. Может быть, это случается на юге Англии, а может, в Италии? Или, может, это бывало сто лет назад и теперь уже не бывает? А вернее всего, это случается и сейчас за каждым углом, только в те дни и часы, когда все добропорядочные мистеры Полли сидят по своим лавкам и магазинам. Так, мечтая о всяких чудесах до боли в сердце, мистер Полли трясся в пригородном поезде, приближаясь к дому рассудительного мистера Джонсона и его жизнерадостной и гостеприимной супруги.

2

Мистер Полли перевел свою беспокойную жажду счастья на Гарольд-Джонсоновский язык, сказав своему кузену, что ему необходимо хорошенько осмотреться, прежде чем начать новую жизнь. Мистер Джонсон это одобрил. Было решено, что мистер Полли поселится пока у Джонсонов в своей бывшей комнате и будет платить за обеды восемнадцать шиллингов в неделю. На следующее утро мистер Полли вышел из дому пораньше и скоро вернулся с покупкой — новеньким велосипедом; он уже и место присмотрел, где можно учиться ездить на велосипеде, — тихую улочку, посыпанную песком, которая начиналась сразу же за домом мистера Джонсона. Но из гуманных соображений задернем над мистером Полли занавес на то время, пока он учится езде на велосипеде.

Кроме того, мистер Полли купил несколько книг: конечно, своего любимого Рабле, «Арабские сказки», со-

чинения Стерна, кипу «Блэквудских рассказов», все это он купил за дешевую цену в лавке букиниста, пьесы Вильяма Шекспира, «Дорогу в Рим» Беллока — тоже у букиниста, разрозненный том «Странствий пилигрима» Сэмюеля Пэрчеса и «Жизнь и смерть Ясона».

— Лучше было бы купить хорошее руководство по бухгалтерии,— наставительно заметил мистер Джонсон, перелистывая мудреные страницы.

Запоздалая весна, чтобы наверстать упущенное, надвигалась семимильными шагами. Потоки солнечного света заливали землю, пьянящие ветры овевали ее, караваны облаков, похожих на башни, плыли по синим просторам небесного океана, спеша исполнить великую миссию. Очень скоро мистер Полли уже ездил, правда, не совсем уверенно, на своем велосипеде по незнакомым дорогам Суррея, всякий раз загадывая, что́ начнется за следующим поворотом, любуясь цветущим терновником и тщетно выискивая белые цветы майского боярышника. Он был удивлен и раздосадован, как, впрочем, многие другие доверчивые люди, обнаружив, что в начале мая никакого майского боярышника и в помине нет.

Он никогда не ездил с одной и той же скоростью, как делают благоразумные люди, наметившие путь заранее и старающиеся приехать на место в срок. Мистер Полли ездил то быстро, то медленно и всегда с таким видом, будто он ищет что-то очень важное, чье отсутствие хотя и не нарушает очарования весны, но делает ее чуточку менее волшебной. Иногда он бывал так безумно счастлив, что пел или насвистывал что-нибудь; иногда его охватывала легкая грусть, но от нее не болело сердце. Его диспепсия под действием свежего воздуха и физических упражнений прошла; и было так приятно гулять вечерами с мистером Джонсоном по саду и обсуждать планы на будущее. У Джонсона было полно всяких идей. Более того: мистер Полли неплохо изучил дорогу в Стэмтон — новый пригород Исвуда, и как только ноги у его велосипеда достаточно выросли, он, покорный закону неизбежности, устремился в дальнюю улочку Стэмтона, где проживали в одном из маленьких домиков сестры Ларкинс.

Там его встретили с необычайным восторгом.

Улица, на которой жили Ларкинсы, была узкой и грязной,— небольшой тупичок, по обеим сторонам ко-

торого лепились крохотные домики с полукруглыми окнами, коричневыми облезлыми дверями и черными дверными молотками. Он приставил свой новенький велосипед к окну, постучал и стал ждать; в черном саржевом костюме и новой соломенной шляпе он чувствовал, что производит приятное впечатление человека процветающего. Дверь отворила кузина Мириэм. На ней было голубое ситцевое платье, придававшее ее смуглой коже теплый оттенок, и хотя вот-вот могло пробить четыре часа пополудни, рукава ее платья, как бывает, когда в доме уборка, были закатаны выше локтя, открывая довольно тонкие, но приятной формы загорелые руки. Воротничок платья был расстегнут, и наружу стыдливо выглядывала хорошенькая, кругленькая шейка.

Какой-то миг она смотрела на него подозрительно и даже враждебно, потом в ее глазах вспыхнула радость: она узнала мистера Полли.

— Боже мой! — воскликнула она.— Кузен Альфред!

— Приехал навестить вас,— сказал мистер Полли.

— Ах, в каком же виде вы нас застали!

Секунду они стояли, глядя друг на друга, пока Мириэм приходила в себя от такой неожиданности.

— Любознательный пилигрим,— сказал мистер Полли, показывая на велосипед.

По лицу Мириэм не было заметно, что она оценила остроумие мистера Полли.

— Одну минуточку,— произнесла наконец она, придя, видимо, к какому-то решению.— Пойду скажу маме.

И с этими словами захлопнула дверь перед носом озадаченного мистера Полли, оставив его на улице. «Мама!» — донеслось из-за двери, затем послышались частые слова, смысл которых мистер Полли не уловил. И Мириэм появилась вновь. Казалось, она исчезла на секунду, но и этого было достаточно, чтобы навести некоторый порядок в туалете: руки спрятались в рукава, фартук исчез, мило сбившаяся прическа слегка подправлена.

— Я вовсе не хотела оставлять вас за дверью,— сказала она, выходя на крыльцо.— Просто надо было сказать маме. Как поживаете, Альфред? Вы чудесно выглядите. А я и не знала, что вы умеете ездить на велосипеде. Это новый велосипед, да?

Она потрогала руль.

— Какой красивый! Но вам, наверное, трудно держать его в чистоте?

До слуха мистера Полли доносились чьи-то быстрые шаги в коридоре, и весь дом, казалось, наполнился возней, приглушенной, но энергичной.

— Он ведь покрыт лаком,— ответил мистер Полли.

— А что в этой маленькой сумке? — спросила Мириэм и, не дождавшись ответа, перескочила на другое: — У нас сегодня ужасный беспорядок. Сегодня моя очередь убирать. Не могу похвастаться, что я какая-нибудь там необыкновенная чистюля, но время от времени я люблю перевернуть вверх дном весь дом. Они ведь никто пальцем о палец не стукнут... Если бы я дала им возможность... Вы должны, Альфред, принимать нас такими, какие мы есть. К счастью, мы сегодня дома.— Мириэм на секунду умолкла. Чувствовалось, что она старается выиграть время.— Я так рада снова вас видеть,— сказала она.

— Но я все равно никуда бы не делся,— любезно заметил мистер Полли.— И не застань я моих милых кузин сегодня, я бы приехал еще раз навестить их.

Мириэм ничего не ответила. Она густо покраснела.

— Вы всегда скажете что-нибудь такое.— И она так глянула на мистера Полли, что он, повинуясь своей несчастной слабости — боязни обмануть ожидание собеседника, кивнул ей многозначительно головой и, глядя ей прямо в лицо своими круглыми карими глазами, добавил:

— Я не говорю, какую именно.

Выражение ее лица вдруг открыло ему, какую он затевает опасную игру. В глазах у нее загорелся алчный огонек. К счастью, в этот момент послышался голосок Минни, и обстановка разрядилась.

— Привет, Альфред! — воскликнула Минни, появляясь на пороге.

Она была весьма аккуратно причесана; красная блузка, правда, была ей несколько не к лицу, но в том, что появление мистера Полли ее искренне обрадовало, сомневаться не приходилось.

Мистер Полли должен был остаться на чашку чая Выплывшая наконец из комнат миссис Ларкинс, облачен-

ная в цветастый, но довольно засаленный фланелевый халат, очень радушно повторила приглашение. Мистер Полли ввел свой велосипед в прихожую, поставил его в узенький, закопченный чуланчик, и вся компания вошла в крохотную, давно не убиравшуюся кухню, где стоял обеденный стол, с которого, видимо, только что убрали остатки предыдущей трапезы.

— Придется принимать вас на кухне,— сказала миссис Ларкинс,— потому что в гостиной Мириэм затеяла уборку. Такая чистюля, не приведи бог! Воскресений и праздников для нее не существует. Застали нас врасплох, как говорится, но все равно мы очень рады вас видеть. Жаль только, что Энни нет дома, она сегодня работает до семи.

Мириэм расставила стулья, разожгла огонь в плите. Минни подсела к мистеру Полли.

— Я так рада снова вас видеть,— сказала она с таким чувством и так приблизив к нему свое лицо, что он заметил у нее сломанный зуб.

Миссис Ларкинс доставала чайную посуду и без умолку тараторила, расхваливая благородную простоту их жизни, и просила его «не судить строго их простые обычаи». У мистера Полли голова шла кругом от такого радушия, и его отзывчивая натура тут же среагировала: он взялся помогать накрывать на стол и заставил всех хохотать до упаду, делая вид, что никак не может сообразить, как расставить чашки, тарелки и куда положить ножи.

— С кем я буду сегодня сидеть? — спросил он и стал расставлять чашки так, чтобы все три женщины оказались его соседками.

Он так искусно разыграл озадаченность, что миссис Ларкинс не выдержала и упала от смеха в кресло, стоявшее возле больших часов, черных от многолетней пыли и давно отслуживших свой век.

Наконец уселись пить чай, и мистер Полли принялся веселить компанию рассказами о том, как он учился ездить на велосипеде. Оказалось, что слово «вильнуть» способно вызвать гомерический хохот.

— Невозможно предусмотреть все эти инциденты,— объяснил он.— Никак невозможно!

(Минни прыснула.)

— Толстенький пожилой господин в белых манжетах и в мусорной корзине, то бишь соломенной шляпе, на голове, стал переходить дорогу. Судя по тому, что в руке он нес банку для керосина, он шел в керосиновую лавку...

— И вы наехали на него? —воскликнула миссис Ларкинс, задыхаясь от смеха.— Неужели вы на него наехали?

— Наехал! Только не я, мадам. Никогда ни на кого не наезжал. Я вильнул в сторону, звякнул колокольчиком. Еще раз вильнул...

(Смех до слез.)

— Я и не думал на него наезжать! Господин услышал колокольчик. И тоже вильнул в сторону. В этот миг подул ветер. Шляпа этого господина вспорхнула и ударилась о мое колесо. Велосипед вильнул. Что было дальше? Шляпа покатилась по дороге, пожилой господин помчался за ней, я звоню, раздается вопль. И господин налетает на меня. Он не подал мне сигнала об опасности: у него ведь не было звонка. Просто налетел на меня. Я лечу прямо ему на голову, он падает на землю, я на него. Банка с грохотом катится по мостовой.

(Минутная заминка: Минни подавилась крошкой хлеба.)

— Что же было дальше с этим пожилым господином? —спросила миссис Ларкинс.

— И вот мы сидим посередине дороги, рядом валяются велосипед, корзина для мусора, керосиновая банка, и оживленно беседуем. Я говорю ему, что нельзя носить такие опасные шляпы, которые сбивают встречных с ног. Если он не умеет управлять своей шляпой, пусть оставляет ее дома. Это был долгий и скучный разговор. Он все перебивал меня: «Позвольте сказать вам, сэр... Позвольте сказать вам, сэр...» И ужасно кипятился. Должен заметить, подобные вещи то и дело случаются, когда ездишь на велосипеде. То на тебя налетит человек, то курица, то кошка, то собака. Каждая тварь норовит оставить свой след на твоем велосипеде.

— Но вы сами, Альфред, ни на кого не наезжали?

— Ни на кого, провались я на этом месте! —торжественно заявил мистер Полли.

— Он же говорит тебе, что не наезжал,— пропищала Минни.— Надо слушать, что он говорит!

И она снова впала в состояние, потребовавшее решительного удара по спине.

— Веди себя прилично, Минни,— сказала Мириэм, стукнув сестру как следует.

Никогда прежде не случалось мистеру Полли иметь такой успех в обществе. Девицы Ларкинс с восторгом внимали каждому его слову, то и дело заливаясь смехом. Веселая это была семья! А он так любил веселье! Обстановку, в которой текла их жизнь, он почти не разглядел, да она почти ничем не отличалась от того, к чему он привык. Стол был покрыт ветхой скатертью, чашки, блюдца, чайник, полоскательница — все было разномастное, ножи служили, вероятно, еще бабушке миссис Ларкинс; зеленая стеклянная масленка была тоже вполне самостоятельным предметом. На стене висела посудная полка с кухонной утварью, не очень многочисленной, на ней стояли коробка для рукоделия и неопрятная рабочая корзинка, на окне рос кустик чахлой герани, обои были в пятнах и кое-где свисали клочьями, стены украшали цветные хозяйственные календари, пол был устлан пестрыми кусками линолеума. В двери торчало несколько гвоздей, на которых висели кофты, шали, халаты. Деревянное кресло, на котором сидел мистер Полли, то и дело поскрипывало, что тоже служило поводом для веселья.

— Спокойно, спокойно, лошадка! — выговаривал креслу мистер Полли.— Тпру, мой резвый конь!

— Чего только он не придумает! — восхищенно ахали девицы Ларкинс.— Чего только не придумает!

3

— И не думайте уходить! — заявила миссис Ларкинс.

— В восемь часов будет ужин.

— Отужинайте с нами, раз уж навестили нас,— настаивала миссис Ларкинс, поддерживаемая бурными возгласами Минни.— Пойдите немножко погуляйте с девочками и возвращайтесь к ужину. Можете встретить Энни, пока я все уберу и накрою на стол.

— Только смотри ничего не трогай в гостиной,— сказала Мириэм.

— Кому нужна твоя гостиная? — ответила миссис Ларкинс, видимо, забыв на секунду о присутствии гостя.

Дочери одевались и прихорашивались, а матушка тем временем расписывала лучшие стороны каждой. Наконец дружная компания покинула дом и отправилась осматривать Стэмтон. На улице девиц как подменили: они перестали хихикать и приняли скромный, достойный вид, особенно Мириэм. Они повели мистера Полли в парк «культурного отдыха», как они выразились. Это был уютный уголок с асфальтированными аллеями, питьевыми фонтанчиками и хорошеньким домиком сторожа, на клумбах весело цвели желтофиоли и нарциссы, пестрели зеленые нарядные щиты для объявлений с красивыми афишами. Парк тянулся до самого кладбища, откуда открывался вид на далекие холмы Серрея. Девицы с мистером Полли миновали газовый завод, пошли по берегу канала и скоро увидели ворота фабрики, из которых вдруг появилась удивленная и сияющая Энни.

— Привет! — воскликнула Энни.

Всякому человеку приятно испытывать дружеское внимание со стороны своих собратьев. А когда к тому же этот человек молод и сознает, что не лишен ума, что траурный костюм ему к лицу, а собратья — три хорошенькие, молоденькие, восторженные девушки, затеявшие спор, кому идти с ним рядом, — можно простить ему ликующее восхищение собой. А девицы Ларкинс и в самом деле спорили, кому идти рядом с мистером Полли.

— С Альфредом пойду я! — твердо заявила Энни.— Вы с ним целый день, к тому же мне надо кое-что ему сказать.

Ей действительно надо было кое-что сказать. Что именно, стало известно очень скоро.

— Знаете, Альфред,— без обиняков начала она,— я и в самом деле выиграла те кольца по лотерейному билету.

— Какие кольца? — удивился мистер Полли.

— А те, что были у меня на руке, когда хоронили вашего бедного папочку. Вы еще сказали тогда, что я их ношу неспроста. Честное слово, тут ничего такого нет!

— Значит, кое-кто проморгал свое счастье,— заметил мистер Полли, вспомнив, о каких кольцах шла речь.

— Никто свое счастье не проморгал,— возразила Энни.— Никогда не позволяю себе делать кому-нибудь авансы.

— И я тоже,— сказал мистер Полли.

— Может быть, я иногда слишком много смеюсь,— призналась Энни.— Такой уж у меня характер. Но это ничего не значит. Я не из тех, у кого ветер в голове.

— Ну и отлично! — сказал мистер Полли.

4

Домой в Исвуд мистер Полли возвращался в одиннадцатом часу, когда уже светила полная луна и впереди велосипеда бежало красноватое пятно света, отбрасываемое прикрепленным к рулю китайским фонариком. Мистер Полли был несказанно доволен прошедшим днем и собою. За ужином пили пиво, смешанное с имбирным элем, оно так весело пенилось в кувшине. Ни одно облачко не омрачило счастливого настроения мистера Полли, пока он не увидел встревоженное и укоряющее лицо Джонсона, который в ожидании своего родственника не ложился спать, а сидел в гостиной и курил, пытаясь читать «Странствия пилигрима» — историю одного монаха, отправившегося в Сарматию и видевшего там огромные телеги, на которых кочевники перевозили свои кибитки.

— Что-нибудь случилось, Альфред? — спросил он.

Слабость характера мистера Полли проявилась в его ответе.

— Да так, пустяки,— сказал он.— Педаль немного ослабла, когда я добрался до Стэмтона. Дальше ехать было нельзя. Пока его чинили, я заглянул к кузинам.

— Уж не к Ларкинсам ли?

— Вот именно.

Джонсон зевнул, спросил, как поживает тетушка Ларкинс и ее дочери, и, получив доброжелательный отчет, сказал:

— Пора идти спать. Я тут читал одну твою книжку. Чепуха какая-то. Не мог ничего понять. Во всяком случае, что-то очень древнее.

— Это верно, старина,— ответил мистер Полли.
— Ничего полезного из нее почерпнуть нельзя.
— И это верно,— согласился мистер Полли.
— Видел что-нибудь подходящее в Стэмтоне?
— Ничего стоящего, на мой взгляд, там нет,— ответил мистер Полли и пожелал Джонсону спокойной ночи.

До и после этого краткого разговора мистер Полли думал о своих кузинах тепло и радостно, как можно думать только в самый разгар весны. Мистер Полли пил из отравленного источника английской литературы, источника, который не только не мог принести пользы добропорядочному клерку или приказчику, а был способен внушить опасную мысль, что любовь веселого, смелого человека должна быть галантной и беззаботной. В тот вечер он пришел к выводу, что ухаживать за всеми тремя кузинами очень остроумно, занятно и великодушно. Нельзя сказать, чтобы какая-нибудь из трех нравилась ему особенно, они нравились ему все трое. Ему были приятны их молодость, женственность, их энергичные, решительные характеры и особенно их отношение к нему.

Правда, они принимались хихикать над всяким пустяком и были абсолютно невежественны, у Минни не было зуба, а у Энни был чересчур визгливый голос — и все-таки они были милы, очень милы.

Мириэм была, пожалуй, лучше всех. Перед уходом он на прощание расцеловал каждую. Минни тоже бросилась его целовать: получился настоящий «целовальный экзерсис».

Мистер Полли зарылся носом в подушку и заснул. Ему снились всякие сны, но только не о том, как должен устраивать свою жизнь в этом мире всякий здравомыслящий молодой человек.

5

Так началась двойная жизнь мистера Полли. Перед Джонсонами он играл роль человека, занятого поисками подходящего дела, но старался в этом не переигрывать, чтобы Джонсон не слишком ему докучал. Он делал вид, что выжидает, не подвернется ли счастливый случай. И каждое утро, отправляясь в погоню за этим счастли-

вым случаем, он говорил Джонсону, что едет на разведку то в Чертси, то в Вейбридж. Но оказывалось, что если и не все дороги, то большинство, хотя бы и окольным путем, ведут в Стэмтон, где его встречал звонкий смех девиц Ларкинс и все растущая их привязанность. Его роман с Энни, Минни и Мириэм развивался успешно. Каждая из них все больше представала перед ним в собственном свете, и это ему было очень интересно. Смеяться они стали меньше, бурная радость первых дней поулеглась, но теплота и доверчивость возрастали. А вечером, когда он возвращался в дом мистера Джонсона, снова заводились серьезные и вместе с тем уклончивые разговоры о его будущем.

Джонсон был очень озабочен тем, чтобы пристроить наконец своего кузена к «делу». Он был честный малый с твердыми убеждениями, и он искренне желал, чтобы мистер Полли нашел занятие, хотя это и лишило бы его самого дополнительного дохода. Ненависть к убытку, кто бы его ни терпел, была в нем гораздо сильнее стремления к наживе. Миссис же Джонсон нравилось, что мистер Полли не спешил. Поэтому она казалась ему более приятной и человечной, чем ее супруг.

Порой мистер Полли пытался увлечься какой-нибудь перспективой, блеснувшей ему в беседах с Джонсоном. Но в конце концов все оказывалось невыносимо скучным. То вдруг он воображал себя франтоватым приказчиком с безукоризненными манерами в большом лондонском магазине, но здравый смысл тут же подсказывал ему, сколь неправдоподобна эта картина. То он видел себя преуспевающим хозяином маленького, удачно расположенного магазинчика, увеличивавшим свой капитал ежегодно, скажем, на двадцать фунтов,— у мистера Джонсона был такой магазинчик на примете. Это спокойное, благополучное процветание, хотя и основанное на строжайшей экономии, было заманчиво, но сердце говорило мистеру Полли, что из этого вряд ли что-нибудь получится.

И тут в жизнь мистера Полли вдруг ворвалась Любовь — настоящая Любовь из страны грез. Она нахлынула на него, пробудила в душе сладкие, упоительные надежды и ушла. Явилась и ушла — увы! — так поступала эта прекрасная дама со многими из нас. Ушла,

оставив после себя зияющую пустоту, в которой мистер Полли тщетно искал хотя бы призрак пленительного образа.

И все-таки мистер Полли был благодарен ей, потому что знал теперь, что и в жизни случаются вещи, о которых он до тех пор только читал в книгах.

В один прекрасный день он твердо решил не ехать в Стэмтон и для этого отправился из Исвуда по южной дороге, приведшей его в прелестное место, где заросли папоротника образовывали джунгли, а на зеленых лужайках, затененных раскидистыми деревьями, пестрели колокольчики, ромашки, вьюнки, зверобой и которое вполне возмещало человеку романтического склада отсутствие «подходящего дела». Он свернул с дороги в заросли папоротника по едва заметной стежке и вдруг оказался перед высокой каменной стеной с полуразрушенной верхней кладкой, заросшей желтофиолями, уже начинавшими отцветать. В нескольких шагах от нее лежали бревна одно на другом. Мистер Полли соскочил с велосипеда, сел на бревна, снял шляпу, положил ее рядом с собой, закурил сигарету и погрузился в мечтания; серенькая с коричневым птичка, введенная в заблуждение его неподвижной позой, прыгала возле самых его ног, и мистер Полли по-дружески следил за ней.

— Как здесь хорошо! — тихонько сказал он серенькой птичке.— Дела подождут.

Он стал думать о том, что мог бы прожить так лет пять-шесть, а потом снова вернуться к тому состоянию, в котором его застала смерть отца, и хуже ему, чем было тогда, не будет.

— Проклятые дела! — вздохнул мистер Полли.

И в этот миг мистер Полли узрел Любовь. Точнее, он ее сперва услышал.

Любовь возвестила о своем появлении звуками энергичной возни за стеной, затем чей-то нежный голосок что-то невнятно проговорил, сверху посыпались камешки, и на стене появились розовые кончики пальцев, которые мистер Полли не заметил бы, если бы сразу же за ними немного сбоку не появилась нога, неожиданная, но вполне реальная, красивой формы, стройная, в коричневом чулке, в коричневой, сбитой на носке туфельке, и нако-

нец... верхом на стене оказалась хорошенькая, рыжеволосая, очень молоденькая девушка в коротком голубом полотняном платье; она тяжело дышала, и вид у нее был несколько растрепанный; мистера Полли она не видела...

Деликатность подсказала ему, что надо отвернуться и сделать вид, что любуешься окрестностями. Он так и сделал, но уши его настороженно прислушивались к малейшему шороху за спиной.

— Ой, кто это? — воскликнул тоненький голосок, в котором звучало изумление, граничащее с досадой.

Мистер Полли в один миг был на ногах.

— Боже мой! Не могу ли я вам помочь? — проговорил он с почтительной услужливостью.

— Я не думала,— сказала девушка, спокойно рассматривая мистера Полли ясными синими глазами,— я не думала,— повторила она,— что здесь кто-нибудь есть.

— Простите меня,— ответил мистер Полли,— но я не знал, что вам будет неприятно мое присутствие.

Девушка минутку помолчала.

— Дело не в этом,— наконец сказала она, продолжая его разглядывать.— Просто нельзя лазить на эту стену. Это неприлично. По крайней мере во время занятий. Но поскольку сейчас каникулы...

Она развела руками, давая таким образом понять, какое у нее на этот счет мнение.

— Ну, конечно, раз каникулы — дело другое,— ответил мистер Полли.

— Видите ли, я бы не хотела нарушать правила,— сказала девушка.

— Прыгайте сюда, тогда правила останутся за стеной,— сказал мистер Полли с замиранием сердца,— и их нельзя будет нарушить.

Восхищаясь собственным остроумием и смелостью, с трепетом в душе, он протянул ей руку.

Девушка перекинула через стену вторую ногу в коричневом чулке и, поправив юбку быстрым, но ловким движением, сказала:

— Пожалуй, я останусь на стене, потому что все-таки нужно подчиняться правилам...

Она глядела на мистера Полли, улыбаясь, но с явным одобрением. Мистер Полли тоже улыбнулся.

— Вы умеете ездить на велосипеде? — спросила она.

Мистер Полли ответил. Оказалось, что и незнакомка умеет ездить.

— Мои родители в Индии,— прибавила она со вздохом.— Чертовски противно, то есть, я хотела сказать, очень скучно, когда родители уезжают далеко и оставляют тебя одну.

— А мои родители,— сказал мистер Полли,— на небе.

— Это ужасно!

— Ужасно! — согласился мистер Полли.— И больше никого у меня нет.

— Так вот почему вы...— начала было девушка, указывая на его траур, но, смутившись, с участием добавила: — Мне вас очень, очень жаль. Они попали в кораблекрушение, или это был пожар?

Ее простодушие было неподражаемо. Мистер Полли покачал головой.

— Самая обычная смерть; сперва мать, потом отец.

Он говорил это с грустным видом, а внутри у него так все и ликовало.

— Вы одиноки?

Мистер Полли кивнул.

— Я сейчас здесь сидел и предавался меланхолии,— кивая на бревна, сказал он.

По лицу девушки пробежало легкое облачко раздумья.

— В том, что мы с вами разговариваем, ничего плохого нет,— заметила она.

— Наоборот, вы делаете доброе дело. Может быть, вы прыгнете сюда?

Она подумала, посмотрела вниз на траву, на мистера Полли, огляделась вокруг.

— Останусь лучше на стене,— ответила она.— Нельзя нарушать правила.

Мистер Полли смотрел на нее снизу. Какая она была красивая! Какая у нее тоненькая, нежная шейка, какой милый, округлый подбородок, особенно милый, потому что он был виден снизу, какие прелестные брови и глаза, прелестные именно потому, что смотрели на него сверху вниз! Но, к счастью, подобная мысль в эту рыжую головку не приходила.

6

— Давайте о чем-нибудь поговорим,— сказала она, и на некоторое время воцарилось молчание.

Из своих любимых книг мистер Полли знал, что, когда герой попадает в подобное приключение, он должен проявить рыцарскую галантность. И это было ему как раз по вкусу.

— Увидев вас,— начал он,— я почувствовал себя странствующим рыцарем, что разъезжает по стране в поисках драконов, прекрасных дам и опасных приключений.

— Да? — воскликнула незнакомка.— Почему?

— Потому что вы прекрасная дама,— ответил он.

Ее лицо, чуть подернутое веснушками, запылало тем ярким румянцем, который бывает только у рыжеволосых.

— Чепуха! — сказала она.

— Нет, это правда! — настаивал мистер Полли.— И не я первый это говорю. Прекрасная дама, томящаяся в заколдованном замке, вернее, в заколдованной школе.

— Никакая она не заколдованная!

— И вот к замку подъезжает рыцарь, закованный в броню. Точнее говоря, закован его боевой конь. Этот рыцарь готов сразиться с самым страшным драконом и спасти вас.

Она весело рассмеялась, блеснув белыми зубами.

— Если бы вы только видели этих драконов! — воскликнула она, совсем развеселившись.

И мистер Полли почувствовал, что весь мир так же далек от них сейчас, как земля от солнца.

— Бежим со мной! — очертя голову воскликнул он.

Она на минуту смотрела на него серьезно, потом расхохоталась.

— Вы очень смешной! — наконец проговорила она, успокаиваясь.— Мы знакомы с вами всего пять минут!

— В средние века этого было достаточно. Я принял решение.

Он был счастлив и горд своим остроумием, но тут же ловко переменил тон:

— Хотел бы я, чтобы можно было принять такое решение.

— Как можно такие решения принимать!

— Можно, если видишь перед собой создание, подобное вам.

— Мы даже не знаем, как друг друга зовут,— заметила девушка, стараясь перевести разговор на менее опасную тему.

— Я уверен, что у вас самое красивое имя на свете.

— Откуда вы знаете?

— Так должно быть!

— Оно и правда красивое. Меня зовут Кристабел.

— Ну, что я говорил?!

— А вас как зовут?

— Менее интересно, чем я заслуживаю. Альфред.

— Я не могу вас так звать.

— Тогда зовите Полли.

— Полли? Но ведь это — женское имя!

На какой-то миг мистер Полли растерялся и сбился с тона.

— Какое уж есть,— тихо сказал он и готов был откусить себе язык, потому что сказанное было совсем в духе сестриц Ларкинс.

— Но зато его легко запомнить,— поспешила на выручку Кристабел.

— Мне знаете, что любопытно? — сказала Кристабел после минутной паузы.— Для чего вы ездите на велосипеде по окрестностям?

— Езжу, потому что мне нравится.

Пользуясь своим небольшим жизненным опытом, Кристабел пыталась отгадать, к какому кругу он принадлежит. Он стоял, опершись одной рукой о стену, и, задрав голову, смотрел на нее, обуреваемый самыми головокружительными мечтами. Он был небольшого роста, вы знаете; но он не был ни урод, ни безобразен в те дни, ибо во время прогулок загорел и посвежел, а сейчас еще и разрумянился от волнения. По какому-то наитию он держал себя просто: самый опытный волокита не придумал бы ничего лучшего.

— Я верю в любовь с первого взгляда,— сказал он убежденно.

Глаза Кристабел стали большими и круглыми от волнения.

— Мне кажется,— произнесла она медленно, не выказывая ни страха, ни раскаяния,— что мне пора уходить.

— Пусть это вас не тревожит,— сказал он.— Для вас я никто. Я знаю только, что никогда в жизни не видал более прекрасного существа, чем вы.— Дыхание его участилось.— И нет ничего дурного в том, что я вам это говорю.

— Если бы вы говорили это всерьез, мне бы пришлось немедленно уйти,— сказала она после небольшой паузы, и оба улыбнулись.

Потом они еще говорили о каких-то пустяках. Синие глаза из-под широкого, красивой формы лба рассматривали мистера Полли с ласковым любопытством, как рассматривает очень умная кошка собаку незнакомой породы. Ей хотелось выведать о нем все. Она задавала вопросы, которые озадачивали стоявшего у ее ног закованного в латы рыцаря, и подошла вплотную к роковой тайне, касавшейся поисков дешевого магазинчика и профессии мистера Полли. Когда он произносил слишком пышное слово или ошибался в ударении, на ее лицо набегало темное облачко раздумья.

«Бум!» — раздалось неподалеку.

— Боже мой! — воскликнула Кристабел, над стеной мелькнули ее коричневые ноги, и она исчезла.

Потом розовые пальчики появились опять и следом ее рыжая макушка.

— Рыцарь! — крикнула она из-за стены.— Эй, рыцарь!

— Что, моя дама? — ответил мистер Полли.

— Приходите завтра опять.

— Как вам будет угодно. Только...

— Что?

— Всего один пальчик!

— Зачем?

— Поцеловать!

За стеной послышались убегающие шаги, и все стихло.

На следующий день мистер Полли ждал минут двадцать, пока наконец Кристабел не появилась над стеной, запыхавшись от усилий, и на этот раз вперед головой. И мистер Полли увидел, что никакие самые яркие мечты не могут сравниться с живой Кристабел, такой прекрасной, умной и благородной.

7

От первой до последней минуты их знакомство длилось всего десять дней. Но за эти десять дней мистер Полли пережил десять лет, полных самых невозможных мечтаний.

— У меня такое впечатление,— заметил как-то Джонсон,— что у него нет ни к чему серьезного интереса. Этот магазин на углу могут перехватить, если он не поторопится.

Кристабел и мистер Полли не встречались ежедневно в эти десять дней. Один раз Кристабел не могла прийти, потому что было воскресенье, не пришла она и на восьмой день, уклончиво объяснив свое отсутствие тем, что в школе было собрание. Все их свидания состояли в том, что Кристабел сидела на стене,— так, по ее мнению, правила более или менее не нарушались,— позволяя мистеру Полли все больше и больше влюбляться в нее, и выслушивала его признания. Она пребывала в блаженном состоянии человека, которого обожают и на которого это не налагает никаких обязательств, и время от времени вонзала в мистера Полли острие своего кокетства, подстрекаемая любопытством и бессознательной жестокостью, что, впрочем, свойственно ее полу и возрасту.

А бедный мистер Полли влюбился по уши, как будто земля под ним разверзлась и он провалился в другой мир — мир сияющих облаков, неутоленных желаний и безумных надежд, мир, чьи неисчислимые горести были прекраснее и — как это ни странно — заманчивее ясного, безоблачного счастья повседневной жизни, мир, чьи радости — по правде говоря, это были лишь слабые отблески настоящих радостей — были дороже мистеру Полли, чем видения райских врат умирающему мученику. Ее улыбающееся личико смотрело на мистера Полли с небес, ее непринужденная поза была сама жизнь. Безрассудно, глупо, но все, что было лучшего в мистере Полли, билось и пенилось, подобно волнам, у ног Кристабел и откатывалось назад, ни разу ее не задев. А она сидела на возвышении, любуясь им и удивляясь, а однажды, вдруг тронутая его мольбой, наклонилась к нему и без всякого жеманства протянула к его губам свою маленькую, покрытую веснушками, жесткую от теннисной

ракетки лапку. Заглянула ему в глаза, смутилась и выпрямилась. А потом еще долго задумывалась и мечтала.

На девятый день, повинуясь, видимо, инстинкту самосохранения, она рассказала своим трем подругам, великим знатокам людского сердца, об удивительном феномене, которого она открыла по ту сторону каменной стены.

— Кристабел! — сказал мистер Полли. — Я схожу с ума от любви к вам! Я не могу больше играть эту пантомиму. Я не рыцарь! Я живой человек, и вы должны относиться ко мне, как к живому человеку. Вы сидите там наверху и смеетесь, а я в муках терзаюсь у ваших ног, мечтая хотя бы один часок провести вместе с вами. Я никто и ничто. Но послушайте. Вы можете подождать меня пять лет? Вы еще ребенок, и вам это не будет трудно.

— Тише ты! — прошептала кому-то Кристабел, отвернувшись от мистера Полли так, чтобы он не услыхал.

— До сих пор я валял дурака, но я умею работать. Я словно проснулся. Подождите немного, у меня есть деньги, я попытаю счастья.

— Но ведь у вас мало денег.

— Достаточно для того, чтобы начать. Я придумаю что-нибудь. Найду. Уеду отсюда. Даю вам слово. Перестану болтаться без дела, буду работать. Если я не вернусь через пять лет, забудьте обо мне. Если вернусь...

В ее лице появилось беспокойство. Она наклонилась к нему.

— Не надо об этом,— сказала она вполголоса.

— Что не надо?

— Не надо так говорить. Вы сегодня совсем не похожи на себя. Оставайтесь лучше рыцарем, который мечтает поцеловать руку своей дамы...

Какое-то подобие улыбки скользнуло по ее лицу.

— Но...

Вдруг слуха мистера Полли коснулся чей-то шепот, он замолчал и, прислушиваясь, посмотрел на Кристабел.

За стеной были отчетливо слышны чьи-то приглушенные голоса.

— Молчи, Рози! — говорил кто-то.

— Говорят тебе, я хочу на него посмотреть! Мне совсем ничего не слышно. Подставь колено!

— Дура! Он увидит тебя! И ты все испортишь!

Земля поплыла из-под ног мистера Полли. Ему показалось, что он теряет сознание.

— Там кто-то слушает нас,— сказал он, точно громом пораженный.

Кристабел поняла, что все пропало.

— Противные твари! — закричала она голосом, полным ярости, обращаясь к кому-то невидимому, в один миг взметнулась над стеной и исчезла. За стеной раздался чей-то вопль, послышались гневные восклицания: там началось сражение.

Секунду-другую мистер Полли не мог прийти в себя.

Затем, полный яростной решимости проверить свои самые худшие подозрения, он подтащил бревно к стене, вступил на него, ухватился дрожащими пальцами за верхнюю кромку и подтянулся, желая увидеть, что́ происходит за стеной.

Его любовь, его идол — все в один миг рассыпалось во прах.

Рыжая девчонка с торчащей сзади косичкой тузила изо всех сил свою вопящую от боли подругу.

— Перестань, Кристабел, перестань!..

— Идиотка! — кричала Кристабел.— Идиотка несчастная!

А вдали между берез мелькали платья двух других подруг, которые что было духу удирали от расправы.

Пальцы мистера Полли ослабли, он опустил руку и, стукнувшись подбородком о камни, неловко спрыгнул на землю, поцарапав щеку о неровную поверхность стены и ударившись коленом о то самое бревно, которое служило ему опорой. Секунду он, скорчившись, стоял у стены. Потом, пробормотав какое-то проклятие, шатаясь, подошел к бревнам и сел.

Некоторое время он сидел молча и без движения.

— Глупец! — наконец произнес он.— Жалкий глупец! — И стал потирать ушибленное колено, только сейчас почувствовав боль.

Он потрогал щеку и обнаружил, что она вся мокрая от крови, той самой крови, которой истекало его сердце.

ГЛАВА VI

МИРИЭМ

1

Нет никакой логики в том, что мы, пострадав от одного человека, тотчас бросаемся за утешением к другому. Но именно так мы поступаем. Мистеру Полли казалось, что только человеческое участие может унять жгучую боль от испытанного им унижения. Более того: по каким-то неведомым причинам это должно быть обязательно женское участие, а среди знакомых мистера Полли женщин было не так уж много.

Разумеется, он сразу вспомнил о семействе Ларкинсов, тех самых Ларкинсов, у которых он не был вот уже десять дней. Какими славными казались они ему сейчас, славными и простыми! У них были такие добрые сердца, а он пренебрег ими ради фантома. Если он поедет к ним прямо сейчас, он будет там смеяться, болтать всякую чепуху, и, может, ему удастся справиться с той мучительной болью в сердце, которая не дает ему возможности ни думать, ни действовать.

— Боже мой!—воскликнула миссис Ларкинс, отворяя дверь.— Входите, входите! Вы совсем нас забыли, Альфред!

— Все дела,— пробормотал неверный мистер Полли.

— Девочек нет дома, но Мириэм вот-вот вернется, она пошла в магазин. Не позволяет мне заниматься покупками, очень уж я забывчива. Прекрасная хозяйка, наша Мириэм! Минни на работе, поступила на ковровую фабрику. Боюсь, как бы она от этих ковров опять не слегла. Минни такая нежная, хрупкая!.. Проходите в гостиную. У нас немного не убрано, но уж принимайте нас такими, какие мы есть. Что это у вас с лицом?

— Оцарапал немного. Все из-за велосипеда.

— Как же это случилось?

— Хотел объехать фургон не с той стороны, ну он и прижал меня к стене.

Миссис Ларкинс внимательно осмотрела ссадины на щеке.

— Некому за вами и поухаживать,— сказала она.— А ранки-то глубокие и совсем еще свежие. Надо помазать

кольд-кремом. Вкатите сюда ваш велосипед и проходите в гостиную.

В гостиной миссис Ларкинс тотчас принялась наводить порядок или, правильней сказать, разводить еще больший беспорядок. Поставила корзинку с рукоделием на стопку книг, переложила несколько номеров «Дамского чтения» с загнутыми уголками со стола на поломанное кресло и стала сдвигать чайную посуду на один край стола, поминутно восклицая: «Где же масленка?» или «Куда я дела ножи?» и не забывая при этом расхваливать, какая Энни энергичная и какая мастерица делать шляпки, какое у Минни доброе, любящее сердечко, какая хозяйственная Мириэм, и как она любит порядок. А мистер Полли стоял у окна, чувствуя себя немножко виноватым, и думал, какая милая и добрая сама миссис Ларкинс. Хорошо все-таки снова очутиться среди близких тебе людей!

— Вы очень долго ищете подходящий магазин,— заметила миссис Ларкинс.

— Семь раз примерь, один раз отрежь,— ответил мистер Полли.

— Это верно,— сказала миссис Ларкинс.— Покупаешь не на год, не на два, а на всю жизнь. Все равно как выбирать мужа. Чем дольше выбираешь, тем лучше выберешь. Я два года не давала Ларкинсу согласия, пока окончательно не убедилась, что он человек достойный. А какой красавец был мистер Ларкинс! Да вы и сами можете видеть это по девочкам. Но, как говорится, тот красив, кто умен и добр. Чай пить будете с вареньем? Я не сомневаюсь, что мои девочки, когда придет их черед, тоже заставят своих женихов подождать. Я им все время твержу: замуж спешит только тот, кто не понимает собственного блага. А вот и Мириэм!

В гостиную вошла Мириэм с надутым лицом, неся в руках сумку с продуктами.

— Ты должна позаботиться,— начала она, обращаясь к матери,— чтобы я не ходила в магазин с сумкой, у которой сломана ручка. Мне все пальцы нарезало веревкой.

Тут она заметила мистера Полли, и лицо ее просветлело.

— Привет, Альфред! — воскликнула она.— Где вы столько времени пропадали?

— Все в поисках.

— Нашли что-нибудь подходящее?

— Видел два-три магазинчика более или менее ничего. Но это дело такое, что спешить нельзя.

— Мама! Ты поставила не те чашки!

Мириэм унесла свои покупки на кухню и скоро вернулась оттуда, неся другие чашки.

— Что с вашим лицом, Альфред? — спросила она и, подойдя к нему, стала разглядывать его щеку.— Какие глубокие царапины!

Мистер Полли был вынужден снова повторить рассказ о фургоне, Мириэм слушала сочувственно, как родная.

— Вы сегодня какой-то тихий,— заметила она, когда все сели пить чай.

— Заботы одолевают,— ответил мистер Полли.

Случайно он коснулся ее руки, лежавшей на столе, и пожал ее, Мириэм ответила на пожатие.

«А почему бы и нет?» — вдруг подумалось мистеру Полли. Подняв глаза, он встретил взгляд миссис Ларкинс и виновато покраснел. Миссис Ларкинс с неожиданной для нее деликатностью ничего не сказала. А лицо ее приняло загадочное, но отнюдь не враждебное выражение.

Вскоре с фабрики вернулась Минни и принялась выкладывать обиды: хозяин, по ее мнению, несправедливо оценивает работу. Ее рассказ был многословен, запутан и перегружен непонятными словечками, но его недостатки искупались горячей убежденностью рассказчицы.

— Я всегда знаю с точностью до шести пенсов, сколько стоит моя работа,— заявила она.— С его стороны это просто нахальство!

Мистер Полли, почувствовав, что его молчаливость начинает слишком бросаться в глаза, принялся описывать, какой магазинчик он ищет и что представляют собой уже им виденные. И пока он говорил, он все больше и больше увлекался воображаемой картиной.

— Ну, наконец-то разговорился! — заметила миссис Ларкинс.

Он действительно разговорился, да так, что уж и остановиться не мог. Сначала мистер Полли набросал рисунок, потом принялся разукрашивать его. В первый раз перспектива стать владельцем собственной лавки приняла заманчивый и привлекательный вид. Его подстегивало еще и то, с каким вниманием его слушали. Откуда только взялись яркие, сочные краски! На мистера Полли снизошло истинное вдохновение.

— А когда я куплю себе дом с лавкой, обязательно заведу кота. Коты ведь тоже должны где-то жить.

— Чтобы он ловил мышей? — спросила миссис Ларкинс.

— Нет, зачем же? Чтобы спал на окошке. Это будет такой почтенный, толстый кот. Трехцветный. Если уж заводить кота, так только трехцветного. Кота и непременно канарейку! Никогда раньше мне в голову не приходило, что коты и канарейки так подходят друг к другу. Солнечным летним утром я буду сидеть за столом и завтракать в чистой, уютной кухне позади магазина, в окно будет литься солнечный свет, на стуле будет дремать кот, канарейка распевать песни, а миссис Полли...

— Вы слышите? — воскликнула миссис Ларкинс.

— Миссис Полли жарит еще одну порцию ветчины. Ветчина шипит, канарейка поет, кот мурлычет, чайник пофыркивает, миссис Полли...

— А кто же будет таинственная миссис Полли, если не секрет? — спросила миссис Ларкинс.

— Игра воображения, мадам,— ответил мистер Полли.— Я упомянул о миссис Полли для полноты картины. Пока еще на примете нет никого. Но, уверяю вас, так все оно и будет. И еще я мечтаю о садике.— Мистер Полли перевел разговор на менее опасную тему.— Не о таком, как у мистера Джонсона. Джонсон, конечно, специалист своего дела. Но я не хочу разводить сад, чтобы мучаться. То копай, то поливай, то рыхли, и все время думай, что у тебя ничего не вырастет. Нет, день и ночь гнуть спину — это не по мне. Я мечтаю о маленькой клумбе с настурциями и душистым горошком. Двор, выложенный красным кирпичом, веревка для белья. Веселый флюгер. В свободное время можно сколотить экран для хмеля. Задняя стена дома затянута плющом.

— Вирджинским? — спросила Мириэм.

— Канарским,— ответил мистер Полли.

— Как у вас будет мило! — сказала Мириэм, откровенно завидуя.

— Очень! — ответил мистер Полли и продолжал расписывать идиллию: — Дин-динь-динь! Это в лавке звенит колокольчик.

Мистер Полли приосанился, сестрицы и мамаша рассмеялись.

— Представьте себе маленькую, аккуратную лавку,— продолжал мистер Полли.— Прилавок, касса,— словом, все, что полагается. Подставка для зонтиков, вешалка с галстуками, разложены носки, на полу ковер, на полке спит кот. Все в порядке.

— И скоро вы намерены купить такую лавку? — спросила Мириэм.

— Очень скоро,—ответил мистер Полли,—как только встречу что-нибудь подходящее. Само собой разумеется,— продолжал он рисовать картину домашнего уюта,— я заведу кота, а не кошку.— Выжидательно помолчав, мистер Полли добавил: — Не очень-то будет весело, если в один прекрасный день я войду в лавку и увижу на подоконнике целый выводок котят. Что с ними делать? На этот товар спросу нет...

Когда чай был выпит, он несколько минут оставался наедине с Минни, и ситуация вдруг так накалилась, что мистера Полли прошиб пот. Сперва наступило неловкое молчание. Мистер Полли сидел, облокотившись на стол, и смотрел на Минни. Всю дорогу в Стэмтон его сумасбродная голова была занята матримониальными мыслями: он на всевозможные лады воображал себя женихом. Не знаю, почему это так его занимало. Это была бессознательная подготовка к тому, что пока еще не имело для него конкретного смысла, но сейчас его дорожные мечты завладели им с новой силой. Он не мог думать ни о чем на свете, что не имело хотя бы косвенного отношения к брачной проблеме. Было сладко и жутко воображать, как вспыхнет и затрепещет Минни, стоит ему только сказать несколько слов. Она сидела за столом, поставив корзинку с рукоделием посреди чашек, и чинила перчатки. Ей не хотелось принимать участия в уборке и мытье посуды.

— Я люблю кошек,— сказала Минни после продолжительной паузы.— Я часто прошу маму завести кошечку. Но нам ее негде держать: у нас нет двора.

— У меня тоже никогда не было кошек,— признался мистер Полли.— Никогда.

— Я обожаю кошек,— продолжала Минни.

— Не могу сказать, что я их обожаю,— заметил мистер Полли,— но мне очень нравится смотреть на них.

— Я уверена, что заведу себе кошку, и даже скорее, чем вы купите дом.

— Я куплю дом очень скоро,— возразил мистер Полли.— Можете мне поверить. Канарейку и все прочее.

Минни покачала головой.

— А я все-таки киску заведу раньше! — сказала она.— Вы только все мечтаете.

— Могли бы завести сразу все вместе,— сказал мистер Полли, поддавшись инерции своих мыслей и позабыв о благоразумии.

— Что вы хотите сказать, Альфред? — воскликнула Минни, сразу насторожившись.

— Магазин и кошка — сразу вместе,— не сумел остановиться мистер Полли. Голова у него закружилась, лоб взмок.

Сейчас он видел только два горящих глаза, впившихся в него.

— Вы хотите сказать, Альфред...— медленно начала Минни, надеясь услышать подтверждение своей догадке. Но мистер Полли вдруг вскочил и бросился к окну.

— Вон бежит собака! — воскликнул он и подбежал к двери.— Грызет мои шины, проклятая собачонка!

И исчез. В прихожей он промчался мимо велосипеда, как будто его там и не было.

Открывая входную дверь, он услыхал за собой шаги миссис Ларкинс и обернулся.

— Мне показалось, что мой велосипед горит. Забыл, что оставил его в прихожей. А тут еще увидел собачонку... Мириэм готова?

— Разве вы куда-нибудь собираетесь?

— Встречать Энни.

Миссис Ларкинс внимательно посмотрела на него.

— Вы останетесь поужинать с нами? — спросила она.

— Если позволите,— ответил мистер Полли.

— Ах, какой вы смешной, Альфред! — сказала миссис Ларкинс и крикнула: — Мириэм!

В дверях гостиной появилась озадаченная Минни.

— Нет никакой собаки, Альфред,— сказала она.

Мистер Полли потер рукой лоб.

— У меня было странное ощущение,— проговорил он,— будто что-то случилось. Какая-то собака почудилась. Но теперь уже все прошло.

Он нагнулся и проверил, как надуты шины.

— Вы что-то начали говорить про кошку, Альфред,— сказала Минни.

— Я вам подарю кошечку,— ответил он, не поднимая глаз.— В первый день, как только открою лавку.

Мистер Полли выпрямился и дружески улыбнулся.

— Можете не сомневаться,— прибавил он.

2

Когда в результате тайных действий миссис Ларкинс мистер Полли оказался наедине с Мириэм в небезызвестном городском саду, лежавшем на пути к фабрике, где служила Энни, он почувствовал, что не в состоянии говорить ни о чем другом, кроме своего будущего дома. Опасность, сопряженная с этой темой, только подстегивала его. Настойчивое желание Минни тоже пойти встречать сестру было решительно пресечено миссис Ларкинс, заявившей, что она хочет хоть раз в жизни увидеть, как Минни занимается хозяйством.

— Вы и в самом деле намерены завести собственное дело? — спросила Мириэм.

— Я ненавижу службу,— ответил мистер Полли, переходя на менее опасную почву.— Со своей лавкой, конечно, больше хлопот, но зато ты сам себе хозяин.

— Это не просто слова?

— Ни в коем случае...

— В конце концов,— продолжал мистер Полли,— маленькая лавка — это не так уж плохо.

— Свой дом,— сказала Мириэм.

— Да, свой дом.

Молчание.

— Если не держать приказчика, то не надо никаких

бухгалтерских книг и прочей чепухи. Смею думать, что я отлично управлюсь с делами и сам.

— Я бы хотела видеть вас в вашей лавке,— сказала Мириэм.— Я уверена, у вас все было бы в полном порядке.

Опять молчание.

— Давайте посидим немножко на лавочке за щитом с афишами,— предложила Мириэм.— Оттуда можно любоваться вон теми синими цветами.

Они сели возле треугольной клумбы с левкоями и дельфиниумом, оживлявшей серый рисунок асфальтовых дорожек парка.

— Как называются эти цветы? — спросила Мириэм.— Мне они очень нравятся. Красивые!

— Дельфиниум,— ответил мистер Полли.— У нас в Порт-Бэрдоке их было много. Милый уголок! — с явным одобрением добавил он.

Мистер Полли положил одну руку на спинку скамьи и уселся поудобнее. Он искоса поглядывал на Мириэм, сидевшую в непринужденной задумчивой позе, устремив взгляд на цветы. На ней было старенькое платье. Она не успела переодеться. Его голубой тон сообщал теплоту ее смугловатой коже, а принятая поза придавала некоторую женственность ее худым и неразвитым формам и приятно округляла плоскую грудь. На ее лице играл солнечный зайчик. Воздух был напоен солнечным светом, преображавшим все вокруг; в нескольких шагах в песочной куче весело возились малыши; в садах, окружавших соседние виллы, пышно цвел багряник; деревья, кусты, трава — все сверкало яркими красками начала лета. Ощущение этого радостного дня сплеталось в душе мистера Полли с ощущением близости Мириэм.

Наконец Мириэм обрела дар речи.

— В своей собственной лавке человек обязательно должен быть счастлив,— сказала она, и в ее голосе прозвучали непривычные, теплые нотки.

А она, пожалуй, права, подумал мистер Полли. Человек должен быть счастлив в собственной лавке. Глупо предаваться мечтам о лесной чаще, зарослях папоротника и рыжеволосой девушке в полотняном платье, сидящей верхом на пестрой от солнечных пятен старинной каменной стене и царственно взирающей на тебя сверху

вниз своим ясными голубыми глазами. Глупые и опасные эти мечты, до добра они не доводят! Только мука и стыд остаются от них. А вот здесь, рядом с этой девушкой, можно ничего не бояться.

— Своя лавка — это так респектабельно! — мечтательно добавила Мириэм.

— Я уверен, что буду счастлив в лавке,— сказал он.

И, чтобы последующие слова произвели больший эффект, он на секунду умолк.

— Если, конечно, рядом со мной будет хороший человек,— закончил он.

Мириэм замерла.

Мистер Полли чуть свернул с того скользкого пути, на который было ступил.

— Не такой уж я набитый дурак,— сказал он,— чтобы не суметь торговать. Надо, конечно, быть попроворнее, когда едешь за товаром. Но я уверен, у меня все пойдет, как по маслу.

Он замолчал, чувствуя, что стремительно падает все ниже и ниже в воцарившейся предгрозовой тишине.

— Если, конечно, рядом с вами будет хороший человек,— медленно проговорила Мириэм.

— Ну, с этой стороны все в порядке.

— Вы хотите сказать, что у вас есть на примете такой человек?

Мистер Полли понял, что тонет.

— Этот человек сейчас передо мной,— промолвил он.

— Альфред! — воскликнула Мириэм, поворачиваясь к нему.— Вы хотите сказать, что я...

В самом деле, что он хотел сказать?

— Да, это вы,— сказал он.

— Вы шутите, Альфред! — сказала она, стиснув руки, чтобы они не дрожали.

Мистер Полли сделал последний шаг.

— Вы и я, Мириэм, в собственной лавке, с кошкой и канарейкой...— Он вдруг спохватился и решил было вернуться в область предположений.— Только представьте себе это,— сказал он, но было уже поздно.

— Вы хотите сказать, Альфред, что любите меня? — спросила Мириэм.

Что еще, кроме единственного слова «люблю», может ответить на этот вопрос мужчина?

Не обращая внимания на гулявшую в парке публику, на игравших в песке детей, позабыв обо всем на свете, Мириэм потянулась к мистеру Полли, схватила его за плечи и поцеловала в губы. Что-то затеплилось в душе мистера Полли от этого поцелуя. Он обнял Мириэм, привлек к себе и поцеловал в ответ, чувствуя, что все решено бесповоротно. У него было странное ощущение: ему хотелось жениться, хотелось иметь жену, только почему-то он желал, чтобы это была не Мириэм. Но ему было приятно обнимать ее, были приятны ее губы.

Они отодвинулись немного друг от друга и секунду сидели смущенные и красные. Мистер Полли не отдавал отчета, что̀ происходит в его душе.

— Я и подумать не могла,— начала Мириэм,— что понравилась тебе. Мне сперва казалось, что тебе нравится Энни, потом Минни...

— Ты с самого начала нравилась мне больше всех,— ответил мистер Полли.

— Я полюбила тебя, Альфред, сразу, как только мы с тобой познакомились, на похоронах твоего бедного отца. Если бы только я тогда знала... Нет, ты правда меня любишь? — спросила она и прибавила: — Я никак не ожидала, что так все случится!

— И я тоже,— согласился мистер Полли.

— Ты действительно хочешь открыть лавку и чтобы я стала твоей женой?

— Как только подыщу что-нибудь подходящее,— ответил мистер Полли.

— Я даже подумать ни о чем таком не могла, когда мы выходили из дому.

— И я тоже,— ответил мистер Полли.

— Это как сон.

Какое-то время они сидели молча.

— Я должна ущипнуть себя, чтобы поверить, что это не сон,— сказала Мириэм.— Как только они будут без меня обходиться? Когда я скажу им...

Ни за что на свете мистер Полли не мог бы сказать, что̀ его сейчас волнует: сладостное ли предвкушение счастья или раскаяние, смешанное со страхом.

— Мама совсем не умеет вести хозяйство, ни капельки. Энни ни о чем не хочет думать, а у Минни про-

сто не хватает соображения. Что они будут без меня делать, ума не приложу!

— Ничего, привыкнут,— сказал мистер Полли, выдерживая взятый тон.

На городской башне начали бить часы.

— Боже мой!—воскликнула Мириэм.— Мы не встретим Энни, если будем сидеть здесь и любезничать.

Она встала и потянулась было взять мистера Полли под руку. Но мистер Полли почувствовал, что все тотчас догадаются об их намерениях и они станут всеобщим посмешищем. А потому он сделал вид, что не заметил ее движения. Когда показалась Энни, мистер Полли уже целиком пребывал во власти сомнений.

— Не говори пока никому о нашем решении,— сказал он.

— Только маме,— решила Мириэм.

3

Цифры — это самое удивительное и потрясающее, что есть в мире. Если посмотреть на них со стороны — крохотные, черные закорючки и больше ничего, но какой удар они могут нанести человеку! Представьте себе, что вы возвращаетесь домой после небольшого заграничного путешествия и, листая газету, вдруг видите против далекой железной дороги, о которой имеете самое смутное представление, но в которую вы вложили почти весь свой капитал, вместо привычных 95—96 (в крайнем случае, 93 без дивиденда) более богато орнаментированные цифры — $76^{1}/_{2}$—$78^{1}/_{2}$!

И вы чувствуете, что под ногами у вас разверзается бездна.

Точь-в-точь то же самое испытал мистер Полли, когда увидел черную вязь трех цифр:

«298»

вместо

«350» — числа, которое он привык считать неизменным показателем своего богатства.

У него вдруг засосало под ложечкой почти так же, как в тот момент, когда он узнал о вероломстве рыжеволосой школьницы. Лоб его сразу стал влажным.

— Попал в водоворот,— прошептал он.

Произведя в уме действие вычитания — беспримерный подвиг со стороны мистера Полли, — он пришел к выводу, что после смерти отца им было истрачено пятьдесят два фунта.

— Поминальный пирог, — прошептал мистер Полли, припоминая возможные расходы.

Счастливая пора, когда он жил, наслаждаясь теплыми летними днями и безграничной свободой, когда все дороги заманчиво расстилались перед ним, когда ему верилось, что он так и будет ездить на своем велосипеде и любоваться окрестностями, — эта пора растаяла, как волшебный замок. И он опять очутился в мире, где царствует суровая экономия, в мире, который заставляет человека трудиться в поте лица, который подрезает крылья мечте, отбивает охоту к праздным, но увлекательным беседам, налагает вето на беспечный смех. Он уже видел перед собой печальную Вуд-стрит и нескончаемый ряд дней, полных беспросветного ожидания.

Ко всему этому он обещал жениться на Мириэм и, в общем, был не прочь совершить этот обряд.

Ужинал мистер Полли в совершенном отчаянии. Когда миссис Джонсон удалилась на покой, сославшись на легкую головную боль, он завел с Джонсоном разговор.

— Пришло время, старина, подумать о деле всерьез, — сказал он. — Ездить на велосипеде и обозревать окрестности в поисках подходящих заведений очень приятно, но пора и за дело браться.

— А я о чем все время толкую? — спросил Джонсон.

— Во сколько, по-твоему, обойдется тот магазинчик на углу? — спросил мистер Полли.

— Ты серьезно о нем думаешь?

— Вполне. Так сколько, по-твоему, он будет стоить?

Джонсон подошел к шкафу, достал из него какое-то старое письмо и оторвал от него чистую половинку странички.

— Сейчас подсчитаем, — сказал он с явным удовольствием. — Сейчас посмотрим, сколько на него надо как минимум.

Он углубился в расчеты, а мистер Полли сидел рядом, как ученик, наблюдая растущий столбик скучных, ненавистных цифр, затаивших намерение избавить его от наследства.

— Сперва подсчитаем текущие расходы,— сказал мистер Джонсон, слюнявя карандаш.— Это, во-первых, плата за аренду...

Через час наводящей тоску возни с цифрами мистер Джонсон закончил подсчет.

— В самый обрез, но попытать счастья можно.

— Гм,— промычал мистер Полли и добавил веско: — Смелого бог бережет.

— Одну вещь, во всяком случае, можно сделать. Я уже говорил об этом.

— Что именно, старина?

— Снять лавку без второго этажа.

— Но чтобы вести дело, надо иметь угол, где приклонить голову. А то и работать не сможешь.

— Само собой. Ты просто не понял меня. Я хочу сказать, что пока ты один, ты можешь жить у нас. Это тебе будет дешевле.

— Надо подумать, — заметил мистер Полли, а про себя добавил: зачем же ему тогда нужна Мириэм?

— Мы с тобой положили на покупку товаров восемьдесят фунтов,— размышлял Джонсон.— Можно сократить эту сумму до семидесяти пяти. Все-таки выгадаем пять фунтов. Но больше урезывать нельзя.

— Нельзя,— согласился мистер Полли.

— Все это очень интересно,— сказал Джонсон, складывая и разворачивая листок с цифрами.— Я сам иногда мечтаю о собственном деле вместо службы на жалованье. Еще, конечно, тебе придется завести бухгалтерские книги.

— Хозяин должен точно знать, в каком положении его дела,— глубокомысленно заметил мистер Полли.

— Я бы завел двойную бухгалтерию,— сказал мистер Джонсон.— Сперва это немного обременительно, но скоро начинаешь понимать ее преимущества.

— Дай-ка я взгляну, что ты там насчитал,— сказал мистер Полли, взял листок с таким чувством, с каким принимают горькую микстуру, и равнодушно пробежал глазами по аккуратным колонкам цифр.

— Ну что ж, старина,— сказал мистер Джонсон, поднимаясь и потягиваясь,— пора и на боковую. Утро вечера мудренее.

— Именно, старина,— ответил мистер Полли, не вставая с места. Даже пуховая постель показалась бы ему сейчас ложем из терновника.

Он пережил ужасную ночь, как бывает в последний день каникул. Но только мистеру Полли было во сто крат тяжелее. Как будто он стоял на пороге тюрьмы и сквозь решетку ворот смотрел в последний раз на траву и деревья. Он должен был опять впрягаться в хомут повседневности. А он был так же способен ходить в упряжи, как обыкновенный домашний кот. Всю ночь судьба, похожая лицом и манерами на мистера Джонсона, расхваливала преимущества мерзкого магазинчика на углу возле станции.

— О господи! — прошептал проснувшийся мистер Полли.— Уж лучше я опять пойду служить приказчиком. По крайней мере у меня останутся мои деньги.

Но судьба ничего не хотела слушать.

— Пойду в матросы! — наконец воскликнул мистер Полли. Но он понимал, что на этот шаг у него не хватит характера.— Перережу себе горло,— опять прошептал он.

Постепенно мистер Полли настроился на менее отчаянный лад, он вспомнил Мириэм и стал думать о ней.

— Ну так что же ты решил? — начал за завтраком Джонсон.

Никогда еще утренняя трапеза не казалась мистеру Полли такой отвратительной.

— Надо несколько дней, чтобы хорошенько обмозговать эту идею,— кисло сказал он.

— Дождешься, пока у тебя уведут из-под носа этот магазин,— сказал мистер Джонсон.

В эти несколько дней, когда мистеру Полли надлежало решить свою судьбу, бывали такие минуты, что предстоящая свадьба казалась ему наименьшим злом; порой, особенно по ночам, после того, как он за ужином съедал не менее дюжины гренков с сыром, приготовленных заботливой миссис Джонсон, жизнь представлялась ему в таком мрачном, зловещем свете, что он был готов немедленно покончить с собой. Бывали часы, когда ему вдруг, наперекор всему, очень хотелось жениться. Он пытался вспомнить подробности объяснения в городском саду, но, к своему изумлению, не мог вспомнить ничего. Он стал все чаще бывать в Стэмтоне, целовал всех

кузин и особенно Мириэм — это его приятно волновало. Он видел, что сестрицы посвящены в тайну. У Минни глаза были на мокром месте, но, в общем, она покорилась судьбе. Миссис Ларкинс встречала его с распростертыми объятиями, а к чаю подавалась целая банка домашнего варенья. И он никак не мог решиться поставить свою подпись на бумаге, в которой излагался договор об аренде, хотя дело зашло уже так далеко, что был составлен черновик договора и карандашом было помечено место его будущей подписи.

Однажды утром, сразу же после того, как мистер Джонсон ушел на службу, мистер Полли вывел на дорогу свой велосипед, вернулся в спальню с самым независимым видом, на какой он был способен, собрал кое-какие вещички, а именно длинную ночную рубашку, гребень, зубную щетку, сказал явно заинтригованной миссис Джонсон, что собирается «отлучиться денька на два, проветриться», выскочил на порог, сел на свой велосипед и покатил в сторону экватора, тропиков, южных графств, а точнее, в городок Фишбурн, сонный, мирный Фишбурн.

Он вернулся через четыре дня и безмерно поразил мистера Джонсона, сказав ему, когда тот завел разговор о магазинчике на углу, что снял в Фишбурне небольшую лавку с домом.

Помолчав, он с еще более независимым видом добавил:

— Между прочим, я собираюсь совершить в Стэмтоне, так сказать, брачный церемониал. С одной из мисс Ларкинс.

— Церемониал? — воскликнул опешивший мистер Джонсон.

— Звон свадебных колоколов, старина. Бенедикт[1] женится.

В общем, мистер Джонсон проявил удивительное самообладание.

— Это — твое личное дело, старина,— сказал он, когда более или менее уяснил ситуацию.— Надеюсь, тебе не придется жалеть, когда будет слишком поздно.

---

[1] Персонаж пьесы Шекспира «Много шума из ничего».

Миссис Джонсон заняла другую позицию. В первую минуту она потеряла дар речи от негодования, потом разразилась градом упреков.

— Чем мы заслужили, чтобы с нами обращались, как с последними глупцами? — возмущалась она.— Мы-то о нем заботились, старались во всем ублажать его, ночей не спали! А он, хитрый обманщик, покупает лавку за нашей спиной и, не сказав нам ни слова, покидает нас! Как будто мы собирались украсть его деньги. Я ненавижу нечестные поступки, никак этого не ожидала от вас, Альфред! Теперь, сами знаете, летний сезон уже наполовину прошел, и что я буду делать с вашей комнатой, ума не приложу. Стыдно обманывать людей! Честная игра—так честная игра. Меня, во всяком случае, этому учили в детстве. А то как же получается: вы здесь живете, пока вам нравится, потом вдруг вам надоело, и вы уезжаете, не сказав нам спасибо и даже не спросив, как мы к этому отнесемся. Мой муж слишком уж с вами добр. Хотя бы слово сказал, а ведь он только и делал, что день и ночь считал, считал, считал, голову ломал над всякими проектами, как бы вам получше устроиться, все свои дела забросил.

Миссис Джонсон перевела дыхание.

— Во всем виновата любовь,— пробормотал в свое оправдание мистер Полли.— Я и сам этого не ожидал.

4

А женитьба мистера Полли приближалась с неумолимой неизбежностью.

Он пытался было убедить себя, что действует по собственной инициативе, но в глубине души понимал свою полнейшую беспомощность против приведенных им же самим в движение могучих общественных сил. Он должен был жениться по воле общества, так же как в далекие времена другим добрым душам предстояло по воле общества быть утопленными, сожженными или повешенными. Конечно, мистер Полли предпочел бы играть на свадьбе менее заметную роль наблюдателя, но, увы, выбора ему не оставалось. И он старался как можно лучше исполнить свою роль. Он купил себе красивые модные брюки в клетку. Весь остальной туалет, за исклю-

чением ярко-желтых перчаток, серо-голубого галстука и новой шелковой ленты на шляпе более легкомысленного цвета — черную пришлось снять,— на нем был тот же, что и в день похорон. Скорбь человеческая сродни радости.

Девицы Ларкинс сотворили чудеса из светло-серого сатина. Мысль о флердоранже и белой вуали была с сожалением отвергнута по причине того, что кэб оказался слишком дорогостоящим удовольствием. Да и недавно прочитанный рассказ о невесте, стоявшей у алтаря «в скромном, стареньком платьице», укрепил их в принятом решении. Мириэм откровенно плакала, Энни тоже, но все трое то и дело пытались смехом разогнать слезы. Мистер Полли нечаянно подслушал, как Энни говорила кому-то, что у нее самой не было никаких шансов выйти замуж, пока Мириэм вечно торчала дома, подкарауливая женихов, как кошка мышей. Эти слова не могли не дать, как говорят, пищу для размышлений. Миссис Ларкинс была красная, как кумач, и вся промокла от слез; она то и дело принималась рыдать, и язык ее ни на секунду не умолкал. Она была насыщена влагой, как только что вытащенная из воды губка, а в ее пухлом, красном кулачке был зажат носовой платок, в котором не было сухой нитки. «Такие хорошие девочки! — с дрожью в голосе твердила она.— Все такие хорошие!» Она залила слезами мистера Полли, когда бросилась целовать его. Чувства распирали ее до того, что пуговицы на ее платье не выдержали и отлетели, так что, пожалуй, последнее, что сделала Мириэм в отчем доме,— это в одиннадцатый раз заделала зияющую брешь на корсаже своей матери. На миссис Ларкинс была крохотная, плохо державшаяся на голове шляпка, черная с красными розами; сперва она была слишком надвинута на левый глаз, а когда Энни сказала об этом матери, шляпа переехала на правый глаз, отчего лицо миссис Ларкинс неожиданно приобрело свирепое выражение. Но после поцелуев — мистеру Полли в этот момент показалось, что его окунули в купель для крещения — деликатный предмет на голове миссис Ларкинс просто съехал назад и повис там, зацепившись за шпильку и время от времени жалобно колыхаясь на волнах слишком бурных переживаний. Шли часы, и шляпка все чаще и чаще привлекала внимание мистера Полли,

под конец ему стало казаться, что на шляпку напали приступы зевоты.

На семейном торжестве не было только миссис Джонсон. Сам Джонсон на свадьбу пришел, но держался от всех поодаль, ни с кем не разговаривая, и поглядывал на мистера Полли большими серыми глазами с любопытством и недоумением, тихонько насвистывая что-то и втайне не переставая изумляться такому неожиданному повороту событий. Мистер Джонсон был прекраснейший в своем роде человек. В церковь пришла целая стайка в одинаковых серых шляпках хихикающих и подталкивающих друг друга локтями подружек Мириэм с последнего места ее работы, но на свадебный обед остались только две. Миссис Пант привела своего отпрыска — его жизненный опыт все обогащался, ибо и на свадьбе он был впервые. Посаженым отцом был дядюшка девиц Ларкинс — некий мистер Ваулс, хозяин трактира и владелец лицензии на продажу спиртных напитков. В высокой двуколке вместе со своей пухленькой, модно одетой женой он приехал в церковь из Соммершила. Зашли в церковь и два каких-то совершенно посторонних человека и уселись на последнюю скамью поглазеть на церемонию.

Крошечные фигурки людей казались ничтожными в черной и холодной пустоте церкви; ряд за рядом уходили в темноту скамьи с высокими спинками, кое-где валялись оставленные хозяевами молитвенники и подушечки для коленопреклонения. Вся обстановка выглядела нелепой, не соответствующей тому, что сейчас в ней совершалось. Джонсон осведомился у тонконогого, в коротенькой ризе служки, все ли правильно заняли места. Из дальних дверей, ведущих в ризницу, появился священник в стихаре, задумчиво почесывающий щеку, что, по-видимому, было у него привычкой. Пока ждали невесту, мистер Полли, вдохновленный внутренним убранством церкви, стал делиться с Джонсоном своими впечатлениями.

— Арки или в ранненормандском стиле, или это поздняя английская готика, не правда ли? — заметил он.

— Не знаю,— ответил мистер Джонсон.

— Мозаика хороша.

— Во всяком случае, красиво уложена.

— Алтарь не приводит меня в восторг. Слишком витиеваты украшения.

Мистер Полли поднес руку ко рту, прокашлялся. В глубине души его не оставляла мысль, как будет расценен его побег в последнюю минуту: как преступление, или с ним просто перестанут здороваться. Стайка подталкивающих друг друга локтями девиц задвигалась, зашушукалась, возвещая прибытие невесты.

Те несколько шагов, что проделал мистер Полли от дверей церкви до алтаря, показались ему самыми длинными в жизни. Встретив невесту, церковный служка построил присутствующих согласно обычаю и церковным установлениям. Не внимая слезным причитаниям миссис Ларкинс, умолявшей не отнимать у нее дочь, он поставил Мириэм первой вместе с дядюшкой Ваулсом, за ними стали подружки невесты, затем сам мистер Полли, потерявший надежду высвободиться из объятий миссис Ларкинс, которая давала ему последние материнские наставления. Процессию завершала миссис Ваулс, кругленькая, маленькая женщина, полная собственного достоинства и невозмутимая в своем весьма модном платье.

Мистер Полли взглянул на невесту. И в его душе поднялась буря противоречивых чувств. Тревога, желание, любовь, благодарность и вместе с тем нечто похожее на отвращение и неприязнь—вот что составляло этот сложный калейдоскоп чувств. В новом сером платье она казалась ему чужой, незнакомой, заурядной, неестественной. В ней не было той томности, которая пленила неприхотливое чувство прекрасного в мистере Полли в тот день, когда они сидели на скамейке в городском саду и он предложил ей стать его женой. Ему не нравилось, как сидела на ее голове шляпка, украшенная аляповатыми серыми и красными розами, которая и в самом деле была не бог весть каким выдающимся произведением искусства. Затем его внимание перешло на миссис Ларкинс и ее шляпку, возымевшую над ним особую силу. Ему стало уже казаться, что, когда миссис Ларкинс идет, ее шляпка передает сигналы, как флажки моряков. Потом он поглядел на двух взволнованных девиц, которые становились его сестрами.

Мистер Полли занесся в мечтах так далеко, что вдруг спросил себя, где, когда и с кем пойдет к алтарю его прекрасная рыжеволосая незнакомка... Глупая фантазия! И он стал думать о мистере Ваулсе.

Он назвал про себя мистера Ваулса «человек с могущественным взглядом наблюдательных голубых глаз». У того действительно был взгляд человека, умеющего распоряжаться событиями. Он был толстый, короткий, краснолицый, в сидящем в обтяжку фраке в черно-белую клетку с кокетливым галстуком-бабочкой под последним из его многочисленных упругих розовых подбородков. Он вел невесту под руку, всем своим видом давая понять, под какой надежной защитой она находится, а в свободной руке держал серый цилиндр, какие носят наездники. Мистер Полли сразу понял, что дядюшка Ваулс видит его насквозь и чует, что он мечтает о побеге. Черные зрачки мистера Ваулса, обрамленные нежной лазурью, выражали непоколебимую решимость. Казалось, они говорили: «Я здесь, чтобы выдать эту девицу замуж. Я стою на страже ее интересов и намерен довести дело до конца. Так что выкинь из головы всякую чепуху: ничего у тебя не выйдет...» И мистер Полли выкинул. Слабый призрак «бегущей собаки», выплывший было из глубин подсознания, канул в черную бездну неизбежности. Пока обряд не был совершен, магический взгляд мистера Ваулса неумолимо следовал за мистером Полли; когда же все было кончено, мистер Ваулс отпустил вожжи, громко высморкался в огромный вышитый платок, вздохнул и оглянулся на миссис Ваулс, ища у нее сочувствия и одобрения, а потом весело кивнул ей, как бы говоря, что он всегда уверен в счастливом исходе любого начинания. И мистер Полли почувствовал себя марионеткой, которую больше не дергают за ниточки. Но это случилось уже гораздо позже.

А пока мистер Полли чувствовал, как рядом с ним взволнованно дышит Мириэм.

— Привет! — шепнул он ей и, увидев неодобрение в ее взгляде, почувствовал, что сказал не то.

— Как тебе идет серое платье!

Глаза Мириэм заблестели из-под полей шляпки.

— Правда? — прошептала она.

— Ты чудесно выглядишь,— уверил он ее, чувствуя,

что ничего больше не в силах прибавить при виде ее жалкой, неестественной фигурки. Он откашлялся.

Рука служки легонько подтолкнула его сзади. Кто-то повлек Мириэм в сторону алтаря и священника.

— Пропали мы с тобой,— шепнул ей мистер Полли полушутя.— Эх, была не была! А все-таки отлично!

На секунду его внимание привлекла поза привычного к подобным событиям священника. Сколько свадеб он совершил! Как, должно быть, ему от них тошно!

«Не отвлекайся!» — вернул его к действительности взгляд мистера Ваулса.

— Где кольца? — прошептал мистер Джонсон.

— Заложил вчера,— вздумав пошутить, ответил мистер Полли и полез в карман. Он пережил несколько неприятных минут, не обнаружив колец на месте: он, конечно, сунул руку не в тот карман...

Священник, глубоко вздохнув, приступил к совершению таинства, и очень скоро, без малейшей заминки, но с несколько усталым видом сочетал их законным браком.

Пока священник бормотал невнятные слова, мысли мистера Полли бродили далеко; время от времени холодная рука отчаяния сжимала его сердце, и он опять видел перед собой прелестное личико, залитое солнцем, тенистые деревья...

Кто-то толкнул его в бок; это был мистер Джонсон, показывающий пальцем на молитвенник. Наступила решительная минута.

— Будешь ли ты любить ее и утешать в старости, скорби и болезни?

— Отвечайте: «Буду».

Мистер Полли облизнул губы.

— Буду,— хрипло выговорил он.

— Буду,—почти неслышно прошептала в ответ на тот же вопрос Мириэм.

— Кто посаженый отец невесты? — спросил священник.

— Я,— бодро ответил мистер Ваулс и торжествующе оглядел всех присутствующих.

— Повторяйте за мной,— пробормотал священник, обращаясь к мистеру Полли.— «Беру в жены девицу Мириэм...»

— Беру в жены девицу Мириэм...— повторил мистер Полли.

Затем настала очередь Мириэм.

— Положите руку на книгу, — сказал священник. — Нет. Сюда. Повторяйте за мной: «Этим кольцом я обручаюсь...»

Обряд совершался впопыхах и через пень колоду, и это было похоже на то, как мимо тебя проносятся прелестные картины, ты силишься разглядеть их, но почти ничего не видишь из-за клубов дыма...

— Ну, мой мальчик,— сказал мистер Ваулс, крепко сжав локоть мистера Полли,— теперь осталось только расписаться в книге. Свершилось!

Перед мистером Полли стояла Мириэм, немножко растерянная, в сползшей набок шляпке, с недоумевающим лицом. Мистер Ваулс подтолкнул к ней мистера Полли.

Чудо свершилось! Перед ним была его жена!

Мириэм и миссис Ларкинс, непонятно почему, вдруг разрыдались. Энни стояла поодаль с угрюмым видом. В самом ли деле они хотят, чтобы он стал мужем Мириэм? Потому что, если они этого не хотят...

Мистер Полли заметил дядюшку Пентстемона, которого он до той минуты не видал; тот всю церемонию свадьбы держался в стороне, а теперь пробирался поближе к молодым. На нем был галстук светло-голубого цвета, он улыбался и, причмокивая, посасывал больной зуб.

5

В полную меру могучий характер мистера Ваулса проявился, когда участники церемонии перешли в ризницу. Казалось, он выскочил из плотно запечатанной бутылки, где долго томился в бездействии, как джин, выпущенный на волю рыбаком, и, когда подошел конец церемонии, освободил всех от скованности.

— Все прошло как нельзя лучше,— сказал он, обращаясь к священнику.— Прекрасно! Великолепно!—воскликнул он, схватив за руки прильнувшую к нему миссис Ларкинс, а потом чмокнул в щеку Мириэм.— Первый поцелуй посаженому отцу.

Взяв под руку мистера Полли, он подвел его к книге записей, принес стулья для миссис Ларкинс и своей супруги. Потом повернулся к Мириэм.

— А теперь ваша очередь, молодые люди,— сказал он.— Всего один разок! А то этим опять займусь я. Вот так! — воскликнул мистер Ваулс.— А теперь еще раз, мисс.

Мистер Полли, красный от смущения, отвернулся и нашел убежище в объятиях миссис Ларкинс. Затем, промокший насквозь, он оказался в объятиях Энни и Минни, которые пытались зацеловать его насмерть и которых, в свою очередь, перецеловал мистер Ваулс, не имея на это достаточно веских оснований. Потом мистер Ваулс чмокнул невозмутимую миссис Ваулс и воскликнул при этом: «Ну вот мы и опять дома, в целости и сохранности!» Затем миссис Ларкинс с душераздирающим воплем притянула к себе Мириэм и, оросив ее обильно слезами, принялась целовать. Энни и Минни целовали друг друга, а мистер Джонсон поспешно ретировался к дверям и принялся с независимым видом разглядывать внутренность церкви, несомненно, подыскивая себе убежище.

— Люблю иногда поцеловаться! — заметил мистер Ваулс и, издав звук наподобие шипения змеи, вдруг с оглушительным треском захлопал в ладоши. Священник тем временем одной рукой чесал щеку, другой помахивал пером, а служка нетерпеливо покашливал.

— Двуколка ждет невесту у церкви,—объявил мистер Ваулс.— Молодым сегодня пешком ходить не полагается.

— Мы тоже поедем? — спросила Энни.

— Только молодые, твоя очередь еще придет, мисс!

— Я никогда не выйду замуж! — воскликнула протестующе Энни.— Этого никогда не будет.

— Ну, это от тебя не зависит. Хочешь не хочешь, а придется выйти, чтобы разогнать толпу поклонников.

Мистер Ваулс хлопнул мистера Полли по плечу.

— Жених подает руку невесте. Они идут впереди всех. Трам-та-ра-рам, тара-рам, пам-пам!

Мистер Полли чувствовал, что, держа под руку Мириэм, во главе целой процессии направляется к двери.

Рыдающая миссис Ларкинс подошла к дядюшке Пентстемону; она не узнала своего врага.

— Такая хорошая, хорошая девочка,— причитала она.

— Не ожидала, что я приду? — спросил ее дядюшка Пентстемон, но миссис Ларкинс уже прошла мимо, ничего не видя и не слыша, занятая излиянием своих чувств.

— Она не ожидала, что я приду,— сказал дядюшка Пентстемон, в первую секунду несколько обескураженный, но тут же нашедший слушателя в лице мистера Джонсона.

— Не знаю, не знаю,— ответил мистер Джонсон, испытывая некоторую неловкость.—Я думал, вас пригласили. Как поживаете?

— Меня пригласили, а как же! — сказал дядюшка Пентстемон и на мгновение задумался.— Пришел посмотреть на чудо, — прибавил он, понизив голос.— Одна из ее девчонок выходит замуж! Разве это не чудо? О господи! Ух!

— Вам плохо? — спросил мистер Джонсон.

— Спину ломит, видно, к перемене погоды,— ответил дядюшка Пентстемон.— У меня для невесты подарок. Вот в этом свертке. Старинная чайница, ею пользовалась еще моя покойная матушка. А потом я много лет держал в ней табачок, покуда не отломалась петля на крышке. С тех пор она мне без надобности. Вот я и решил подарить ее невесте. Все равно, какая мне от нее польза...

Мистер Полли чувствовал, что выходит из церкви на улицу.

Возле церкви толпилось человек десять взрослых и около дюжины мальчишек, которые при виде новобрачных издали радостный нестройный вопль. У каждого мальчишки в руке был небольшой кулек с чем-то; особое внимание мистера Полли привлек мальчишка с оттопыренными ушами и сосредоточенно-мстительным выражением лица. Мистер Полли никак не мог понять, что было у него в кульке. И в тот же миг он получил в ухо целую горсть риса, да так, что из глаз посыпались искры.

— Еще рано, болван ты этакий! — услыхал он за собой голос мистера Ваулса. В ту же секунду вторая горсть рассыпалась барабанной дробью у него по шляпе.

— Еще не время,— кипятился мистер Ваулс, и тут мистер Полли понял, что они с Мириэм представляют

собой мишень для двух рядов мальчишек, глаза которых горели жаждой крови, а грязные кулаки сжимали приготовленную горсть риса, и что мистер Ваулс, дирижируя, старается предотвратить очередной залп.

Двуколка стояла у входа в церковь под охраной какого-то бродяги, лошадь и кнут были украшены белыми лентами, заднее сиденье было загромождено корзинами, но оставалось место и для седоков.

— Садитесь,— обратился к жениху и невесте мистер Ваулс.— Старички вперед, молодые сзади.

Усаживались под взглядами злонамеренных мальчишек, готовых в любую секунду открыть огонь.

— Прикрой лицо носовым платком,— предупредил мистер Полли молодую супругу и сел ближе к мальчишкам, проявляя самоотверженность и героизм. Он надвинул поглубже шляпу, закрыл глаза и приготовился к худшему.

— Пли! — скомандовал мистер Ваулс, и по мистеру Полли, нещадно жаля его, был открыт концентрированный огонь.

Лошадь пустилась вскачь, и когда новоиспеченный супруг снова взглянул на мир, то оказалось, что двуколка только что едва избежала столкновения с трамваем, а далеко позади у церковной ограды мистер Джонсон с церковным служкой вели неравный бой с ватагой мальчишек, спасая жизнь поредевшему семейству Ларкинсов. Миссис Пант с сыном мчались через дорогу, спасаясь бегством; отпрыск спотыкался и отставал, увлекаемый беспощадной материнской рукой. Дядюшка Пентстемон в одиночку отражал нападение отряда мальчишек, осыпая, по-видимому, их головы страшными проклятиями. На заднем плане маячила фигура полицейского, взиравшего на происходящее с благодушным безразличием.

— Полегче, милая, полегче,— кричал мистер Ваулс. Потом, повернувшись назад, сказал мистеру Полли: — Это я купил рис. Люблю старинные обычаи. Но-о, пошла!

Двуколка круто вильнула, и оказавшийся поблизости велосипедист издал вопль ужаса, но все окончилось благополучно, экипаж свернул за угол, и остальные участники свадебной церемонии скрылись из глаз мистера Полли.

— Надо сделать старушке сюрприз. Ты покарауль лошадь, а мы отнесем все в дом, пока она не вернулась,— сказал мистер Ваулс.

— А как же ключи? — спросил мистер Полли.

— У меня есть. Ну, ты оставайся здесь, а мы пойдем.

И пока мистер Полли держал под уздцы всю мокрую от пота лошадь и стряхивал пену с удил, мистер Ваулс и Мириэм исчезли в доме, забрав с собой разнообразные корзины и свертки, находившиеся в двуколке.

Некоторое время мистер Полли оставался один со своей подопечной в маленьком тупичке, куда выходил дом Ларкинсов, под перекрестными взглядами любопытных соседей, притаившихся за занавесками. Он думал о том, что вот он женатый человек и, должно быть, имеет сейчас довольно глупый вид, что морда у лошади тоже глупая, а глаза выпученные. Ему вдруг стало интересно, что думает о нем лошадь и нравится ли ей в самом деле, когда ее треплют по холке, или она просто покоряется воле обстоятельств, втайне испытывая к человеку презрение. Знает ли она, что он женился? Потом он спросил себя, не принял ли его священник за последнего дурака, стал гадать, кто прячется за тюлевой шторой в соседнем окне, мужчина или женщина. В доме напротив отворилась дверь, оттуда вышел старик в вышитой феске, он курил трубку, и у него было спокойное, невозмутимое, довольное лицо. Некотоое время он разглядывал мистера Полли с явным, но неоскорбительным любопытством. Наконец окликнул его.

— Эй!

— Привет! — отозвался мистер Полли.

— Можете не держать свою лошадь,— сказал пожилой джентльмен.

— Норовистый конек! — заметил мистер Полли. И почему-то ему на память пришел имбирный эль: — А сегодня он что-то особенно разыгрался.

— Ну, отсюда он не уйдет. Впереди дороги нет, а развернуться здесь негде,— заметил пожилой джентльмен.

— Verbum sap [1],— ответил мистер Полли, отпустил лошадь и пошел к дому.

Дверь отворилась как раз в тот момент, когда из-за угла появилась миссис Ларкинс, опираясь на руку мистера Джонсона, за ними Энни, Минни, две подружки Мириэм, миссис Пант с отпрыском и последним,— чуть поотстав, дядюшка Пентстемон.

— Идут! — сказал мистер Полли появившейся на пороге Мириэм, привлек ее к себе и поцеловал.

Она тоже ответила ему поцелуем, и оба перепугались до полусмерти, когда им на голову чуть не упали две пустые корзины, вслед за которыми с третьей в руках появился мистер Ваулс.

— Скоро у вас будет для этого сколько угодно времени,— лукаво подмигивая, сказал он.— Уберите эти корзины, пока матушка не появилась. Я ей такой сюрприз приготовил, она глазам своим не поверит! Ей-богу!

Мириэм убрала корзины, а мистер Полли, подталкиваемый посаженым отцом, очутился в крохотной гостиной. Огромный пирог и здоровенный окорок красовались на столе рядом со скромным угощением миссис Ларкинс, а бок о бок с бутылками хереса и портвейна стояли пузатые бутылки дорогого вина. Безусловно, они больше подходили к свадебному торту, возвышавшемуся на середине стола. Миссис Ваулс, все такая же невозмутимая, разглядывала стол с неким подобием одобрительной улыбки.

— Некуда яблоку упасть, а? — сказал мистер Ваулс, надул щеки, хлопнул несколько раз в ладоши и прибавил: — То-то удивится матушка Ларкинс!

Он отступил на шаг, улыбнулся, развел руками и, пятясь и кланяясь, стал приглашать к столу ринувшуюся на приступ дверей подоспевшую компанию.

— Ах, дядюшка Ваулс! — восторженно воскликнула Энни.

Дядюшка Ваулс был вознагражден.

Гостиная величиной с пятачок была набита битком, поднялась такая сутолока и неразбериха, что долгое время никак не могли рассесться по местам. Все были голодны, и при виде пирога глаза радостно заблестели.

---

[1] Умный понимает с полуслова (*лат.*).

— Усаживайтесь поскорее! — командовал дядюшка Ваулс.— Берите все, что может сойти за стул, и начнем пир!

Две подружки Мириэм втиснулись в гостиную одни из первых, потом захотели было выбраться из комнаты и подняться наверх, чтобы снять жакеты, но вынуждены были оставить всякие попытки к передвижению, зажатые в тисках между мистером Джонсоном и еще кем-то. В этой кутерьме дядюшка Пентстемон, как-то изловчившись, вручил невесте осточертевший ему сверток с подарком.

— На, возьми,— сказал он Мириэм.— Свадебный подарок. — И прибавил, хитро подмигнув: — Вот уж никогда не думал, что придется дарить свадебные подарки!

— Кто говорит, пирог с потрохами? — надрывался дядюшка Ваулс.— Кто это говорит, пирог с потрохами? Ну-ка, попробуй капельку вина, Марта. Подкрепись, тебе это нужно...

— Рассаживайтесь по местам и не кричите все сразу. Кто сказал, пирог с потрохами?

— Велеречивый петух,— прошептал мистер Полли.— Вот уж здоров горланить.

— Кому ветчинки? — оглушительно крикнул мистер Ваулс, раскачивая на кончике ножа кусок ветчины.— Кто желает ветчинки? Не положить ли вашему сынку, миссис Пант?..

— А теперь, леди и джентльмены, — все еще стоя и возвышаясь над многочисленными присутствующими, заявил мистер Ваулс,— коль скоро тарелки у вас полны, а в бокалах играет доброе вино,— это я вам гарантирую,— не пора ли поднять тост за здоровье невесты?

— Не мешает сперва немного перекусить,— раздался среди одобрительных восклицаний голос дядюшки Пентстемона, у которого рот уже был набит.— Не мешает сперва перекусить.

Так и решили. Вилки бойко застучали по тарелкам, стаканы зазвенели.

Мистер Полли на несколько секунд оказался возле Джонсона.

— Пропала моя головушка,— бодрым тоном проговорил он.— Не расстраивайся, старина, садись и поешь. Тебе-то с чего терять аппетит?

Молодой Пант с минуту постоял на ноге мистера Полли, яростно вырываясь из рук своей мамаши.

— Пирога,— кричал молодой Пант.— Хочу пирога!

— Ты сядешь сюда и будешь есть ветчину, мой дорогой! — говорила неумолимая миссис Пант.— Пирога ты не получишь и не проси.

— Что это вы, право, миссис Пант? — вступился за ребенка мистер Ваулс.— Пусть он ест, что хочет, раз уж попал на свадьбу!

— Если бы вы знали, какое это мучение, когда он болеет, вы бы не стали ему потакать,— отпарировала миссис Пант.

— Ничего не могу с собой поделать, старина,— тихонько сказал Джонсон мистеру Полли.— Но у меня такое чувство, что ты совершаешь ошибку. Поспешил ты, вот что. Ну да будем надеяться на лучшее.

— Спасибо на добром слове, старина,— ответил мистер Полли.— Садись-ка лучше да выпей что-нибудь

Джонсон послушался совета и сел с мрачным видом, а мистер Полли, ухватив кусок ветчины, примостился на швейной машинке в углу комнаты и стал есть. Он был очень голоден. Спина и шляпка миссис Ваулс отделяли его от всей компании, он молча жевал ветчину и предавался своим мыслям. Его внимание привлекли гулкие удары, доносившиеся со стола. Он вытянул шею и увидел, что мистер Ваулс не сидит, как все, а стоит и, слегка подавшись вперед, как делают все ораторы на торжественном обеде, ударяет по столу черной бутылкой.

— Леди и джентльмены,— поднимая рюмку, когда воцарилась тишина, торжественно произнес мистер Ваулс и на секунду умолк.— Леди и джентльмены, невеста...— Опять пауза. Мистер Ваулс подыскивал подходящую к случаю фразу попышнее и наконец, просияв, воскликнул: — За здоровье невесты!

— За здоровье невесты! — с отчаянием в голосе, но решительно проговорил мистер Джонсон и поднял рюмку.

— За здоровье невесты! — подхватили гости.

— За здоровье невесты,— промолвил мистер Полли, скрытый от глаз всех в своем углу, и поднял вилку с насаженной на нее ветчиной.

— Ну вот и славно,— вздохнул мистер Ваулс, как после тяжелой операции.— А теперь кому еще пирога?

Разговор за столом возобновился. Но вскоре мистер Ваулс поднялся опять и ударами бутылки заставил всех замолчать. Явный успех первого тоста вдохновил его.

— Леди и джентльмены,— произнес он,— наполните свои бокалы для второго тоста. За жениха! — Полминуты мистер Ваулс думал, что бы такое сказать, наконец его осенило: — Здоровье жениха!

— Здоровье жениха, пусть живут счастливо! — кричали со всех сторон.

И мистер Полли, появившись из-за спины миссис Ваулс, приветливо раскланялся среди общего энтузиазма.

— Мистер Полли может говорить, что хочет,— произнесла миссис Ларкинс,— но ему действительно выпало счастье. Мириэм — настоящее сокровище, я помню, ей было всего три годика, а она уже нянчилась со своей сестренкой, а один раз так упала с лестницы, что пересчитала все ступеньки, бедняжка, но, слава богу, осталась цела и невредима, и всегда-то она готова помочь, всегда занята по хозяйству, минутки без дела не посидит. Одно слово — сокровище...

Ее слова заглушил стук, которого разве мертвый бы не услышал. Мистеру Ваулсу пришел в голову новый тост, он встал и опять забарабанил бутылкой.

— Третий тост, леди и джентльмены, я поднимаю за мать невесты. Я... э-э... поднимаю... э-э... Леди и джентльмены, за здоровье миссис Ларкинс.

7

В маленькой грязной гостиной было тесно и душно. Безоблачное настроение мистера Полли омрачалось ощущением, что совершается нечто непоправимое. Гости стали казаться ему развязными, жадными и глупыми. Мириэм, все еще в уродливой шляпке — молодым предстояло сразу же после свадебного обеда ехать на вокзал,— сидела рядом с миссис Пант и ее отпрыском,

исполняя роль гостеприимной хозяйки, и время от времени ласково посматривала на мистера Полли. Один раз она повернулась и, перегнувшись через спинку стула, шепнула ему ободряющее: «Ну, теперь уж скоро будем одни». Рядом с ней сидел Джонсон, не проронивший за весь обед ни слова; по другую руку Джонсона Энни неумолчно болтала с подружкой Мириэм. Напротив них дядюшка Пентстемон жадно поглощал кусок за куском, не забывая, однако, бросать на Энни свирепые взгляды. Миссис Ларкинс сидела подле мистера Ваулса. Она ничего не ела, кусок ей не шел в горло, как она объяснила, но время от времени мистеру Ваулсу удавалось уговорить ее глотнуть разочек-другой из рюмки.

У всех на шляпах, в волосах, на одежде белели крупинки риса.

Вскоре мистер Ваулс забарабанил по столу в четвертый раз, предлагая выпить за самого умного и хорошего мужчину...

Все имеет свой конец; первым сигналом к завершению свадебного пира были тревожные симптомы, появившиеся у отпрыска миссис Пант. После краткого совещания вполголоса его поспешно выдворили из-за стола. А так как он сидел в самом дальнем углу между печкой и буфетом, то каждому сидевшему с этой стороны стола приходилось отодвигать стул и пропускать его. Джонсон, воспользовавшись суматохой, сказал — на всякий случай, быть может, кто-нибудь услышит — до свидания и удалился. Немного погодя мистер Полли вдруг обнаружил, что он уже не в гостиной, а, куря сигарету, прогуливается по коридору в компании дядюшки Пентстемона. Мистер Ваулс тем временем укладывал пустые бутылки в корзины, готовясь к отъезду, а женщины вместе с невестой поднялись для последнего совещания наверх. Мистеру Полли не хотелось говорить, но дядюшка Пентстемон, напротив, побуждаемый таким исключительным событием, испытывал желание излить душу. Он говорил не очень связно, перескакивая с предмета на предмет, забывая подчас о слушателе, как и подобает умудренному годами старцу.

— Говорят, за одними похоронами следует много других,— разглагольствовал дядюшка Пентстемон.—

На сей раз последовала свадьба. Впрочем, не велика разница... Ветчина в зубах застряла,— перебил себя дядюшка Пентстемон.— Почему бы это? Откуда в ветчине жилы? Самая хорошая еда, я считаю. Ты должен был пройти через это,— вернулся он к оставленной было теме.— Так уж устроено. Одним написано на роду жениться, другим — нет. Когда я женился в первый раз, я был гораздо моложе тебя. И не мне тебя порицать. Такая уж наша планида. Это естественно, как страсть к браконьерству или к спиртному. Никуда тебе от этого не уйти, и вот, на тебе, ты женат! Ты спросишь, есть ли что-нибудь хорошего в браке? По-моему, нет. Брак — это лотерея, это игра в орлянку. И чем ярче пламя, тем оно быстрее гаснет. Но вообще-то нам очень скоро все приедается. У меня нет причин сетовать на судьбу. Я пережил двух жен. И мог бы жениться в третий раз. Детей никогда не было, бог миловал. Никогда... Ты хорошо сделал, что не взял старшую,— продолжал дядюшка Пентстемон после минутной паузы.— Поверь мне, старику. Пустая она девчонка, бездельница. Вытоптала всю мою грядку с грибами, никогда я ей этого не прощу. Ножищи, как у слона. Пустили козла в огород. Хруст, хруст — и ни одного грибка не осталось. Да еще давай смеяться. Уж я ей посмеялся! Паршивая тварь!

С минуту он мстительно размышлял о своем враге, выковыривая из дупла в зубе застрявший кусок ветчины.

— Да, женщины — это лотерея,— продолжал дядюшка Пентстемон.— Сюрпризная коробка! Пока не принесешь домой и не откроешь, не знаешь, что в ней. Когда человек женится, он всегда покупает кота в мешке. Всегда! В девицах она одно, а как выйдет замуж — совсем другое. Невозможно угадать, что из нее получится. Я видел, как самые лучшие из них превращались в ведьм,— заметил дядюшка Пентстемон и прибавил с непривычной задумчивостью: — Но я не хочу сказать, что тебе досталась именно такая.

Дядюшка Пентстемон высосал из дупла очередную крошку.

— Но хуже всего — это сварливая жена,— продолжал он.— Если бы мне досталась сварливая жена, я бы и часу не потерпел, ударил бы ее чем-нибудь тяжелым

по голове. Уж лучше взять такую, как эта, старшая. Она бы вмиг отучилась у меня хихикать без всякого повода и топтать своими лапищами грядки... Мужчина должен держать жену в ежовых рукавицах, какая бы она ни была,— заключил дядюшка Пентстемон, формулируя в этих словах приобретенную многолетним опытом житейскую мудрость.— Хороша она или плоха, а мужчина должен держать ее в ежовых рукавицах.

8

Наконец пришло время ехать на вокзал. Как заключительный аккорд свадебного торжества, молодых ожидала поездка в вагоне второго класса. Их провожали всей компанией, за исключением миссис Пант и бедняги Вилли, который находился в весьма плачевном состоянии.

Последний свисток. Поезд тронулся.

Мистер Полли махал шляпой, а миссис Полли — носовым платком, покуда их не скрыли фермы моста. Дядюшка Ваулс до последней минуты был молодцом. Он бежал за поездом до конца платформы, махая своим цилиндром циркового наездника и посылая воздушные поцелуи невесте.

Молодые уселись на свои места.

— Все-таки хорошо, что отдельное купе,— после небольшой паузы заметила миссис Полли.

Опять воцарилось молчание.

— Сколько же дядюшка Ваулс купил рису! Наверное, фунтов сто!

При воспоминании о рисе мистер Полли поежился.

— Мы совсем одни, Альфред. Поцелуй меня.

Мистер Полли подвинулся на краешек сиденья, подался вперед, держа руки на коленях — шляпа у него была сдвинута на один глаз,— и придал своему лицу страстное выражение, как того требовала ситуация.

— Я люблю тебя, дорогая,— прошептал он. И сделал вид, что тщательно выбирает место для поцелуя.— Иди сюда,— сказал он и притянул Мириэм к себе.

— Осторожно, не помни мою шляпку,— ответила миссис Полли и неловко упала в его объятия.

ГЛАВА VII

ЛАВКА В ФИШБУРНЕ

1

Пятнадцать лет пробыл мистер Полли почтенным владельцем лавки в Фишбурне.

Эти пятнадцать лет пролетели, как миг, и все прожитые дни были, словно две капли воды, похожи один на другой. За это время мистер Полли, утратив приятную внешность, приобрел нездоровую полноту, поблекший, землистый цвет лица и морщинки недовольства вокруг глаз. Ему было в ту пору, как я уже писал, тридцать семь лет. Он сидел в поле на ступеньке перелаза и, взывая к небесам, тянул:

— О гнусная, мерзкая, подлая дыра!

На нем был черный, довольно поношенный сюртук, жилет, яркий нарядный галстук из запасов лавки и надвинутое на один глаз кепи-гольф.

Пятнадцать лет... Вам, наверное, может показаться, что тот удивительный цветок воображения, прозябавший под спудом в душе мистера Полли, завял и погиб, не оставив после себя ни одного живого ростка. Нет, он был жив; не угасла в мистере Полли ненасытная жажда ярких, заманчивых событий, жажда прекрасного, благородного. Он по-прежнему любил читать и читал, как только позволял случай, книги, в которых повествовалось о славных временах и славных событиях в далеких странах, книги, написанные свежими, выразительными словами, от которых жизнь приобретала более розовые тона. Но увы! Таких книг было не так много, а к газетам и дешевым романам, которые стали появляться во множестве, мистер Полли не питал пристрастия. В них не было эпитетов. Не с кем было в Фишбурне и поговорить, что он очень любил. К тому же у него была обязанность — торговать в лавке.

К этой лавке он почувствовал ненависть с самых первых дней.

Он снял ее, чтобы уйти от судьбы в образе мистера Джонсона и ненавистного магазинчика на углу, и потому еще, что Фишбурн когда-то затронул его впечатлитель-

ную душу. Он снял эту лавку, несмотря на то, что она была неудачно спланирована, что комнаты, в которых ему предстояло жить, были тесны, что в самой лавке негде было повернуться, что кухня, зимой становившаяся спальней и гостиной, находилась в подвальном этаже, что маленький дворик позади лавки примыкал к двору фишбурнской Королевской гостиницы, что перспективы торговли в Фишбурне были самые плачевные, он снял эту лавку, несмотря на то, что не было на свете более скучного занятия, чем сидеть и ждать покупателей. Не так давно он воображал, как они с Мириэм ясным, солнечным зимним утром будут вдвоем завтракать, вдыхая упоительный аромат жареной ветчины и наслаждаясь горячими пышками за чаем. Он мечтал и о том, как по воскресеньям они будут совершать загородные прогулки, собирая маки и маргаритки, или сидеть на берегу, любуясь морем. Но все вышло по-иному: за завтраком обычно вспыхивала ссора, а горячих пышек к чаю никогда не было. Что же касается загородных прогулок, то Мириэм объявила, что очень некрасиво слоняться в воскресные дни по окрестностям.

Было очень прискорбно, что Мириэм с первого взгляда не полюбила свой дом. Он не понравился ей снаружи, но еще более не понравился, когда она осмотрела его внутри.

— Слишком много всяких ступенек,— сказала она.— И очень плохо, что уголь надо держать в доме: пыли не оберешься.

— Я как-то не подумал об этом,— отозвался мистер Полли, следуя за молодой хозяйкой, осматривавшей дом.

— В этом доме трудно будет следить за чистотой,— заметила Мириэм.— Белая краска — сама по себе вещь неплохая,— сказала она,— но грязь на ней очень заметна. Куда лучше покрасить под мрамор.

— Зато сколько места,— возразил мистер Полли.— Можно расставить цветы в горшках.

— Ну, цветами я заниматься не буду. Я с ними дома намучилась. Минни посадит, а я ухаживай...

Перед тем, как поселиться в своем доме, они неделю прожили в дешевых меблированных комнатах. Мебель, по большей части подержанную, купили в Стэмтоне, по-

суда, ножи, вилки и белье — все было новое, купленное в Фишбурне. Мириэм, расставшись с родным домом, вечно наполненным шумливой веселостью, приняла постный, чопорный вид и отныне ходила не иначе, как озабоченно нахмурив брови и стараясь, «чтобы все было в порядке».

Мистер Полли с жаром принялся за устройство лавки, громко насвистывая что-то, пока из кухни к нему не поднялась Мириэм и не сказала, что от его свиста у нее разламывается голова. Как только мистер Полли снял лавку, он вывесил в окне броские объявления, сообщавшие в самых неумеренных выражениях фишбурнскому обывателю, что в ближайшем будущем здесь открывается галантерейная торговля; и теперь, раскладывая на витрине товары, он старался поразить воображение своих будущих покупателей. Он решил, что будет торговать соломенными шляпами, панамами, новомодными купальными костюмами, сорочками из легкой шерсти, галстуками и фланелевыми брюками для мужчин, подростков и мальчиков. Убирая витрину, он заметил через дорогу коротенькую фигуру торговца рыбой, а у дверей соседнего дома — хозяина посудной лавки и подумал, вежливо ли будет с его стороны поприветствовать их дружеским кивком.

В первое же воскресенье их новой жизни мистер Полли и Мириэм, тщательно причесанные и одетые (мистер Полли в своей свадебно-похоронной шляпе, Мириэм в скромном сереньком платье — более респектабельную пару трудно себе представить), чинно отправились в церковь: себя показать и людей посмотреть.

Со второй недели жизнь стала входить в свою колею. Заглядывали покупатели, главным образом за панамами и купальными костюмами. В субботу вечером мистер Полли, продав несколько самых дешевых соломенных шляп и галстуков, почувствовал непреодолимую потребность окунуться в уличную жизнь. Став в дверях, он увидел на краю тротуара хозяина посудной лавки, разгружавшего ящик с товаром, и, обратившись к нему, заметил, какой прекрасный нынче день. Хозяин посудной лавки что-то неохотно пробурчал в ответ и нырнул в ящик с головой, оставив видимой

ту часть тела, которая не очень располагала к красноречию.

— Усердствующий торгаш,— прошептал мистер Полли, взирая на недружелюбно выставленный зад посудника...

2

Мириэм соединяла в себе дерзновенный дух с полнейшей практической беспомощностью. В доме никогда не было чистоты и порядка, но все всегда было перевернуто вверх дном, находясь в стадии уборки; она готовила пищу, потому что пища должна быть приготовлена, нисколько не заботясь, как подобает строгому моралисту, о качестве приготовляемого и возможных последствиях. В еде, состряпанной ее руками, что-то всегда было переварено, и походили эти блюда на дикарей, одетых по приказанию миссионера в костюмы и платья неподходящих размеров. Такая еда чревата самыми печальными последствиями: она склонна дурно себя вести и даже бунтовать. На другой же день после свадьбы Мириэм перестала внимать разглагольствованиям мужа и в его присутствии всегда ходила с сердито сдвинутыми бровями, давая ему понять, что ее вечно грызут заботы. Мало-помалу она пришла к выводу — для этого, пожалуй, были законные основания,— что муж ее от природы ленив. Он любил часами торчать у дверей, ища компании почесать язык, имел пристрастие к книгам — праздная привычка, по мнению его супруги. Он начал заходить в бар гостиницы «Провидение господне» и стал бы там завсегдатаем, если бы не карты, которые, мешая приятной беседе, нагоняли на него смертельную скуку. Глупейшие, всякий раз новые комбинации из пятидесяти двух карт, по пяти у каждого игрока, вызывавшие изумленные возгласы и жалкое волнение, нисколько не привлекали мистера Полли, ум которого был очень впечатлительным и вместе с тем легко утомлялся.

Скоро стало очевидным, что лавка только-только окупает себя, и Мириэм, не церемонясь, заявила мужу, что ему пора стряхнуть с себя лень и «взяться за дело», но ни она, ни он не представляли себе, за какое дело ему следует взяться. Когда всадишь весь свой капитал в лавку, не так-то легко получить его

обратно. Если покупатели не идут к вам толпой по собственной воле, вы не можете принудить их к этому: на их стороне закон. Нельзя также бегать за покупателями по улицам курортного городка и угрозами и назойливым приставанием загонять их в свой магазин за фланелевыми брюками. А побочные источники дохода торговцу не так-то легко найти. Уинтершед, торговец велосипедами и граммофонами, чья лавка была по правую руку от лавки мистера Полли, играл на органе в местной церкви. Клэмп, хозяин лавки детских игрушек, был церковным служкой. Зеленщик Гэмбелл прислуживал за столом, а его жена стряпала. Картер, часовых дел мастер, оставил свое заведение на руки жены, а сам ездил по окрестным городкам и деревням, починяя часы. Мистер же Полли не обладал ни одним из вышеназванных талантов да и не думал развивать их в себе, несмотря на постоянные упреки жены. Летними вечерами он оседлывал свой велосипед и ехал куда глаза глядят, и если ему на пути попадалась распродажа книг, он на следующий день мчался туда и покупал наудачу целую груду, связывал их бечевкой, привозил домой и прятал под прилавок от Мириэм. У Мириэм был особый нюх на всякие беззаконные покупки, и, найдя очередную связку книг, она очень расстраивалась, как и полагается всякой добропорядочной жене. И даже частенько подумывала, что хорошо было бы их сжечь, но природная бережливость брала верх.

Каких только книг не прочитал мистер Полли за эти пятнадцать лет! Он читал все, что попадалось под руку, кроме теологических сочинений, и, когда уходил с головой в книгу, все несчастные обстоятельства его неудавшейся судьбы забывались, и жизнь во всем ее великолепии открывалась ему. Ежедневное безрадостное пробуждение, приход в лавку, вытирание пыли с притворным усердием; завтрак, состоящий из купленного яйца, недоваренного или переваренного, либо селедки, недожаренной или обращенной в уголь, и кофе, сваренного по рецепту самой Мириэм и наполовину состоящего из кофейной гущи; возвращение в лавку, чтение утренней газеты; нескончаемое бдение у дверей, во время которого мистер Полли здоровался с прохожими, судачил о соседях или глазел на заезжего гостя,— все это мгно-

венно исчезало, как исчезает зрительный зал в театре, когда зажигается рампа. Мало-помалу он собрал сотни книг: старых, пыльных, в испорченных, порванных переплетах, пухлых, у которых от корешка остался лишь засохший клей да нитки,— по мнению Мириэм, никчемный мусор, отвлекающий мужа от дел.

Было, например, среди них описание путешествий Лаперуза с изящными, тонкими гравюрами, которое давало доподлинное представление о жизни моряка восемнадцатого века — пьяницы, дебошира, искателя приключений, но в общем славного малого. Мистер Полли плавал вместе с ним по всем широтам, распустив паруса, весело отражавшиеся в зеркальной глади океанских вод; его воображение рисовало ему туземных женщин, добрых, с блестящей коричневой кожей, которые с приветливой улыбкой возлагали ему на голову венки из диковинных цветов. У него оказался кусок из книги о забытых дворцах Юкатана — огромных, заросших девственными лесами террасах, имена строителей которых исчезли из памяти человечества. После Лаперуза мистер Полли более всего любил «Вечерние развлечения на острове» и без содрогания читал о том, как от удара кинжалом по руке убийцы струится влага, «похожая на теплый чай». Необъясним, удивителен восторг, пробуждаемый изящной фразой, благодаря которой самый страшный предмет как бы озарен светом прекрасного.

У него была книга, начало которой ему так никогда и не довелось прочитать, — второй том путешествий аббатов Гука и Габе. Вместе с этими добрыми людьми он проделал путь от подножия Тибета, где они брали уроки тибетского языка у Сандуры Бородатого, который называл их с пользой для дела ослами и под конец стащил у них весь запас масла, до самого сердца Тибета — Лхасы. Он так никогда и не нашел первого тома. И его постоянно мучило любопытство: кто же в действительности были эти монахи и откуда они пришли в Тибет? Он читал Фенимора Купера и «Путевой журнал Тома Крингля» вперемежку с рассказами Джозефа Конрада и мечтал повидать черную, красную и желтую расы Вест- и Ост-Индии, мечтал хоть разок взглянуть на полуденные страны, и от этих мечтаний у него

тоскливо болело сердце. Конрадовская проза имела для него особую непостижимую прелесть; мистера Полли восхищали густые краски его описаний. Однажды в связке грязных шестипенсовых книжонок, купленных в Порт-Бэрдоке, куда он иногда заезжал на своем стареньком велосипеде, он нашел сочинение Барта Кеннеди под названием «Моряк-бродяга», представлявшее собой ряд ярких, живых сценок, и с тех пор стал с гораздо большей симпатией и вниманием относиться к праздношатающимся по фишбурнской Хай-стрит здоровенным парням. У Стерна одно ему нравилось больше, другое — меньше, но все одинаково приводило в изумление; что же касается Диккенса, то, неизвестно почему, он любил у него только «Записки Пикквикского клуба». Левера, «Катерину» Теккерея и всего Дюма, за исключением «Виконта де Бражелона», он читал с упоением. Меня удивляет его безразличие к Диккенсу, но, как и подобает добросовестному историку, я упоминаю об этом, хотя и не скрываю своего удивления. Мне гораздо более понятна его нелюбовь к Вальтеру Скотту. Исключительное предпочтение, которое он оказывал прозе сравнительно с поэзией, объясняется, на мой взгляд, его невежеством по части правильного произношения английских слов.

«Путешествия по Южной Америке» Уотертона он перечитывал много раз и всегда с неослабевающим интересом. Он даже стал на досуге развлекаться тем, что составлял, подражая Уотертону, описания новых видов птиц, обладающих какой-нибудь яркой особенностью, и очень радовался, когда ему этот вид встречался. Он попытался привлечь к участию в этой забаве торговца скобяными изделиями Распера. Еще мистер Полли читал сочинения Бейтса об Амазонке, но когда оказалось, что противоположный берег Амазонки не виден, он потерял, опять же я не могу объяснить, в силу каких таинственных движений души, по крайней мере десятую долю интереса, питаемого к этой реке. Он читал все, что попадалось под руку: его совершенно очаровали старинные кельтские легенды, собранные Джойсом; он был без ума от Митфордовских «Старинных японских сказок» и от серии «Блэквудских рассказов» в дешевых бумажных переплетах, которую он ку-

пил в Исвуде. Он стал довольно хорошим знатоком шекспировских пьес и в мечтаниях одевался не иначе, как по моде Италии пятнадцатого века или елизаветинской Англии. Он окунался в бурные, тревожные и смутные времена. Мир книг — это волшебная страна высоких, утонченных чувств, счастливое убежище, оазис, приют, куда спасается человек от мира повседневности...

Все эти пятнадцать лет мистера Полли можно было видеть либо склонившимся низко над прилавком за чтением книги — в лавке обычно царил полумрак,— либо со вздохом отрывающимся от любимого занятия, чтобы обслужить покупателя.

Все эти долгие годы он был почти лишен физических упражнений. Несварение желудка все более мучило его, так что характер у мистера Полли вконец испортился. Он погрузнел, здоровье начало сдавать, приступы раздражительности участились; его стала выводить из себя всякая мелочь, он почти перестал смеяться. Начали падать волосы, и скоро на макушке засветилась большая лысина. И вот в один прекрасный день, отвлекшись от книги и от всего, чем он жил благодаря книгам, он вдруг осознал, что провел за прилавком в Фишбурне целых пятнадцать лет, что скоро ему стукнет сорок, что жизнь его в эти годы была жалким прозябанием, что его окружают скучные, враждебно настроенные, недоброжелательные люди, отвратительные порознь и не менее отвратительные в совокупности, и что его взгляд на мир окрасился в мрачные тона безнадежности и отчаяния.

3

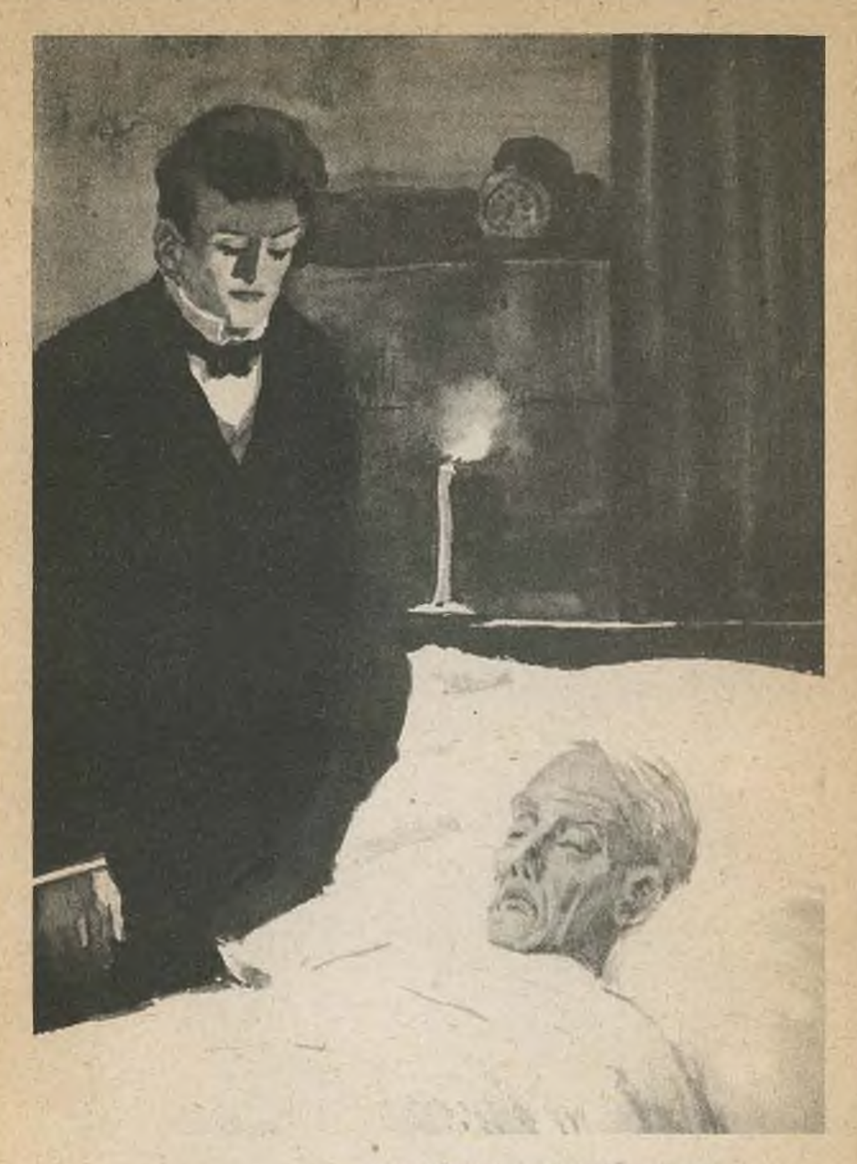
Я уже имел случай упомянуть — я даже приводил выдержку из его сочинений — одного важного джентльмена, живущего в Хайбери, носящего золотое пенсне и писавшего свои труды по большей части в библиотеке Клаймекс-клуба. В этой красивой комнате он вел бескровные, но в высшей степени жестокие бои — надо отдать ему должное — с социальными проблемами. Его конек, его излюбленная идея заключается в том, что в мире недостает, как он выражается, «коллективного разума», а это, попросту говоря, означает, что мы с вами,

читатель, и все остальные люди должны до умопомрачения размышлять над природой вещей и непременно приходить к мудрым выводам, должны, не боясь ложного стыда, всегда говорить правду и быть искренними, а также всячески поддерживать и оказывать почтение избранной касте человечества, а именно: ученым, писателям, художникам и тем несчастным, кто не приспособлен к жизни в обществе, вместо того, чтобы тратить нашу умственную энергию самым примитивным и бессмысленным образом, то есть на игру в гольф и бридж (он, по-видимому, считает, пропади он пропадом, что мы в силу присущего нам чувства юмора не способны тратить умственную энергию на что-нибудь иное), и вообще должны перестать относиться к жизни бездумно, легко и просто, как это принято среди истинных джентльменов. И вот этот интеллектуальный монстр, с головой, как купол собора, утверждает, что мистер Полли несчастен исключительно благодаря отсутствию в обществе «коллективного разума».

«Общество со все усложняющейся организацией,— пишет он,— не способное предвидеть будущее или размышлять о труднейших социальных проблемах, в точности уподобляется человеку, который не соблюдает диету и режим, не моется, не делает гимнастики и любит вволю поесть. Оно накапливает людей, чье существование бесцельно и бесплодно, как человек накапливает жир и вредные вещества в крови; его социальная энергия и производительность деградируют, оно выделяет нищету и неустройство. Каждая фаза его развития сопровождается максимумом невзгод, бедствий и расточительством человеческих жизней, чего можно было избежать...

Самой лучшей иллюстрацией, доказывающей коллективную тупость нашего общества и крайнюю необходимость мощного интеллектуального возрождения, является существование той огромной массы неустроенных, необразованных, не обученных никакому ремеслу, никчемных и вместе с тем заслуживающих сострадания людей, которых мы относим к не имеющей четких границ и не дающей истинного понятия о положении дел категории низших слоев среднего класса. Громадная часть этой группы людей должна быть по справед-

ливости отнесена к категории безработных, которая охватывает и тех, кто не работает, потому что общество не может им дать работы, и тех, кто никакой работе не обучен. Причем их положение нельзя определить по тому, сколько они зарабатывают, так как у многих есть небольшой капитал, скопленный за годы службы, полученный по страхованию или в наследство. Самая отличительная черта этой группы людей та, что они ничего или почти ничего не производят взамен того, что ими потребляется, они не имеют никакого представления о необходимости трудиться на пользу общества, у них нет никакой полезной профессии, их ум и воображение никогда не волновали общественные проблемы. Огромная армия мелких лавочников, например,— это люди, которые вследствие беспомощности, проистекающей от полнейшей профессиональной неподготовленности или же бурного развития техники и роста крупной торговли, оказались вне сферы производства и нашли приют в жалких лавочках, где они бьются изо всех сил, стараясь увеличить свой капитал. Им удается вернуть шестьдесят — семьдесят процентов вложенных денег, остальное же покрывается за счет сбережений, которые таким образом тают. Естественно, что судьба этих людей трагична, но это не та острая, явная трагедия рабочего, потерявшего работу и умирающего с голоду на улице, это медленный, хронический процесс постоянных потерь, который заканчивается, если человеку повезет, смертью на жалком ложе бедняка, пока еще не пришло настоящее банкротство и нищета. Шансы разбогатеть в таких лавках меньше, чем в любой лотерее. Развитие торговых путей и средств связи за сто лет привели к необходимости организации торгового дела на широких экономических основах; если не считать вновь открытых стран с их хаотичной экономикой, время, когда человек мог заработать себе на жизнь мелкой розничной торговлей, ушло безвозвратно. И все-таки из года в год на наших глазах шествует навстречу банкротству и долговой тюрьме эта нескончаемая печальная процессия лавочников, и ни у кого из нас не хватает гражданского мужества вмешаться и остановить ее. Во всяком номере любого коммерческого журнала имеется четыре-пять колонок, сообщающих о новых



«ИСТОРИЯ МИСТЕРА ПОЛЛИ»



«ИСТОРИЯ МИСТЕРА ПОЛЛИ»

судебных процессах над банкротами, и почти за каждым таким случаем стоит гибель очередной семьи, долгое время боровшейся за свое благополучие и теперь оказавшейся на руках у общества, в результате чего свежая армия безработных приказчиков и мастеровых, имеющих небольшие сбережения или разжившихся за счет «помощи» родственников, вдов, получивших страховые деньги за безвременно почившего супруга, не способных ни к чему сыновей, отцы которых поскупились обучить их какому-нибудь делу, встает на место павших в этих жалких лавчонках, расплодившихся повсюду видимо-невидимо...»

Я привожу здесь цитаты из произведений нашего талантливого, хотя и не совсем приятного современника, считая, что они послужат хорошим экономическим фоном для рассказываемой на этих страницах жизненной истории. Итак, я опять возвращаюсь к мистеру Полли, сидящему на ступеньке перелаза и проклинающему все на свете под аккомпанемент восточного ветра, и чувствую, что переношусь над пропастью, разделяющей общее и частное и не имеющей моста. С одной стороны находится человек, наделенный большой способностью ясно видеть — я надеюсь, он действительно видит ясно,— могучий процесс, который обрекает миллионы людей на нищую, несчастную, беспросветную жизнь, и не умеющий ничем помочь, не знающий, где взять эти «коллективную волю и разум», которые преградят путь лавине бедствий человеческих; а с другой стороны — мистер Полли, сидящий в поле на ступеньке перелаза, никчемный, нелюдимый, замученный, запутанный, расстроенный, озлобленный, понимающий только то, что жизнь его не удалась, тогда как кругом кипит и волнуется настоящая жизнь; тот самый мистер Полли, в котором, между прочим, способность радоваться прекрасному и восхищаться им так же сильна и развита, как во мне или в вас, мой читатель.

4

Я уже дал понять, что наша мать Англия в одинаковой степени снабдила мистера Полли средствами для поддержания порядка и в организме и во внешней сре-

де. С беспечной щедростью предлагает она своим чадам всякие кушанья, беспримерные в истории человечества, включая всевозможные приправы, и предоставляет в их распоряжение удивительные приборы для стряпания, как ни в одной стране. И Мириэм стряпала. А мистер Полли, чей организм, как государство с несовершенной демократией, постоянно претерпевал расстройства и возмущения, то принимал внутрь в качестве отвлекающих средств такие вредные и неудобоваримые вещи, как пикули, уксус и жареную свинину, то прибегал к столь опасным внешним возбудителям, как чтение о войне и кровопролитиях в разных частях света. Все это способствовало тому, что мистер Полли проникся ненавистью к владельцу дома, к своим покупателям и ко всем соседям и пережил целый ряд крупных столкновений.

Рамбоулд, хозяин посудной лавки, находившейся в соседнем доме, с самого начала непонятно почему почувствовал антипатию к мистеру Полли и разгружал свои корзины, выставив зад в сторону соседа; а мистер Полли с самого начала стал питать ненависть и отвращение к этой оскорбительной части тела мистера Рамбоулда, имевшей к тому же весьма внушительные размеры. И всякий раз, когда взгляд его падал на эту часть, ему хотелось ткнуть ее, лягнуть или высмеять. Но невозможно высмеивать зады, если рядом нет приятеля, который похихикает вместе с тобой.

Наконец мистер Полли почувствовал, что не может больше терпеть ненавистное зрелище. Он подошел к заду мистера Рамбоулда и легонько ткнул его.

— Привет! — воскликнул мистер Рамбоулд, моментально выпрямляясь и поворачиваясь.

— Нельзя ли переменить точку зрения? — сказал мистер Полли.— Мне надоело разглядывать этот холм.

— Что такое? — спросил искренне изумленный мистер Рамбоулд.

— Из всех позвоночных животных у одного человека лицо обращено к небесам. Так зачем же идти наперекор природе?

Рамбоулд в недоумении покачал головой.

— Не люблю «гордыню задворков»,— продолжал говорить загадками мистер Полли.

Рамбоулд, не понимая ни слова, пришел в отчаяние.

— Мне надоело видеть ваш зад, который вы вечно выставляете на обозрение.

Мистера Рамбоулда осенило.

— А-а, вот вы о чем! — воскликнул он.

— Именно! — ответил мистер Полли.

Рамбоулд почесал ухо коробкой с упакованными в солому банками для варенья.

— Так с этой же стороны дует ветер,— объяснил он.— Из-за чего поднимать шум?

— Никакого шума! — ответил мистер Полли.— Просто замечание. Мне не нравится смотреть на ваш зад, старина. Вот и все.

— Ничего не могу поделать. Я стою так, чтобы солома не летела в лицо,— сказал мистер Рамбоулд, все еще не совсем понимая, в чем дело.

— Но это элементарная невежливость!

— Распаковываю свои корзины, как хочу. Нельзя же, чтобы солома засоряла глаза!

— Но вовсе не обязательно распаковывать корзины так, как свинья ищет трюфели!

— Трюфели?

— Не обязательно выставлять свой зад, как свинья!

Мистер Рамбоулд стал наконец понимать, куда клонит сосед.

— Свинья! — потрясенно повторил он.— Вы назвали меня свиньей?

— Не вас, а некоторую вашу часть,— поправил его мистер Полли.

— Послушайте! — закричал мистер Рамбоулд, внезапно приходя в ярость и возмущенно размахивая коробкой с банками для варенья.— Убирайтесь к себе в лавку! Я не хочу с вами скандалить и не хочу, чтобы вы скандалили со мной. Не знаю, какая муха укусила вас сегодня. Я мирный человек, никого не трогаю, трезвенник, и все такое! Понятно вам? Убирайтесь в свою лавку!

— Вы хотите сказать... Я вас вежливо попросил перестать распаковывать свои корзины, выставив зад в мою сторону.

— Обзывать человека свиньей — это, по-вашему, вежливо? Вы просто напились с утра пораньше, вот что. Убирайтесь к себе домой и оставьте меня в покое. Вы... вы просто не в себе...

— Вы хотите сказать...

Но, оценив вдруг солидные пропорции мистера Рамбоулда, мистер Полли осекся.

— Убирайтесь немедленно к себе домой и оставьте меня в покое! — кричал мистер Рамбоулд.— И не смейте больше обзывать меня свиньей. Слышите? Занимайтесь своими делами и не лезьте в чужие.

— Я подошел к вам и вежливо попросил...

— Вы пришли сюда, чтобы скандалить. Я не желаю с вами разговаривать. Понятно? И не хочу больше вас видеть! Понятно? У меня нет времени стоять здесь с вами и препираться! Понятно?

Минутная пауза. Враги оглядывают друг друга.

Мистеру Полли приходит в голову, что он, возможно, не совсем прав.

Мистер Рамбоулд, тяжело дыша, следует мимо мистера Полли к себе в лавку, неся под мышкой банки, а на его лице такое выражение, будто мистера Полли вовсе не существует на свете. Вскоре он возвращается, бросает презрительный взгляд в сторону своего врага и ныряет в корзину. Мистер Полли озадачен. Стоит ли дать хорошего тумака по солидному куполу, выросшему перед ним? А вдруг ему дадут ответного тумака?

Нет, не стоит!

Мистер Полли засовывает руки поглубже в карманы брюк и, что-то насвистывая, возвращается к дверям своей лавки с видом полнейшей невозмутимости. Стоя у двери и насвистывая песенку «Солдаты Харлеха», он все больше и больше склоняется к убеждению, что давать тумака Рамбоулду не стоит. Конечно, это было бы здорово и принесло бы некоторое удовлетворение. Но он все-таки решил воздержаться. По причинам, которые трудно объяснить, он просто не мог этого сделать. С задумчивым видом, неторопливо поправляя галстук, он вошел в дом. Спустя некоторое время подошел к окну и искоса взглянул на мистера Рамбоулда. Тот, по-прежнему выставив зад, распаковывал очередную корзину...

И с тех пор вот уже пятнадцать лет были прекращены с соседом всякие отношения. Мистер Полли затаил в себе ненависть.

Одно время казалось, будто мистер Рамбоулд на грани банкротства, но он пригласил к себе побеседовать всех своих кредиторов и с тех пор продолжал распаковывать свои корзины под носом у мистера Полли как ни в чем не бывало.

5

Хинкс, хозяин шорной лавки через два дома вверх по улице, был человек иного сорта. Хинкс был агрессор.

Спортивная душа, он любил клетчатые костюмы и узкие брюки, что непонятно почему, но обязательно свидетельствует о склонности человека к конному спорту. Сперва мистер Полли почувствовал симпатию к Хинксу, признав в нем человека с характером, зачастил в гостиницу «Провидение господне», куда его приглашал Хинкс; там они угощали друг дружку пивом, и мистер Полли старался изо всех сил скрыть свое полнейшее невежество по части лошадей, пока Хинкс не стал принуждать его играть в бильярд и заключать пари.

Тогда мистер Полли стал избегать Хинкса, а Хинкс стал всем говорить, что мистер Полли не мужчина, а тряпка.

Он, однако, не прекратил совсем знакомства с мистером Полли. Завидев его у дверей лавки, он всякий раз подходил к нему и заводил разговор о спорте, женщинах, кулачных боях и мужской гордости с видом такого превосходства, что очень скоро мистер Полли начинал чувствовать себя жалким подобием человека, стоящим на самой низшей ступени развития, почти что не мужчиной.

Он утешал себя тем, что, взяв в поверенные Распера, торговца скобяным товаром, придумывал прозвища для мистера Хинкса, высмеивал его манеру одеваться. Он называл Хинкса «карьеристом в клеточку» и «нешуточным шутом». Такие прозвища имеют обыкновение распространяться с быстротой молнии.

Однажды мистер Полли стоял, как всегда, у дверей своей лавки и скучал, как вдруг на улице появился

Хинкс; он остановился и посмотрел на мистера Полли странным, не предвещающим ничего доброго взглядом.

Мистер Полли помахал рукой, изображая несколько запоздалое приветствие.

Мистер Хинкс сплюнул на землю и продолжал смотреть на мистера Полли. Потом, нахмурившись, как черная туча, подошел к мистеру Полли, остановился и проговорил сквозь зубы приглушенным тоном:

— До меня дошло, что ты своим грязным языком треплешь мое имя.

Мистер Полли вдруг потерял присутствие духа.

— Ничего не знаю,— пролепетал он.

— Так ты ничего не знаешь, гнусная тварь? Зато я знаю. Слишком ты распустил свой грязный язык!

— Первый раз слышу,— отозвался мистер Полли.

— Он первый раз слышит, каналья! Будто и не он трепал своим длинным языком. Получишь от меня в глаз. Понял?

Мистер Хинкс холодно, но с неослабевающей решимостью следил за тем, какой эффект производят его слова. Потом опять сплюнул.

— Тебе понятно, что я говорю? — рявкнул он.

— Что-то я ничего такого не помню...— начал было мистер Полли.

— Он не помнит! Так я тебе напомню. Слишком стал забываться! А это ты видал?

И мистер Хинкс, бесцеремонно поднеся веснушчатый кулак необычных размеров и увесистости к самому лицу мистера Полли, чтобы тот получше разглядел его или понюхал, повертел им в разные стороны, слегка потряс и спрятал в карман, как будто хотел приберечь его для будущего употребления, а потом медленно и настороженно стал отступать и, резко повернувшись, ушел, прекратив с тех пор с мистером Полли всякие, даже чисто внешние приятельские отношения.

6

Мало-помалу мистер Полли перессорился со всеми своими соседями, поэтому пришел день, когда у него не осталось ни одного приятеля, и одиночество сделало невыносимым даже стояние у дверей. Лавочники вокруг

него банкротились один за другим, появлялись новые лица, завязывались новые знакомства, но рано или поздно вспыхивала вражда, назревало неизбежное столкновение; оно было следствием того раздражения, которое постоянно испытывали все эти плохо питающиеся, живущие в скверных домах, умирающие от скуки, вечно недовольные люди. Одно сознание того, что этих людей надо видеть каждый день, что от них некуда деваться, делало их невыносимыми для мистера Полли, характер которого становился все раздражительней.

Среди других лавочников на Хай-стрит жил некто Чаффлз, бакалейщик—маленький, волосатый, молчаливый, с твердым характером человек, имевший несколько жен, о котором шла по городу дурная молва из-за скандальной истории с сестрой его жены и который, несмотря на это, был абсолютно неинтересным человеком; был еще старик Тонкс, тоже бакалейщик, у которого была еще более дряхлая, дышащая на ладан жена. Эта супружеская пара отличалась редким благочестием. Тонкс обанкротился, его лавка перешла к Национальной компании пищевых продуктов, и заведовать ею стал молодой человек, очень похожий на лисицу, с той только разницей, что он не лаял. Игрушечная лавка, где торговали и сластями, принадлежала старухе с отталкивающими манерами, ей же принадлежала и рыбная лавка в конце улицы. Торговец берлинской шерстью обанкротился, его лавка сперва перешла к газетчику, потом к галантерейщику, в конце концов в ней обосновался торговец канцелярскими товарами; три лавки в конце улицы то и дело попадали в тиски несостоятельчости, и там поочередно возникали то велосипедная мастерская с магазином, то граммофонная лавка, то табачный магазинчик, то мелочная лавка, потом там поселились сапожник, зеленщик и даже открылся кинематограф, но никто из новых хозяев не стал приятелем мистера Полли.

Эти искатели приключений в области коммерции были все в большей или меньшей степени люди отчаявшиеся, плывущие по воле волн. Еще в Фишбурне были два молочника, которые поссорились когда-то из-за отцовского наследства и теперь враждовали друг с другом. Один был глухой и поэтому не представлял интереса для мистера Полли, другой — человек спортивного склада —

имел врожденную антипатию к красному словцу и держал сторону Хинкса. Так что много о нем говорить нечего. Вокруг мистера Полли были все неинтересные, чуждые по духу люди или даже такие, кто питал откровенную вражду и ненависть к нему; заколдованный круг подозрительных, замкнутых мизантропов — таково было общество, которое, как мистеру Полли казалось, окружало его. Яды, накапливающиеся в организме, отравляли для мистера Полли мир, в котором он жил.

Надо еще упомянуть виноторговца Бумера и аптекаря Тэшингфорда, которые были гордецами и не желали водить знакомство с мистером Полли. Они никогда с ним не ссорились, но с самого начала поставили себя так, будто ссора в действительности имела место.

Вместе с усиливающимся недугом мистера Полли, вместе с тем, что он все больше и больше становился ареной военных действий бродивших внутри него пищи и вредных соков, росла его ненависть к соседям, так что скоро ему, как говорится, стал ненавистен даже самый их вид. Каждый день, каждый год они оставались все теми же, являя собой копию мистера Полли, если сравнивать состояние их души и тела. У него от них болела голова, разламывался затылок, опускались руки. Нечем было дышать. Сердце мистера Полли окаменело.

В послеобеденные часы он слонялся по лавке, ненавидя свое дело, свой дом, Мириэм, но не мог выйти на улицу, потому что люто, беспредельно ненавидел своих соседей. Он боялся выйти из дому: насторожившиеся окна, враждебные, холодные взгляды за занавесками казались ему хуже Голгофы.

Последняя его дружба была с Распером, торговцем скобяными товарами. Распер снял лавку Уортингтона через три года после того, как мистер Полли поселился в Фишбурне. Это был высокий, худой, нервный, впечатлительный человек, с головой, похожей на яйцо, поставленное на тупой конец; он усердно читал газеты и журнал «Всеобщее обозрение» и когда-то был членом одного литературного общества. У него был дефект нёба, и на первых порах каждое его слово, сопровождаемое странным щелканьем, как будто у Распера в горле был скрыт щелкунчик или газомерный прибор, вызывало восхищение и любопытство мистера Полли.

Его литературные вкусы не совсем совпадали с литературными вкусами мистера Полли. Распер считал, что книги пишутся для того, чтобы дать выход великим мыслям, и что искусство — это педагогика, разряженная в сказочные одежды; он не чувствовал красоты слова, не обращал внимания на художественные средства, но все-таки знал о том, что на свете существуют книги. Он и в самом деле знал, что книги существуют, ибо был напичкан всевозможными идеями, которые любил длинно излагать и о которых говорил, что — щелк — «это — плоды современной мысли», и был весьма озабочен (хотя в этом не было необходимости, потому что сам ничем помочь не мог) «благополучием — щелк — нации».

Мистеру Полли его рассуждения — щелк — снились иногда во сне.

Неугомонное воображение мистера Полли подсказало, что голова мистера Распера похожа на куриное яйцо больше всех когда-либо виденных им голов; это сходство так преследовало его, что когда их споры становились чересчур жаркими, он не мог удержаться и восклицал: «Эту мысль надо поварить еще немного! Пусть сварится вкрутую!» или «Чтобы сварилось вкрутую, надо варить целых шесть минут!» Мистер Распер, разумеется, не мог понять тонкого намека, содержавшегося в этих замечаниях, но он скоро к ним привык и стал относить их на счет эксцентричности мистера Полли. Долгое время эти восклицания мистера Полли не мешали приятельским отношениям, но именно в них таились семена будущего окончательного разрыва.

Часто во время этой дружбы мистер Полли подходил к скобяной лавке, останавливался в дверях и спрашивал: «Ну как, старина, что нового родила современная мысль?» И получал часовую порцию новостей; а иногда мистер Распер заглядывал в лавку к мистеру Полли и говорил: «Слыхали — щелк — последние новости?» И проводил в лавке приятеля целое утро.

А потом мистер Распер женился. Сделал он это несколько необдуманно, во всяком случае, мистеру Полли его жена казалась абсолютно неинтересной женщиной. Холодок между ними установился с первой минуты водворения миссис Распер в ее новом доме. Мистер Полли никак не мог заставить себя не видеть, что миссис Распер

слишком гладко зачесывает назад волосы и что ее локти чересчур остры. Страх перед тем, что с его языка сорвется неподходящее выражение — а подобные выражения так и роились в его мозгу,—сковывал мистера Полли в ее присутствии, а ей казалось, что мистер Полли замышляет против нее недоброе. Она решила, что он может оказать дурное влияние на ее супруга, и взяла себе за правило, заслышав его разговор с Распером, появляться возле них.

Однажды мистер Полли заспорил с мистером Распером об опасности, какую являет собой Германия. Спор разгорался.

— Я утверждаю — щелк — что они нападут на нас,— говорил мистер Распер.

— Не будет этого. В Вильгельме нет ничего от Ксеркса.

— Вот увидите, старина!

— Никогда я этого не увижу!

— Не пройдет и пяти — щелк — лет.

— Ничего подобного.

— Нападут!

— Нет!

— Нападут!

— Не мешает, старина, поварить эту мысль подольше, пусть сварится вкрутую,— сказал мистер Полли.

Он поднял глаза и заметил за прилавком миссис Распер, полускрытую всяким скобяным товаром: лопатами, садовыми ножницами, точильными машинками, и по ее лицу он увидел, что она поняла намек.

Разговор сник, и вскоре мистер Полли удалился к себе.

После этого отчуждение нарастало быстрыми темпами.

Мистер Распер совсем прекратил свои визиты к мистеру Полли, а мистер Полли заглядывал в лавку скобяных товаров только в случае крайней необходимости. Все, о чем они ни говорили, вызывало немедленное обоюдное раздражение, и они тут же повышали голос. Миссис Распер в туманных выражениях намекнула своему супругу, что мистер Полли сделал его предметом своих насмешек, но в чем это выражалось, мистер Распер не знал, и ему стало казаться оскорбительным каждое слово мисте-

ра Полли; он тем более приходил в негодование, что насмешка была хитро завуалирована и не поддавалась разгадке.

Мало-помалу мистер Полли совсем перестал заходить к Расперу, а Распер, руководствуясь непостижимыми для постороннего ума соображениями, выработал в себе особого рода близорукость, которая распространялась только на мистера Полли. Как только появлялся несчастный мистер Полли, большое овальное лицо Распера принимало невозмутимо-сосредоточенное выражение, и становилось ясно, что мистер Полли для него не более как пустое место. Понятно, что это могло бы привести в бешенство и менее вспыльчивого человека, чем мистер Полли. Мистера Полли охватывало желание жестоко высмеять своего бывшего приятеля; он издавал горлом что-то похожее на «щелк», если же мистер Распер сам в это время издавал такой же звук, то ему ничего не оставалось, как делать вид, будто оба щелчка исходят от него.

Но вот однажды мистер Полли попал в велосипедную катастрофу.

Его велосипед к этому времени совсем состарился, а дряхлости велосипеда непременно сопутствует одно неприятное обстоятельство: выходит из строя тормоз. Это соответствует тому периоду в жизни человека, когда у него начинают выпадать передние зубы. Как-то раз мистер Полли катил мимо лавки Распера, и надо же было случиться, что проезжавший мимо автомобиль решил именно в эту минуту обогнать фургон не с той стороны. Поэтому мистеру Полли ничего не оставалось, как подъехать к тротуару и соскочить с велосипеда. Как обычно, мистер Полли замедлил ход, нажал на левую педаль, ожидая, что сработает тормоз, но тормоз не сработал, и не успел мистер Полли сообразить, в чем дело, как педаль описала еще один круг. Чтобы слезть с велосипеда, надо было остановить педаль, но педаль продолжала вращаться, и мистер Полли вдруг очутился на тротуаре среди громыхающих товаров скобяной лавки, которыми мистер Распер украсил пространство возле своей входной двери: среди цинковых баков для мусора, ведер, газонных косилок, лопат и других таких же шумных предметов. В самую последнюю секунду перед катастрофой мистер Полли испытал то ужасное состояние беспомощно-

сти, гнева и предчувствия беды, которое, кажется, длится вечность; человек в такой миг все отчетливо понимает, но ни о чем не может подумать, кроме слов, которые лучше было бы забыть совсем. Велосипед мистера Полли сшиб башню из ведер, которые с ужасающим грохотом покатились прямо к двери лавки; и в эту секунду мистеру Полли удалось наконец соскочить на землю, попав одной ногой в бак для мусора и производя всевозможные разрушения среди выставленных для рекламы скобяных товаров.

— Разложился тут со своими ведрами! — воскликнул мистер Полли и увидел появившегося в дверях лавки Распера, чье обычно гладкое лицо пошло складками гнева, как сморщивается поверхность паруса, когда его начинают убирать. Какой-то миг он размашисто жестикулировал, не находя слов.

— Это вы — щелк — натворили? — наконец произнес он.

— Ловушка, а не лавка! — ответил мистер Полли.

— Вы — щелк — натворили?

— Загородил весь тротуар, как будто этот проклятый городишко — его собственность!

И мистер Полли, в негодовании попытавшись топнуть ногой, обнаружил, что нога его застряла в цинковом баке для мусора. С искаженным лицом он стал энергично трясти попавшей в плен ногой, издавая неописуемый грохот. Наконец ему удалось стряхнуть с себя этот проклятый бак и ударом ноги отправить его вдоль тротуара. По дороге бак ударился о ведро или еще обо что-то. Затем мистер Полли поднял свой велосипед и двинулся было домой. Но в этот миг его настигла рука мистера Распера.

— Извольте поставить — щелк — все на место!

— Не — щелк — поставлю!

— Нет — щелк — вы приведете все в порядок!

— И не подумаю — щелк! Отпустите сейчас же!

Мистер Распер схватил одной рукой руль велосипеда, другой — мистера Полли за шиворот. Мистер Полли закричал: «Пустите меня! Слышите, немедленно пустите!» — и двинул изо всех сил мистера Распера локтем под ложечку. Тогда Распер с громким, прочувствованным воплем, который на бумаге можно приблизительно

изобразить как «У-у-у — щелк!», выпустил руль велосипеда, ухватил мистера Полли за кепи и за шевелюру и согнул его пополам. Но мистер Полли, собрав силы и выкрикивая слова, которые знает каждый, но никто не осмелится напечатать, ударил головой мистера Распера в живот, подставил ему подножку и, пробалансировав на одной ноге секунду-другую, рухнул, увлекая за собой Распера на тротуар, где валялись вперемежку велосипед, ведра и лопаты. И тут, на тротуаре, эти неопытные в кулачных боях дети нашего мирного века, не привыкшие к кровавым схваткам и не умеющие биться на славу, стали неумело, куда попало тузить друг друга, стараясь по мере сил причинить увечья и синяки. Самым ощутительным результатом их драки были вымазанные дорожной пылью спины, взлохмаченные волосы, оторванные и смятые воротнички. По случайности палец мистера Полли оказался во рту мистера Распера, и он усердно пытался несколько продолжить ротовое отверстие своего противника в сторону уха, пока мистеру Расперу, все усилия которого были направлены на то, чтобы ткнуть противника носом в тротуар, не пришло в голову укусить своего противника (правда, кусал он не слишком свирепо). С первой секунды сражения и до последней не было пролито ни капельки крови. А какие были в этой баталии замечательные возможности членовредительства и увечья!

Потом тому и другому вдруг показалось, что у противника стало в десять раз больше рук и голосов и что силы врага заметно прибавились. Покорившись судьбе, они прекратили битву. И почувствовали, как их отдирают друг от друга и крепко держат внешне шокированные, но в душе ликующие соседи, требуя объяснения происходящему.

— Он — щелк — должен все поставить на место! — задыхаясь, проговорил мистер Распер, сдерживаемый опытными руками Хинкса.— Я только попросил его — щелк — поставить все на место.

Мистер Полли находился в объятиях маленького Клэмпа, хозяина игрушечной лавки, который держал его, применив какой-то очень сложный и неудобный прием,— как он потом объяснил Уинтершеду, это была комбинация из романтического «джиу-джитсу» и не менее романтической «полицейской хватки».

— Ведра! — едва переводя дыхание, попытался было объяснить мистер Полли.— Загородил весь тротуар своими ведрами! Взгляните сами!

— Преднамеренно—щелк — наехал — щелк — на мои товары! И вообще любит — щелк — играть у меня на нервах,— объяснял мистер Распер.

Оба они говорили от чистого сердца и приводили веские доводы. Каждый хотел, чтобы публика отнеслась к нему как к честному и здравомыслящему человеку, борцу за правду и справедливость. Они хотели убедить зрителей, что их сражение — это происшествие, заслуживающее серьезного внимания общественности. Они хотели доказать, разъяснить, убедить, что их действиями руководила необходимость. Мистер Полли считал, что, сунув ногу в бак для мусора, он совершил самый благородный и честный поступок во всей своей жизни, а мистер Распер, в свою очередь, был уверен, что трепка, какую он задал мистеру Полли, была единственным безупречным и волнующим действием в его до сих пор ничем не примечательной жизни. Но и тому и другому было ясно, что они легко станут посмешищем в глазах людей, если не будут осторожны в выражениях и переступят хотя бы на волосок ту грань, которая отделяет доблестных, гордых мужей от жалких драчунов.

Мистер Чаффлз, зеленщик, о котором ходила дурная молва, подойдя к окружавшей противников толпе, молча, как и подобает существу отверженному, с печальным, серьезным и сочувствующим лицом поднял велосипед мистера Полли. Мальчишка-рассыльный из лавки Гэмбелла, следуя доброму примеру, поставил на место ведра и бак для мусора.

— Он — щелк,— он сам должен все убрать! — протестовал мистер Распер.

— Из-за чего поднялся скандал? — спросил мистер Хинкс, в третий раз легонько встряхивая мистера Распера.— Он вас оскорбил, обозвал как-нибудь?

— Я просто наехал нечаянно на его ведра. С каждым может случиться,— сказал мистер Полли.— А он выскочил из лавки и давай меня душить.

— Оскорбление — щелк — словом и действием! — возмущался Распер.

— Это он оскорбил меня действием,— заявил мистер Полли.

— Подшиб — щелк — ногой бак для мусора.— Разве это не оскорбление действием? — спрашивал мистер Распер.

— Хватит! — сказал мистер Хинкс.

— Как некрасиво они оба себя ведут,— вздохнул мистер Чаффлз, втайне радуясь, что на этот раз не он, а другие преступили моральные устои общества.

— Кто-нибудь видел, как все началось? — спросил мистер Уинтершед.

— Я все видела. Я как раз в это время стояла у окна,— вдруг вмешалась в разговор миссис Распер, появившись на пороге и оглушая толпу мужчин и мальчишек пронзительным визгом.— Если нужен свидетель, лучшего свидетеля не найти. Я надеюсь, что имею право рассказать о том, как пострадал мой муж. На моих глазах он вышел из лавки и очень вежливо обратился к мистеру Полли, а тот как соскочит со своего велосипеда и прямо на наши ведра, а потом как ударит головой мистера Распера в живот. А мой муж только что пообедал, и здоровье у него не ахти какое. Я чуть было не стала звать на помощь. Но тут Распер, это я должна признать, задал такую взбучку нахалу...

— Ну, я, пожалуй, пойду домой,— прервал ее мистер Полли, почувствовав, что англо-японские тиски, сжимавшие его, ослабли, и протянул руки к велосипеду.

— В другой раз неповадно будет наезжать на чужие ведра,— сказал мистер Распер с видом человека, преподнесшего хороший урок своему ближнему.

Дальнейшие события разворачивались на фоне нескончаемых свидетельских показаний миссис Распер.

— Я подам на вас в суд за оскорбление действием,— проговорил мистер Полли, готовый увести свой велосипед с поля битвы.

— И я — щелк — тоже! — ответил мистер Распер.

— Это ваш? — спросил кто-то, протягивая мистеру Полли воротничок.

Мистер Полли потрогал шею.

— Кажется, мой. Где-то еще должен быть галстук.

Какой-то мальчишка вручил мистеру Полли перепачканную полоску голубой материи в горошек.

— Из-за таких, как вы, человек не может быть спокоен за свою жизнь,— заметил мистер Полли.

— Из-за таких, как вы,— щелк — тоже! — не полез за словом в карман мистер Распер.

Ни той, ни другой стороне судебное разбирательство не принесло удовлетворения; суд признал виновными обоих — и мистера Распера и мистера Полли; председатель суда вынес порицание и миссис Распер за ее слишком пристрастные показания, прерывая ее время от времени вежливыми, но решительными и строгими замечаниями: «Это уж слишком, сударыня! Отвечайте на вопрос! Отвечайте на вопрос!»

Обязав обе стороны впредь соблюдать общественное спокойствие, председатель суда сказал:

— Очень жаль, что вы не умеете вести себя, как подобает почтенным лавочникам. Вы показываете дурной пример молодым людям. Очень, очень жаль. Что будет хорошего для вас, для города, что вообще будет хорошего, если все почтенные лавочники нашего города вдруг начнут драться друг с другом на улице в послеобеденные часы? На этот раз мы проявляем снисходительность и отпускаем вас, но надеемся, что это послужит вам хорошим уроком. Я никак не ожидал, что лица вашего положения будут судимы за драку. Очень, очень прискорбный случай. Как вы считаете?

Последний вопрос был обращен к двум заседателям.

— Несомненно, прискорбный, сэр, несомненно,— ответил заседатель справа.

— Человеку — щелк — свойственно заблуждаться,— сказал мистер Распер.

7

Но отвращение к жизни, которое испытывал мистер Полли, сидя на ступеньке перелаза, объяснялось куда более серьезными причинами, нежели ссора с Распером, и позор, пережитый им в суде. В первый раз за все пятнадцать лет, что он снимал лавку, он с ужасом ожидал дня, когда надо вносить арендную плату: у него не было денег. Насколько он мог доверять своим арифметическим способностям, ему не хватало шестидесяти или семидесяти фунтов, и взять их было неоткуда. Таков был

итог этих пятнадцати лет, наполненных скукой и беспросветностью, лучших лет в жизни человека. Что скажет Мириэм, когда узнает о банкротстве и о необходимости уехать — один бог знает куда — из их теперешнего дома? Она станет браниться, ворчать и проявит полную беспомощность, полную оттого, что положение действительно безвыходное. Она станет говорить, что он должен был работать больше и меньше бездельничать, выскажет сотню других столь же злых и бесполезных истин. Подобные мысли и без помощи пикулей, холодной свинины и картошки достаточно горьки, чтобы омрачить жизнь, ну, а с такой приправой они делают жизнь вконец невыносимой.

— Пройдусь-ка я немного,— сказал себе мистер Полли и после недолгих, но грустных размышлений сел лицом в другую сторону, перекинув одну ногу через перелаз.

Некоторое время он сидел неподвижно, потом перекинул через перелаз и вторую ногу.

— Покончу с собой,— прошептал он наконец и встал со ступеньки.

Последнее время мысль о самоубийстве начала все чаще посещать его, особенно в послеобеденные часы, и становилась все более привлекательной. Он знал, что от жизни больше ожидать нечего. Он ненавидел Мириэм, и не было никакой, абсолютно никакой возможности избавиться от нее. Оставалось только работать, чтобы поддерживать существование свое и Мириэм, работать и биться, как рыба об лед, чувствуя, как уходят силы и тоска овладевает сердцем.

— Жизнь моя застрахована,— проговорил мистер Полли,— лавка — тоже. Не думаю, чтобы это повредило ей или кому-нибудь еще.

Он засунул руки в карманы.

— Незачем больше мучиться,— прошептал мистер Полли и стал обдумывать план самоубийства.

Оказалось, что обдумывание плана — очень интересное занятие. Лицо его слегка прояснилось, шаг участился.

Нет в мире более целительного средства против ипохондрии, чем быстрая ходьба и усиленная работа мысли, направленная на конкретное дело; скоро выражение озабоченности исчезло с лица мистера Полли. Все надо тщательно обмозговать и проделать в строгой тайне, а то будут неприятности со страховым агентством. И мистер

Полли стал придумывать, как все устроить наилучшим образом...

Мистер Полли гулял очень долго; в самом деле, какой смысл спешить в лавку, когда ты не только банкрот без пяти минут, но и скоро покончишь все счеты с жизнью? Съеденный им обед и восточный ветер потеряли над ним власть, и когда наконец он вступил на Хай-стрит, его лицо было как никогда безоблачным, и он ощущал сильный голод, что, впрочем, свойственно людям с расстроенным пищеварением. Он зашел к бакалейщику и купил банку ярко-розового филе лосося, хотя стоила она довольно дорого, решив съесть его за ужином с уксусом, солью и перцем.

Так он и сделал, и, поскольку они с Мириэм и вообще-то редко говорили, а сегодня Мириэм из гордости и по причине его недавнего плохого поведения как воды в рот набрала, он ел торопливо, жадно, и скоро лицо его опять помрачнело. Он ел один, Мириэм отказалась, демонстрируя этим свое негодование подобной расточительностью супруга. Потом мистер Полли отправился побродить по Хай-стрит и еще раз убедился, что более мерзкой улицы нет на всем свете, закурил было трубку, но она показалась ему вонючей, горькой, и он уныло поплелся спать.

Мистер Полли проспал час или два, потом вдруг проснулся и, созерцая спину свернувшейся в калачик Мириэм, опять стал размышлять над загадкой бытия, и опять засияла для него заманчивая мысль о возможности покончить со всем, что терзает и мучает его, засияла, как путеводная звезда над мраком его неудавшейся жизни.

ГЛАВА VIII

МИСТЕР ПОЛЛИ ПОДВОДИТ ИТОГ

1

Мистер Полли разработал план своего самоубийства с тщательной предусмотрительностью и довольно примечательным альтруизмом.

Увидев возможность расстаться с Мириэм навсегда, он сразу же перестал ее ненавидеть. Он даже почувство-

вал, что озабочен дальнейшей судьбой жены. Он не хотел покупать свою свободу ценой ее благополучия. У него не было ни малейшего намерения бросить ее на произвол судьбы, да еще обремененной самоубийством мужа и не дающей дохода лавкой. Ему пришло в голову, что если взяться за дело с умом, то можно устроить так, что Мириэм получит страховку и за него и за лавку, сгоревшую от пожара. Он никогда еще не был так счастлив, как сейчас, когда вынашивал план самоубийства, хотя, пожалуй, это было самое печальное счастье, какое когда-либо выпадало на его долю. Он не переставал изумляться, как мог он так долго терпеть свое беспросветное, безрадостное существование.

Но где-то в глубине души смутно, неотчетливо брезжили сомнения и колебания, которые он храбро старался не замечать.

— Надоело, все надоело,— то и дело повторял он, поддерживая собственную решимость.

Жизнь его не удалась, будущее сулило ему одни невзгоды. Что еще остается делать?

Пожар, решил он, должен начаться на лестнице, ведущей вниз в кухню и мойку, расположенные в подвальном этаже. Он обольет ступеньки керосином, а в погребе под лестницей, где хранится уголь, положит несколько поленьев и набросает бумагу. На лестнице надо будет прорубить дыру, чтобы устроить тягу получше, а в лавке навалить гору из бумаги, ящиков и стульев. Останется только опрокинуть в мойке на подходящем расстоянии друг от друга, чтобы разгорелось вовсю, банку с керосином и лампу из лавки, которую он якобы собирался наполнить. Потом он бросит на лестнице лампу из гостиной — его падение с зажженной лампой в руках будет убедительной причиной пожара,— а сам, сидя на верхней ступеньке, перережет себе горло и предастся погребальному костру. Он совершит это в воскресный вечер, когда Мириэм будет в церкви, и все будут думать, что он упал с лестницы, держа в руках лампу, и погиб в огне. План, по его мнению, был разработан великолепно. Он был вполне уверен, что сумеет перерезать себе горло: надо только всадить бритву сбоку поглубже, а не пилить дыхательное горло,— и не сомневался, что почти никакой боли не почувствует. И затем наступит конец всему.

С выполнением задуманного, разумеется, спешить было некуда, и мистер Полли пока занимался тем, что на разные лады представлял себе сцену пожара и самоубийства...

Наконец выдался день, когда восточный ветер был особенно сух и силен, а воскресный обед оказался более неудобоваримым, нежели всегда; утром было получено последнее предупредительное письмо от Конка, Мейбрика, Гуля и Гэбитаса — его основных и наиболее назойливых кредиторов,— а вслед за письмом последовал разговор с Мириэм о задолженности по арендной плате, вылившийся в высказывания мнений друг о друге. Все это довело мистера Полли до той степени отчаяния, когда выношенный им план казался единственным исходом. Он пошел прогуляться, чтобы в одиночестве еще больше растравить себя, а вернувшись, застал Мириэм в плохом настроении за чаем. Заварка настаивалась целых сорок пять минут, а сдоба, которой надлежало быть горячей и намазанной маслом, была жесткой, как подошва. Он сел за стол и молча принялся есть. Решение было принято.

— Пойдешь в церковь? — спросила Мириэм супруга, убрав со стола.

— А как же! Мне есть за что благодарить господа! — ответил мистер Полли.

— Ты получил то, что заслуживаешь,— сказала Мириэм.

— Наверное,— отозвался мистер Полли и, поднявшись из-за стола, стал смотреть в окно, выходившее во двор соседней гостиницы; его внимание привлекла стоявшая там понурая лошадь.

Он все еще стоял у окна, когда с лестницы, одетая для церкви, спустилась Мириэм. Что-то в его неподвижности встревожило ее.

— Чем хандрить, пошел бы лучше в церковь,— сказала она.

— Я не буду хандрить,— отозвался он.

Мириэм стояла возле него. Ее присутствие его раздражало. Он чувствовал, еще минута, и он скажет какую-нибудь, с ее точки зрения, глупость, последний раз попытается найти понимание, которое она никогда не была в состоянии проявить.

— Да иди же ты в церковь! — сказал он.

Секунда — и наружная дверь захлопнулась.

— Наконец-то избавился! — сказал мистер Полли и повернулся к окну спиной.

— По горло сыт,— добавил он и задумался.

— Ей не придется жаловаться,— заметил он.— Проклятый дом! Проклятая жизнь!

Секунду он помедлил, о чем-то размышляя.

2

В течение двадцати минут мистер Полли занимался приготовлениями в доме, делая все очень аккуратно и методично.

Он распахнул настежь чердачные окна, чтобы устроить хороший сквозняк в доме, затворил ставни в окнах, выходивших во двор, и запер кухонную дверь, чтобы кто-нибудь случайно не подглядел за ним. Когда все будет готово, он распахнет дверь и создаст отличную тягу. Прорубил топором дыру в лестнице, вынул одну ступеньку. Выгреб уголь из-под лестницы и сложил там аккуратный костер из дров и бумаги, облил лестницу керосином, расставил лампы, как полагалось по плану, а затем сложил в маленькой гостиной позади лавки легковоспламеняющуюся гору из стульев и ящиков.

— Выглядит, как хороший поджог,— сказал он, оглядев дело своих рук.— Не дай бог кому-нибудь сейчас зайти. А теперь на лестницу!

— Времени еще уйма,— уверил он себя и, взяв лампу, которой суждено было стать виновницей пожара, вышел на площадку лестницы между гостиной и мойкой.

Там в полумраке он сел на ступеньку, поставил рядом с собой незажженную лампу и еще раз все обдумал. Сперва надо поджечь костер в угольном погребе под лестницей, отворить дверь во двор, затем быстро взбежать наверх, поджигая на ходу разлитый керосин, усесться здесь на ступеньке и перерезать себе горло. Он вынул из кармана бритву и попробовал лезвие. Будет не очень больно, зато через десять минут от него останется только горстка золы.

Вот какой выпал ему конец!

Конец! Теперь уж ему казалось, что жизнь его так никогда и не начиналась, никогда! Как будто со дня рождения его душа оставалась спеленатой, а глаза за-

вязанными. Почему он прожил свою жизнь так? Зачем покорялся тому, что ненавидел? Зачем не преодолевал преград? Почему он никогда не пытался отстоять то, что считал прекрасным и справедливым? Почему никогда не искал того, что любил? Почему никогда не боролся, не рисковал, не погибал за свое счастье, а предпочитал отказаться от него? Счастье — вот в чем смысл жизни. И глупо бояться. Во имя чего жить, если нет счастья?..

Он был глупцом, трусливым глупцом, но не он один в этом виноват, ибо никто никогда не учил его вступать в единоборство с жизнью, никто никогда не говорил ему, что страх смерти и физическая боль совсем не страшны. Но какой толк думать об этом вновь и вновь? С жизнью покончено навсегда.

Часы в гостиной тоненько пробили полчаса.

— Пора! — сказал мистер Полли и поднялся.

Какой-то миг он боролся с желанием поскорее, пока не пришла Мириэм, расставить все по местам и раз и навсегда отказаться от мысли о самоубийстве.

Но ведь Мириэм услышит запах пролитого керосина!

— На этот раз мосты сожжены, старина,— сказал мистер Полли и стал медленно спускаться вниз, держа в руках коробку со спичками.

Он остановился и секунд пять, наверное, прислушивался к шуму, доносившемуся со двора фишбурнской Королевской гостиницы, потом чиркнул спичкой, слегка дрожавшей в его руке. Бумага вспыхнула, почернела, и голубое пламя побежало вперед, захватывая все большее пространство. Огонь загорелся дружно, и спустя миг дерево весело потрескивало.

Могут услышать с улицы. Нужно спешить.

Мистер Полли поджег лужу керосина в мойке, и в то же мгновение над ней запылало, заколыхалось алчущее добычи голубое пламя. Он помчался наверх, перескакивая сразу через три ступеньки, а за ним по пятам бежала прожорливая голубая струйка. Он схватил стоявшую на верхней ступеньке лампу. «Так!» — воскликнул он и со всего размаху бросил лампу об пол. Стекло разбилось, но резервуар остался цел и запрыгал вниз по ступенькам, как бомба, вот-вот готовая взорваться. Старина Рамбоулд услышит стук и станет гадать, что бы это могло быть... Ничего, ему недолго придется гадать!

Мистер Полли, постояв в нерешительности с бритвой в руках, опустился на ступеньку. Его била дрожь, но страха в нем не было.

Он легонько провел бритвой под одним ухом.

— Черт возьми! Жжется, как крапива!

И в этот миг он заметил взбегавшую по его ноге голубую змейку пламени. Она заинтересовала его, и он с минуту сидел неподвижно с бритвой в руках, глядя на нее. Это, наверное, керосин! Керосин на брюках, они загорелись от огня на лестнице. Ничего удивительного, ведь его ноги все в керосине! Он хлопнул рукой по горящей змейке, чтобы погасить ее, и почувствовал на ноге боль от ожога. Брюки продолжали обугливаться и тлеть. Он подумал, что сперва надо загасить брюки, а потом уж перерезать горло. Мистер Полли положил бритву рядом и стал колотить обеими руками по огню. В это время сквозь прорубленную им дыру в лестнице вырвался тонкий высокий язык красного пламени и замер неподвижно, уставившись, казалось, на мистера Полли. Это было очень странное пламя: розовое, как мясо лосося, с красными полосами. Вид его был так необычен и безмятежен, что мистер Полли от удивления разинул рот.

«Пуф!» — взорвалась внизу банка с керосином и тут же исчезла в белых зловонных клубах огня. Потом розовые языки пламени дрогнули, запрыгали, уменьшились вдвое и пропали, и в тот же миг всю лестницу охватил гудящий огонь.

Мистер Полли вскочил на ноги и бросился прочь от лестницы, как будто настигавшие его языки пламени были сворой разъяренных волков.

— Господи боже мой! — вскричал он, как только что проснувшийся человек.

Он громко выругался и стал сбивать с ног огонь.

— Что же теперь делать, черт побери! Этот проклятый керосин пропитал меня насквозь!

Он приготовился умирать от бритвы, а ему грозило сожжение!

Ему хотелось приостановить на секунду огонь, сделать так, чтобы пожар повременил, пока он не перережет себе горло. Ему пришла в голову мысль залить разбушевавшееся пламя водой.

В маленькой гостиной воды не было ни капли, не оказалось воды и в лавке. На секунду он задумался, стоит ли бежать наверх в спальню за кувшином с водой. Если события будут развиваться с такой быстротой, то через пять минут пламя перекинется на лавку Рамбоулда. Мистер Полли не учел этого. Он бросился к лестнице, но оттуда дохнуло таким жаром, что он попятился. Он заметался по лавке. Задвижку на входной двери иногда заедает. Так случилось и в этот раз, и мистера Полли охватила паника. Он бил по задвижке, стучал, чувствуя, что гостиная за лавкой уже вся в огне. Еще миг — и мистер Полли, широко распахнув дверь, оказался на Хай-стрит.

Лестница сзади трещала и стреляла, как будто там кто-то или щелкал кнутом, или стрелял из пистолета.

Мистеру Полли смутно представилось, что он действует не совсем так, как предполагал, но сейчас им владела одна мысль: как остановить бушующий в доме огонь? Что теперь делать? Через дом от его лавки находился пожарный пост.

Еще никогда фишбурнская Хай-стрит не была такой пустынной, как в этот день.

Вдалеке, на углу улицы, возле гостиницы «Провидение господне», трое нарядившихся в черные воскресные костюмы подростков перебрасывались репликами с Тэплоу, местным полицейским.

— Эй! — закричал им мистер Полли.— Пожар! Пожар!

И вдруг замолчал, как громом пораженный: он вспомнил, что на втором этаже лавки Рамбоулда находится его глухая теща. Он начал стучать, бить ногами, трясти дверь лавки соседа.

— Эй! — опять крикнул он.— Пожар!

3

Так начался знаменитый фишбурнский пожар, охвативший сначала груды соломенных корзин Распера, потом склад горючего и конюшни фишбурнской Королевской гостиницы и распространившийся из этого эпицентра чуть ли не на половину всего Фишбурна. Восточный ветер, который к вечеру набрал силу, разносил пламя; де-

ревянные постройки представляли собой легкую добычу для огня; маленький сарай, где хранился инвентарь местной пожарной команды, сгорел еще до того, как попытались вынести оттуда хотя бы шланг. В невероятно короткий срок над Хай-стрит вырос огромный столб черного дыма, пронизанный красными языками, и весь Фишбурн охватила паника.

Большинство почтенных представителей фишбурнского общества находилось в этот час в церкви или в часовне. Однако многие, соблазнившись голубым небом и бодрящей свежестью весны, отправились на прогулки по окрестностям, а посему на берегу и окраинных улочках не было видно обычных гуляк и любителей почесать языки. В шесть часов город наполнился стуком отодвигаемых задвижек и скрежетом ключей, возвещавших конец английского Рамадана — этой еженедельной интерлюдии в трудах, допущенной нашими законами. Местные мальчишки слонялись по берегу или играли во дворах, помня строгий наказ матерей беречь праздничные костюмы; юноши и девушки гуляли парочками в самых укромных уголках, какие можно найти на окраине Фишбурна. Несколько отчаянных юнцов, преодолевая морскую болезнь, усердно ловили рыбу с пляшущей на волнах лодчонки старого безбожника Тарбоулда, а Клэмпсы принимали у себя своих родственников из Порт-Бэрдока. Несколько приезжих, которыми может похвастаться Фишбурн весной, были в это время в церкви или на берегу. К этим людям и взывал огромный столб дыма и огня, как будто вопрошая: «Посмотрите, это касается и вас! Что же вы намерены предпринять?»

Трое подростков, случись это в будний день и будь они в рабочих блузах, возможно, бросились бы на подмогу, но они были в черных воскресных костюмах, сковывавших инициативу, и потому только дошли до угла лавки Распера, чтобы получше видеть, как мистер Полли колотит в соседскую дверь. Полицейский, молодой и неопытный, обычно проявлял несколько преувеличенный интерес только к питейным заведениям. Вызвав ужас у присутствующих, он сунул голову в дверь Прайвит-бара, но на этот раз, к счастью, нарушений закона не оказалось. Поэтому он только крикнул: «Полли и Рамбоулд горят!» — и исчез. Окошко в верхнем этаже над лавкой

Бумера отворилось, оттуда выглянуло растерянное лицо самого Бумера, главы местной пожарной команды. Все еще поглядывая в окно, он стал пристегивать воротник и завязывать галстук: он, по-видимому, решил появиться в полной форме. Собака Хинкса, которая дремала у лавки Уинтершеда, проснулась и, подозрительно понаблюдав за действиями мистера Полли, сердито зарычала и побежала за угол по Гранвиль-элли. А мистер Полли продолжал колотить в дверь Рамбоулда.

Затем кабачки стали выбрасывать из своих недр наименее респектабельную публику Фишбурна: мужчины и парни, выбегая на улицу, поднимали шум. По мере того как суматоха возрастала, отворялось все больше и больше окон. Ташингфорд, аптекарь, появился в дверях без пиджака, повязанный фартуком, с кассетами от фотоаппарата в руках. А из Гейфорд-элли с деловым видом, застегивая на ходу куртку, выбежал Гэмбелл-зеленщик. Огромная медная каска сияла на его голове. Из-под каски были видны только острый нос, решительно сжатые губы и отважно вздернутый подбородок. Он подбежал к пожарному посту, попытался открыть дверь, потом обернулся и увидел все еще торчавшего в окне Бумера.

— Ключ! — заорал мистер Гэмбелл.— Ключ!

Мистер Бумер издал какое-то неясное восклицание, в котором можно было различить слова: «брюки» и «одну минуту».

— Где Рамбоулд? — крикнул подбежавший к Гэмбеллу мистер Полли.

— Отправился в Даунфорд на прогулку,— ответил Гэмбелл.— Он мне сам об этом сказал. Но, черт возьми, где же ключи?

— О господи! — взмолился мистер Полли, глядя широко раскрытыми от ужаса глазами на посудную лавку. Он знал, что там, наверху, сидит одна-одинешенька старая теща Рамбоулда.

Он вернулся обратно к дверям лавки и остановился в полной растерянности. Все, что происходило сейчас на улице, перестало его интересовать. Где-то на втором этаже сидит старая глухая женщина! Уходят драгоценные минуты! Вдруг мистера Полли осенило, и он исчез в дверях ресторанчика Королевской гостиницы.

А тем временем народ прибывал, и каждый принимался за какое-нибудь дело.

Мистер Распер сидел в это время у себя дома и, пользуясь отсутствием ушедшей в церковь жены, изучал статьи, посвященные «Тарифной реформе», стараясь извлечь из них общие положения, применимые к торговле скобяными товарами. Он слышал доносившийся с улицы шум, но не придавал ему значения, пока крики «Пожар!» не заставили его насторожиться. Он пометил карандашом статью Кьоцца Мани, которую просматривал одновременно со статьей мистера Хольта Скулинга, поспешно написал на полях: «Баланс торговли равен 12 000 000» — и подошел к окну, чтобы узнать, в чем дело. Он открыл окно и с этой минуты позабыл о том, что финансы — самая настоятельная проблема человечества.

— Боже — щелк — мой! — воскликнул мистер Распер.

Ибо в это мгновение быстро распространявшееся пламя ворвалось во владения мистера Рамбоулда, проникло в его погреб, по густо обмазанному дегтем навесу над грядкой с грибами перебралось через садовую ограду и напало на пожарный пост. Оно набрасывалось на все новые предметы, но не затем, чтобы сразу их пожрать, а как преследователь, который гонится за ускользающей добычей. Лавка мистера Полли и его квартира представляли собой теперь уже огромную топку, из подвальных решеток дома Рамбоулда вырывались черные клубы дыма, а из-за сарая пожарников вдруг повалил такой густой дым, будто там что-то взорвалось. Пожарная команда, все еще не в полном составе, развила возле своего сарая бурную деятельность. Ключи нашли слишком поздно, удалось спасти лишь пожарную лестницу да несколько ведер; теперь пожарники выбрасывали пострадавший инвентарь. Пожарный шланг превратился в густую вонючую расплавленную резиновую массу. Бумер метался как угорелый, выкрикивая ругательства и посылая проклятия. Наглое нападение на имущество, находившееся в его ведении, привело его в ярость. Его подчиненные, понурившись, стояли вокруг спасенной лестницы, стараясь в бессвязных восклицаниях своего шефа уловить приказ к действиям.

— Эй! — крикнул из окна мистер Распер.— В чем — щелк — дело?

— Шланг! — ответил Гэмбелл из-под своего шлема.— Шланг сгорел!

— У меня — щелк — есть шланг! — крикнул Распер.

У него действительно был шланг. В его лавке хранилось несколько тысяч футов садового шланга различного диаметра и качества, и вот наконец, понял он,— настала пора пустить его в ход. Не прошло и минуты, как дверь его лавки распахнулась и на тротуар полетели ведра, садовые насосы и катушки шланга.

— Разматывайте — щелк — его! — крикнул он собравшимся.

Шланг стали разматывать. Сотни рук охотно принялись тянуть, раскручивать, затягивать и сплетать шланг мистера Распера, вконец запутывая его, но твердо веря, что очень скоро по нему побежит спасительная вода, а мистер Распер, стоя на коленях и усиленно щелкая, энергично соединял куски шланга при помощи проволоки, медных муфт и других не менее загадочных предметов.

— Надо надеть шланг — щелк — на кран в ванной комнате,— приказал мистер Распер.

Рядом с пожарным постом находилось фишбурнское отделение знаменитой фирмы «Мантел и Тробсанс», и мистер Бумер, изобретательный ум которого искал выхода своим способностям, решил во что бы то ни стало спасти этот дом.

— Пусть кто-нибудь немедленно позвонит в Хэмпстед-он-де-си и Порт-Бэрдок, чтобы прислали пожарные команды! — крикнул он и, обращаясь к своим подчиненным, распорядился: — Рубите деревянные перегородки пожарного поста!

И сам бросился в огонь, размахивая топором, отчего тяга чудесным образом и в кратчайший срок усилилась до крайности.

Но, в общем, это была неплохая мысль. От пожарного поста «Мантела и Тробсанса» отделял впереди крытый стеклянный пассаж, а сзади — флигель с покатой в сторону пожарников крышей. Здоровенные граждане Фишбурна, составлявшие команду мистера Бумера, с ожесточением набросились на стеклянную галерею и ста-

ли с таким усердием разбивать стекла, что на какое-то время рев пламени был заглушен.

Несколько добровольцев с готовностью бросились к новой телефонной станции, чтобы выполнить приказ Бумера, но молодая телефонистка с официальной корректностью объяснила им, что уже позвонила в тот и другой город десять минут назад. Побеседовав еще несколько минут с этими горячими энтузиастами, она вернулась к окну, из которого следила за пожаром.

А зрелище действительно было достойным внимания. Сгущались сумерки, и в разных местах вздымались к небу яркие столбы пламени. Ресторанчик фишбурнской Королевской гостиницы, примыкавший слева к лавке мистера Полли, не поддавался огню: его непрерывно обливали из ведер выстроившиеся в цепочку добровольцы, а наверху в окне ванной комнаты орудовал шлангом маленький официант-немец. Лавка мистера Полли пылала гораздо ярче, чем остальные охваченные пожаром дома. В каждом окне ее виднелось яростно трепещущее пламя, языки огня вырывались из трех отверстий в крыше, которая уже начала рушиться. За домом вздымались столбы огня, густо насыщенные искрами,— это горел фураж в конюшнях гостиницы. В лавке мистера Рамбоулда из-под решеток, прикрывавших окна подвального помещения, шел черный дым; такой же дым, пронизанный струями огня, валил из окон второго этажа. Пожарный пост сзади горел ярче, чем спереди; его деревянные перегородки весело пылали каким-то зеленоватым огнем, издавая едкое зловоние. На улице беспорядочная, но мирно настроенная толпа атаковала спасенную пожарную лестницу, сопротивляясь попыткам трех местных констеблей оттеснить ее от готовой вот-вот упасть стены дома мистера Полли. Группа людей с озабоченными лицами суетилась, кричала, давала советы пожарникам, которые с грохотом крушили стекло галереи, стараясь преградить путь огню, надвигавшемуся на «Мантела и Тробсанса». Дальше несколько человек во главе с энергичным Распером вели борьбу со вновь и вновь возникающими тут и там огненными змейками: казалось, будто на Хай-стрит напали полчища змей. А в самом конце улицы скопились зеваки — наименее активная и наиболее застенчивая часть жителей Фишбур-

на,— преградив путь уличному движению. Мужчины почти все были в черных костюмах по случаю воскресенья. Эти праздничные костюмы, а также белые крахмальные туалеты женщин и нарядные платья детей придавали зрелищу несколько торжественный вид.

На миг внимание телефонистки, наблюдавшей за пожаром из окна, привлек аптекарь Ташингфорд, который, ничего не видя вокруг, с огнетушителями в руках бежал через дорогу к пожарному посту; бросив их там, он помчался за новыми. Потом она перевела взгляд на покатую крышу флигеля, гребнем возвышавшуюся над оградой «Мантела и Тробсанса», в ее глазах мелькнуло недоумение, она не поверила своим глазам. Но уже через секунду не могла оставаться безучастной.

— Двое на крыше! — закричала она, высовываясь из окна.— Двое на крыше!

4

Глаза не обманули ее. Два человека, выбравшись из чердачного окошка лавки мистера Рамбоулда и достигнув после опасного балансирования по водостоку крыши пожарного поста, теперь медленно, но решительно взбирались по черепичной крыше флигеля, устремляясь к владениям господ Мантела и Тробсанса. Они ползли медленно — один все время помогал другому — соскальзывали, ежеминутно останавливались, задерживаемые потоком осколков черепицы.

Один из них был мистер Полли. Волосы у него растрепались, лицо, черное от копоти, прочертили струйки пота, штанины брюк обгорели и почернели. Его сопровождала престарелая дама, одетая в скромное, но изящное черное платье, с белым жабо и белыми манжетами, и в кружевной шляпке, украшенной черным бархатным бантом. Волосы ее были аккуратно зачесаны назад, открывая изрезанный морщинами лоб, и собраны в тощий пучок на затылке, а окруженный морщинками рот крепко сжат с тем выражением непоколебимости, которое свойственно беззубой старости. Руки и голова у нее тряслись, но не от страха, а по причине преклонных лет, и говорила она не спеша, нетвердым голосом, но решительно.

— Я ничего не имею против того, чтобы ползти,— категорическим тоном, пришептывая, говорила она мистеру Полли.— Но прыгать я не могу. И не буду.

— Ползите, старушка, ползите!— подбадривал мистер Полли, таща ее за руку.— На этих чертовых черепицах получается шаг вперед, два шага назад.

— Я не умею ползать,— заметила старая леди.

— Научитесь,— ответил мистер Полли.— Век живи— век учись.

Он добрался наконец до гребня крыши и, протянув старухе руку, потащил ее наверх.

— Но имейте в виду, я не могу прыгать,— повторила теща Рамбоулда и, поджав губы, добавила: — Таких старых людей, как я, нельзя торопить.

— Лезьте сюда,— сказал мистер Полли, осторожно подсаживая ее наверх.— Ползите по водосточной трубе, она у вас на пути. Вы никогда не были так близко к богу, как сейчас, а?

— Но я не могу прыгать,— повторяла она.— Я могу делать все, что угодно, но только не прыгать.

— Ухватитесь покрепче,— предупредил мистер Полли,— я поддержу вас. Ну вот так, отлично...

— Пока мне не приходится прыгать...

Теща Рамбоулда ухватилась за гребень крыши и стала с трудом подтягиваться.

— Замечательно!— ободрял ее мистер Полли.— Держитесь! Господи! Куда это она?!

Скоро над гребнем крыши появилась дрожащая, но очень решительная нога в плохо почищенном башмаке.

— Ну, кажется, подъем окончен! — сказал мистер Полли, взбираясь следом за ней.

— Никогда не была на крыше,— возвестила старуха.— Но я прямо распадаюсь на части. Очень было неудобно добираться сюда. Особенно последний кусок. Нельзя ли здесь немножко посидеть, передохнуть? Я уже не та девочка, какой была когда-то.

— Если вы задержитесь здесь хоть на десять минут,— стал кричать ей мистер Полли,— вы лопнете, как жареный каштан. Как жареный каштан! Жареный каштан! Лопнете! Господи, до чего же глуха! Пойдемте к краю крыши, посмотрим, нет ли чердачного окошка. Взгляните, какой дым!

— Ужасный! — согласилась старая леди, следуя взглядом за его рукой. Ее лицо сморщилось, выражая крайнюю степень отвращения.

— Скорей!

— Я не слышу ни одного вашего слова!

Он схватил ее за руку.

— Скорей!

Она замешкалась на секунду и неожиданно захихикала.

— Веселая история! — сказала она.— Никогда не бывала в такой переделке! Куда это он? — И заковыляла вслед за мистером Полли к переднему краю крыши мануфактурного магазина.

Внизу их уже заметили, и их появление у края крыши вызвало целую бурю восторженных криков и возгласов. Возле пожарной лестницы завязалось нечто вроде вольной борьбы: силы порядка представляли мистер Бумер с молодым полицейским, а беспорядок создавали несколько добровольцев, слегка под хмельком, имевших собственное мнение насчет того, как надо обращаться с пожарным инвентарем. Вокруг лестничных ступенек обмотался к тому же кусок садового шланга мистера Распера. Мистер Полли наблюдал за происходившей внизу борьбой с явным нетерпением, то и дело поглядывая через плечо на вздымавшийся над пожарным постом столб дыма и копоти. Он решил разбить чердачное окно и проникнуть через него в дом. Очутившись в маленькой спальне, он осмотрел ее и вернулся за своей подопечной. Ему не сразу удалось объяснить ей, что от нее требуется.

— Надо спуститься немедленно! — кричал он.

— Никогда ничего подобного не испытывала! — воскликнула старуха.— Никогда!

— Нам придется спуститься вниз через дом!

— Прыгать я не могу,— отзывалась старуха.— Не могу!

С видимой неохотой она наконец подчинилась ему, но не отказалась от того, чтобы еще раз взглянуть вниз.

— Бегают, снуют взад-вперед, как тараканы на кухне,— заметила она.

— Мы должны спешить.



«ИСТОРИЯ МИСТЕРА ПОЛЛИ»



«ИСТОРИЯ МИСТЕРА ПОЛЛИ»

— Мистер Рамбоулд — очень тихий человек. Он любит, чтобы все было тихо и спокойно. Вот он удивится, увидев меня здесь! Да вот он и сам, смотрите!

Она принялась, непонятно зачем, шарить в карманах своего платья, извлекла откуда-то мятый носовой платок и стала им махать.

— Скорей же! — воскликнул мистер Полли, схватив ее на руки.

Ему удалось втащить ее на чердак, но оказалось, что лестница вся окутана удушливым дымом, и он не отважился спуститься на первый этаж. Он провел ее в длинную спальню, затворил плотно дверь, чтобы преградить дорогу проникавшему всюду тяжкому дымному смраду, распахнул окно и увидел, что лестница наконец приставлена к дому и по ней, подбодряемая криками пришедших в неописуемый экстаз фишбурнцев, взбирается маленькая, энергичная и решительная фигурка в огромной каске. В следующий момент над подоконником появилась голова героя-спасителя, немного смущенного и смешного.

— Господи боже мой! — заохала старуха.— Вот чудеса-то! Неужто это мистер Гэмбелл? Зачем он только напялил на голову эту штуковину? Вот уж чего никогда не стала бы делать.

— Мы сумеем вытащить ее наружу? — спросил мистер Гэмбелл.— Времени у нас немного.

— Он еще, пожалуй, задохнется в ней!

— Вы здесь скорее задохнетесь,— сказал мистер Полли.— Идемте.

— Только не прыгать! — стояла на своем теща мистера Рамбоулда, не слыша, что говорит мистер Полли, но понимая его жесты.— Прыгать я не согласна! Я не очень ловко прыгаю и не буду прыгать!

Мужчины осторожно, но настойчиво подвели ее к окну.

— Пустите меня, я сама,— сказала старуха, добравшись до подоконника.— Если он снимет эту штуковину с головы, у меня получится лучше.

— О господи, да лезьте же вы сюда!

— Это хуже, чем перелаз возле Картера,— говорила она,— пока его еще не починили. Лезешь, а на тебя смотрят коровы...

Мистер Гэмбелл поддерживал ее снизу. Мистер Полли направлял сверху. Толпа внизу не скупилась на советы и делала все возможное, чтобы опрокинуть лестницу. За спиной мистера Полли из расщелин в полу вырывались струи черного дыма. Несколько секунд все с замиранием сердца ждали, пока у старой леди пройдет очередной приступ лихорадочного веселья.

— Какие времена настали! — хихикала она.— Бедный Рамбоулд!

Мистер Гэмбелл и теща Рамбоулда медленно спускались, а мистер Полли оставался наверху в двух шагах от огня, поддерживая лестницу; наконец старая леди благополучно добралась до последней ступеньки и оказалась под покровительством мистера Рамбоулда (который не мог удержать слез) и молодого полицейского, защищавших ее от слишком бурных поздравлений окружающих. Те, кто был поближе, пожимали ей руку, дальние выражали восторг криками.

— Первый в моей жизни пожар и, надеюсь, последний. Очень, очень неприятная история: то надо ползти, то спешить, но, признаюсь, рада, что не пропустила такого события,— говорила старуха, когда ее вели, вернее, несли на руках к гостинице, носившей название «Трезвенность».

Слышали также, как она сказала:

— Он говорил что-то про жареные каштаны. У меня не было никаких жареных каштанов.

Затем все увидели, как мистер Полли неуклюже нащупывает ногой верхнюю ступеньку пожарной лестницы.

— А вот и он! — закричал кто-то.

Так мистер Полли вернулся обратно в этот мир из пламени, которое сам разжег, думая обратить его в свой погребальный костер, вернулся мокрым, взбудораженным, но живым и здоровым под восторженные аплодисменты толпы. Он спускался все ниже и ниже, и рев внизу становился похожим на лай своры собак. Потерявшие терпение люди, которые были не в силах больше ждать, схватили его за ноги и опустили невредимым на землю. Его с трудом высвободили из объятий одного особенно восторженного фишбурнца, который хотел за свой счет утолить жажду нашего героя, составив ему ком-

панию. Мистера Полли тоже повели в гостиницу и там, бездыханного и беспомощного, сдали, как куль, с рук на руки заливающейся слезами Мириэм.

5

С наступлением сумерек, когда приехала полиция графства и сначала одна, а потом еще две пожарные машины из Порт-Бэрдока и Хэмпстед-он-де-си, местные храбрецы оказались оттесненными на второй план и заняли менее ответственную роль наблюдателей. Я не стану рассказывать дальше о пожаре, о том, как сгорело дотла последнее бревнышко, и брошу всего один, прощальный взгляд на несчастного мистера Распера, этого новоявленного Лаокоона, тщетно пытающегося, мешаясь под ногами суетящихся пожарников из Порт-Бэрдока, собрать разорванный на куски шланг.

В маленьком холле гостиницы собрались фишбурнские лавочники-погорельцы; они вели между собой отрывистый разговор, время от времени подходили к окну, бросали взгляд через дорогу на дымящиеся развалины своих бывших домов и возвращались на место. Они и их семьи воспользовались гостеприимством старой леди Баргрейв, принявшей близко к сердцу их несчастье. Она пригласила к себе в Эвердин несколько семей, сняла целую гостиницу, чтобы дать приют тем, кто в этот вечер потерял кров, и лично проследила, как будут устроены бездомные приказчики из магазина «Мантел и Тробсанс». Гостиница наполнилась шумом; повсюду сидели люди, вели отрывистые разговоры и вовсе не собирались ложиться спать. Хозяин гостиницы, старый солдат, следуя лучшим традициям воинской службы, позаботился о том, чтобы каждому была подана чашка горячего какао. Горячее какао стояло всюду, и, без сомнения, оно оказалось отличным успокаивающим и подкрепляющим средством. Если хозяин гостиницы обнаруживал кого-нибудь из гостей приунывшим и повесившим голову, он убеждал того, дабы вернуть бодрое расположение духа, немедленно выпить чашку горячего какао.

Центральной фигурой, героем дня был мистер Полли. Ибо он не только явился причиной пожара, уронив

горящую лампу, опалив себе брюки и едва не сгорев живьем, как он уже в двадцатый раз всем объяснял, но и вовремя вспомнил о доброй, но совершенно беспомощной старухе в соседнем доме, сообразил, что к ней можно добраться по ограде фишбурнской Королевской гостиницы, и, проявив упорство и энергию, спас ее, хотя это было нелегко по причине преклонных лет старой леди. Все восхищались мистером Полли и спешили выказать ему свое восхищение крепкими до боли бесконечными рукопожатиями. Мистер Рамбоулд, не разговаривавший с мистером Полли вот уже пятнадцать лет, горячо поблагодарил его, сказав, что он никогда по-настоящему не знал мистера Полли, и заявил, что мистеру Полли, по его мнению, необходимо дать медаль. Это предложение нашло отклик у всех. Хинкс тоже считал, что мистеру Полли надо дать медаль. Он даже во всеуслышание объявил, что у мистера Полли прекрасная, отзывчивая душа — или что-то в этом роде. У него был виноватый вид: он сожалел о том, что раньше утверждал, будто мистер Полли—человек слабый и ничтожный. Он также прибавил, что мистер Полли — человек чести, хотя и с несколько желчной печенью.

Мистер Полли со скромным и даже несколько рассеянным видом блуждал по гостинице, выслушивая все сказанное выше. Лицо у него было вымыто, волосы причесаны и разделены на пробор, на нем были черные брюки хозяина гостиницы — человека более крупного, чем мистер Полли во всех измерениях.

Он поднялся наверх, где сидели все остальные лавочники, подошел к окну, поглядел на заваленную обломками улицу, на лужи воды и потушенные газовые фонари. Его товарищи по несчастью возобновили свой перескакивающий с предмета на предмет отрывистый разговор. Они касались то одного, то другого, а иногда надолго умолкали. На столе, на пианино и на камине стояли чашки с недопитым какао, на середине стола возвышалась ваза с печеньем, в которую мистер Рамбоулд, сидевший сгорбившись, то и дело по рассеянности запускал руку, а потом хрустел так, что казалось, где-то рядом потрескивает горящий уголь. Собрание имело весьма торжественный вид благодаря черным воскресным костюмам. Маленький Клэмп выглядел особенно нарядно

и почтенно: на нем был открытый фрак, белый бумажный гладстоновский воротник и широкий белый с синим галстук. Все чувствовали себя участниками грандиозной катастрофы, о которой будут писать в газетах и даже поместят неясные фотографии, изображающие обращенные в руины дома. Перед лицом такой катастрофы каждый благородный человек должен испытывать печаль и благоговение.

Нельзя отрицать и той крупицы надежды, что появилась в сердцах этих превосходных людей. Теперь каждый из них понимал, что фортуна вновь обратилась к ним лицом, что им суждено получить назад свои деньги, которые, казалось, были навсегда потеряны в недрах розничной торговли. Жизнь возрождалась в их воображении, как птица Феникс из пепла.

— Я думаю,— заметил мистер Клэмп,— что будет подписка среди населения.

— В пользу тех, кто не застрахован,— вставил мистер Уинтершед.

— А что же будет с приказчиками «Мантела и Тробсанса»? Они, должно быть, потеряли почти все.

— О них позаботятся, в этом нет сомнения,— откликнулся мистер Рамбоулд.— Можно не беспокоиться.

Молчание.

— Я застрахован,— с нескрываемым удовлетворением заявил мистер Клэмп.— Фирмой «Ройял Саламандер».

— Я тоже,— промолвил Уинтершед.

— А я фирмой «Глазго сан»,— заметил мистер Хинкс.— Очень надежная фирма.

— А вы, мистер Полли, застрахованы?

— Он этого заслуживает,— сказал мистер Рамбоулд.

— Что верно, то верно,— подтвердил Хинкс.— Черт меня побери, если это не так. Просто несправедливо, если у него нет страховки.

— Застрахован фирмой «Коммершиэл энд Дженерал»,— через плечо бросил мистер Полли: он все еще стоял у окна.— У меня все в порядке.

На минуту опять все замолчали, хотя чувствовалось, что каждый размышляет про себя над этой волнующей проблемой.

— Слава богу, я избавился от залежалого товара,— проговорил мистер Уинтершед.— Это уже хорошо.

Его замечание показалось всем несколько сомнительного свойства, и еще меньше пришлось по душе следующее:

— Распер недоволен, что до него не дошло.

Всем стало немного не по себе, и никто не отважился пуститься в объяснения, почему Распер «недоволен».

— Распер занят сейчас своим делом,— сказал Хинкс.— Не понимаю, что он там затеял? Сидит на дороге с какими-то щипцами в руках и проволокой: видно, починяет что-то. Как только его не переехала пожарная машина из Порт-Бэрдока!

Вскоре разговор опять вернулся к причине пожара, и мистеру Полли пришлось в двадцать первый раз объяснять, как все случилось. К этому времени его история обросла такими бесспорными и точными деталями, что стала похожа на выступление свидетеля в суде.

— Уронил лампу,— говорил он.— Я только что зажег ее. Поднимаюсь наверх и вдруг споткнулся: у нас одна ступенька сломана. Ну, я и упал. Все кругом вспыхнуло моментально.

К концу рассказа он стал зевать и направился к двери.

— Всего хорошего,— сказал мистер Полли.

— Спокойной ночи,— отозвался Рамбоулд.— Вы сегодня вели себя, как герой! Если вам не дадут медали...

Мистер Рамбоулд выразительно замолчал.

— Дадут! Дадут! — воскликнули мистер Уинтершед и мистер Клэмп.

— Спокойной ночи, старина,— сказал мистер Хинкс.

— Спокойной ночи,— ответил мистер Полли.

Он медленно пошел наверх. В его душе царило смущение, хорошо знакомое всем знаменитостям. Он вошел в спальню и зажег свет. Это была уютная комната, одна из самых лучших в гостинице, стены ее были оклеены чистыми веселыми обоями в цветочках, в углу стояло большое зеркало. Мириэм спала, ее плечи бесформенной горой громоздились под одеялом — зрелище, которое в течение пятнадцати лет казалось мистеру Полли нена-

вистным. Неслышно ступая, он подошел к туалетному столику и стал задумчиво разглядывать себя в зеркале. Потом подтянул сползавшие брюки.

— Совсем утонул в этих штанах,— тихо сказал он.— Смешно, когда у тебя нет и пары собственных брюк... Как будто заново родился. Нагим я пришел в этот мир.

Мириэм зашевелилась, повернулась и открыла глаза.

— Привет! — сказала она.

— Привет! — отозвался мистер Полли.

— Будешь ложиться?

— Уже три часа утра.

Молчание. Мистер Полли медленно разоблачается.

— Я тут думала,— сказала Мириэм.— В общем, все обстоит не так уж плохо. Мы получим страховку. И начнем сначала.

— Гм,— промычал мистер Полли.

Она отвернулась от него и задумалась.

— Снимем домик получше,— опять начала Мириэм, разглядывая рисунок на обоях.— Я всегда ненавидела лестницу в нашем доме.

Мистер Полли снял ботинок.

— Надо найти более бойкое место,— пробормотала Мириэм...

— Не так уж плохо,— опять пробормотала она...

— Тебе не мешает встряхнуться,— сказала она совсем уже сквозь сон.

И тут в первый раз за все время мистеру Полли пришло в голову, что он что-то забыл сделать.

Он ведь должен был перерезать себе горло!

Эта мысль показалась ему замечательной, но потерявшей особую необходимость, а планы самоубийства казались ему ушедшими в далекое прошлое; его удивляло только, почему он ни разу за это время о них не вспомнил. Странная штука — жизнь! Если бы он исполнил свое намерение, он не увидел бы никогда этой чистой, уютной комнаты, освещенной электрическим светом... Он стал вспоминать всякие мелочи. Куда он положил бритву? Кажется, в маленькой гостиной позади лавки, но куда — точно он сказать не мог. Впрочем, теперь это уже не имело значения.

Он спокойно разделся, лег в постель и в мгновение ока заснул.

ГЛАВА IX

ГОСТИНИЦА «ПОТУЭЛЛ»

1

Человек, хоть однажды сумевший прорваться сквозь бумажные стены обыденной жизни, сквозь эти непрочные стены, которые тем не менее так надежно от рождения до могилы держат многих из нас в плену, неизбежно приходит к открытию: если окружающий мир тебе не нравится, его можно изменить. Надо только принять твердое решение любой ценой изменить его — и ты добьешься своего. Ты можешь оказаться в более неприятном, трудном и даже опасном положении, но, может случиться, что жизнь твоя станет ярче, приятнее или, на худой конец, просто интереснее. Существует только одна категория людей, которые полностью повинны в своей неустроенности: это те, кто находит жизнь скучной и невыносимой. Нет на свете таких обстоятельств, которых нельзя было бы изменить в результате целеустремленных действий, разве только если ты окружен тюремными стенами, да и они могут в любой момент расступиться и превратиться, как мне говорили, в стены лазарета, если ты человек умный и решительный. Я пишу об этом не из любви к поучениям — я делаю выводы из наблюдений над фактами и событиями. И мистер Полли, бодрствующий по ночам, мучимый возобновившимся несварением желудка, с храпящей Мириэм под боком и преследуемый мыслью, что круг опять замкнулся, однажды вдруг осознал, что нет на свете безвыходных положений, и, таким образом, спасся от подступившего было отчаяния.

Он может, например, уйти из дому, куда глаза глядят.

«Уйти, куда глаза глядят» — каким чудодейственным призывом звучала для него эта фраза!

Почему раньше не пришла ему в голову эта мысль — уйти, куда глаза глядят?

Он был изумлен и слегка потрясен, обнаружив в себе чрезвычайно мощные и до сих пор таящиеся под спудом преступные наклонности, благодаря которым старый, патриархальный, ветшающий Фишбурн сгорел в огне и перед его жителями открылись новые перспективы. (Я бы

от всего сердца желал, чтобы мистер Полли почувствовал хоть капельку раскаяния за содеянное.) А вместе с Фишбурном, казалось, сгорели и прочно установившиеся, незыблемые понятия. Выяснилось, что Фишбурном белый свет не кончается. Это было новое, очень важное соображение, о котором он и не подозревал, когда тянул лямку безрадостного существования. Фишбурном, тем самым Фишбурном, который мистер Полли так хорошо знал и ненавидел до того, что хотел себя убить, белый свет не кончается.

Страховые деньги, которые он должен был получить, решили практическую и моральную стороны дела. Он уйдет, куда глаза глядят, со спокойной совестью. Он возьмет ровно двадцать один фунт, а все остальное оставит Мириэм, что, на его взгляд, было абсолютно справедливо. А без него она может делать все то, к чему всегда его призывала...

Он пойдет по дороге, уходящей белой полосой в Гарчестер, потом в Крогейт, а потом в Танбридж Уэллс, где есть Жаба-гора, о которой он слышал, но никогда не видел. (Ему почему-то казалось, что эта гора — чудо из чудес.) А уж оттуда он пойдет бродить по другим городам и селам. Он будет шагать не спеша, ночевать в придорожных гостиницах, наниматься на работу то там, то здесь и встречаться с новыми людьми.

Быть может, ему попадется хорошая работа, и он разбогатеет, а если этого не случится, он ляжет под колеса поезда или в одну из теплых летних ночей бросится в широкую, спокойную реку. Ничуть не хуже, чем ждать своей очереди у зубного врача. Ничуть! Но владельцем лавки он уж ни за что больше не станет.

Так представлялось мистеру Полли его будущее, когда он по ночам лежал без сна.

Стояла весна, и в лесах, подальше от морских ветров, уже цвели анемоны и примула.

2

А спустя месяц по берегу реки между Аппингдоном и Потуэллом, лениво шлепая в пыли, шел бродяга; отличался он намечающейся лысиной да круглым брюшком. Шел он, засунув руки в карманы и задумчиво насвисты-

вая. Был чудесный, полный цветения весенний день, и зелень, какой еще никогда не создавал господь (хотя, впрочем, надо сказать, такая же зелень была и в прошлом и в позапрошлом году, но мы как-то об этом забываем), весело отражалась в зеркале реки, тоже небывало прекрасной. Бродяга остановился, замер и даже перестал свистеть: он наблюдал за водяной крысой, которая бегала взад-вперед по маленькому мысу, что вдавался в реку. Крыса прыгнула в воду, поплыла, потом нырнула, и, только когда исчез последний круг на воде, мистер Полли возобновил свое путешествие, куда глаза глядят.

Впервые за много лет он вел здоровую жизнь, постоянно бывая на свежем воздухе, ежедневно совершая восьми-десятичасовые прогулки, скудно питаясь, не упуская ни единой возможности приятно побеседовать хотя бы о возможной работе. И если не считать того, что ему пришлось, позаимствовав в одном доме иголку с ниткой, зашить себе дыру на пиджаке, которая появилась после соприкосновения с колючей проволокой, он пальцем о палец за это время не стукнул. Его не волновали больше ни торговля, ни то, который теперь час и скоро ли начнется сезон.

Первый раз за всю свою жизнь он увидел северное сияние.

Пока прогулка стоила ему очень мало. Он все устроил в соответствии с разработанным им самим планом. Он отправился в путь с четырьмя пятифунтовыми банкнотами и одним фунтом, разменянным на серебро. Из Фишбурна он доехал на поезде до Эшингтона, где отправился на почту и послал эти четыре банкнота заказным письмом до востребования на свое имя в Гилэмтон, приложив к ним коротенькое дружеское послание из нескольких слов. Он выбрал Гилэмтон, потому что ему понравилось это название и еще потому, что графство Суссекс, в котором находится этот городок, славится своими сельскими видами. Послав письмо, он отправился открывать Гилэмтон, где его ждали деньги и приветственное слово. Добравшись наконец до Гилэмтона, он разменял пятифунтовый банкнот, взял один фунт себе, а оставшиеся девятнадцать снова послал по почте.

После пятнадцатилетнего промежутка он вновь открыл тот замечательный мир, который многие люди не видят

по причине необыкновенной своей слепоты и тупости. Он шел по проселочным дорогам, а над ним в деревьях свистели, чирикали, гомонили, пели птицы; он любовался молодой, недавно распустившейся зеленью, испытывая то беспечное счастье, какое испытываешь только в детстве во время каникул. Если случайно ему вспоминалась Мириэм, он брал себя в руки и отгонял мысль о ней. Он заходил в придорожные гостиницы, долгие часы беседовал о том о сем с мудрыми возчиками, которых всегда можно встретить в любом деревенском трактире, где они отдыхают, потягивая эль, а их сильные, гладкие лошади, запряженные в фургоны, побрякивая медными колокольчиками, терпеливо ждут их во дворе. А однажды он нанялся к бродячим циркачам, что разъезжают по окрестностям с качелями и паровой каруселью, и провел с ними три дня, но одна из их собак почему-то отчаянно его невзлюбила, и новая работа потеряла для него прелесть. Он вступал в беседы с бродягами и поденными рабочими. Днем он отдыхал в тени живых изгородей, ночью спал в сараях и на сеновалах, и только однажды ему пришлось ночевать в работном доме. Он чувствовал себя так, как чувствуют себя чахлая трава и маргаритки, когда вы передвигаете машину для стрижки газонов в другое место.

Он получил множество новых, интересных впечатлений.

Он шел по лугам, окутанным туманом и залитым лунным светом. Туман стелился так низко, что едва доставал ему до пояса, и верхняя граница белой пелены обозначалась так четко, что дома и купы деревьев казались островами в молочном море. Он подходил все ближе и ближе к загадочному предмету, похожему на лодку, плывущую по этому странному морю, и увидел, что на корме ее что-то движется, а к носу привязана веревка. Он всмотрелся: это была корова; задумчиво, сонными глазами она глядела на него...

В незнакомой долине неподалеку от Мейдстона он любовался великолепным закатом: багровый и яркий, он широкой полосой разлился по бледному безоблачному небу, а на горизонте отчетливо вырисовывалась ровная линия багровых холмов, похожих на те горы, что он когда-то видел на картинках. Ему казалось, что он пере-

несся в какую-то другую страну, и он нисколько не удивился бы, если бы стоявший у калитки старик крестьянин, к которому мистер Полли подошел, заговорил с ним на незнакомом языке...

Однажды на рассвете, когда он спал на куче хвороста, его разбудил отдаленный шум гоночного автомобиля, превысившего все понятия о скорости, и так как уснуть он больше не мог, то поднялся и побрел в Мейдстон вместе с наступающим днем. Он никогда не был на улицах города в четыре часа утра; разлитый повсюду покой и ясные краски восхода поразили его воображение. На одном углу он увидел внушительную фигуру полисмена, стоявшего в дверном проеме и своей неподвижностью напоминавшего восковую фигуру. Мистер Полли пожелал ему доброго утра и, не получив ответа, пошел к мосту через реку Медуэй, сел там на парапет и стал внимательно наблюдать за тем, как просыпается город, спрашивая себя, что́ бы ему пришлось делать, если бы город не восстал ото сна, если бы весь этот мир никогда больше не проснулся...

Однажды он очутился на дороге, по обеим сторонам которой тянулись заросли папоротника и стояли одиночные деревья, и вдруг эта дорога, это место показались мистеру Полли странно и поразительно знакомыми.

— Боже мой! — воскликнул он, остановился и огляделся.— Не может этого быть!

Он не верил своим глазам, но все-таки свернул налево и пошел по едва приметной тропинке, которая очень скоро привела его к заросшей мхом старой каменной стене. Это была та самая стена, которую он так хорошо помнил. Ему показалось, что он был в этом месте вчера: вот и сложенные одно на другое бревна. Невероятно, но это были те самые бревна. Папоротник был, пожалуй, не так высок, и листья у него еще не развернулись, но все остальное не изменилось. Вот здесь он стоял, а здесь сидела она, глядя на него сверху вниз. Где она сейчас? Что с ней сталось? Он сосчитал, сколько прошло с тех пор лет, и подивился: зачем с такой настоятельностью воззвала тогда к нему красота и ничем не одарила?..

Он с трудом подтянулся над краем стены и увидел вдали под березами двух школьниц — маленьких, неприметных девчонок с торчащими косичками; одна беленькая, другая черноволосая. Они стояли, обняв друг друга за шею, поверяя, видимо, друг дружке свои глупенькие секреты.

Где теперь та рыжеволосая девушка? Стала ли она графиней или королевой? Быть может, у нее есть дети? Посмело ли несчастье коснуться ее?

Неужели она никогда не вспоминает?..

У обочины дороги в задумчивости сидел бродяга. Человек в проезжавшем мимо автомобиле, должно быть, решил, что бродяга мечтает еще об одном кувшине пива. В действительности же бродяга на разные лады повторял известное древнееврейское слово.

— Ихавод[1],— говорил бродяга тоном, каким говорят о неизбежном.— О, Ихавод! Да, о таких вещах лучше не вспоминать!

3

В один из жарких майских дней в два часа пополудни мистер Полли не спеша и в самом безмятежном расположении духа вышел к широкой излучине реки в том самом месте, где к ней спускалась лужайка и сад гостиницы «Потуэлл». Он остановился, пораженный прелестью этого уголка, и стал обозревать островерхую черепичную крышу, прятавшуюся среди густых крон деревьев — никогда вы не встретите по-настоящему высокого дерева с по-настоящему пышной кроной на морском побережье,— вывеску с названием гостиницы, обращенную к дороге, облупившиеся на солнце зеленые скамейки и столики, приятного рисунка белые окна и ряд высоких розовых кустов в саду. Двор гостиницы отделяла от луга, поросшего желтым лютиком, живая изгородь, а дальше росли три тополя, четко вырисовываясь на фоне неба, три очень высоких, стройных, красивых тополя. Трудно сказать, почему эти тополи показались мистеру Полли такими прекрасными, но именно они, по его мне-

---

[1] Ихавод — бесславие *(древнеевр.)*.

нию, придавали этому очаровательному местечку красоту почти божественную. Он долго молча любовался ими.

Наконец в нем заговорили более прозаические чувства.

— Здесь, верно, можно будет подкрепиться,— прошептал он, подходя поближе.— Холодным мясом, например, пивом и пшеничным хлебом.

Чем ближе он подходил к дому, тем больше ему здесь нравилось. Окна первого этажа были длинные и низкие, и украшены они были хорошенькими красными занавесками. Зеленые столики под открытым небом рождали в воображении приятные картины прошедших пирушек; дикий виноград густо оплетал всю переднюю стену дома. У стены стояло сломанное весло и два багра, а на земле лежали выцветшие красные подушки, снятые с прогулочной лодки. Поднявшись по трем ступенькам к стеклянной двери, можно было заглянуть в большую с низким потолком комнату с баром и насосом для накачивания пива и множеством соблазнительных бутылок, весело отражавшихся в зеркалах, больших и маленьких оловянных кружек, опрокинутых бутылок в сетках из медной проволоки, заткнутых вместо пробок деревянными втулками; тут же стоял белый фарфоровый бочонок с наклейкой, сообщавшей, что в нем держат разбавленный фруктовым соком ром, и два больших кувшина, лежали коробки с сигаретами и ящики с сигарами, на стене висела в рамке под стеклом ярко раскрашенная картина, изображавшая охотников на привале — очень элегантных молодых людей, пьющих пайперовское черри-бренди,— а также всякие плакаты, излагающие, например, закон о норме разбавления спиртных напитков, запрещающие приводить детей в бар и в стихотворной форме высмеивающие тех, кто любит крепко выразиться или выпивать в долг; на полке лежали три румяных восковых яблока, а на стене висели часы с круглым циферблатом.

Но все это было лишь фоном для наиболее приятного предмета в этой комнате: среди всех этих бутылок и кружек, среди всей этой сияющей утвари сидела в кресле женщина, такая пышная, какой мистер Полли никогда не видывал, и, сохраняя достойное выражение лица, спала безмятежным сном. Кто-нибудь другой

сказал бы про нее, что она толстуха, но чувство прекрасного подсказало мистеру Полли самый подходящий к этому случаю эпитет: она была именно пышной. У нее были красивого рисунка брови, прямой нос, морщинки в уголках рта говорили о доброте и спокойном характере, а презабавные подбородки теснились один под другим, напоминая маленьких полнощеких херувимов у ног божьей матери, когда рисуют успенье. Ее пышное тело было крепким, розовым и здоровым. Руки в ямочках на каждом суставе лежали на коленях. Вся ее фигура дышала добротой и доверчивостью, как и полагается человеку, который знает, что у него приятная внешность и хороший характер, и постоянно благодарит за это бога, принимая безропотно все, что богу угодно послать ему. Голова ее была чуть склонена набок, и как раз настолько, что можно было не сомневаться в простодушии этой женщины, как нельзя было и заподозрить ее в самомнении. Итак, она крепко спала.

— В моем вкусе,— сказал мистер Полли и тихонько отворил дверь. В нем боролись желание войти в комнату и боязнь прервать такой сладкий и здоровый сон.

Женщина, вздрогнув, проснулась, и мистер Полли с изумлением подметил в ее глазах выражение ужаса, которое тут же исчезло.

— Боже мой! — воскликнула женщина с облегчением.— А я-то думала, это Джим.

— Никогда не был Джимом,—ответил мистер Полли.

— У него такая же шляпа.

— Понятно,— сказал мистер Полли и облокотился о стойку.

— Мне почему-то показалось, что вы Джим,— объяснила толстуха и, давая понять, что разговор на эту тему окончен, встала.— Сказать по правде, я вроде немного вздремнула,— добавила она.— Чем могу служить?

— Дайте мне холодного мяса,— ответил мистер Полли.

— Холодное мясо найдется,— сказала женщина.

— Найдется и место для него.

Толстуха подошла к стойке и тоже облокотилась, оценивающе, но приветливо глядя на мистера Полли.

— Есть кусок холодного вареного мяса,— сказала она и прибавила: — А что вы скажете насчет свежего салата?

— Тогда и горчицу,— откликнулся мистер Полли.

— И кружку пива!

— И пива!

Хозяйка и гость понимали друг друга с полуслова.

— Ищете работу? — спросила толстуха.

— Вроде того,— ответил мистер Полли.

Они улыбнулись друг другу, как старые друзья.

Что бы там ни говорили о любви, но такая вещь, как дружба с первого взгляда, существует бесспорно. Им сразу понравились голоса друг друга, манера говорить и улыбаться.

— Какая прекрасная нынче стоит весна,— заметил мистер Полли, объяснив этим все.

— Какую работу вы ищете? — спросила хозяйка.

— Я еще не пришел к окончательному выводу на этот счет,— ответил мистер Полли.— Я, видите ли, хожу повсюду в поисках... идей.

— Вы будете кушать в доме или на свежем воздухе? Куда вам подать?

Мистер Полли посмотрел на дубовую скамью.

— В доме, наверное, для вас удобнее,— ответил он.

— Слышите? — вдруг спросила его хозяйка.

— Что?

— Слушайте!

Тишину нарушил отдаленный крик: «Э-э-эй!»

— Слышите? — спросила опять хозяйка.

Мистер Полли кивнул.

— Это зовут перевозчика. А перевозчика нет.

— Может, мне пойти?

— А вы умеете грести шестом?

— Никогда не пробовал.

— Ничего. Надо только успевать вовремя вытаскивать шест. Идите!

Мистер Полли снова вышел на солнечный свет.

Иногда случается, что человек в нескольких словах может высказать очень многое. Я излагаю только факты, одни факты. Мистер Полли нашел лодку, взял шест, переправился на другую сторону, забрал пожилого господина в альпаковом пиджаке и пробковом шлеме и долгих двадцать минут боролся с течением: сперва они почему-

то очутились среди густых зарослей незабудок и переливающейся на солнце осоки, потом мистер Полли дважды ударил джентльмена в пробковом шлеме шестом и плеснул на него водой с водорослями и, наконец, высадил его, испуганного, но не перестающего браниться, на болотистый берег на краю заливного луга в сорока ярдах ниже по течению, где на мистера Полли немедленно набросилась злая белая собачонка, караулившая там чью-то куртку.

Оттуда мистер Полли не без труда, но сохраняя достоинство, добрался до своего причала.

У хозяйки все лицо было красное, а в глазах блестели слезы. Она сидела за одним из зеленых столиков перед домом.

— Я чуть со смеху не умерла, глядя на вас! — сказала хозяйка.

— Почему? — поинтересовался мистер Полли.

— Давно так не смеялась. С тех пор, как объявился Джим. Когда вы ударили его по голове, я думала, что лопну от смеха.

— Ему не было больно, то есть не особенно.

— Вы взяли с него деньги?

— Я переправил его бесплатно,— заявил мистер Полли.— Мне как-то это и в голову не пришло.

Хозяйка схватилась за бока и беззвучно расхохоталась.

— Надо было взять с него хоть сколько-нибудь,— сказала она.— Идите-ка лучше есть свое мясо, а то вдруг опять кого-нибудь придется перевозить. Я вижу, мы с вами поладим.

Она тоже вошла в дом вслед за мистером Полли и стала наблюдать за тем, как он ест.

— А есть вы умеете лучше, чем управлять шестом,— сказала она и прибавила: — Ну ничего, скоро научитесь.

— Послушен, как воск, и тверд, как мрамор,— проговорил мистер Полли.— А мясо отличное, мэм. Если бы я греб не на пустой желудок, получилось бы куда лучше, уверяю вас. Когда шест уходит в воду, такое чувство, будто он утопает в тине.

— Я никогда не могла справиться с шестом.

— Вам нужен перевозчик?

— Мне нужен человек, который помогал бы во всем.

— Я как раз и есть такой человек. Какая будет плата?

— Не очень большая, но если прибавить чаевые, то получится не так уж плохо. Я почему-то уверена, что это место вам подойдет.

— Я тоже почему-то уверен. А какие у меня будут обязанности? Прислуживать в доме? Перевозить? Ухаживать за садом? Мыть бутылки? Caeteris paribus? [1]

— Да, приблизительно,— ответила толстуха.

— Возьмите меня с испытательным сроком.

— Я почти не сомневаюсь, что все пойдет, как надо. Иначе я не стала бы и заводить разговор. Ну, а так вы человек порядочный? Вид у вас вроде солидный. Я надеюсь, вы ничего предосудительного не совершали?

— Небольшой поджог,— полусерьезно сказал мистер Полли.

— Если это не вошло в привычку, то ничего,— заметила хозяйка.

— Единственный раз, мэм,— объяснил мистер Полли, жуя отличный листок салата.— И, надеюсь, последний.

— Это все не страшно, если вы не сидели в тюрьме,— сказала толстуха.— Человека делает плохим не то, что он совершает. Все мы небезгрешны. Плохо, если ему внушить, что он поступает дурно, тогда он теряет уважение к себе. Вы не похожи на дурного человека. Вы сидели в тюрьме?

— Никогда.

— А в исправительном доме? Или еще где-нибудь?

— А что, похоже, что меня исправляли?

— Вы умеете красить, плотничать?

— Чувствую внутреннюю потребность заниматься этим.

— Не хотите ли кусок сыра?

— С удовольствием, если можно.

То, с каким видом хозяйка подала ему сыр, уверило мистера Полли, что его служба в гостинице «Потуэлл»— дело решенное.

Остаток дня он провел, изучая свое новое местожительство и те обязанности, которые ему придется вы-

---

[1] Caeteris paribus *(лат.)* — при прочих равных условиях.

полнять, а именно: пропитывать дегтем ограду, копать картофель, драить лодки, помогать гостям высаживаться из лодок, сдавать напрокат две лодки и одно канадское каноэ, рассаживать в них людей, следить за временем, помогать приставать, вычерпывать воду из вышеназванных посудин, скрывать от любителей покататься на лодке пробоины и другие изъяны, убеждать неопытных гребцов плыть вниз по течению, а не вверх, чинить уключины, проверять инвентарь с целью получить дополнительную плату за причиненный урон, чистить обувь, проверять дымоходы, красить постройки, мыть окна, подметать бар, чистить оловянные кружки, мыть стаканы, протирать скипидаром мебель, делать побелку, следить за исправностью водопроводных труб, заниматься всевозможным ремонтом, чинить замки и часы, исполнять роль буфетчика и официанта; выбивать ковры и тюфяки, мыть бутылки и собирать пробки, ходить в погреб, передвигать и наполнять бочки с пивом, прилаживать к ним насосы, находить и уничтожать осиные гнезда, быть лесничим — ухаживать за деревьями; топить лишних котят, учить собак, помогать вскармливать утят и другую домашнюю птицу, разводить пчел, поддерживать чистоту в конюшне, задавать корм лошадям и ослам, ухаживать за ними, мыть и ремонтировать автомобили и велосипеды, накачивать шины, заклеивать проколы, извлекать из реки тела утопленников, спасать утопающих, устроить купальню для отдыхающих и надзирать за ней, присутствовать на следствии и похоронах от имени гостиницы, чистить скребками полы, быть судомойкой и перевозчиком, выгонять из сада и огорода соседских кур и коз, выравнивать дорожки, следить за дренажными работами, заниматься садом, разносить бутылки пива и содовые сифоны жителям округи, выполнять тысячу других поручений, выводить пьяниц и забияк из гостиницы уговорами или силой — в зависимости от обстоятельств, поддерживать отношения с местным констеблем, стоять на страже интересов своего заведения вообще и охранять сад и огород от ночных набегов в частности...

— Что ж, попытаюсь,— сказал себе мистер Полли, когда подошло время пить чай.— А выберется свободная минута, можно и рыбу половить.

4

Особенно мистеру Полли понравились утята.

Они бегали, пища, по огороду за своей мамашей-уткой, и как только на дорожке появились мистер Полли и хозяйка, маленькие пушистые комочки сбежались к ним, прыгали по ботинкам, вертелись под ногами и делали все, чтобы на них нечаянно наступили и раздавили, как, впрочем, делают утята во всем мире. Никогда раньше мистер Полли не имел дела с утятами, поэтому их нежно-желтый пушок, безупречной формы лапки и клювы привели его в восторг. По-моему, нет ничего приятней недавно вылупившегося на свет утенка. С величайшей неохотой оторвался мистер Полли от этого восхитительного зрелища: его призывали обязанности перевозчика. Он опять взялся за шест, а хозяйка управляла его действиями с берега. Грести шестом было дело нелегкое, но вполне по силам мистеру Полли, и к четырем часам, преодолев рокочущую водную преграду, ему удалось переправить на противоположный берег еще одного пассажира.

Возвращаясь — он плыл медленно, но, можно сказать, почти уверенно и держа курс прямо на колышек, к которому привязывалась лодка,— он увидел на берегу очаровательное человеческое существо, ожидавшее, по-видимому, его. На берегу, широко расставив ноги, заложив руки за спину и чуть склонив набок голову, стояла девочка и наблюдала за действиями мистера Полли с презрительным любопытством. У нее были черные волосы, темные от загара ноги и живые, сообразительные глаза. Одета она была в короткое пышное платье.

— Привет!—крикнула она, когда мистер Полли приблизился на достаточное расстояние.

— Привет!— отозвался мистер Полли и едва не полетел в воду.

— Какой ты неловкий! — сказала девочка, а мистер Полли, сделав очередной рывок, приблизился к ней.

— Как тебя зовут?— спросила девочка.

— Полли.

— Врешь!

— Почему?

— Потому что Полли — это я.

— Тогда меня зовут Альфред. Но Полли — тоже мое имя.

— Меня раньше звали Полли.

— Ладно. Я буду у вас перевозчиком.

— Вижу. Только надо получше грести.

— Сейчас уже хорошо. А ты бы видела меня днем!

— Могу себе представить. Я видела, как начинали другие.

— Другие?

Мистер Полли причалил и теперь ставил на место шест.

— Да. Те, которых дядя Джим выгнал отсюда.

— Выгнал?

— Он приходит и всех выгоняет. Тебя он тоже выгонит, не беспокойся.

Таинственная черная тень упала на ясную солнечную картину благоденствия и покоя.

— Зачем же выгонять? — спросил мистер Полли.

— Дядя Джим знает зачем.

Девочка засвистела, как мальчишка, и стала бросать камешки в кусты таволги, нависшие над рекой.

— Когда дядя Джим вернется, он распорет тебе брюхо, — проговорила немного погодя девочка. — И, может быть, позволит мне посмотреть.

Наступило молчание.

— А кто такой дядя Джим? — спросил упавшим голосом мистер Полли.

— Он не знает, кто такой дядя Джим! Он тебе еще покажет! Он такой отчаянный, дядя Джим. Он вернулся совсем недавно, а уже выгнал отсюда троих. Он не любит посторонних. Очень не любит. И он здорово ругается. Он и меня научит ругаться, только сперва я должна научиться свистеть как следует.

— Научит тебя ругаться? — воскликнул в ужасе мистер Полли.

— И плеваться сквозь зубы, — гордо заявила девочка. — Он сказал, что я самая занятная маленькая тварь, какую он когда-либо видел.

Мистеру Полли показалось, что ни с чем более страшным ему раньше не доводилось встречаться. Перед ним стояла девочка, хорошенькая и задорная, прыгая на своих маленьких крепких ножках, и глядела на него гла-

зами, которым еще не скоро будет знакомо выражение страха или возмущения.

— Послушай,— сказал мистер Полли,— а сколько тебе лет?

— Девять,— ответила девочка.

Она отвернулась и задумалась. В ней заговорило чувство справедливости, и она прибавила еще одну фразу:

— Правда, дядя Джим некрасивый, совсем некрасивый,— сказала она.— Но он очень отчаянный и все знает. Бабушка его терпеть не может.

5

Мистер Полли нашел толстуху в большой, сложенной из кирпича кухне, где она разжигала огонь, чтобы вскипятить чай, и без обиняков приступил к делу.

— Послушайте, — сказал он. — Кто такой дядя Джим?

Толстуха побелела как полотно и на мгновение замерла. Одно полено выпало из охапки дров, которую она держала в руках. Она этого и не заметила.

— Вам рассказала моя внучка? — слабым голосом проговорила она.

— Кое-что,— ответил мистер Полли.

— Ну что ж, рано или поздно я все равно должна была вам об этом сказать. Джим — это... это бич. Бич здешних мест — вот кто он! Я надеялась, что вы не так скоро о нем услышите... Но похоже, он ушел насовсем.

— Она другого мнения.

— Он уже не появлялся здесь более двух недель,— сказала толстуха.

— Но кто он такой, этот Джим?

— Да, наверное, я должна вам рассказать,— проговорила хозяйка.

— Девочка сказала, что он всех выгоняет отсюда,— заметил мистер Полли после небольшой паузы.

— Это сын моей сестры.— Толстуха несколько секунд наблюдала за разгоравшимся огнем.— Да, наверное, я должна вам рассказать,— повторила она.

На глазах у нее показались слезы.

— Я стараюсь выкинуть его из головы, но все равно

думаю о нем днем и ночью. Я хочу забыть о нем. Я всю жизнь жила мирно и тихо. И вот теперь я в отчаянии, ибо мне грозит гибель и разорение. Такая беда! Я не знаю, что делать. И это сын моей сестры! А я вдова, я совсем беспомощна перед ним.

Она положила дрова на решетку, достала носовой платок и, заливаясь слезами, стала быстро рассказывать:

— Я хочу только одного: пусть он оставит в покое ребенка. А он приходит сюда, разговаривает с ней. Стоит мне отвернуться — учит ее ругаться, набивает ей голову всякими гадостями!

— Это плохо,— заметил мистер Полли.

— Плохо? — воскликнула хозяйка.— Это ужасно! А что я могу сделать? Он был здесь уже три раза, сначала шесть дней, потом неделю, потом еще несколько дней. И я денно и нощно молю бога, чтобы он больше не приходил сюда. Молю! А что толку? Он все равно придет. Он берет у меня деньги, забирает мои вещи. Он выгоняет отсюда всех, кто мог бы защитить меня, кто мог бы работать, выгоняет перевозчиков. А с перевозом прямо скандал. Люди приходят, кричат, вопят, ругаются... Если я иду жаловаться, мне говорят, что я не справляюсь с перевозом и что у меня отберут лицензию. А тогда мне придется уезжать отсюда. И нечем будет жить. Он это знает и играет на этом. Ему-то все равно. Я бы отослала куда-нибудь внучку, да у нас больше никого нет. Чтобы откупиться от Джима, я даю ему деньги. Он уходит и возвращается снова, еще более страшный, рыщет здесь вокруг, творит зло. И рядом со мной нет ни души, кто мог бы помочь. Ни души! Я так надеюсь, что придет избавление. Я так надеюсь... Такой уж у меня характер.

Мистер Полли думал о том, что нет на свете ничего идеального, во всем есть свои изъяны и минусы.

— Он сильный, наверное? — спросил мистер Полли. пытаясь со всех сторон оценить обстановку.

Но хозяйка не слыхала его слов. Она занималась огнем и расписывала ужасы, какими грозит появление дяди Джима.

— В нем всегда было что-то дурное,— говорила хозяйка,— но, в общем, ничего плохого никто не ожидал, пока его не взяли и не отправили в исправительный дом...

Он жестоко обращался с курицами и цыплятами, это верно, а однажды ударил ножом своего приятеля, но в то же время я видела, как он любит кошку—невозможно было любить больше. Я уверена: он никогда не причинил ей зла. Что бы об этом ни говорили, я никогда не слушала... Его испортил исправительный дом. Он жил там среди ужасных лондонских мальчишек, злых и жестоких. Джим никогда не боялся боли — я могу это подтвердить,— ну, они и внушили ему, что он герой. Мальчишки смеялись над воспитателями, смеялись и дразнили их, выводили их из себя — я думаю, что воспитатели в этом доме были не из лучших; да и то сказать, кто же поверит, что воспитатели, священники и надзиратели в исправительных домах — ангелы небесные, прости меня господи. Так о чем же это я?

— За что его отправили в исправительный дом?

— Бездельничал, воровал. Украл деньги у одной старушки. Меня спросили об этом на суде. А что я могла сказать, кроме правды? Он взглянул тогда на меня, как змея, а не как обыкновенный мальчишка. Облокотился на перила и поглядел. «Ладно же, тетушка Фло»,— сказал он и больше не прибавил ни слова. Сколько раз я вспоминала его взгляд и слова. И вот он здесь. «Они исправили меня,— сказал он мне,— превратили меня в дьявола, и я буду дьяволом для тебя. Так и знай!» Вот что он мне сказал, когда вернулся.

— Что вы ему дали в последний раз?— спросил мистер Полли.

— Три фунта золотом,— ответила толстуха.—«Три фунта не будут длиться вечно,— сказал он мне.— Но спешки нет. Я вернусь через неделю». Если бы не мой характер... Я всегда надеюсь на лучшее.

Она замолчала, не докончив.

Мистер Полли задумался.

— Он сильный?— спросил он.— Я ведь не Геркулес, если уж на то пошло. Ничего особенного в смысле мускулатуры.

— Вам лучше уйти,— сказала хозяйка, и в тоне ее прозвучала не столько горечь, сколько покорность.— Вам лучше уйти сейчас же, а я уж где-нибудь раздобуду для него денег, чтобы он оставил нас в покое. Вам ничего не остается, как уйти. Я не вправе ожидать от вас дру-

гого. Но ведь понятно, что женщине в моем положении приходится искать защиты у мужчины и надеяться, надеяться.

— Как давно он на свободе?— спросил мистер Полли, не открывая пока своих намерений.

— Седьмого будет три месяца, как он вошел вот через эту самую дверь. Я не видела его целых семь лет. Он стоял в дверях и наблюдал за мной. Потом взвыл, как собака, и давай гоготать над моим испугом. «Добрая старая тетушка Фло,— сказал он,— разве вы не рады видеть меня? Теперь, когда меня исправили?»

Толстуха подошла к крану и набрала в чайник воды.

— Я никогда его не любила,— говорила она, стоя у раковины.— И, увидев его здесь на кухне с черными сломанными зубами... Я, видно, не очень приветливо его встретила. Не нашла доброго слова, а только сказала: «Боже мой! Да это Джим!» «Он самый,— ответил Джим.— Весь перед вами — темная личность, отпетая голова. Вы все хотели, чтобы я исправился. Вот и получайте меня в исправленном виде. В абсолютно исправленном, с гарантией и свидетельством. Что же ты, тетушка, не приглашаешь меня в дом?» «Входи, пожалуйста,— ответила я.— Я рада тебя видеть». Он вошел и затворил за собой дверь. Сел на этот стул. «Я пришел, чтобы мучить тебя, — сказал он, — ты, старая чертовка!» И стал обзывать меня такими словами, какими, наверное, никого никогда не называли. Я заплакала. «А теперь я тебе покажу, что мне ничего не стоит причинить тебе боль»,— сказал он, встал со стула и вывернул мне руки.

Мистер Полли задохнулся от возмущения.

— Я бы вынесла от него все,— сказала толстуха,— только бы он оставил в покое ребенка.

Мистер Полли подошел к окну и увидел свою тезку на дальней дорожке сада. Она стояла, заложив руки назад, с растрепавшимися волосами и сосредоточенно рассматривала утят.

— Вас двоих нельзя так оставить,— сказал мистер Полли.

Толстуха глядела на его спину глазами, горящими надеждой.

— Конечно, я не могу вмешиваться в ваши дела,— заметил мистер Полли.

Толстуха снова занялась чайником.

— Мне бы хотелось взглянуть на него, прежде чем я уйду,— сказал мистер Полли, вслух выражая свои мысли, и прибавил: — Конечно, это не мое дело.

В баре послышались чьи-то шаги.

— Боже! — воскликнул мистер Полли.— Кто там?

— Это всего-навсего посетитель,— успокоила его толстуха.

6

Мистер Полли решил не давать опрометчивых обещаний, а сначала все хорошенько обдумать.

— Да,— сказал себе мистер Полли,— недурное место.— И добавил: — Для того, кто ищет неприятностей.

Но он остался в гостинице «Потуэлл», приступил к обязанностям, которые я перечислил выше, и занимался перевозом. Дядю Джима он увидел только через четыре дня. Так уж человек устроен: чтобы поверить во что-нибудь, он должен увидеть это собственными глазами. И мистер Полли стал было сомневаться, существует ли вообще на свете дядя Джим. Толстуха после первого порыва откровенности не заводила больше разговора на эту тему, а маленькая Полли, по-видимому, истощила запас своих впечатлений в первой беседе и теперь с наивным простодушием занималась изучением и покорением нового живого существа, которое ей послало небо. Первое неблагоприятное впечатление от неумелого обращения с шестом очень скоро сгладилось. Мистер Полли умел придумывать такие смешные имена утятам, сооружать кораблики из щепок и, как никто из взрослых, прятаться и убегать от воображаемого тигра в саду. И, наконец, она пришла к заключению, что можно в ее честь, в честь мисс Полли, называть этого человека мистером Полли, так как ему, видно, этого очень хотелось.

Дядя Джим появился в сумерки.

Его появление не сопровождалось кровавым насилием, как боялся мистер Полли. Дядя Джим возник бесшумно. Мистер Полли шел по ведущей в гостиницу дорожке позади церкви, возвращаясь с почты, где он отправлял письмо торговцам лимонного сока. Он шел по привычке не спеша и размышлял об отвлеченных предметах, как вдруг у него напряглись мускулы, он почувствовал, что рядом с ним, неслышно ступая, кто-то идет.

В сумерках мистер Полли разглядел очень широкое лицо со щербатым ртом, раздвинутым в ухмылке, сутулую фигуру и волочащиеся ноги.

— Одну минутку,— хриплым шепотом произнес незнакомец как бы в ответ на движение мистера Полли.— Одну минуточку, мистер. Это вы новый парень из гостиницы «Потуэлл»?

Мистер Полли решил отвечать уклончиво.

— Допустим,— сказал он осевшим голосом и ускорил шаг.

— Одну минутку,— повторил дядя Джим, хватая мистера Полли за руку. — Мы (проклятие) не на марафоне. И здесь (виртуозная брань) не гаревая дорожка. Я хочу сказать вам пару слов, мистер. Понятно?

Мистер Полли вырвал руку и остановился.

— В чем дело?— спросил он и поглядел противнику прямо в лицо.

— Я хочу (виртуозное ругательство) сказать вам пару слов. Понятно? Всего-навсего два слова, по-приятельски. Надо кое-что уточнить. Вот и все, что мне нужно. Коли вы новый парень из гостиницы «Потуэлл» (сверхвиртуозное ругательство), то незачем так задирать нос. Я вам не советую. Понятно?

Да, дядю Джима красавчиком назвать было нельзя. Низкого роста, ниже, чем мистер Полли, с длинными руками и большими костлявыми ладонями, он был одет в серую фланелевую рубаху, из которой вылезала тощая жилистая шея, поддерживавшая большую голову; в его сросшихся кустистых бровях, асимметричном лице и заостренном подбородке было что-то змеиное. В сумерках его огромный, почти беззубый рот казался черной пещерой. Один его глаз был маленький и живой, другой — следствие несчастного случая — большой, невидящий и налитый кровью, из-под голубой крикетной, надвинутой на незрячий глаз шапочки пучками торчали прямые, как солома, волосы. Он сплюнул и вытер рот тыльной стороной грязного кулака.

— Придется тебе мотать отсюда,— сказал он.— Понятно?

— Мотать?— спросил мистер Полли.— Почему?

— Потому что гостиница «Потуэлл» — мои владения. Понятно?

Мистер Полли никогда не чувствовал себя в более глупом положении.

— Как это ваши владения? — спросил он.

Дядя Джим вытянул вперед шею и потряс похожим на когтистую лапу кулаком перед носом мистера Полли.

— Не твое собачье дело,— сказал он.— Мотай— и все.

— А если я не уйду?

— Придется уйти.

Дядя Джим заговорил более настойчиво и одновременно вкрадчиво.

— Ты еще не знаешь, с кем имеешь дело,— сказал он.— Своим предупреждением я оказываю тебе милость. Понятно? Я из тех, кто ни перед чем не останавливается. Ни перед чем!

Мистер Полли тоже заговорил вкрадчиво, но сдержанно, всем своим видом показывая, что собеседник и содержание беседы его очень интересуют, но ни капельки не тревожат.

— Что же вы мне можете сделать? — спросил он.

— Если ты не уйдешь?

— Да!

— Черт побери! —воскликнул дядя Джим.—Не советую тебе этого делать. Смотри!

Он железными тисками схватил руку мистера Полли, и мистер Полли мгновенно оценил превосходство своего противника в мускульной силе. Дядя Джим тяжело дышал в лицо мистера Полли, что тоже не очень вдохновляло.

— Что я с тобой только не сделаю, — проговорил он,— если еще раз встречу тебя здесь!

Он помолчал. Окружающие сумерки, казалось, тоже ожидали, что скажет дядя Джим.

— Я сделаю из тебя отбивную котлету,— сказал Джим хриплым шепотом.— Я изувечу тебя, поломаю кости. Не оставлю на тебе ни одного живого места. Я изуродую тебя так, что родная мать не узнает...

Дядя Джим испытующе взглянул на мистера Полли.

— Ты будешь молить меня о пощаде,— сказал он.— О пощаде. Понял?

— Вы не имеете права...— начал было мистер Полли.

— Не имею права? — в ярости повторил дядя Джим.— Ты что, не знаешь, что старуха — моя тетка?

Затем дядя Джим опять сбавил тон:

— Я сделаю из тебя кровавое месиво. Разрежу на куски.

Отступив на шаг, он прибавил:

— Но вообще-то ссориться с тобой я не хочу.

— Сегодня уже поздно уходить,— сказал мистер Полли.

— Я приду завтра, около одиннадцати. Понятно? И если я застану тебя...

Дядя Джим разразился проклятиями, от которых кровь стынет в жилах.

— Гм,— промычал мистер Полли, стараясь не ронять достоинства.— Мы подумаем о вашем предложении.

— Подумай, подумай, — посоветовал дядя Джим и стал отступать так же внезапно и бесшумно, как появился.

Какое-то время до мистера Полли еще доносились обрывки его угроз: «Превращу тебя в лепешку!.. Изуродую до неузнаваемости... Вырву из тебя печень и брошу ее собакам... Понятно?.. Мне наплевать на все, я ничего не боюсь».

Странно жестикулируя, дядя Джим уходил в темноту, пока не осталось видно только одно лицо. Туловище дяди Джима поглотила черная тень изгороди.

7

На следующий день в половине одиннадцатого утра мистер Полли очутился под елями, что росли у дороги в трех с половиной милях от гостиницы «Потуэлл». Он сам не знал, вышел ли он прогуляться и на досуге все хорошенько обдумать или насовсем покинул эту землю обетованную, над которой нависла беда. Здравый смысл категорически настаивал на втором.

Ибо в конечном счете это была не его беда.

Какое ему дело до этой, пусть доброй, спокойной и милой толстухи, до этой девочки с копной черных волос, в которой так причудливо сочеталось очарование бабочки, мышки и порхающей птички и которая была изящней цветка и нежнее персика? Господи, что они для него? Ничего!..

Дядя Джим, конечно, имеет какие-то права.

Если уж говорить о долге, то расставаться с этой приятной, праздной, веселой, полной приключений жизнью стоит лишь ради тех, кто имеет на него законное право, кто может претендовать на его защиту и покровительство.

Почему не послушаться веления долга и не вернуться сейчас же обратно к Мириэм?..

Он провел такие замечательные каникулы...

И пока мистер Полли сидел под елями и ломал себе голову над тем, какое решение принять, он знал, что, если бы он осмелился поднять глаза, небеса разверзлись бы и он бы прочитал начертанный в лазури приговор себе.

Он знал теперь о жизни все, что только может знать человек. Он знал, что должен бороться, иначе он погибнет.

Еще никогда жизнь не была ему так понятна, как сейчас. Жизнь всегда была для него запутанным, увлекательным спектаклем. В поисках вещей удобных и приятных он поддавался разным порывам, но всегда уходил от трудностей и опасностей. Таков путь тех, кто боится рисковать и не гонится за славой. До сих пор он жил, как живет в джунглях блуждающий в густых зарослях дикарь, покорный, не ведающий ни неба, ни морских просторов. И вот он вырвался наконец из этих джунглей на бескрайние просторы жизни. Ему казалось, что само небо наблюдает сейчас за ним, что вся земля притихла в ожидании.

— Не мое это дело,— проговорил мистер Полли вслух.— Какого дьявола мне надо?

— Не-е-ет, черт возьми, не мое это дело!— снова не то завыл, не то зарычал мистер Полли.

Ему казалось, что его мозг разделился на несколько частей и в каждой идет своя работа. Одна часть переваривала фразу, брошенную дядей Джимом: «Изуродую до неузнаваемости». Есть французская борьба, где дерутся ногами. Следи за противником, и как только он поднимет ногу, ее тут же надо хватать, тогда он рухнет на землю, если, конечно, не упустить момента. Но как не упустить момент — это вопрос.

При мысли о дяде Джиме все внутри у него холодело и замирало.

— Старая чертовка! Втравила меня в свои дрязги! Она должна была пойти в полицию и просить помощи там. Втянуть меня в такую историю! Мне-то какое дело? И как это я набрел на эту проклятую гостиницу?

Решение вопроса было для него делом не менее ясным, чем небесный свод над головой, не менее ясным и простым, чем безмятежная синева неба, чем волнистая цепь холмов и расстилавшиеся вокруг равнины. Человек приходит в эту жизнь, чтобы искать и найти свой идеал, служить ему, бороться за него, завоевать, сделать его более прекрасным, пойти ради него на все, и все выстоять, с презрением глядя даже в лицо смерти. Страх, а также скука, праздность и чревоугодие, что, собственно говоря, не более, не менее, как родные братья страха, подкарауливают его по ночам, стараясь поймать в ловушку; они его враги, они мешают ему, связывают, опутывают его по рукам и ногам, хитростью заманивают его и в конце концов погубят. Ему надо только глянуть вверх, и тогда он поймет, что плывущие облака и колышущиеся травы — это частица его души. Но он сдерживал себя, этот ворчливый, бесславный, грязный, тучнеющий бродяга, чья голова была полна фантазий и очень шатких оправданий себе.

— И зачем только я родился на белый свет? — воскликнул он.

И правда чуть было не взяла над ним верх.

А что сделали бы вы, если бы грязный парень, от которого смердит, напал на вас, сшиб в грязь, придавил вашу грудь коленом и большой волосатой рукой начал бы сжимать вам горло только за то, что вы впутались, честно говоря, не в свое дело?

— Будь у меня хоть какой-нибудь шанс на победу...— стонал мистер Полли.

— Ничего хорошего не выйдет, пойми! — говорил себе мистер Полли.

Он встал решительно, как будто никаких сомнений у него больше не было, и опять на мгновение заколебался.

Перед ним лежала дорога, в одну сторону убегавшая на запад, в другую — на восток.

Если пойти на запад, то через час будешь в гостинице «Потуэлл». А там, возможно, уже стряслась беда..

На восток лежит путь мудрого человека; дорога вьется меж живых изгородей, ныряет в заросли хмеля, оттуда убегает в лес, а за лесом, без сомнения, приютилась гостиница, живописная церковь, деревня, новые люди. Это дорога мудрого человека. Мистер Полли представлял себе, как идет по этой дороге, и, воображая эту картину, старался испытать самое большое удовольствие, на какое только способен мудрый человек. Но что-то это не очень ему удавалось. Мудрый человек, несмотря на всю свою мудрость, чувствовал себя несчастным. У мудрого человека было круглое брюшко, покатые плечи, красные уши и неспокойная совесть. Это была такая прелестная дорога! Мистер Полли просто не мог понять, почему мудрый человек не способен шагать по ней с веселым сердцем, напевая песни, наслаждаясь летним днем. Но, черт побери, факт остается фактом. Воображаемая фигурка не шла, а еле-еле плелась — другого слова не подберешь. Он посмотрел на запад, как будто ища там объяснения этой загадке: фигурка, идущая по западной дороге, была исполнена благородства, но то, что ее ожидало, приводило мудрого человека в отчаяние.

— Такому, как я, довольно пинка в живот,— проговорил мистер Полли.

— О господи!— воскликнул мистер Полли и, подняв глаза к небу, в последний раз повторил:— Это не мое дело!

С этими словами он повернул в сторону гостиницы «Потуэлл».

Окончательно решившись, он шел обратно, не останавливаясь и не прибавляя шагу, и ум его был занят лихорадочной работой.

— Если он меня убьет, то меня не станет, если я его убью, то меня повесят. Это, однако, несправедливо.

— Не думаю, чтобы он меня испугался.

8

Война между мистером Полли и Джимом за обладание гостиницей «Потуэлл» сама собой вылилась в три большие кампании. Сначала произошло грандиозное сра-

жение, окончившееся позорным изгнанием дяди Джима с территории гостиницы; затем, после короткой передышки, дядя Джим предпринял неудачное вторжение в «Потуэлл», завершившееся битвой, где оружием был дохлый угорь; а после нескольких месяцев невольного затишья разыгрался последний крупный конфликт, вошедший в историю под названием «Ночная атака». Каждый из этих этапов заслуживает отдельного описания.

Итак, мистер Полли, проявляя осторожность, вернулся в гостиницу.

Толстуха сидела за стойкой. У нее было бледное, мокрое от слез лицо и полные отчаяния глаза.

— О господи, о господи!..— твердила она.

В комнате стоял крепкий запах спиртного, на посыпанном песком полу перед стойкой валялись осколки разбитой посуды и стакан.

Хозяйка посмотрела на дверь, и отчаяние уступило место изумлению.

— Вы вернулись?— спросила она.

— Похоже на то,— ответил мистер Полли.

— Он напился до потери сознания и ищет ее.

— Где она?

— Наверху под замком.

— Послали за полицией?

— Некого посылать.

— Хорошо, я позабочусь об этом,— сказал мистер Полли.— Он вышел туда?

Хозяйка кивнула.

Мистер Полли подошел к окну и выглянул наружу. Дядя Джим шел к дому по садовой дорожке, засунув руки в карманы, и охрипшим голосом горланил песню. Впоследствии мистер Полли с гордостью и удивлением вспоминал, что он не испытал в эту минуту ни слабости, ни скованности. Он огляделся вокруг, схватил бутылку пива за горлышко и, размахивая этим новым видом дубинки, вышел в сад. Дядя Джим, ошеломленный таким неожиданным поворотом событий, остановился и не сразу нашелся, что сказать.

— Ты!..— вскричал он, застыв на мгновение.— Ты вернулся?

— Твоя школа,— сказал мистер Полли и сделал два шага навстречу дяде Джиму.

Охваченный гневным изумлением, дядя Джим постоял на месте, покачиваясь, а потом ринулся на мистера Полли со сжатыми кулаками. Мистер Полли знал, что, если он позволит своему противнику приблизиться к себе, он погиб, а потому, размахнувшись изо всех сил, ударил бутылкой по очутившейся перед ним уродливой голове. Бутылка разлетелась вдребезги, дядя Джим зашатался, оглушенный ударом и ослепленный пивом.

Таинственная вещь — ум человека с его заблуждениями и странностями. Мистер Полли никак не ожидал, что бутылка разобьется. Он вдруг почувствовал себя безоружным и беспомощным. Перед ним был разъяренный и готовый броситься на него дядя Джим, а у мистера Полли для защиты осталось только горлышко от бутылки.

Какое-то время мистер Полли держался геройски, но теперь опять он пал духом. Почувствовав малодушный страх, он швырнул бесполезный осколок бутылки на землю, повернулся и помчался за угол дома.

— Бутылки! — прохрипел у него за спиной дядя Джим, как бы принимая вызов, и, истекающий кровью, но неукротимый, исчез в доме.

— Бутылки! — пробормотал он, оглядывая стойку.— Сражение бутылками! Я покажу ему, как драться бутылками!

В исправительном доме дядя Джим изучил до тонкостей способ сражения при помощи бутылок. Не обращая внимания на оцепеневшую от ужаса тетушку, он стал хватать пивные бутылки и после двух или трех неудач приготовил себе отличное оружие, отколов у двух бутылок дно и превратив их в некое подобие кинжала. Схватив опасное оружие за горлышко, он отправился убивать мистера Полли.

Мистер Полли, почувствовав себя вдали от непосредственной опасности, остановился за кустами малины и призвал на помощь все свое мужество. Сознание того, что дядя Джим опять воцарился в доме, вернуло ему отвагу. Он обогнул сарай и вышел на берег, ища какое-нибудь оружие. Под руку ему попался старый багор. Этим багром он ударил по голове дядю Джима, когда тот появился на пороге гостиницы. Багор раскололся на две половины, и дядя Джим, оглашая воздух страшными

проклятиями и размахивая подобием смертоносного оружия в обеих руках, проскочил сквозь расщепившийся багор, как цирковой наездник проскакивает сквозь бумажный обруч. Мистер Полли бросил багор и пустился наутек.

Поверхностный наблюдатель, следя за тем, как мистер Полли бегает вокруг гостиницы, преследуемый мстительным, но малоповоротливым дядей Джимом, пришел бы к ошибочному выводу касательно исхода сражения. Пока мистер Полли бегал вокруг гостиницы, определились очень важные его тактические преимущества: на стороне дяди Джима была сила, отчаянная храбрость и богатый опыт по части драк, приобретенный в исправительном доме, мистер же Полли был трезв, более подвижен, а сообразительность его обострилась до невероятности. Он не только оставил далеко позади своего преследователя, но даже подумывал о том, как получше использовать достигнутое преимущество. Слово «стратегия» красными буквами горело в его смятенном сознании. Обежав дом в третий раз, он неожиданно метнулся во двор, захлопнув за собой калитку, запер ее, схватил возле кухни цинковое ведро, из которого кормили поросенка, и, когда с противоположной стороны из-за сарая несколько запоздало появился дядя Джим, аккуратно и звучно надел это ведро ему на голову. Осколок бутылки царапнул ухо мистера Полли, но в пылу битвы мистер Полли ничего не заметил. Дядя Джим повалился наземь и, катаясь по вымощенному черепицей двору и разбивая вдребезги свое стеклянное оружие, громыхал ведром, которое все еще было у него на голове. А мистер Полли тем временем запирал за собой кухонную дверь.

— Не может же это продолжаться вечно,— проговорил мистер Полли, отдуваясь и выбирая оружие среди стоявших возле двери метел.

Дядя Джим терял голову. Он вскочил на ноги и принялся колотить в дверь, осыпая своего врага бранью и приглашая его выйти, в то время как наш стратег бесшумно выскользнул из дома через парадную дверь, без труда засек местонахождение дяди Джима, стал к нему подкрадываться и..!

Но прежде чем мистер Полли успел обрушить очередной удар на голову дяди Джима, тот услыхал шаги и

обернулся. Мистер Полли дрогнул и опустил метлу. Роковая ошибка!

— Ага, попался! — завопил дядя Джим и, выделывая умопомрачительные прыжки, устремился на мистера Полли.

Он уже готов был наброситься на него, когда мистер Полли, озаренный — это было поистине чудо! — выставил вперед метлу, за которую дядя Джим ухватился обеими руками.

— Пусти! — закричал он и стал тянуть.

Мистер Полли, закусив побелевшие губы, затряс головой и тоже стал тянуть. Каждый тянул в свою сторону. Тогда дядя Джим решил обогнуть метлу и приблизиться к мистеру Полли, но мистер Полли сделал шаг в противоположную сторону. Оба начали бегать по кругу, внимательно наблюдая за каждым движением противника и крепко держась за метлу. Мистер Полли, разумеется, хотел бы, чтобы метла была подлиннее, футов так двенадцати-тринадцати. Дядя Джим, очевидно, предпочел бы более короткую метлу. Он, задыхаясь, рассказывал, что произойдет вскоре, какая чудовищная, кровавая расправа, заимствованная из опыта восточных тиранов, ожидает его противника, как только их перестанет разделять эта мерзкая метла. А мистер Полли думал о том, что никогда в жизни не встречал более гнусного субъекта. Наконец дядя Джим решил прибегнуть к более энергичным действиям, но движения его сковывались алкоголем, и мистер Полли сумел дать ему отпор. Тогда дядя Джим стал дергать метлу изо всех сил и чуть было не вырвал ее из рук мистера Полли. Но мистер Полли вцепился в метлу мертвой хваткой, как утопающий. Дядя Джим с силой двинул метлой вперед, чтобы попасть мистеру Полли в солнечное сплетение, и опять мистер Полли, оказавшись начеку, ускользнул, описав круг. И тут вдруг блестящая мысль осенила мистера Полли. Он увидел, что совсем рядом река, что всего в трех шагах причал с его лодкой. С диким воплем мистер Полли двинул метлу в ребра дяди Джима.

— Ура! — закричал он, чувствуя, что противник слабеет.

— А, черт! — выругался дядя Джим, отступая.

Мистер Полли повторил выпад еще раз и выпустил

метлу из рук, оставляя ее в слабеющих тисках противника.

Плеск! Дядя Джим забарахтался в воде, а мистер Полли, как кошка, прыгнул в свою лодку и схватил шест.

Дядя Джим выскочил из воды весь мокрый и жалкий.

— Ты (неповторимое ругательство; если его привести, то придется иметь дело с цензурой), ты знаешь, что у меня слабая грудь!

Шест уперся ему в шею и отправил его опять в воду.

— Пусти! — кричал дядя Джим с неподдельным ужасом в глазах, метавших совсем недавно молнии.

Плеск! Дядя Джим опять в воде, мистер Полли ткнул его шестом посильнее. Дядя Джим перевернулся под водой и вынырнул опять, направляясь к середине реки. Но как только над поверхностью вспененной воды появилась его голова, мистер Полли ударил его меж лопаток, и дядя Джим снова нырнул, пуская пузыри. Из воды выскочила судорожно сжатая рука и исчезла.

Это было великолепно! Мистер Полли наконец-то нащупал ахиллесову пяту своего врага: дядя Джим боялся холодной воды. Метла плыла по течению, мягко покачиваясь на волнах. Мистер Полли, окрыленный победой, еще раз заставил дядю Джима нырнуть и, вытянув шест на всю длину цепи, хотел в четвертый раз ударить дядю Джима, когда тот опять появился над водой — он очутился на глубоком месте, почти не доставал до дна и, по-видимому, уже прощался с жизнью,— но, к счастью для обоих, мистер Полли до него не дотянулся.

Дядя Джим барахтался в воде, как человек, не умеющий плавать.

— Не смей больше здесь появляться! — крикнул ему мистер Полли.

Дядя Джим, с трудом нащупав дно, стал приближаться к берегу: сначала вода открыла его до подмышек, потом появились пуговицы на жилете, сперва одна, потом другая, две остальные так и остались скрытыми под водой, и пошел, с трудом передвигаясь в воде, прочь от гостиницы.

— Не смей больше здесь появляться! — кричал мистер Полли и, взяв с собой шест, последовал за дядей Джимом по берегу.

— Я же сказал тебе, что у меня слабая грудь, — говорил слезливым тоном дядя Джим. — Я терпеть не могу купаться. Так нечестно.

— Не смей больше здесь появляться! — говорил мистер Полли.

— Так нечестно, — повторил дядя Джим, чуть не плача и потеряв всю свою свирепость.

— Не смей здесь больше появляться! — говорил мистер Полли, нацеливаясь шестом.

— Говорят тебе, дурак, мне нельзя быть долго в воде! — крикнул дядя Джим в порыве отчаяния и негодования, продолжая брести вниз по реке.

— Не смей здесь больше появляться! Чтобы духу твоего не было на этом берегу! — продолжал его преследовать мистер Полли.

Медленно, не переставая препираться, с видимой неохотой шел в воде дядя Джим. Он грозил, умолял, даже попытался с некоторым запозданием разжалобить мистера Полли. Мистер Полли оставался неумолим, хотя втайне чувствовал некоторую неуверенность в исходе конфликта.

— Холодное купание мне очень вредно! — сказал дядя Джим.

— Тебя надо было охладить. Не смей сюда больше носа совать, — откликнулся мистер Полли.

Они повернули, следуя за изгибом реки, и увидели островок Николсон, где была мельничная запруда. И тут после долгих разговоров и попыток обмануть бдительность мистера Полли обессилевший дядя Джим ухватился за прибрежный ивняк на островке и выбрался наконец из воды, отделенный от мистера Полли и его шеста мельничной протокой. Он ступил на землю, весь мокрый, грязный и полный мщения.

— Клянусь дьяволом, — сказал он, — я спущу с тебя за это шкуру!

— Если ты хоть раз здесь появишься, с тобой еще не то будет, — пригрозил в ответ мистер Полли.

К этому времени винные пары совсем выветрились из головы дяди Джима. Он повернулся и пошел прочь от берега к мельнице, продираясь сквозь ивовые кусты и оставляя на их зеленовато-серых ветвях блестящие капли воды.

Мистер Полли возвращался в гостиницу не спеша, полный раздумий. И неожиданно в его уме стали возникать одна за другой великолепные фразы. Хозяйка гостиницы стояла на ступеньках, ведущих к двери бара, и поджидала его возвращения.

— Господи! — воскликнула она, завидев мистера Полли.— Он не убил вас?

— А что, разве я похожу на убитого?

— А где Джим?

— Ушел!

— Он был ужасно пьян и опасен.

— Я искупал его в реке, — сказал мистер Полли.— Это успокоило его разгоряченные алкоголем мозги. Я задал ему хорошую головомойку.

— Он не поранил вас?

— Нисколько!

— А почему у вас на ухе кровь?

Мистер Полли потрогал ухо.

— В самом деле, порез! Как все-таки устроен человек! Ничего не замечает в пылу битвы. Он, вероятно, поранил меня, когда махал своими бутылками! А, Полли, привет! Сходи вниз, не бойся!

— Он не убил тебя? — спросила девочка.

— И не подумал!

— Как жалко, что я не видела все сражение.

— А что ты видела?

— Только как дядя Джим гонялся за тобой вокруг дома.

Минуту все молчали.

— Я выматывал его силы, — нарушил молчание мистер Полли.

— Кто-то кричит на том берегу, зовет перевозчика,— сказала девочка.

— Отлично! Но ты можешь не бояться, ты теперь не скоро увидишь дядю Джима. Мы с ним имели серьезный разговор на этот счет.

— По-моему, это кричит дядя Джим, — сказала девочка.

— Ну, он подождет,— бросил коротко мистер Полли.

Он обернулся, прислушиваясь к тому, что кричал маленький человечек на том берегу. Насколько он мог судить, дядя Джим назначал свидание на завтра. Мистер

Полли ответил ему красноречивым поднятием шеста. Жалкая фигурка еще немного пометалась по противоположному берегу и стала удаляться вверх по течению, всем своим видом выражая ярость.

Так окончилось первое сражение, окончилось победой, которая, однако, не была окончательной.

9

Следующий день, жаркий, душный, наполненный жужжанием пчел, была среда—самый спокойный день в гостинице «Потуэлл». Через реку переправились всего один-два человека; зашел в бар подкрепиться имбирным элем и куском холодной говядины рыбак, оснащенный всевозможными рыбацкими принадлежностями; посидели часок за кружкой пива несколько косарей, которые потом весь день присылали мальчишку с кувшинами,— вот и все посетители. Мистер Полли встал рано и весь день, занимаясь хозяйством, не переставал размышлять над тем, что предпримет дядя Джим. Он уже не был в том тревожном возбуждении, как в первую встречу. Он был серьезен и озабочен. Подобно всем наглецам дядя Джим после первого же поражения потерял свою грозность, стал уязвим, понятен. Он представлял собой опасность, но не смертельную. Один раз волею провидения он был побежден, его можно будет победить и в другой раз.

Мистер Полли бродил по дому и саду, оценивая боевые возможности мирных предметов: кочерег, медных прутьев, садового инвентаря, кухонных ножей, садовой сетки, колючей проволоки, весел, веревки для белья, одеял, оловянных кружек, чулок и разбитых бутылок. Подражая лучшим ист-эндским образцам, он изготовил палицу из опущенной в носок чулка бутылки. Но когда для пробы крутанул этим оружием над головой, то разбил окно сарая: стекла брызнули во все стороны, и чулок в клочья изорвался. Он решил было превратить подпол в западню, но потом отказался от этого коварного плана, во-первых, потому, что в ловушку могла попасться сама хозяйка, а во-вторых, заманивать дядю Джима в погреб не имело смысла. Потом придумал опоясать сад колючей проволокой, чтобы уберечься от внезапного ночного нападения.

Около двух часов дня в большой лодке со стороны Лэммема приплыли три молодых человека и попросили разрешения разбить лагерь на лугу перед гостиницей. Мистер Полли позволил им это с охотой, ибо надеялся, что их присутствие, возможно, охладит воинственный пыл дяди Джима. Но он не предвидел, да, пожалуй, никто не мог предвидеть, что к вечеру дядя Джим, вооруженный грубо отесанным колом, подкрадется незаметно к гостинице и, приняв по ошибке согнутую фигуру одного из молодых людей, который в это время с разрешения мистера Полли рвал на огороде зеленый лук, за своего противника, быстро и неслышно приблизится к нему и огреет по широкому заду, как будто специально выставленному для этого. Это, конечно, было очень опрометчиво со стороны дяди Джима; звонкое эхо от удара унеслось в небеса, раздался вопль негодования, и мистер Полли, вооружившись сковородкой, которую он в это время чистил, выскочил из гостиницы, чтобы напасть на врага с тыла. Дядя Джим, обнаружив свой промах, разразился проклятиями и побежал было прочь, но тут же был схвачен приятелями злополучного молодого человека, возвращавшимися с продуктами от мясника и бакалейщика. Они стали колошматить его по лицу бифштексами и кульками с колотым сахаром и держали его очень крепко, хотя дядя Джим кусался. В наказание они решили его искупать. Это были веселые, крепкие молодые клерки из конторы биржевого маклера, солдаты запаса. Они окунали дядю Джима в воду с такой легкостью, как будто он был куклой. А мистеру Полли ничего не оставалось делать, как собрать их сахар, обмахнуть с него пыль рукавом, положить на тарелку и объяснить парням, что дядя Джим известен дурным поведением и не совсем в своем уме.

— На него временами находит. Но что поделаешь, племянник хозяйки,— сказал мистер Полли.— Сущее наказание, а не человек.

Но он перехватил взгляд дяди Джима, когда тот удалялся из гостиницы, уступая настойчивым требованиям постояльцев, столь сурово расправившихся с ним, а ночью он поеживался от мысли, что в третий раз счастье может изменить ему.

Третий раз наступил очень скоро, как только парни уехали.

В четверг все службы в Лэммеме кончались раньше чем обычно, и, если не считать воскресенья, этот день был самым тяжелым в гостинице «Потуэлл». Иногда по четвергам у причала гостиницы останавливалось сразу шесть лодок, не считая ее собственных, которые давались на прокат всем желающим. Приезжие либо заказывали чай с вареньем, пирогом и яйцами, либо просили чайник кипятку и на этом успокаивались, либо выбирали закуску по карточке меню. Каждому находилось место, но обычно публика, довольствующаяся только кипятком, располагалась прямо на земле, из деликатности не претендуя на столики. Те, кто заказывал чай с закуской, усаживались за самый близкий к бару столик, накрытый лучшей скатертью.

Группы отдыхающих на лужайке перед гостиницей были бальзамом для души мистера Полли. Справа за столиком, уставленным всевозможными яствами, сидели самые почтенные гости; рядом с ними — компания из пяти человек: три молодых парня, в зеленой, голубой и лиловой рубашках, и две девицы, одна в желтой блузе, другая в сиреневой; они пили за зеленым столиком без скатерти чай с вареньем из крыжовника. Затем прямо на траве под круглой ивой расположилось небольшое семейство, захватившее с собой большую корзину с провизией; это семейство довольствовалось чайником с кипятком и было несколько взволновано нападающими на варенье осами, чье гнездо пряталось в кроне ивы. Все представители этого семейства были облачены в траур, но тем не менее выглядели счастливо. А справа от них, на лужайке, распивала имбирный эль веселая и шумная компания подмастерьев в рубахах с расстегнутыми воротниками. Молодые люди и девицы в ярких, как радуга, блузках и рубашках были в центре внимания всего сборища. Ими предводительствовал человек постарше, в золотых очках, с приятным голосом и несколько таинственным видом. Он всем распоряжался и проявил удивительную осведомленность по части потуэлласких варений, с замечательным постоянством отдавая предпочтение крыжовнику. Мистер Полли, внимательно понаблюдав за ним, назвал его про себя «влиятельно-благодетельной

особой», а затем, посмотрев на подмастерьев, вошел в дом и спустился в погреб, чтобы пополнить запасы имбирного эля, опустошенные с попустительства толстухи ее гостями. О появлении дяди Джима мистер Полли услыхал, находясь в погребе. Он узнал голос, который был не только грубым, но и хриплым, как обычно бывает под воздействием алкоголя.

— Где этот грязный ублюдок?! — кричал дядя Джим. — Пусть он выйдет ко мне! Где этот чертов свистун с шестом?! Подавайте его сюда, я хочу с ним поговорить! Эй ты, жирное, грязное брюхо, выходи! Выходи немедленно, я намылю твою грязную рожу! У меня есть кое-что для тебя!.. Слышишь?

— Он спрятался, — продолжал дядя Джим несколько разочарованно. Но очень скоро его голос опять обрел гневные интонации. — Убирайся из моего гнезда, ты, жалкий трус! — кричал дядя Джим. — Не то я вспорю твое жирное брюхо! Выходи немедленно, рябая крыса! Выгнать человека из его собственного дома! Подойди ко мне и посмотри мне в глаза, подлая, гнусная тварь!

Мистер Полли взял бутылки с элем и стал задумчиво подниматься по ступенькам в бар.

— Он вернулся, — сказала толстуха, когда мистер Полли появился в комнате. — Я знала, что он вернется.

— Я слышал его голос, — ответил мистер Полли и оглянулся. — Дайте-ка мне старую кочергу, что лежит под пивным насосом.

Входная дверь отворилась, и мистер Полли быстро обернулся. Но он увидел лишь острый нос и интеллигентное лицо благовоспитанного молодого человека в золотых очках. Молодой человек кашлянул, и его очки воззрились на мистера Полли.

— Прошу прощения, — сказал он спокойно, но веско. — Тут перед домом парень, он хочет кого-то видеть.

— Почему он не войдет сюда?

— Он, по-видимому, желает, чтобы вы к нему вышли.

— Что ему надо?

— Мне кажется, — ответил молодой человек после недолгого раздумья, — он принес вам в подарок рыбу.

— Это он там кричит?

— В самом деле, он немного шумно себя ведет.

— Скажите ему, пусть он идет сюда.

Молодой человек стал более настойчивым.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вышли и прогнали его отсюда,— сказал он.— Он, видите ли, выражается, а здесь дамы.

— Он всегда выражается,— сказала толстуха, и в ее голосе послышалось отчаяние.

Мистер Полли подошел к двери и взялся за ручку. Лицо в золотых очках исчезло.

— Послушайте, мой друг,— раздался снаружи голос,— будьте поосторожнее в выражениях...

— Как ты смеешь называть меня своим другом, черт тебя подери? — вскричал дядя Джим, обиженный до глубины души.— Недоносок в золотой оправе, вот кто ты!

— Тс, тс! — зашикал на него джентльмен в золотых очках.— Возьмите себя в руки.

Как раз в эту минуту и вышел из дому с кочергой в руках мистер Полли, чтобы стать очевидцем дальнейших событий. Дядя Джим, без пиджака, в одной рубахе, разодранной на груди, держал что-то в руках. Это был дохлый угорь, которого он ухватил газетой за хвост и размахивал так, чтобы как можно больнее хлестнуть им снизу вверх. Угорь шлепнул со странным глухим звуком по подбородку джентльмена в очках, и вопль ужаса вырвался из груди всех присутствующих. Одна из девиц пронзительно вскрикнула: «Гораций!» — и все повскакали с мест.

— Брось эту гадость!— чувствуя на своей стороне численное превосходство, воскликнул мистер Полли и стал спускаться по ступенькам, размахивая кочергой и выставив впереди себя джентльмена в золотых очках. В прежние времена герои ведь тоже защищались щитом из бычьей кожи.

Внезапно дядя Джим рванулся с места и наступил на ногу молодому человеку в голубой рубашке. Тот немедленно набросился на дядю Джима и вцепился в него обеими руками.

— Пусти!— заорал дядя Джим.— Вот кого я ищу!— И, отшвырнув в сторону голову джентльмена в очках, ударил угрем по лицу мистера Полли.

При виде такого бесчестья, творимого над джентльменом в золотых очках, сердце одной из девиц не вы-

держало, и розовый зонтик пришелся прямо по жилистой шее дяди Джима. Молодой человек в голубой рубашке сумел было снова ухватить дядю Джима за шиворот, но тот опять вывернулся.

— Проклятые суфражистки!— взревел дядя Джим, получив по шее.— Нет от вас спасенья.— И ухитрился нанести второй, более удачный удар мистеру Полли.

— Уф!— только и сказал мистер Полли.

Но в драку уже вступали те, кто пил чай с закуской.

— Что этому парню здесь надо? Где полиция?— негодующе вопрошал полный, но вполне еще крепкого сложения господин в клетчатом черно-белом костюме.

И мистер Полли еще раз убедился, что общественное мнение на его стороне.

— А ну подходи все, сколько вас есть!— кричал дядя Джим. И, проворно обернувшись, стал крутить вокруг себя угрем, создавая неприступную зону.

Розовый зонтик, вырвавшийся из державшей его руки, описал кривую и упал на зеленый столик без скатерти, производя на нем разрушения.

— Хватайте его! Хватайте за шиворот!— кричал джентльмен в золотых очках, отступая к входу в бар, ибо, по-видимому, нуждался в передышке.

— Не подходите вы, проклятые каминные безделушки! — кричал дядя Джим. — Не подходите!

Он отступал, сдерживая натиск противника описывающим круги угрем.

Мистер Полли, невзирая на причиненный его носу ущерб, решительно атаковал по фронту; молодые люди в лиловой и голубой рубашках нажимали с флангов; им оказывал поддержку господин в клетчатом костюме, а мальчишки-подмастерья помчались за веслами. Джентльмен в очках, как бы вдохновленный свыше, сбежал по деревянным ступенькам, схватил конец скатерти, лежавшей на столе самой почтенной компании, осторожно, чтобы не разбить посуду, сдернул ее со стола и, стиснув губы, двинулся боком на общего врага, как-то странно припадая к земле, поблескивая очками и подражая позой и жестами тореадору. Дядя Джим был слишком занят, чтобы разработать план своего отступления в строгом соответствии со стратегической наукой. Более того, он был явно озабочен близостью реки у него в тылу. Он

сделал обходный маневр и очутился в расположении семьи, облаченной в траур, которая немедленно ретировалась. Топча чашки, опрокинув чайник, он в конце концов споткнулся о корзину и упал на спину. Угорь вылетел по касательной из его руки и, образовав никому не страшную более петлю, остался лежать на траве.

— Держи его!—кричал джентльмен в очках.—Хватай за шиворот!

В мгновение ока очутившись возле распростертой фигуры, он окутал самой лучшей скатертью голову и руки дяди Джима. Мистер Полли тут же понял его намерение, господин в клетчатом костюме тоже недолго ломал себе голову. И не прошло и минуты, как дядя Джим превратился в изрыгающий проклятья куль, обладавший парой слишком подвижных ног.

— В воду его! — задыхаясь, прокричал мистер Полли, наваливаясь всем телом на фигуру, олицетворявшую землетрясение.— Самое лучшее — в воду!

Куль сотрясался в пароксизмах гнева и возмущения. Одна нога ударила по корзине, и та отлетела в сторону ярдов на десять.

— Пусть кто-нибудь бежит в дом за бельевой веревкой!—крикнул джентльмен в очках.—Он сию минуту вырвется из этой скатерти.

Один из подмастерьев бросился к дому.

— Давайте сюда сеть для ловли птиц! — закричал мистер Полли.— Она в саду!

Мальчишка замешкался, не зная, куда бежать.

Дядя Джим вдруг весь обмяк, и победители почувствовали под руками безжизненное, ослабевшее тело. Он лежал, подогнув под себя ноги, рук его не было видно.

— Потерял сознание!— воскликнул господин в клетчатом костюме и ослабил тиски.

— Наверное, припадок,— высказал предположение джентльмен в очках.

— Держите крепче! — крикнул мистер Полли, но было уже поздно.

В тот же миг дядя Джим выбросил вверх руки и ноги, которые, как распрямившаяся пружина, ударили по окружающим. Мистер Полли полетел прямо на разбитый чайник. Его подхватил отец облаченного в траур семейства. Мистер Полли почувствовал, как что-то уда-

рило его по голове, и все пошло кругом у него перед глазами. В следующий миг дядя Джим очутился на ногах, а скатерть — на голове у господина в клетчатом. Дядя Джим, по-видимому, счел, что сделал все, что мог, ради поддержания своей чести, и что перед таким численным превосходством противника и возможностью еще одного купанья в реке бегство отнюдь не было позором.

И дядя Джим бежал.

После довольно долгого промежутка времени мистер Полли поднялся и сел среди осколков недавней идиллической картины. Разбитые чашки, чайник — всего сразу и не охватишь глазом. Мистер Полли смотрел на поле брани сквозь ноги суетившихся вокруг людей. До него донеслись чьи-то слова, жалобные и неторопливые.

— Кто-то должен оплатить все убытки,— говорил глава семейства в черном.— Мы привезли сюда посуду не для того, чтобы на ней отплясывали. Совсем не для того.

10

Прошло три тревожных дня, а затем в гостиницу явился здоровенный парень в синем свитере и, уплетая за обе щеки огромные куски хлеба с сыром и маринованным луком, вдруг сообщил им важную новость.

— А Джима опять посадили, миссис,— сказал он.

— Что?— воскликнула хозяйка.— Нашего Джима?

— Вашего Джима,— ответил парень и после совершенно необходимой для глотка паузы добавил:— Украл топор.

Несколько минут парень жевал, потом в ответ на расспросы мистера Полли произнес:

— Да, стащил топор. В доме, что на дороге в Лэммем. Позавчера вечером.

— Но для чего ему топор?— спросила хозяйка.

— Он сказал, что топор ему нужен.

— Интересно все-таки, зачем ему топор?— задумчиво проговорил мистер Полли.

— Наверное, у него была какая-нибудь цель,— сказал парень в синем свитере и запихал в рот такой кусище, что было бессмысленно продолжать разговор.

Последовала долгая пауза, во время которой мистер Полли кое-что смекнул.

Он подошел к окну и засвистел.

— Не уйду отсюда,— вполголоса проговорил он.— Плевать мне на топоры.

Решив, что парень в свитере уже может говорить, он повернулся к нему и спросил:

— Вы не знаете, сколько ему дали?

— Три месяца,— ответил парень и тут же снова набил рот, как будто испугавшись собственного голоса.

11

Эти три месяца пролетели мгновенно — три месяца, полных солнечного света и тепла, новых разнообразных занятий на свежем воздухе, приятных сердцу развлечений, новых интересов, здоровой пищи и хорошего пищеварения, месяцы, в течение которых мистер Полли окреп, загорел и начал отпускать бородку, месяцы, которые были омрачены только одной тревогой, но мистер Полли изо всех сил старался ее заглушить. День расплаты должен был наступить, однако ни толстуха, ни мистер Полли не заикались о нем, хотя роковое имя «дядя Джим» негласно присутствовало во всех их беседах. По мере того, как приближался конец срока, беспокойство мистера Полли все возрастало, пока не стало мешать даже его вполне заслуженному сну. Однажды ему пришла в голову мысль купить револьвер. В конце концов он удовольствовался очень плохоньким, закопченным и грязным охотничьим ружьем, которое купил в Лэммеме якобы для того, чтобы отпугивать птиц. Он осторожно зарядил его и спрятал к себе под кровать, подальше от глаз толстухи.

Сентябрь миновал, на дворе уже стоял октябрь.

И вот наступила та октябрьская ночь, события которой благожелательному бытописателю так трудно извлечь из ночного мрака и озарить ясным холодным светом беспристрастного повествования. Романист должен описывать характеры, а не заниматься вивисекцией на глазах у публики...

Самое лучшее, самое гуманное, если не самое справедливое, на мой взгляд, решение — совсем не писать о том, о чем сам мистер Полли явно предпочел бы умолчать.

Мистер Полли утверждал, что, когда проезжавший мимо велосипедист нашел его, он искал оружие, которым можно было бы навсегда разделаться с дядей Джимом. Мы отдаем это объяснение на суд читателя без всяких комментариев.

Ружье в это время, несомненно, находилось в руках дяди Джима, и никто, кроме мистера Полли, не знает, как оно ему досталось.

Велосипедист был человеком, причастным к миру литературы. Звали его мистер Уорспайт. Он страдал бессонницей и в эту ночь долго не мог заснуть. На рассвете он вышел из своего дома, который находился недалеко от Лэммема, и сел на велосипед. Мистера Полли он обнаружил в канаве у ограды Потуэллского кладбища. Это была обыкновенная сухая канава, заросшая крапивой, бузиной и шиповником, и никаким усилием воображения ее нельзя принять за арсенал. Человек в здравом уме и твердой памяти стал бы искать в ней оружие только в самую последнюю очередь. Уорспайт рассказывает, что, когда он соскочил с велосипеда, чтобы спросить мистера Полли, почему тот оставил открытой только свою тыльную часть, что, видимо, случилось по недоразумению, мистер Полли поднял голову и прошептал:

— Берегитесь!— А немного погодя добавил: — В меня он уже стрелял дважды.

Уступая настояниям мистера Уорспайта, он с величайшей осторожностью вылез из своего укрытия. Он был в белой ночной рубахе, из тех, что теперь повсеместно заменены спальными пижамами, босиком, весь поцарапанный, перепачканный и оборванный.

Мистер Уорспайт питал тот исключительный, живой интерес к своим собратьям, какой составляет главную черту обаяния, присущего любому в мире писателю, а потому сразу же принял деятельное участие в этом происшествии.

Оба мужчины отправились в гостиницу «Потуэлл» по предложению мистера Полли через кладбище, и под тисом у памятника сэру Сэмюэлю Харпону набрели на небезызвестное ружье, разорвавшееся и покореженное.

— Это, наверное, был его третий выстрел. Помню, он прозвучал как-то странно,— заметил мистер Полли.

Вид ружья очень его ободрил, и он объяснил мистеру Уорспайту, что убежал на кладбище, надеясь за надгробными камнями найти укрытие от пуль дяди Джима. Потом он высказал тревогу о судьбе хозяйки гостиницы и ее внучки и с поспешностью повел мистера Уорспайта по тропинке к дому.

Входная дверь в бар была распахнута настежь, в самом баре царил ужасный беспорядок — потом оказалось, что не хватает нескольких бутылок виски,— а у входа стоял местный полисмен Блейк и терпеливо, но настойчиво стучал в раскрытую дверь. Все вместе они вошли в дом. Больше всего пострадали в баре стеклянные предметы; одно из зеркал треснуло во все стороны от удара оловянной кружкой. Касса была взломана и опустошена, то же самое произошло и с конторкой, находившейся в маленькой комнатке за баром.

Окно на втором этаже отворилось, и оттуда донесся голос хозяйки, спрашивающий, в чем дело. Мужчины поднялись наверх и вступили с хозяйкой в переговоры. Она рассказала, что заперлась с внучкой в верхних комнатах и не хотела спускаться вниз, пока не убедится, что ни дяди Джима, ни ружья мистера Полли нигде поблизости нет. Полицейский Блейк и мистер Уорспайт занялись осмотром места происшествия, а мистер Полли отправился к себе в комнату, чтобы облачиться в костюм, более подходящий для наступающего дня. Он моментально возвратился, приглашая мистера Блейка и мистера Уорспайта «пойти и поглядеть». Они застали в комнате мистера Полли чудовищный кавардак: постельное белье, смотанное в узел, брошено в угол, все ящики комода выдвинуты и очищены, стул разбит, дверной замок взломан; в косяке двери они обнаружили слегка опаленное отверстие от пули. Окно было широко распахнуто. Ни одной из принадлежностей туалета мистера Полли не было видно. Зато на полу валялись какие-то лохмотья, по-видимому, служившие рабочей одеждой кочегара, разорванная на две половины желто-коричневая от грязи нижняя рубаха и пара башмаков, в которых с трудом можно было признать обувь. В комнате все еще чувствовался легкий запах пороха. Две или три книжки, недавно купленные мистером Полли, валялись под кроватью, брошенные туда разъяренной рукой. Мистер Уор-

спайт взглянул на мистера Блейка, и затем оба взглянули на мистера Полли.

— Это его башмаки,— сказал мистер Полли.

Блейк взглянул в окно.

— Сломано несколько черепиц,— сказал он.

— Я выскочил в это окно и по крыше кухни спустился вниз,— объяснил мистер Полли, и писатель с полисменом почувствовали, что он не хочет вдаваться в подробности...

— Ладно,— сказал Блейк,— мы найдем его и хорошенько с ним побеседуем. Это уж теперь мое дело.

12

Но дядя Джим ушел навсегда...

Прошло несколько дней, он не вернулся. В этом, пожалуй, не было ничего удивительного. Но дни сменялись неделями, недели — месяцами, а дядя Джим все не возвращался. Прошел год, и воспоминание о нем потускнело. Через тринадцать месяцев после событий, вошедших в историю под названием «Ночной атаки», толстуха вдруг заговорила о Джиме.

— Интересно, что же все-таки с ним случилось?— сказала она.

— Мне тоже интересно,— отозвался мистер Полли.

ГЛАВА X

ВИЗИТ К МИРИЭМ

1

Однажды в летний день, пять лет спустя после первого своего появления в гостинице «Потуэлл», мистер Полли сидел под подстриженной ивой и удил плотву. Это был уже не тот замученный несварением желудка несчастный банкрот, с которым мы познакомились в начале книги, а пополневший, загоревший, цветущий мужчина. Он располнел, но полнота его была пропорциональной, а

маленькая четырехугольная бородка придавала его лицу степенность. Ну и, конечно, он еще больше полысел.

Первый раз за все пять лет у него нашлась свободная минутка, и он отправился ловить рыбу, хотя с самого начала решил не отказывать себе в этом удовольствии. Рыбная ловля, как свидетельствуют золотые страницы английской литературы,— занятие, настраивающее на созерцательный и ретроспективный лад, и в воображении мистера Полли стали всплывать события, о которых он ни разу не вспомнил за своими многочисленными обязанностями, приведенными мною выше. О дяде Джиме он размышлял недолго из-за отсутствия фактов, потом стал думать о годах, которые протекли со дня его водворения в гостинице «Потуэлл», и философски осмысливать свою жизнь. Отвлеченно и бесстрастно он задумался о Мириэм. И вдруг ему вспомнились вещи, о которых он в пылу забот совсем забыл: например, о том, что он совершил поджог и бросил жену. Впервые он взглянул в лицо этим давно забытым фактам.

Неприятно думать о том, что ты совершил поджог, ибо за это сажают в тюрьму. А иначе вряд ли мистер Полли испытывал хотя бы малейшее угрызение совести. Другое дело — бросить жену. Уход от Мириэм был подлостью.

Я пишу историю мистера Полли, а не панегирик ему, и потому рассказываю все, как есть. Если не считать легкого содрогания при мысли о том, что было бы, если бы его поймали, мистер Полли ни капли не сожалел о поджоге. Поджог, по сути дела,— преступление придуманное. Существуют преступления, которые остаются таковыми по самой своей природе, независимо от закона: всякого рода жестокость, глумление, которое поражает и ранит человека, предательство, а сожжение вещей само по себе не является ни хорошим, ни дурным поступком, ни, тем более, преступлением. Многие дома заслуживают того, чтобы их сожгли, этой участи заслуживает современная мебель, подавляющее большинство картин и книг — список можно продолжать и продолжать без конца. Не будь современное общество в совокупности таким слабоумным, оно предало бы огню большую часть Лондона или Чикаго и выстроило бы на месте этих рассадников заразы, этих гниющих свалок частной собственности прекрасные,

разумно спланированные города. Я не сумел правдиво изобразить характер мистера Полли, если у вас, читатель, не создалось впечатления, что он во многих отношениях простодушное дитя природы, гораздо менее дисциплинированное, менее обученное и гораздо более непосредственное, чем обыкновенный дикарь. Он в самом деле был рад, хотя и пережил несколько неприятных минут страха, что ему удалось спалить свой дом, бежать из Фишбурна и поселиться в гостинице «Потуэлл».

Но его угнетало сознание того, что он бросил Мириэм. Раза два за всю свою жизнь он видел, как Мириэм плачет, и это зрелище вызывало в нем малодушную жалость. Он представил себе Мириэм плачущей и должен был смущенно признать тот факт, что ответственным за ее жизнь является он, мистер Полли. Он забыл о том, что она испортила его жизнь. До сих пор он тешил себя мыслью, что Мириэм получила более сотни фунтов страховых денег; но сейчас, задумчиво следя за поплавком, вдруг понял, что сто фунтов не могут длиться вечно. Его уверенность в абсолютной бесхозяйственности Мириэм была непоколебима. Тем или иным способом, но она должна была пустить эти деньги на ветер. И тогда...

Он видел, как она сидит, ссутулив плечи и фыркая носом, что всегда прежде казалось ему отвратительным. Теперь от этой картины у него защемило сердце.

— Проклятие! — выругался мистер Полли.

Поплавок запрыгал, он резко подсек, вытянул рыбу и снял ее с крючка.

Он сравнил свое собственное благополучное существование с бедствиями, выпавшими, возможно, на долю Мириэм.

— Могла бы уж о себе позаботиться,— проговорил мистер Полли, насаживая на крючок приманку.— Она любила говорить, что надо трудиться. Вот пусть теперь и трудится.

Мистер Полли наблюдал за поплавком, который, постепенно замирая, покачивался на воде.

— Глупо, что я стал о ней думать,— сказал мистер Полли.— Ужасно глупо!

Но, начав о ней думать, он уже не мог более остановиться.

— О черт! — вскоре опять воскликнул мистер Полли и дернул удочку. На крючке трепетала еще одна рыба. Мистер Полли в сердцах сдернул ее с крючка, и бедняжка поняла, что ее появление не было желанным.

Мистер Полли собрал свои вещи и отправился домой.

В гостинице «Потуэлл» на всем теперь сказывалось влияние мистера Полли, ибо наконец-то он обрел свое место на земле. Дом, скамейки, столы — все стало нарядным, даже кокетливым, щедро окрашенное белой и зеленой масляной краской. Даже садовая ограда и лодки были зеленые с белым, ибо мистер Полли принадлежал к тем людям, которые получают эстетическое наслаждение от малярных работ. Слева и справа от дома стояли два щита, значительно способствовавшие росту популярности гостиницы среди любителей прогулок. Оба щита были изобретением мистера Полли. На одном большими буквами было выведено только одно слово: «Музей», на другом убедительно и лаконично красовалось: «Амлеты!». Правописание последнего слова было на совести самого мистера Полли. Но, когда он видел, как шумные компании, направлявшиеся позавтракать, в изумлении разинув рот, останавливают свои лодки у гостиницы, идут в бар и с веселой насмешкой заказывают «амлеты», он понимал, что его промах сослужил добрую службу гостинице, какую не могли бы сослужить хитроумные уловки. Спустя год после установки щитов гостиница «Потуэлл» стала известной всей округе под новым названием «Амлеты», и мистер Полли, хотя и чуть-чуть обиженный в глубине души, улыбался и в общем был доволен. Что же касается омлетов, которые готовила дородная хозяйка, то такое кушанье не скоро забудешь.

(Вы должны заметить, что я переменил эпитет, говоря о хозяйке гостиницы. Время не щадит никого из нас.)

Она стояла на крыльце в ожидании возвращавшегося с рыбалки мистера Полли и приветливо улыбалась.

— Много поймал? — спросила она.

— Мне пришла в голову одна мысль, — вместо ответа сказал мистер Полли. — Тебя не очень расстроит, если я отлучусь на денек-другой? До четверга не так уж много дел.

2

Чувствуя себя в полной безопасности благодаря бороде, мистер Полли снова видел перед собой фишбурнскую Хай-стрит. Северная сторона почти не изменилась, за исключением разве того, что исчезла вывеска с именем Распера. Южная сторона была вся застроена новыми домами вместо старых, сгоревших. «Мантел и Тробсанс» процветали пуще прежнего, а новая пожарная станция, почти целиком выкрашенная в красный цвет, была выстроена в швейцарско-тевтонском стиле. Рядом с ней вместо Рамбоулда торговал чаем магазин колониальных товаров, затем шла табачная лавка Сэлмона и Глюкстайна. А дальше — маленькая лавочка, в витрине которой были разложены сладости, а вывеска гласила: «Чайная». Мистер Полли подумал, что, пожалуй, это самое подходящее место, откуда можно начать поиски пропавшей жены. Его было взяло сомнение, не пойти ли в гостиницу «Провидение господне», как вдруг ему бросилась в глаза надпись на окне лавочки.

— «Полли»,— прочитал он.— «Полли и Ларкинс». Поразительно!— воскликнул мистер Полли.

На мгновение у него закружилась голова. Он прошел мимо лавочки, вернулся и снова принялся ее рассматривать.

Заглянул в отворенную дверь и увидел за прилавком женщину средних лет весьма неопрятного вида, которую он на какой-то миг принял за изменившуюся до неузнаваемости Мириэм, но скоро понял, что это ее сестра Энни, располневшая и потерявшая свой былой задор. Она взглянула на него безразличным взглядом, и он смело вошел внутрь.

— Можно выпить чашку чая?— спросил мистер Полли.

— Можно,— ответила Энни.— Но, видите ли, чайная у нас наверху... А моя сестра наводит там порядок, ну и сейчас там немного не убрано.

— Как и должно быть, — тихо проговорил мистер Полли.

— Что вы сказали?— спросила Энни.

— Я сказал, что привык не обращать на это внимания. Сюда пройти?

— Сейчас накрою на стол,— сказала Энни, вводя мистера Полли в комнату, в которой царил ужасный беспорядок, живо напомнивший ему Мириэм.

— Если хочешь убрать комнату, то сперва надо перевернуть все вверх дном,— пошутил мистер Полли.

— Такая уж у моей сестры привычка,— бесстрастно ответила Энни.— Она вышла ненадолго подышать свежим воздухом, но боюсь, скоро вернется заканчивать уборку. Это очень хорошенькая, светлая комнатка, когда в ней убрано. Вам здесь накрыть?

— Позвольте я вам помогу,— сказал мистер Полли и стал помогать.

Пока Энни ходила за чаем, он сидел у окна и, барабаня пальцами по столу, думал о том, как вести себя дальше. По-видимому, дела у Мириэм обстоят не так уж плохо. Мистер Полли на разные лады представлял себе первую встречу с ней.

— Необыкновенное имя,— сказал мистер Полли, когда Энни стала накрывать стол скатертью.

Энни вопросительно взглянула на него.

— Полли. Полли и Ларкинс. Не псевдоним, надо думать?

— Полли — это имя мужа моей сестры. Она была замужем за мистером Полли.

— Вдова?— спросил мистер Полли.

— В октябре будет пять лет, как она овдовела.

— Боже мой!— воскликнул мистер Полли в непритворном изумлении.

— Его нашли в реке. Он утонул. Много было разговоров по всему городу.

— Я об этом ничего не слыхал,— проговорил мистер Полли.— Правда, я здесь чужой в какой-то степени.

— Его нашли в Медуэе. Это река возле Мейдстона. Он, должно быть, пробыл в воде много дней. Никто не мог его узнать, даже моя сестра, если бы не имя, вышитое на одежде. Он весь был синий и объеденный.

— Господи, спаси и помилуй! Вот, наверное, был для нее удар.

— Да, конечно, это был удар,— сказала Энни и прибавила сумрачно:— Иногда такой удар лучше, чем бесконечные мучения.

— Разумеется,— согласился мистер Полли.

Мистер Полли сосредоточенно следил, как Энни накрывает на стол, размышляя об услышанном. «Итак, я утонул»,— сказал он себе.

— Он был застрахован?— спросил мистер Полли.

— На эти деньги мы и открыли чайную,— ответила Энни.

Если дела обстояли таким образом, почему же тогда в его душе поселились тревога за Мириэм и угрызение совести?

— Замужество — это лотерея,— заметил мистер Полли.

— Моя сестра в этом убедилась,— сказала Энни.— Варенье подать?

— Мне бы хотелось съесть яйцо,— попросил мистер Полли.— Даже два. Я чувствую... у меня такое чувство, что мне не мешает подкрепиться... А что этот Полли, вероятно, был не очень приятным человеком?

— Он был плохим мужем,— сказала Энни.— Я часто жалела свою сестру. Он был...

— Беспутный?— еле слышно спросил мистер Полли.

— Нет,— ответила Энни, стараясь быть справедливой.— Не то чтобы беспутный. Слабовольный, пожалуй. Да, слабовольный, вот самое подходящее для него слово. Не мужчина — тряпка. Сколько минут вам варить яйца?

— Точно четыре минуты,— ответил мистер Полли.

— Меня как будто зовут...— сказала Энни.

— Да, зовут,— повторил мистер Полли.

Энни ушла, а он предался своим мыслям.

Его удивляла недавняя жалость и нежность к Мириэм. Теперь, когда он вернулся и вдохнул воздух ее жилища, эти чувства исчезли, и возродилось прежнее чувство безнадежной враждебности. Он видел нагроможденную друг на друга мебель, дешевый ковер, пошлые, глупые картины на стенах. Как только он мог почувствовать к ней жалость! Почему вообразил себе Мириэм беспомощной женщиной, горько рыдающей во мраке нищеты о своем муже? Заглянув в бездонные тайники сердца, он вернулся к более поверхностным предметам. Неужели он безвольный, слабый человек? Нет! Сколько он знает людей, куда более слабых!

На столе появились яйца. Но в манерах Энни ничто не располагало к продолжению разговора.

— Заведение процветает? — отважился спросить мистер Полли.

Энни подумала.

— Когда как. То лучше, то хуже.

— Понятно,— ответил мистер Полли и занялся яйцом.— Дознание было?

— Какое дознание?

— Ну об этом парне, что утонул.

— Было, конечно.

— Вы уверены, что это был он?

— Что вы такое говорите!

Энни пристально посмотрела на него, и душа мистера Полли ушла в пятки.

— Кто же это еще мог быть, если на нем была его одежда?

— Разумеется,— ответил мистер Полли и принялся за свое яйцо.

Он до того разволновался, что почувствовал его несъедобность, когда Энни была уже внизу, а яйцо наполовину съедено.

— Черт побери! — воскликнул мистер Полли, поспешно подвигая к себе перец.— Узнаю Мириэм! Ну и хозяйка! Я не пробовал таких яиц ровно пять лет... Где она их только берет? На улице, видно, подбирает.

Он оставил это яйцо и принялся за второе.

Если не считать затхлого привкуса, второе яйцо было вполне сносным. Он уже добрался до его донышка, когда в комнату вошла Мириэм. Мистер Полли поднял голову.

— Добрый день,— поздоровался он.

И, встретив ее взгляд, тут же понял, что она сразу узнала его по жестам и голосу. Она побледнела и притворила за собой дверь. У нее был такой вид, что она вот-вот упадет в обморок. Мистер Полли в один миг вскочил на ноги и предложил ей стул.

— Боже мой! — прошептала она и скорее повалилась, чем села на стул.

— Это ты,— прошептала она.

— Нет,— горячо запротестовал мистер Полли.— Это

не я. Это просто человек, очень похожий на меня. Вот и все.

— Я знала, что тот человек был не ты, я всегда это знала. Я пыталась себя убедить, что это ты, что вода так изменила твои руки и ноги, цвет волос.

— Понятно.

— Я всегда боялась, что ты вернешься.

Мистер Полли взялся за яйцо.

— Я не вернулся,— сказал он убежденно.— Не думай об этом.

— Ума не приложу, как мы будем возвращать страховую сумму.

Мириэм плакала. Она достала носовой платок и прижала его к лицу.

— Послушай, Мириэм,— сказал мистер Полли.— Я не возвращался и возвращаться не собираюсь. Я... Допустим, я пришелец с того света. Ты никому не говори обо мне, и я буду молчать. Я пришел сюда, потому что решил, что тебе плохо, что ты в нищете и всякое такое. Теперь, когда я увидел тебя, я спокоен. Вполне удовлетворен. Понятно? Я насовсем сматываю удочки. Так что держи нос выше!

Он взял чашку чая, шумно прихлебывая, допил ее и встал.

— Не бойся, ты никогда больше меня не увидишь.

Мистер Полли пошел к двери.

— А яйцо было вкусное,— сказал он, секунду помешкав, и вышел...

Энни была в лавке.

— У хозяйки небольшой шок,— сказал мистер Полли.— Она, видно, помешана на привидениях. Я не совсем понял, в чем дело. До свидания!

И он ушел.

3

Мистер Полли сидел вместе с дородной хозяйкой за одним из зеленых столиков позади гостиницы и пытался разгадать тайну жизни. Был ясный тихий вечер, когда воздух прозрачен и чист и видно далеко вокруг. Особенно красива в этот час была излучина реки. По воде на фоне прибрежной зелени плыл лебедь. Река текла, вели-

чаво и покойно, повинуясь судьбе. И только там, где над водой стояли камыши, блестящая поверхность ее слегка рябилась. Три стройных тополя четко отпечатывались на золотисто-зеленом закатном небе. Все мирно дремало в неге, осеняемое огромным, благодатным, кристально чистым сводом неба. Всюду был разлит покой, безмятежность, доверчивость, как бывает в доме, где ждут младенца, на всем лежала печать полного умиротворения. В этот вечер мистер Полли решил, что всякая вещь на земле совершенна и должна приносить счастье. Просто не верилось, что жизнь может порождать раздор и горе, что есть иная тень, нежели та, какую отбрасывает безмолвный лебедь, иной ропот, чем тот, что родится, когда вода, журча, обегает мерно покачивающийся на цепи шест. И ум мистера Полли, взволнованный и примиренный этой разлитой кругом красотой, мягко, но настойчиво пытался связать в единое целое обрывки воспоминаний, которые то всплывали, то снова тонули в его сознании.

Он заговорил, и его слова, подобно резкому удару хлыста по зеркальной воде, нарушили очарование, которым была полна его душа.

— Джим больше никогда не вернется,— сказал мистер Полли.— Он утонул пять лет назад.

— Где?— удивленно спросила хозяйка.

— Далеко отсюда. В реке Медуэй, в Кенте.

— Господи помилуй! — воскликнула хозяйка.

— Это правда,— подтвердил мистер Полли.

— Откуда ты знаешь?

— Я ходил к себе домой.

— Куда?

— Это не имеет значения. Я был там и все узнал. Он пробыл в воде несколько дней. На нем был мой костюм, и они приняли его за меня.

— Кто они?

— И это не имеет значения. Больше я к ним никогда не вернусь.

Хозяйка с минуту молча смотрела на него. Сомнение в ее глазах сменилось спокойной уверенностью. Потом взгляд ее карих глаз устремился на реку.

— Бедняга Джим!— проговорила она.— Он никогда не отличался тактом.— И едва слышно добавила:— Не могу сказать, что жалею о нем.

— Я тоже, — откликнулся мистер Полли. И, сделав еще одну попытку выразить свои мысли, сказал:— Но ведь оттого, что он жил на свете, хорошего было не много, не так ли?

— Не много,— согласилась хозяйка.— Всегда.

— Я думаю, на свете были вещи, которые его радовали,— глубокомысленно заметил мистер Полли.— Но только совсем не то, что радует нас.

Мысль опять ускользнула от него.

— Я часто размышляю о жизни, — проговорил он нерешительно. И попытался вернуться к потерянной мысли: — Когда начинаешь жизнь, все чего-то ожидаешь от нее. Но ничего не случается, и все становится безразлично. Человек начинает жить, но его представления о добре и зле не имеют ничего общего с истинным добром и злом. Я всегда был настроен скептически и всегда считал глупостью, когда люди делали вид, будто они в силах отличить добро от зла. Вот чего я никогда не делал. В моей глотке не застряло адамово яблоко, мэм. Нет, не застряло.

Он задумался.

— Однажды я поджег дом.

Хозяйка вздрогнула.

— И я нисколько не жалею об этом. Я не считаю, что поступил дурно. Это почти все равно, что сжечь игрушку, как я однажды сделал в детстве. Я чуть не зарезал себя бритвой. Кто не пытался сделать то же? Хотя бы в мыслях. Почти всю жизнь я провел как во сне. Как во сне и женился. Я никогда не составлял никаких жизненных планов, я никогда не жил. Я прозябал. Все происходило со мной по воле случая. И так с каждым. Джим ничему не мог помешать. Я стрелял в него и хотел его убить. Ружье выпало у меня из рук, и он схватил его. И чуть было не убил меня. Не нырни я в канаву... Странная то была ночь, мэм... Но если уж говорить начистоту, я не обвиняю его. Я только не понимаю, для чего все это...

— Как дети. Как расшалившиеся дети, которые иногда делают друг другу больно...

— Над нами тяготеет какое-то проклятие,— заключил мистер Полли.— Мы имеем не то, к чему стремимся, счи-

таем добром не то, что в самом деле добро. Мы счастливы не тем счастьем, которое завоевали сами, и счастье других не наша заслуга. Есть характеры, которые нравятся другим, за них борются, есть характеры, которые не нравятся никому. Это надо понимать и не удивляться последствиям... Вот Мириэм всегда старалась...

— Кто это Мириэм? — спросила хозяйка.

— Ты ее не знаешь. Она ходила по дому, нахмурив лоб, и изо всех сил старалась делать не то, что хочется...

Мистер Полли совсем потерял нить.

— Если человек толстый, он ничего не может с этим поделать,— после недолгого молчания сказала дородная хозяйка, стараясь попасть мистеру Полли в тон.

— Ты действительно не можешь,— отозвался мистер Полли.

— Это и хорошо и плохо...

— Так же, как и моя сумбурная речь.

— Если бы я не была такой толстой, мне не дали бы лицензии...

— Нет, но чем же мы все-таки заслужили такой вечер? — воскликнул мистер Полли.— Господи, только глянь!..

И он обвел рукой весь огромный небосвод.

— Если бы я был итальянцем или негром, я бы приезжал сюда и пел песни. Иногда я люблю свистеть, но, черт побери, душа у меня в это время поет. Порой мне кажется, я живу только для того, чтобы любоваться закатом.

— Думаю, что было бы мало толку, если бы ты только любовался закатом,— сказала дородная хозяйка.

— Согласен, мало. И все-таки я люблю закат. Закат и все прочее, что должен любить.

— От них никакой пользы, — глубокомысленно заметила дородная хозяйка.

— Кто знает? — отозвался мистер Полли.

В хозяйке вдруг заговорили более глубокие струны.

— Все равно в один прекрасный день придется умереть,— сказала она.

— В некоторые вещи я как-то не верю, — ответил мистер Полли.— Во-первых, я не верю, что ты можешь быть скелетом...— Он протянул руку в сторону соседской изгороди.— Посмотри на эти колючки, как они кра-

сивы на фоне оранжевого неба. А всего-навсего жалкие колючки. Вредный сорняк, если уж говорить о пользе. Какой от них толк? А ты взгляни на них сейчас!

— Но ведь дело не только во внешнем виде,— заметила дородная хозяйка.

— Всякий раз, как выдастся красивый закат и я буду не очень занят,— сказал мистер Полли,— я буду приходить сюда и сидеть здесь.

Дородная хозяйка обратила на него взгляд, в котором радость боролась с каким-то смутным протестом, а потом стала смотреть на колючие кусты, рисовавшиеся пагодами на фоне золотистого неба.

— Хорошо бы приходить сюда почаще, — сказала она.

— Я буду.

— Не каждый день, — проговорила она почти шепотом.

Мистер Полли некоторое время сидел задумавшись.

— Я буду приходить сюда каждый день, когда стану привидением,— сказал он.

— Испортишь другим удовольствие,— возразила дородная хозяйка, перестав заботиться о деловых качествах мистера Полли и переходя на более подходящий к его настроению тон.

— Я не буду страшным привидением, — сказал мистер Полли после небольшой паузы.— Я буду такое прозрачное, доброе, мягкое привидение...

Они не сказали больше ни слова, а просто сидели, наслаждаясь теплом летних сумерек, пока в наступившей темноте не перестали различать лиц друг друга. Они ни о чем не думали, погруженные в спокойное, легкое созерцание. Над их головами бесшумно пронеслась летучая мышь.

— Пойдем домой, старушка,— сказал наконец мистер Полли, вставая.— Пора ужинать. Нельзя же, как ты говоришь, сидеть здесь вечно.

1910.

Индекс 70665

СОДЕРЖАНИЕ

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том IX.

Редактор тома
Н. Емельяникова.

Иллюстрации художника
П. Караченцова.

Оформление художника
Е. Казакова

Технический редактор
А Шагарина

Подп. к печ. 9/IX 1964 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 1717. Зак. 2093.
Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 16,63 + 4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 16,88. Уч. изд. л. 29,22. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, улица «Правды», 24.